лидия чуковская

из дневника воспоминания

Иосиф Бродский
Фрида Вигдорова
Тамара Габбе
Борис Пастернак
Константин Симонов
Александр Солженицын
Марина Цветаева

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Отрывки из дневника включают записи о Т. Г. Габбе, о К. Симонове («Полгода в «Новом мире»), Борисе Пастернаке, Иосифе Бродском и Александре Солженицыне. Прочитанные вместе эти заметки, сделанные в разные годы, показывают, что С. Маршак был прав, сказав о первой работе Лидии Чуковской («Памяти Т. Г. Габбе) – «это и есть ваш жанр». Записи о Борисе Пастернаке и «Памяти Т. Г. Габбе» подготовлены к печати автором, а остальные – отобраны посмертно на основе дневника Лидии Чуковской.

К «Отрывкам из дневника» примыкает очерк «Предсмертие» – о последних днях Марины Цветаевой, тоже написанный автором на основе своего дневника. В книгу вошли также воспоминания о Фриде Вигдоровой и об академике А. Д. Сахарове.

- Лидия Чуковская
  - Отрывки из дневника
    - Памяти Тамары Григорьевны Габбе[1]
      -
      - II
    - Полгода в «Новом мире»
    - Борис Пастернак
      - Первая встреча[4]
    - Иосиф Бродский
    - Александр Солженицын
  - Воспоминания
    - Предсмертие
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
    - Памяти Фриды
      - 1. Уносят
      - 2. «У Чарльза Диккенса спросите»…
      - 3. Мысль мыслей
      - 4. Грозные очи
      - 5. «Зубами»
      - 6. «Гюгополис»
      - 7. Граница боя
      - 8. Тринадцатый подвиг Геракла
      - 9. «Как сумасшедший с бритвою в руке…»
      - 10. «Так и бывает»

- 11. Завещание
- «Мощь одинокой тишины»
  - О законных правах человека1
  - Из книги «Процесс исключения»2
  - Да здравствует разум!3
  - Телеграмма4
  - Каким он запомнился5
    -
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
- Комментарии
  -
  - Условные сокращения
  - Памяти Тамары Григорьевны Габбе
  - Полгода в «Новом мире»
  - Борис Пастернак
  - Иосиф Бродский
  - Александр Солженицын
  - Предсмертие
  - Памяти Фриды
  - «Мощь одинокой тишины»

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28

Лидия Чуковская
Из дневника. Воспоминания

Отрывки из дневника

Памяти Тамары Григорьевны Габбе[1] (1944–1960)

13/II 44. Вчера вечером читала Тусе все пятьдесят четыре свои стихотворения. И хотя я сидела у нее с 8 до 12.30, до той последней секунды, до какой можно сидеть, чтобы не попасть в каталажку, – разговор все-таки получился неполный, скомканный, ибо Тусенька, при всей скорости речи, идет всегда такими сложными, щедрыми путями, что ее быстроговорение все-таки не поспевает за богатствомыслием.

Я очень волновалась. Как странно: когда пишешь, каждый раз кажется, будто создаешь нечто совершенно новое, небывалое, а читаешь подряд и видишь, что дудишь в одну дуду. И чувство меня не обмануло. Постараюсь точно записать Тусины слова: – У этих стихов настоящее поэтическое напряжение, упорное и сильное. Но есть некоторая монотонность, одна струна, на которой сыграно все: не то чтобы тема ваша была узка, но мир ваш узок. Для того чтобы из этих стихов получилась книга, ей не хватает целых $^2/_3$ другого, чего-то совсем другого… (Книгу эту я назвала бы «Изгнание». В ней только память и чужбина.)

Стихи ваши очень не защищены. Мы привыкли, что все наши поэты всегда щеголяют в мундирах, только некоторые позволяют себе появляться в штатском, а вы уже совсем дезабилье.

Все – один звук, одна струна. Будто узенький подземный ручей забран в узкую трубу. А когда вы пытаетесь выйти куда-то на простор – оступаетесь, делаете ложный шаг… Да и небрежностей много. И слишком большая родственность Ахматовой.

Тут я стала возражать. У Ахматовой мир конкретен, зрим – у меня, к сожалению, нет. У нее каждое стихотворение новелла – мои стихи совсем не новеллистичны.

Но Туся не согласилась.

– Ритм, интонация часто совпадают. Но дело даже не в этом. У Ахматовой есть круг лирических персонажей, если их можно так назвать: Муза, Разлука, Совесть, Ты, Я, Беда, Город и т. д. И вот эти персонажи у вас родственные.

Конечно, Туся во всем права. Но, думала я, возвращаясь от нее ночью пешком, что же мне делать со скудостью моего мира? Мир в стихах моих скуден, потому что он скуден во мне. Я люблю только тех людей, которых люблю давно, живу одними мыслями, одной тоской, одним городом, и ничто новое «со стороны» в меня не входит. Стихи раздвинутся тогда, когда раздвинется мир, а

мир-то ведь по воле нераздвигаем.

6/II 44. Вчера у меня была Шура. Говорили о Ленинграде, обдумывали возвращение. Говорили о Тусе. Почему с ней так хорошо советоваться обо всем: и о стихах, и о пропуске, и о мебели? Думаю, потому (и Шуринька со мной согласилась), что в ней удивительное сочетание ума возвышенного и ума здравого.

8/IV 44. Вечером, почувствовав себя здоровой, отправилась вдруг к Тусе. Подсохло, ледок хрустит – вдали заря, розовая, нежная, прилетевшая с ленинградских проспектов. Тусенька похудела, осунулась, очень устала. По укладу этого излишне хозяйственного дома, за картошкой ходят Туся и Соломон Маркович, хотя у С. М. болит сердце, а Туся только что встала с постели. Но Евгения Самойловна не хочет брать работницу.

Выпив чая, мы с Тусей, как когда-то в студенческие времена, отправились к ней в комнату, которая ей кажется такой убогой, а мне, после моей конуры, такой блаженно тихой и уютной.

Туся подробно рассказала мне о блокаде, о том, как люди переставали быть людьми.

Я прочитала ей первую и третью часть своей поэмы. Кажется, первая ей в самом деле понравилась[1].

Интересно, что Тамара сказала мне о своей постоянной работе с Самуилом Яковлевичем то самое и теми самыми словами, какими я всегда говорю о себе, о ней и Шуре. Она сказала:

– Самуилу Яковлевичу так существенно мое мнение о его стихах потому, что это его собственное мнение, только взятое объективно. Я всегда понимаю его задачу, ту, которую он поставил перед собой, и сужу о том, что получилось с точки зрения его задачи. Его собственной.

11/V 44. С утра поехала к Тусеньке, которая что-то хворает. У нее застала Самуила Яковлевича. Он сидел на стуле возле ее тахты и мучился от вынужденного некурения. Рассказывал нам о своем детстве, о толстой m-me Левантовской, дуре, которая везла его, одиннадцатилетнего, куда-то в поезде.

«Она спросила у соседей (и я как-то сразу понял, что вопрос этот угрожает мне стыдом): – Вы читали Пушкина? – Да. – Вот и он тоже пишет стихи».

Туся предложила ему послушать мою поэму (выходит, я тоже пишу стихи), С. Я. слушал, опустив на грудь голову, чуть похожий на Крылова, будто дремлющий. Но когда я кончила, заговорил с большим темпераментом, вскочил и, наверное, заходил бы по

комнате, если бы пространство существовало. «Говорить? Или лучше не надо? Ведь вы не кончили еще – может помешать».

– Нет, говорите.

Вступление не понравилось С. Я. «Тут субъективное не стало объективным». Главы о детях и Эрмитаже он похвалил. «Вы были в Ташкенте, и это слышно. Человек текуч, как река, и в нем все отражается. Это повторение слова в конце – это у вас с Востока и очень хорошо».

Объясняя мне недостатки и удачи, С. Я. цитировал Твардовского, Пушкина, Лермонтова. Мы с ним хором прочли «Мороз и солнце…», и «Чертог сиял…», и «Выхожу один я на дорогу…» Заговорили о Берггольц. «Рассудочно», – сказал С. Я. И похвалил из ленинградцев Шишову.

Тусенька все время молчала. А потом произнесла:

– Объясните мне, Самуил Яковлевич, вот что: почему вступление, где Лида говорит о вещах таких дорогих для нас, нами пережитых, – не трогает? Ведь человека моей биографии оно, казалось бы, должно было тронуть с полуслова. А дальше – диванчик, дети, Нева, заново увиденная сквозь окно, – это все уже существует. В чем тут дело? Почему то, такое пережитое и искреннее, не нашло выражения, а это нашло?

– Я был бы Богом, если б мог ответить на этот вопрос, – сказал С. Я.

Дальше разговор шел от темы к теме, скачками.

Туся прочитала Бекетову, воспоминания о Блоке.

– Интересно? – спросил С. Я.

– Нет, взгляд тетки на великого поэта не только неинтересен – а просто невыносим, – сказала Туся. – «Мама, дай пелепевку» – или что-то такое – «по его тогдашнему выражению». Очень глупо.

Домой С. Я. завез меня на машине. По дороге продолжался разговор о стихах.

– Я стихов вообще не люблю, – говорил С. Я., – а люблю их только в виде исключения… Стихи должны упираться в землю и где-то взлететь… В мире есть дух, плоть и душа: психология. Это самое бесплодное, безвыходное, неодолимое.

Я вспомнила в статье Блока: «не заслоняйте духовность душевностью».

30/VII 44. Тусенька была у меня. Рассказала мне о сценарии Эйзенштейна «Иван Грозный». Стиль там таков:

«Моря рокотом гнев бояр ему отзывается».

– Интересно, – говорит Тусенька, – что в действительности Иван не только злодействовал, но и каялся. Он мучился пролитой кровью. Эйзенштейн же ни о каком покаянии и не думает. Кровь

льется, и так и надо, и это очень даже хорошо.

30/IX 44. Мне позвонила Тусенька, жаловалась на Гакину, редакторшу, которая измывается над ее «Гулливером». В запале возмущения Туся совершенно всерьез стала мне доказывать, что она, Туся, литератор, а Гакина – столб. Я выслушала и говорю:

– Была я на днях у Суворинои, на радио. Она предлагает мне написать для них о Герцене, но так, чтобы ничего не упоминать о его отъезде из России, об эмиграции. Я негодую, а она меня уговаривает: «Такая наша специфика, вы постепенно привыкнете».

Туся до слез смеялась над этой «спецификой» и согласилась, что моя Суворина еще хуже, чем ее Гакина. Не знаю, послужило ли ей это утешением.

10/X 44. Утром получила письмо от Шуры и сразу отправилась к Тусе. Надо обдумать, как спасти Зоечку. Она – строитель, она строит дома. С ее-то силенками, с ее неуменьем! И какая судьба: Зоя строит Тусин дом! Тот самый, в переулке!

Тусенька позвонила Самуилу Яковлевичу, и он обещал просить Дубровину[2], чтобы та приказала Чевычелову[3] зачислить Зою в Ленинграде в штат Детгиза.

Заговорили о Гакиной, о тех глупостях, которые она пишет на полях Тусиного «Гулливера».

– Вы только подумайте, Лидочка: на полях моей рукописи, там, где рассказывается о Гулливере у великанов – «кровать его была без конца и края, а комнату не обойти и в две недели» – Гакина спрашивает: это гипербола? Ну как смеет человек, ничего не понимая в литературе, быть редактором?

И Туся начала развивать свою любимую мысль о том, что основа подлости – невежество и глупость.

«Подлость – защитная окраска глупости. Гакина, например, вовсе не хищница, она по природе унылое травоядное. Однако она готова сделать мне любую подлость из боязни, что я могу доказать ее бездарность, разоблачить ее… Такова же была основа тех подлостей, какие делал нам Мишкевич[4]».

26/XI 44. Сегодня у меня праздник: была на Тусином «Городе мастеров».

У дверей театра толкотня. Мальчишки рвутся внутрь; контролерши смотрят на них как на личных врагов.

Мы с Люшей, по случаю моей слепоты, в первом ряду. Во втором – Тусенька, Соломон Маркович, Самуил Яковлевич, Кассиль, Прейсы[5] и Шварц.

Шварц очень тонко мне сказал о Ленинграде:

– Ездить в Ленинград или жить там – это то же самое, что садиться обедать за операционный стол: «Кушайте, пожалуйста, здесь все вымыто и продезинфицировано».

Но это в сторону.

Начался спектакль, которым недовольна Туся. И хотя все ее неудовольствия справедливы (актеры играют, в сущности, конспект пьесы, огрубленный и сокращенный, а не самую пьесу во всем ее поэтическом богатстве), пьеса так богата, сказочная основа так счастливо в ней расцветает, что спектакль все равно чудесен, даже сквозь режиссерскую прозу и бедность. Кроме того, прекрасно играют два актера: страшный герцог и глупый хвастун Клик-Кляк.

Дети корчатся от волнения, предупреждают из зала добрых, шикают на злых.

Это – не аллегория. Это – ее величество сказка.

И его величество успех. Тусеньку вызывали семь раз. Она выходила на сцену с той улыбкой, приветливой и чуть светской, с какой улыбалась в Институте, выходя к столу на экзаменах – нарядная, быстро говорящая, слишком кудрявая и слишком румяная (за что и была прозвана Женей Рыссом[6] «красненькая барышня»). Со свойственной ей благовоспитанностью она упорно аплодировала режиссерам и актерам, за руки вытягивая их на авансцену.

И я жалела, что Шуры и Зои нету сегодня с нами. Это был бы для них праздник, как для меня.

28/XI 44. Мне вчера пришло на ум написать рецензию на Тусину книжку. С. Я. благословил это намерение и посоветовал обратиться к Жданову, в «Комсомолку». И тот – хотя и не очень восторженно – заказал мне четыре страницы к пятнице.

Вечером я отправилась к Тусе за книжкой. Тусю застала утомленной, бледной, она без конца теребила и пристраивала волосы, что у нее всегда признак нервного изнеможения. Евгения Самойловна не желает взять работницу – и потому Туся без конца стоит в очередях – и это сверх театра, Детгиза, рукописей С. Я. и пр. Какое это безобразие, какое варварство! Не лучше ли тратить деньги, чем Тусины драгоценные силы? Но Евгению Самойловну одолевают два страшных беса: бес экономии и бес серьезного отношения к ерунде – к сорту хлеба, качеству молока. Домработница может купить что-нибудь не так, а Туся всегда покупает так… А что Тусе надо сидеть за столом и писать, об этом Е. С. не думает. В этом доме не быт приспособляют к литературной работе, а литературную работу приспособляют к быту и к удобствам Евгении Самойловны.

18/III 45. Вчера Туся рассказала мне характерный анекдот о Леонове. В Литфонде обсуждалась кандидатура Булатова[7] – и его провалили. Я терпеть не могу Булатова, но, конечно, на членство в Литфонде он имеет все права.

Особенно ярился Леонов.

– Если принимать в Литфонд таких, как Булатов, – говорил он, – то куда же меня тогда? Не можем же мы с ним быть *в одном разряде*… Тогда меня и мне подобных следует перевести куда-нибудь выше, например в правление. Ведь был же Некрасов в правлении старого Литфонда.

– Он, по-видимому, полагает, – объяснила мне Туся, – что Некрасову было выгодно находиться в правлении: ордеров он получал больше, что ли!

4/IV 45. Туся рассказывала о Сейфуллиной и Шагинян, которых она видела в Союзе.

– Сейфуллина похожа на директора лилипутской труппы… или на скопца… или на мальчика-певчего в католическом хоре… Обвисшее старое личико, а пальто на кокетке и с большими пуговицами, как у пятилетних детей.

Шагинян вся квадратная, тяжелая, а лицо, как у первой ученицы в очках.

6/IV 45. Туся позвала меня помочь ей с корректурой «Гулливера». От запаха краски, от зеленых чернил корректора, а главное от Тусиных микроскопических сомнений, выраженных с помощью еле заметных черточек на полях, на меня пахнуло счастьем.

– Понимаете, Лидочка, – сказала мне Туся, – ведь на всем свете, кроме С. Я., вас, Шуры и Зои, никто бы даже не понял, что меня смущает в этих фразах…

Я понимала сразу, и мы чудесно поработали часа два.

29/VI 45. Вечером была у Туси. Со сказками неудача: «не подходят к профилю издательства». Безобразный же у них профиль! Смелость, необычность книги их пугает; книга не только прекрасная, но и образцовая, то есть воинствующая, а они хотели бы просто переиздать Афанасьева: так спокойнее.

Я прочитала Тусе два свои стихотворения: «Теперь я старше и ученей стала…» и «Этот пышный убор седины…» Она хвалила: «лирично, глубоко, точно, интонация хорошая прозаическая начала появляться». Я говорю:

– Вы мои стихи всегда хвалите неуверенным голосом.

– Да, правда. Они хорошие, искренние, умелые, но меня в них всегда смущает не полное присутствие вас. Вот вы седая, с синими глазами, с бровями домиком, произносящая «обшество» вместо «общество» – вас я не слышу в стихах. Я не уверена, что если бы мне их показали без подписи, я бы узнала, что это вы. А в статьях узнала бы непременно.

7/VII 45. Иосиф погиб.

Туся заплакала и замолчала в телефон. Я поехала к ней. Там какой-то муж какой-то кузины, как раз явившийся с первым родственным визитом. Его надо принимать, угощать, расспрашивать о родственниках. Туся жарит картошку, подает, расспрашивает – потом гость остается с Евгенией Самойловной, а мы уходим к Тусе в комнату, и там она кладет голову на стол и плачет. В письме женщины, товарища Иосифа по несчастью, сказано, что он погиб во время наводнения. Как? Отчего? Залила ли вода барак или он был на работах?

– Я же знала, я знала, – говорит Туся, – его ни минуты нельзя оставлять в этих руках[8].

– Вы и не оставляли!

– Нет, я медлила, я ведь медленная, надо было спасать скорее…

14/VII 45. Опять была у Туси весь вечер.

Тусенька так же ласково говорит с Е. С., так же терпеливо по телефону с С. Я., но, чуть мы остались одни, она заплакала. Она жалуется, что лицо Иосифа ускользает от нее, будто лента рвется.

Это ей кажется. Даже я вижу его ясно, слышу голос. Он говорил «Лидичка», «Чаю, чаю я желаю, / Чаю, чаю я хочу, / А когда дадите чаю – / Я обратно ускачу». Я хорошо помню его в тот день, когда он пошел защищать Тусю и Шуру, а мерзавцы выгнали его и назвали шпионом, и он оттуда пришел ко мне, сел на диван и заплакал…[9] А когда Туся вернулась, каким счастливым голосом он мне сказал по телефону:

– Сейчас, Лидичка, вы будете говорить знаете с кем? – смех: – с Тусей!

Нам бы, после всех наших потерь, хоть какой-нибудь мистицизм, хоть какую-нибудь веру в бессмертие! Нет, у меня нет. Я верю только в то, что если человек в этой жизни вопреки всему успел выразить себя, то он будет жить в делах своих и в памяти людей, которых он любил. (Вот почему такой грех – убийство ребенка: он еще не успел воплотиться.) Но Туся идет дальше. Она говорит, что всю жизнь человек добывает себе душу, и если душа успела родиться вполне – как душа Пушкина или

Толстого, – то она будет жить и после смерти – нет, не только в памяти людей, а и сама жить и чувствовать, что живет.

15/VII 45. Сейчас вечер – а я, прогульщица, только сажусь за рабочий стол. Весь день прокутила с Тусей.

А впрочем, мы, пережившие столько гибелей, уже знаем, как люди хрупки. Сколько еще раз в жизни я увижу Тусю, Туся меня? Бог весть!

Я проспала с утра свою молочницу и помчалась к Елисееву за молоком. И вдруг меня осенило: повести Тусю на «Бемби». В кассе – никого. Зато другая беда: у Туси 45 минут занят телефон. Проклятие! Я звонила из автомата, звонила из дому, взбежав одним духом на шестой этаж (лифт не работает). Наконец, дозвонилась, условились.

Еле поспели.

Маленькая девочка позади нас уверена, что Бемби – это папа зайцев. Взрослые наперебой объясняют ей ее ошибку. Она слушает, потом:

– А он любит своих деток?

– А детки его ждут?

Туся согласилась со мной, что «Бемби» – живое опровержение всех предрассудков о необходимости в кино острого сюжета, быстроты и пр. Сидят сотни людей и затаив дыхание смотрят, как падают листья, как листья отражаются в воде… Ведь самое сильное в «Бемби» – это, а не остроты и карикатуры, и все это понимают. Зал был полон, и по репликам было слышно, что люди пришли во второй и в третий раз. На бессюжетную картину.

Я отправилась Тусю провожать. Прочитала ей то, блоковское, которое повторяю все последние дни:

…На эстраде,
Стиснув зубы и качаясь, пела
Старая цыганка о былом…

Боже, как это могуче – тут и раскачиванье, и песня, и боль, и память, и рыдание.

Я сказала: «Ну вот, Тусенька, может ли существовать перевод? Можно ли перевести рыдание и боль? Ведь переводят – размер и слова. А как же быть с этим?

Или как быть с вашим любимым, магическим:

…В твои глаза вникая долгим взором,
Таинственным я занят разговором.

Как быть с этими таинственными *и?»*

– Перевода стихов не может быть, конечно, – сказала Туся. – Нужно взять луковицу того же сорта и вырастить, вывести из нее новый, такой же прекрасный тюльпан. Вывести – а не перевести.

25/VII 45. С утра поехала к Любовь Эммануиловне за Шуриным письмом, а оттуда к Тусе. Она уже условилась с какой-то юристкой, что приедет к ней сегодня со всеми нашими бумагами протеста против Учпедгиза[10]. Приходится, прежде чем протестовать, распутывать: Учпедгиз спутал решительно все; меня и Туси в списке редакторов вообще почему-то нет; Маршака – тоже; денег с нас не взыскивают, а взыскивают с Корнея Ивановича, Зои, Шуры, Блока, Ильина[11]… Сели мы с Тусенькой и два часа сочиняли бумаги. Евгения Самойловна очень приветливо кормила нас обедом, но мимоходом произнесла фразу, которая меня взорвала:

– Что же вам с Тусей вдвоем отдуваться за четверых!

Да ведь она знает, что Шура и Зоя приехать не могут! Знает, что меня и Туси в списке нет по ошибке! Не станем же мы этим пользоваться и сидеть в кустах!

12/IX 45. Ездила на вокзал провожать Тусю.

Она и мать. Она едет всего на десять дней, а они не могли, прощаясь, оторваться друг от друга и обе плакали. Я проводила Евгению Самойловну до самого дома – нет, дальше, до дверей квартиры, стараясь видеть ее Тусиными глазами, глазами Тусиной любви.

А Туся завтра будет в Ленинграде, ее встретит Шура, и они вместе пойдут по Невскому мимо нашей жизни, то есть всех смертей.

20/IX 45. Верная присяге, данной мною Тусе, каждый день звоню Евгении Самойловне. Иногда завожу ей книжки, – она ведь рьяная читательница, как и Туся. Без Тусеньки она очень скучает, и я стараюсь ее развлекать, но, признаюсь, не всегда умею ей сочувствовать. Сегодня она пожаловалась мне, что не спала всю ночь.

– Почему же? Случилось что-нибудь?

– Туся мне по телефону сказала: «в красном шкапу почти все цело». Значит, в других шкапах – не все…

2/X 45. Вечером, после тяжелого, изнурительного дня, потащилась к Тусе – за письмом от Шуры, за вещами, которые мне Туся привезла и, главное, чтобы увидеть ее наконец.

В двух крошечных комнатушках и в передней свалены, сдвинуты, приткнуты, заткнуты Тусины вещи. Среди них, как в лабиринте, блуждают Евгения Самойловна и Соломон Маркович. Я радостно встретилась с умным, благородным Тусиным бюро и погладила его: сколько наших ночных разговоров вобрала в себя эта блестящая поверхность!

О городе Туся сказала:

– Он как человек. И если бы Шура не нянчила меня – я не выдержала бы встречи с этим человеком.

У них в ленинградской квартире, конечно, какая-то чужая семья. В бывшей Тусиной комнате – бочка с огурцами и картошка: «это мужа кабинет», – говорит генеральша.

А мне Шуринька прислала мой электрический камин.

Знают ли они, Шура и Туся, что они вернули мне вместе с этим камином?

3/X 45. Только что вернулась от Туси. Час ночи. Поход был с маленькой катастрофой. Я твердо ушла в 11 часов, минута в минуту, но попала под дождь, сунулась обеими ногами в лужу и, дойдя до Каляевской, обнаружила, что на голове нет берета. Я назад, к Тусе, за фонариком, чтобы поискать берет. Фонаря не оказалось, но Туся, как ни устала, отправилась вместе со мною и скоро нашла мой гнусный головной убор: он лежал в луже в подворотне. Туся закутала меня в платок, а мой берет унесла к себе сушить и чинить.

Рассказала мне по дороге, что С. Я. все спрашивает, чем заменить слова «распарить тыкву» в одном стихотворении Китса.

– Ничем не надо, С. Я. Так хорошо. Оставьте так.

– Вы говорите, чтобы избавиться и больше не думать, или потому, что это на самом деле хорошо? – спрашивает С. Я. в гневе.

– Потому что на самом деле.

Но через 10 минут опять звонок и новые сомнения.

17/X 45. Виделась с Тусенькой по телефону. Увидеться по-настоящему нету сил, а надо же обменяться днями. Туся подробно, с цитатами, рассказала мне о рукописи Фраермана, намеченной к премированию.

Язык малограмотный («нападки зверей на первобытного человека»), подспудная фрейдистская пошлость.

20/X 45. Вернулась вчера от Туси в половине второго ночи. В 11 я уже была одета, но до часу простояла перед ней в пальто и шапке. Я смолоду не умела от нее уходить, а теперь, когда она да

Шура – все мое достояние, и подавно.

Тусенька съездила в Ленинград недаром. Старый Будда снова стоит на бюро, на том же месте, на той же салфеточке; и фотографии под стеклом… Там Иосиф с высокими молодыми волосами. У нее в комнате все уже снова ленинградское, все наше, из нашей жизни, памятное – последних лет редакции.

Говорили мы обо всем на свете и под конец о нас самих. И все, что во мне смутно, подспудно, – все делается отчетливым здесь, в присутствии Будды, при свете этого голоса.

Мельком я сказала о Грине, что он очень плох, что его формалисты выдумали. Плохой писатель без языка, без мыслей, без людей.

– А формалисты вообще не имели непосредственного слуха к литературе, – сказала Туся. – Даже Тынянов. Вот как люди без слуха к музыке. Вот почему им так легко было выдумывать то одно, то другое: непосредственных отношений с поэзией у них не было.

Поговорив о Мопассане (я бранила, Туся защищала), заговорили о Зое и Танечке, о том, что Зоя о ней совсем не умеет заботиться, что в детском лагере, по рассказам Марины, Зоя самоотверженно нянчила всех детей, кроме Тани.

– Это понятно, – сказала Тусенька. – Потому что Таня – это она сама, а сама для себя Зоя – нечто нестоящее. Другим она хочет помочь, хочет служить, а себе она желает одного: папирос и чтобы не мешали лечь на кровать в галошах.

Потом Туся еще раз повторила мне, что в эту ее ленинградскую поездку Шура ее просто спасла.

– Одна я бы не выдержала встречи с городом. Там я так ясно почувствовала тех, кого уже нет. Я могла даже говорить с ними. Они были возле.

А недавно ей приснился сон об Иосифе. Он в пижаме – только почему-то пижама чужая, не его. Но он бодрый, веселый, вернувшийся. И она ему обо всем и обо всех рассказывает: о блокаде, о Шуре – как Шуринька ей помогла – о городе, о перелете в Москву. Он слушает, а потом:

– Но ты знаешь, что я умер?

– Ну, это все равно… Это ничего…

И продолжает рассказывать и только постепенно во сне понимает, что это значит, и просыпается в слезах…

7/XI 45. Под мокрым снегом после конца демонстрации пришла к Тусе. Она прочла мне свою балетную заявку и три сказки. Сказки ее, уже который месяц, переданы Чагиным Тихонову[12]. Лежат там, и их никто не читает. Вот они, истинные

ревнители русской национальной культуры! Пальцем не хотят шевельнуть. А между тем эта книга, как предсказанная звезда, осветила бы темные углы нашей словесности, светом своим убила бы Леонова с его клеветой на русский язык. Сказки мудрые, лукавые, поэтичные – сказки, наконец-то прочтенные художником. Сколько лет, плесневея в руках у этнографов, дожидались они Тусиных рук.

Дождались – и никто не рад.

Мы смотрели старые фотографии – мои с напыщенными отроческими надписями и Тусины. Я выпросила у Туси карточку ее и Зойкину – их молодые лица, их шляпы и сумки, памятные, трогательные для меня.

18/XI 45. Только что позвонила Туся: просит придти прослушать «Авдотью Рязаночку», которую завтра она должна читать в Комитете. Конечно, мне сейчас ни минуты нельзя отрывать от Миклухи[13], но, кажется, я все-таки пойду.

Вернулась. Медленно из меня выходит холод. На улице мороз, ветер и ледяная луна.

Мне положительно нельзя ходить к Тусе: за эту радость я всегда плачусь чем-нибудь, ошалевая: вот теперь позабыла очки! Как же я завтра сяду работать? Писать-то могу, а читать?

Пьеса хорошая, с темпераментом, очень отроческая, местами – по-настоящему трогающая душу. Там, где под спудом чувствуется личный Тусин опыт – опыт потерь и бед, – там совсем хорошо. Но горе мне с великим русским языком! Видит Бог, я люблю его. У Туси он хорош – цитатен – из сказок. И все же его избыток, его ощутимость, всегда как-то смущает меня. Там, где он осердечен личным сегодняшним опытом, – там он жив и уместен. Когда же он взят только как цитата – он мне не по душе.

19/XI 45. С утра я условилась с Тусей по телефону, что очки она принесет в Комитет по делам искусства, ровно к 13.15, когда поедет туда читать.

Я отправилась к машинистке, потом в магазин, потом в Детгиз и, уже порядком иззябшая, на свидание с Тусей.

Я ждала ее ровно час – на ветру, на морозе. Оледенела до слез. Люди толпой льнули к карточкам актеров, выставленным у подъезда, и я рассматривала лица – зрителей, не актеров. И на этих лицах лежит чья-то любовь, но если смотреть на них без любви, то…

Замерзла я зверски. Рассердилась и обиделась на Тусю ужасно. Целый час стояла и припоминала все ее несносные

опоздания, еще ленинградские: как ее ни молишь, бывало, не опаздывать – все равно опоздает. Я в уме перечислила все ее вины. У меня ведь пальто летнее, а я жду ее час на морозе – ведь она знает, что у меня зимнего нет, и заставляет ждать!

Уверенная, что заболею, злая, несчастная, я помчалась домой.

Только мы пообедали – явилась Туся с моими очками.

Я ждала ее возле Управления по делам искусств, а надо было возле Комитета – то есть через дом.

Но кто мог подумать, что Управление и Комитет не одно и то же?

Тусино чтение отменено, ее об этом предупредили, и она пришла специально, чтобы вручить мне очки. И ждала меня целый час. И во всем виновата я.

20/XI 45. Туся читала мне по телефону сказку о матросе Проньке – чудо как хорошо, можно сказать, «работа под куполом».

7/I 46. Тусенька была у меня и сегодня впервые рассказала мне подробно о блокаде, о себе, о Шуре.

Она рассказала, в частности, что несколько раз во время бомбежек оказывалась в убежище вместе с Шурой. Тусенька читала вслух своим Диккенса или Чехова. Шуру это сердило: не к чему заговаривать зубы себе и другим, это лицемерие

и слабость; надо сосредоточиться и ждать смерти – своей или чужой. Она сидела опустив голову и закрыв глаза.

Я подумала: а как вела бы себя я? По-Тусиному или по-Шуриному?

Если бы рядом была Люшенька – по-Тусиному, пожалуй. Я бы ей читала, чтобы отвлечь ее, чтобы показать, что ничего особенного не происходит. (В щели в Переделкине, по ночам, когда немцы бомбили Внуково, мы с Люшей учили английские слова.) Но если бы я была одна, то я, вероятно, вела бы себя как Шура.

Тусенька – материнский человек, ей и Люша не нужна, чтобы чувствовать себя матерью всем.

14/III 46. От Зильберштейна, соблазнившись близью, пошла к Тусе.

Туся рассказала мне подробно и изобразила в лицах безобразную сцену в Гослите между Мясниковым[14], редакторшей и Самуилом Яковлевичем. Редакторша сделала С. Я. замечания. Такие, например:

– Сапоги с подборами? Что за подборы? Такого слова нет.

С. Я. потребовал Даля. Подборы нашлись.

– Все равно, мне как-то не нравится, – сказала редакторша.

С. Я. сначала что-то уступал, потом взорвался:

– Это неуважение к труду! Я лучше возьму у вас совсем свою книгу!

– И возьмите! – крикнул Мясников.

Тут вмешалась Туся и стала успокаивать и улаживать. Жаль, в данном случае скандал мог бы быть победоносен.

21/III 46. Сегодня днем ко мне зашла Туся, принесла в подарок вятскую куколку. Сидела она недолго; мы только успели поспорить о стихах. Я прочитала ей «Попытку ревности» и «Тоску по родине» Цветаевой, которые мне полюбились. Я у Цветаевой люблю далеко не все; но это – очень. Однако Тусе не пришлись эти стихи по душе. Я огорчилась, я в последнее время часто с ней расхожусь в любви к стихам. Мне кажется, она даже Пастернака разлюбила, а когда-то в юности ведь именно она научила меня его любить. Я до сих пор помню, как она читала мне на улице:

Может статься так, может и́наче,
Но в несчастный некий час
Духовенств душней, черней иночеств,
Постигает безумье нас…

Когда вышел «1905 год», Туся восхищалась им и говорила, что Пастернак наделен редкостным чувством – чувством истории. А теперь она что-то все недовольна Пастернаком, и Цветаеву – несомненную родственницу его – совсем не любит.

Она прочла мне «Яблоню» Бунина, в самом деле изумительную:

Старишься, подруга дорогая?
Не горюй! Вот будет ли такая
Молодая старость у других.

Я сказала Тусе, что стихи эти в самом деле очень трогательные, но любовь к ним и к классической форме стиха не мешает мне любить пастернаковско-цветаевские бури и сложный, но психологически и поэтически достоверный синтаксис.

Туся ответила так:

– Видите ли, может быть, вы и правы, но для меня дело не столько в синтаксисе стиха, сколько в синтаксисе души. Тот синтаксис, тот строй души, который проявляется в стихах Бунина, мне гораздо ближе и милее. Спокойный, важный, строгий[2].

30/III 46. Сегодня новость омерзительная. Твардовский дал в издательство рецензию на Тусину книгу очень хвалебную, но директор издательства сказал ему:

– Мы все равно эту книгу не выпустим. Неудобно, знаете, чтобы на русских сказках стояла фамилия нерусская.

Туся угнетена, расстроена, философствует. А я просто в ярости, без всякой философии.

14/IV46. На днях как-то я рассказала Тусе, что была у Ильиных[15] (ходила советоваться, кому дать прочитать Миклуху), слушала стихи Елены Александровны и читала свои, которые им, к моему удивлению, очень понравились. Я не скрывала от нее, что там слегка поныла: «а мои друзья не любят моих стихов. Говорят, это дневник – не стихи».

Туся подтвердила: «Я вас гораздо отчетливее слышу в статьях, предисловиях, письмах, чем в стихах, хотя в стихах вы откровеннее». «Мне ваши стихи нравятся не меньше, чем Ильиным, но Ильины от вас меньшего требуют».

Ну вот, это было дня три назад, а сегодня вечером она позвонила с таким сообщением:

– Я говорила с С. Я. о ваших стихах. Мне хочется понять, чего им не хватает, чтобы выразить вас вполне, чтобы они стали вполне вашими? С. Я. объяснил так: в этих стихах два элемента основные хороши – музыкальность, психология, т. е. ум и чувство, но нету третьего – актерского начала, необходимого в искусстве.

Откуда же ему взяться в стихах, если его нет во мне?

1/V 46. Как-то там, в нашем городе, Шура сегодня? Давно она мне не пишет.

Вечером позвонила Тусе. Чтобы ее голосом заключить день.

Я часто думаю: кто из нас первый умрет? А вдруг не я?

7/VI 46. Ездила с Тусей в магазин, чтобы помочь ей волочить тяжелые корзины. Туся рассказывала про Мессинга[16]: она была на сеансе в поликлинике. О шарлатанстве, по ее словам, не может быть и речи, но впечатление тяжелое, потому что он напоминает собаку, напряженно ищущую, нюхающую. Туся говорит, что его удивительная деятельность представляется низшей деятельностью организма, а не высшей.

Корзины были тяжелые, я еле шла, но мне помогал Тусин голос. Мы придумывали сценарий про школу, который хотели бы вместе написать. Туся придумывала как шла – легко.

13/X 46. У меня была Туся. Пришла она внезапно: относила в Литфонд стандартные справки и зашла по дороге.

В последний год она в тоске, в тоскливых мыслях о себе. Все мы так. И это, конечно, ни для кого из нас не новость, но когда очень уж хватает за горло – бежим друг к другу.

Вот она и пришла. Стала прямо, прислонясь спиной к книжному шкафу – она всегда стоит и прижимается к стене во время долгих наших разговоров.

– Я на днях бродила по улицам, – рассказывала Туся, – и мне очень легко, свободно дышалось и легко было идти. Но я подумала: если бы меня спросили, что сейчас со мной происходит, я ответила бы с совершеннейшей точностью: «Я умираю». Это не патетический возглас, не стон, не жалоба, это простое констатирование факта. Умирание в том, что у меня почти нет желаний и утрачены все связи с миром. Остались два-три человека, за которых мне больно, если им причиняют боль. Осталась память. Для жизни этого мало.

Я спросила, думает ли она, что это именно с нами произошло или это просто возраст, т. е. общая судьба.

– Нет. С нами.

Я напомнила ей герценовскую судьбу: он написал «Былое и думы» и создал «Колокол» в ту пору, когда считал, что у него все позади, остается только вспоминать прошедшее. А все было в разгаре и все впереди… Я спросила у Туси: если бы не надо было работать для денег, для членства в Союзе, работала ли бы она, чешутся ли у нее руки на труд, или только лежала бы с книгой?

– Я училась бы, – ответила Туся, подумав, – языкам, филологии, истории… Хотелось бы мне устроить школу, воспитывать детей… Кроме того, я написала бы историческую трагедию о Котошихине[17].

– Ну, вот видите! Вам еще хочется работать! Значит, до смерти далеко.

Но Туся не пошла на это утешение.

– Нет, Лидочка. Рискнем сказать так: в человеке живут любовь и ум. Любовь во мне умерла, а ум еще жив. Он не занят, он, в сущности, свободен, потому что те дела, которые он вынужден выполнять, его не занимают. И он еще хочет деятельности, он в полной силе, ему всего сорок лет. Вот и все.

Это в Тусе-то умерла любовь? И остался только ум? Что за чепуха.

Но я ей этого не сказала. Как-то не решилась сказать.

20/X 46. Люшенька уехала на дачу, мне не надо хозяйничать. Я позвонила Тусе и осведомилась, не нужна ли я ей. Она

попросила приехать к 5 ч.: она мучается над очередным календарем.

Мы просмотрели два месяца: март и апрель. Подбор материала преглупый и прегнусный. Туся говорит: Ленин в детстве изображается так, будто ему предстояло сделаться смотрителем богоугодных заведений, а не революционером. Он очень чисто мыл руки, слушался папу и маму, ел все, что ему клали на тарелку, и пр.

Мы забраковали $^3/_4$ предложенного материала.

Когда я уже оделась и стояла в пальто в узеньком пространстве между Тусиной койкой и шкафом – мы как всегда разговорились взасос. Мы стали вспоминать Институт, студенчество. Мы вспоминали не лирически, для нас обеих это не любимое время. Мы перебирали всех мальчиков и девочек, каких только могли вспомнить. О многих мы не знаем ровно ничего, а многие погибли.

– Странные были у нас учителя, – сказала Туся. – Все незаурядные, даже блестящие люди: Тынянов, Эйхенбаум, Томашевский, а в учениках разбирались худо. Больше всех они любили Коварского, Степанова, Гинзбург, Островского. Коварский – нуль; Степанов – барахло; Гинзбург умна, но не на бумаге[18]; Островский – библиограф – и все они вместе прежде всего не литераторы. Непосредственно-талантливого, литераторского в них нет ничего, а псевдоученого много.

Да, я с Тусей согласна – наши университеты были позади: поэзия – и впереди: редакция. Институт же не дал почти ничего. (Разве что Энгельгардт кое-что открыл нам.) Нет, Институт дал нам самое главное: друг друга.

5/XI 46. Сегодня со мной случилась беда, которая не знаю чем бы кончилась, если бы не Туся. Меня вызвал к себе Сергеев[19], посмотреть его пометки на гранках Миклухи. Критическая сторона оказалась на высоте; в своем недовольстве он часто бывал прав; но принять ни одной его поправки, буквально ни одной, – я не могла. Слуха никакого. Однако я возражала спокойно, и он принимал мои предложения. И вдруг, когда я решила, что все уже позади, он вынул из портфеля три страницы собственного текста, который, по его словам, вставить в книгу необходимо! Какая-то пустая газетная трескотня о Миклухином антимилитаризме. Как будто вся книга не об этом! Как будто созданная мною картина еще нуждается в подписи! Все слова, которых я избегала, все общие места, все штампы собраны на этих страницах. Я не выдержала, наговорила ему резкостей. Он требовал, чтобы я тут же подписала гранки. Я сказала, что не

раньше завтрашнего утра, – схватила гранки и ушла к Тусе.

Я к ней явилась в состоянии полной негодности. Еле-еле могла рассказать, в чем дело. Но Тусенька прочитала стряпню Сергеева и все поняла. За какие-нибудь два часа, расспрашивая меня, прикидывая и так и этак, она передиктовала мне злосчастные сергеевские страницы так, что они приобрели и содержание, и смысл, и стройность. И все это весело, с шутками, изображая бывшую жену Сергеева Адалис, и его самого, воспроизводя его жирный, сочный, самодовольный голос.

Я ушла от нее восстановленной. Нет, не только страницы были восстановлены, но и я сама.

8/XI 47. Днем занималась весьма прилежно, а вечером, в награду себе, поехала к Тусе.

Туся полнеет, ширеет – это, по-видимому, ее способ стареть, – но добро и ум, заключенные в ней, как-то еще явственнее к старости. После беседы с нею всякая беседа – как после беседы, скажем, с Борисом Леонидовичем – кажется убогой и плоской. Ее способность понимания людей – удивительна. Я не видела человека, который в своих суждениях о людях в такой степени учитывал бы разницу между ними и с такой ясностью понимал бы право каждого быть устроенным не так, как другой, и проявлял бы интерес и уважение к этому «не так». На каждого человека она смотрит со снисходительностью и зоркостью, пытаясь найти определение именно для этой, совершенно особенной, единственной в своем роде душевной конструкции.

22/III 48. Сегодня Туся прочитала мне свои любимые строки из Фета, и я все время твержу их:

> Не жизни жаль с томительным дыханьем, —
> Что жизнь и смерть?!. А жаль того огня,
> Что просиял над целым мирозданьем
> И в ночь идет, и плачет уходя.

16/X 48. Вечером я поехала в Союз на доклад Булатова о сказке. Доклад бледненький, но безвредный. И вдруг взял слово Шатилов[20]. Я видела его впервые. Он произнес глупейшую и вреднейшую речь: против «дилетантизма» (т. е., по сути дела, против творческого отношения к сказке), за «науку» – т. е. за бездарных педантов. Сделал несколько выпадов против Шуры. Похвалил Платонова, который якобы только тронул сказку, и она зажила новой жизнью.

Взяла слово Тамара. За все годы, что я ее знаю, я не слышала

от нее более блистательного выступления. Она взорвалась, как бомба, не теряя при этом с пылу с жару ни находчивости, ни последовательности, ни убедительности. Она быстро взмахивала – как всегда во время речи – кистью правой руки, и оттуда сыпались примеры, насмешки, зоилиады, обобщения. Она схватила со стола книгу Платонова, мгновенно нашла нужную страницу и показала, как именно он «тронул», – под громкий хохот аудитории.

24/V 50. Жалко, разумеется, всех троих: Евгению Самойловну, Тусю, Соломона Марковича… Но мне жальче всех Тусю. Болезнь Евг. Сам. накрыла ее с головой, поглотила; никогда она не была дальше от работы, чем теперь; где тут работать – ей уснуть некогда, некогда поесть – хотя дежурит сестра, не отходит от больной Соломон Маркович, и мы все помогаем как можем. Сусанна[21] – та просто переселилась на их черную коммунальную кухню, ходит на рынок, стряпает, пытаясь кормить Тусю и Соломона Марковича.

По правде сказать, Евгения Самойловна довольно капризная больная. Она в сознании, всех узнает, больших болей нет, но она требует, чтобы у ее постели безотлучно, кроме сестры, были они оба – и Туся, и Соломон Маркович. Поэтому Сусаннины попытки накормить Тусю почти никогда не удаются. «Туся!» – мгновенно выговаривает Е. С., чуть Тусенька выходит за дверь; «Туся обедает, Женичка! – говорит ей Соломон Маркович. – Подожди немного, дорогая, она сейчас придет». «Туся!» – твердо повторяет Е. С., и Туся приходит и наклоняется над ней, и целует, и уговаривает, и остается возле. Ее любовь к матери – как, наверное, всякая большая любовь – слепа. Она в умилении перед мужеством Е. С., которое нам не приметно.

– Я всегда знала, – сказала мне Туся со слезами, – что мама человек удивительного самоотвержения и мужества. Но сейчас поняла это заново.

Любовь слепа. И – всемогуща. Ухаживать за Е. С. в этой крохотной комнате, больше похожей размерами на купе вагона, – невыносимо тяжко. Ведь каждую минуту что-нибудь надо принести или вынуть, а двигаться негде. Чтобы отворить дверцу шкафа, надо отодвинуть стол. И Туся все это делает, вот уже которые сутки, не только без раздражения, но со светлым лицом, с шуткой, с улыбкой.

Когда Е. С. уснула – сестра, Соломон Маркович и Туся ушли в Тусину комнату обедать, а я осталась сидеть возле и менять лед. Со льдом беда: холодильника нет, и сколько мы ни принесем – все на час. Больная спала глубоко. Телефонные звонки ее не

будят, но грохот трамваев за окном каждую секунду заставляет вздрагивать. Словно рябь какая-то пробегает по ее лицу. Трамвай грохочет так близко, что, кажется, еще секунда – и он со звоном ворвется в окно. А шум для нее сейчас, наверно, очень мучителен. И никак не наладить с проветриванием. Откроешь форточку – сквозняк, потому что дверь напротив. Закроешь – духота.

20/VI 51. Были с Ваней у Туси. Ваня[22] в шутку спросил ее:

– Как вы думаете, Тамара Григорьевна, у Лиды с NN роман?

Тусенька махнула рукой:

– Нет. Блокадная баня. Можете быть спокойны.

И объяснила, что во время блокады сначала бани совсем не работали, а потом их открыли, но неделя была разделена на мужские и женские дни. Иногда приедут с фронта солдаты, охота помыться, а нельзя: день в бане женский. И женщины их пускали: «Ладно, мойтесь с нами… Нам ничего… Нам все равно…»

10/VII 51. Была в Лосинке у Вани и у Туси. Обедали у Туси, Ваня разливал чай. (Туся это называет: «Старшая дочь – помощница в доме».) Потом сидели на нагретом солнцем Ванином крыльце, потом втроем бродили по кладбищу. Там чудесный шум ветра в вершинах. Туся читала стихи, свои любимые: тютчевскую «Весну», лермонтовское «Когда порой я на тебя смотрю…». Потом поговорили о С. Г., о том, что муж все не может окончательно порвать с прежней семьей, и С. Г. мучается. Туся опять и опять объясняла мне, как она объясняет мне скоро тридцать лет, разнообразие любви, сложность человеческих чувств: одни другим разнообразные отношения якобы не мешают.

Мне кажется, это мужская теория, женщинам чуждая.

Ваня молчал. Я спорила. Туся сердилась.

19/VII 51. Съездила с Рахтановым[23] в Лосинку к Ване. Вытащили и Тусю к Ване. Он разостлал на лугу перед крыльцом два одеяла, и мы долго там сидели все четверо. Рахтанов сообщил, что в редакционные времена был в Тусю влюблен и даже объяснился ей в любви на Кирочной улице, когда они вместе возвращались от меня. Тусенька смеялась и не отрицала.

Мы стали подсчитывать, сколько уже лет знаем друг друга: я, Туся и Рахтанов – с зимы 1925 года; я и Ваня – с 20-го или 21-го – тридцать лет! И какие же мы уже старые!

– А правда, – сказал Рахтанов, – в юности совсем неверно представляешь себе старость? Теперь мы можем это проверить и убедиться в неправильности наших тогдашних представлений.

– Вы можете сформулировать, в чем неправильность? –

спросила Туся.

– Могу. Мы думали, что старики – это старики.

– Молодец, – сказала Туся. – Очень точно. Но только я должна признаться, что я так никогда не думала. Я всегда знала, что человек от первого дня до последнего один и тот же. А если уж говорить о переменах, то старость – это не утрата чего-то, а приобретенье.

20/IX 52. Удивительное Тусино свойство успокаивать боль, снимать с плеч тяжести. И не успокоениями – а тем, что вдруг открываются перед тобой перспективы, перед которыми твои горести – мелки.

Сегодня я приехала к ней в Лосинку, измученная своими бедами. А тут еще дождь. Мокрое шоссе, скользящий на мокрых листьях пьяный, мокрая темень в Ванином саду, через который я шла к Тусиной калитке. Сначала Туся была занята Сусанной, потом Евгенией Самойловной, и я ждала, раздражаясь. Но как только Сусанна ушла, Е. С. уснула и Туся начала говорить о моей рукописи – я сразу почувствовала не только ее правоту, но и целительность света, исходящего из ее голоса. Все, что меня давит, показалось маленьким перед существенностью, истинностью ее слов. Мои старания приобрели перспективу и смысл.

25/IV 53. Вечером съездила к Тусе за сумкой, которую эта фея Мелюзина давно уже приготовила для меня по случаю моего рождения. Там оказалась Шура. Фея в огорчении: ее заставили чуть ли не год работать над «Оловянными кольцами», она переделывала их, по требованию редакции (?), раз пять – а потом прочел начальник, некто Гусев, и сказал, что идея неясна: не содержится ли в пьесе проповедь глупости? Между тем идея совершенно ясна, ее поняла даже десятилетняя Фридина Саша[24]: пошлые люди видят в доброте и благородстве одну глупость… Саша поняла, но где уж понять Гусеву?

Посидели, погоревали.

Потом Тусенька, несмотря на свое огорчение, изумительно показала Б-ич. Взяла крышку от сахарницы, укрепила ее как-то сбоку на голове, раздула щеки, рукою показала подбородки до живота… Шура плакала от смеха, а я упала с Тусиной постели, по-настоящему упала на пол и еле могла встать.

Туся же показывала, совершенно не смеясь.

– И еще эта дурища, – сказала Туся, – постоянно ходит в розовых или красных платьях, облегающих бедра. Так и хочется взять кривой нож и отрезать кусок ветчины.

28/VIII 53. Туся вчера звонила из Лосинки. Плачет: Евгении Самойловне хуже, доктор подозревает второй инсульт.

Я поехала; в поезде теснота и ругань; по дороге – тьма и ругань. Ноги увязают в грязи.

Туся встревожена и изнурена. Часто, оставив меня, уходит к Евгении Самойловне, успокаивает ее ласковым голосом:

– Подожди, моя хорошая. Вот так. Сейчас тебе не будет больно.

Почему-то мы заговорили о Ване, о его способности, при любви к нам, – оставлять нас, покидать на века… Может быть, он нас не любит?

– Что вы, Лидочка! Конечно, любит. Ваня настоящий друг. Когда мама заболела, Ваня по три раза в день таскал вместе с вами лед. (И я сразу вспомнила ту лютую жару и нашу с Ваней беготню по аптекам и мороженщикам, а потом – как мы тащим, задыхаясь, эти грязные глыбы.) Но Ваня относится к тем людям, которые устают от интенсивности отношений. Это очень распространенный порок. Вы, я, Шура – редкость; норма была бы в том, что кончилась совместная служба – и потребность интенсивного общения тоже кончилась бы… Ну вот, а Ваня в норме: устает от обмена мыслей и чувств.

Погас свет. Соломон Маркович уже спал – Туся рано уложила его, так как у него болит сердце. Настя уже отбыла. Мы

с Тусей с трудом зажгли керосиновую лампу; потом я держала лампу, а Тусенька смазывала пролежни у Евгении Самойловны – приговаривая, уговаривая, утешая. Материнский она человек, хотя у нее никогда не было детей.

3/X 53. Мне пришлось сообщить Тусе о смерти Софии Михайловны[25].

Это было в Лосинке, куда я привезла на такси литфондовских врачей для Евгении Самойловны.

Пока Настя повела врачей мыть руки, мы на минуту остались с Тусей одни.

Я ей сказала.

Она сразу смолкла и тяжело задумалась.

– Может быть, вы хотите поехать к Самуилу Яковлевичу? – сказала я. – Поезжайте, а я побуду здесь.

– Нет, – сказала Туся. – Как я сейчас войду в этот дом, где она так не желала меня видеть? Она была очень несчастна. И почему? Ведь Самуил Яковлевич ее всегда любил. Вот теперь будет видно, как он ее любил!

Она села и написала С. Я. письмо, которое я отвезла ему.

10/X 53. У Туси в Лосинке была за это время один раз. Там все тот же ужас. Евг. Сам. в бреду. t° около 39. Новые пролежни. Меня она не узнала, Тусю узнает не всегда. Каждую минуту стон:

– Леня!

Она взывает к нему, как к защите и помощи.

Я спросила у Туси:

– Как Самуил Яковлевич? Как переносит горе?

– Он занят покаянием и мифотворчеством.

20/X 53. Наконец выбралась к Тусе в Лосинку. Служение ее все длится. Бинтует, перекладывает Евгению Самойловну вместе с Соломоном Марковичем. «Маленькая моя. Хорошая моя». Целует ее изможденное и бессмысленное лицо – с нежностью, долго не отрываясь. Не розовую щеку ребенка, а эту, желто-серую.

Я ей намекнула, что врачи, которых я привозила к Евг. Сам. из города на днях, очень интересуются составом крови. Мне они прямо сказали, что у Е. С. – рак печени, опухоль прощупывается. Этого я Тусе не сообщила, но она догадалась сейчас же:

– Они давно подозревали опухоль. Но это оказалось не так. Печень увеличена от сердца.

За чаем, когда Е. С. уснула, Туся пересказала мне новый роман Панферова:

– Понимаете, Лидочка, он все берет совершенно всерьез. Когда он описывает, что его герой вспотел у телефона, разговаривая с начальством, то видно, что Панферов ему вполне сочувствует: как же, ведь человек беседует с самим секретарем обкома! Автор и сам в таких случаях потеет. И проблему случки ядреной колхозницы с академиком он тоже поднимает на должную высоту.

30/X 53. Была у Туси в Лосинке. Вечером в глубокой темноте путешествовали вместе в аптеку. Туся сказала мне, что

Евгения Самойловна в бреду проходит заново стадии всех возрастов. Когда она чувствует себя ребенком, то очень серьезно и старательно произносит:

– Ма-ма.

Когда чувствует себя молодой – зовет девочек, дочек: Лека! Туся!

24/XI 53. Недавно я как-то мельком сказала Тусе, что нигде не могу достать подходящие ночные туфли, а ноги отекают мучительно. Сегодня она вдруг позвонила мне: туфли меня ждут. Я очень была тронута. Спрашиваю:

– Сколько же я должна вам?

– Ничего не должны… Фея Мелюзина всегда дарила Золушке башмаки бесплатно.

– Ну, Туся, какая же я Золушка?

– А чем же вы не Золушка, между прочим? Подумайте хорошенько и вы увидите большое сходство.

– Но характер, Туся, характер!

Тут уж и премудрая Тамара ничего не нашлась ответить.

16/XII 56. Когда я 13-го вернулась в город из Малеевки, у меня на столе лежала Люшина записка: «Мама, случилось ужасное несчастье, ночью умер Соломон Маркович».

Я, не раздеваясь и не распаковывая чемоданы, поехала к Тусе.

Она скрывает от Евгении Самойловны, скрывает, говорит, что Соломон Маркович в больнице – а он лежит – мертвый – у нее в комнате – под простыней.

Е. С. часто зовет Соломона Марковича. Выслушает Тусино подробное и даже веселое повествование о больнице – и опять: «Леня!»

Я боялась, что она услышит похороны. Но нет – хотя множество народа толпилось в кухне, в коридоре, у Туси, у соседей. Была страшная минута, когда выносили гроб: его не могли повернуть в коридоре и вынесли на лестницу торчком.

У ворот стоял автобус и несколько машин. Меня поразила Туся. Выйдя из дому, она плакала, уже не скрываясь, но сквозь слезы и страшное утомление зорко следила, чтобы все больные и старые были удобно рассажены по машинам. Сама усаживала Асю Исаевну и других старушек.

А как она была хороша при последнем прощании, уже в крематории! Именно хороша, я не подберу другого слова. В ней была такая красота расставанья и скорби, что мне ее даже не было жаль: красоту не жалеешь. Как она опустилась перед гробом на колени, энергично откинув полы пальто, и стояла на коленях, маленькая, сильная, прекрасная, и под музыку органа целовала и гладила его руки, прощаясь с ним, не видя кругом ничего, не отрываясь от его лица и рук до последней секунды.

11/X 57. Ночью скончалась Евгения Самойловна.

Вчера я была там весь день – до 11 вечера. Бегала в аптеку за кислородом, сидела возле Е. С., когда Туся, минутами, уходила к себе. Туся, поняв, что это – конец, сделалась тверже, чем была последние дни, стала реже плакать, в ней начала проступать та сила, которая так видна была при кончине

Соломона Марковича. Евг. Сам. уже не отзывалась – ни на

слова, ни на уколы. Губы синели, нос заострялся, дыхание все больше походило на хрип. Но часов в 11 она стала ровнее дышать, будто заснула, и мы с Тусей пошли чай пить к ней в комнату. Я думала – остаться мне на ночь? и решила – нет, потому что Ревекка Марковна здесь и, если я останусь, ей негде будет лечь.

Тусенька проводила меня как всегда – ласково и бодро. Постояла у дверей, пока я спускалась.

Утром я долго не решалась звонить, боясь разбудить Тусю, если у нее была трудная ночь. Наконец позвонила.

– Мама умерла, Лидочка… В два часа…

Потом – долгое молчание в трубке.

Днем я, вместе с Ваней и Верой Васильевной, с цветами, поехала туда. Та же комната, тот же из окна привычный мне вид: школьный двор за облезлой стеной, и дерево, тот же грохот трамваев – только кровать, где она всегда лежала, застлана, а она – на столе, рядом, такая маленькая среди груды цветов. Туся из-под цветов вынимает и разглаживает ее окостеневшую ручку, прикладывает к своей щеке и целует – «Дитя мое, Мурушка моя» – как столько раз говорила в жизни. Опять – какая в ней красота и сила в выражении горя, в каждом слове, жесте – как у великой актрисы, нашедшей полную форму для выражения человеческой скорби.

6/XII 57. Тусенька живет у Самуила Яковлевича, потому что ее новая квартира еще пуста и не устроена. «Циклюют полы». Предстоит еще множество забот: какую-то мебель продать, какую-то купить. И книги! книги! Туся говорит, что ей заниматься всем этим особенно противно, потому что весь Аэропортовский дом гудит стяжательским ажиотажем.

22/XII 57. Вчера была у Туси, т. е. у С. Я. Она как-то зараз возбуждена и утомлена. Дом у С. Я. сложный, сутолочный, но ей, видно, все же легче переносить эту сутолоку, чем пустыню своей запоздавшей квартиры. Я ей очень советовала раньше поехать куда-нибудь на воздух, отдохнуть, а уж потом устраиваться, но она повторяет: «Я так не могу. Я должна раньше все устроить, а то какой же отдых». Много думает она и о том, как бы наладить быт С. Я., но, кажется, быт этот таков, что даже ее мудрость бессильна.

28/I 58. Тусенька больна. Она уже у себя, на новой квартире. Какое-то, видимо, обострение диабета. Много лежит; с трудом поднимается и ездит к С. Я. читать корректуру. У нее чинят

мебель. Ей худо, но об отъезде в санаторий слышать не хочет. «Надо кончить корректуры, надо кончить устраивать свой дом».

7/II 58. У Туси на лице какие-то нарывы. Она боится рожистого воспаления. С. Я. дал машину, Туся надела шубу, закутала голову и пол-лица в шелковый, а сверху в пуховый платок, и я повезла ее к дерматологу. Тот сказал, что все это на почве диабета и должно пройти в 2–3 дня. Я отвезла Тусю домой и просидела у нее вечер. Дома у нее еще развал; тараторит, хотя и дело делает, невыносимо вульгарная Настя; привезли новый шкаф, и, как на зло, не работает лифт.

17/II 58. Тусе немного лучше. Она уже встает и совершает всяческие безумства: ставит книги в шкап и читает корректуры.

4/III 58. У Туси новый нарыв на лице. Она опять лежит. Ей необходимо уехать, но как найти санаторий с отдельной комнатой и лечебным питанием?

15/VII 58. Вечером, измучившись жарой, я поехала к Тусе, посидеть на балконе. Все-таки у нее окраина, воздуху больше.

Тусенька сидела в складном кресле, а я на скамеечке, у ее ног. Глубокий колодец двора – и такое утешение хоть издали, хоть за крышами домов видеть зеленые деревья. Туся сначала была веселая, рассказывала мне, что делается у соседей.

– Вот Шаров пришел на кухню… Он в пижаме… Вот он открывает шкапчик… достал графин… вот разбавляет водой… А чаще он пьет, не разбавляя… Третья рюмка… Теперь он уходит, держась за стену…

Но окончился вечер слезами.

– Вот на тот балкон, – сказала мне Туся, – по утрам выносят кресло, и потом я вижу закутанную маленькую старушку… Я бы тоже устраивала маму на балконе…

Голос дрогнул, и она заплакала – на минуту.

– Если бы вы знали, Лидочка, как ясно я вижу их обоих – маму и Соломона Марковича. Иногда это воспоминание: вспоминаю улыбку, движение руки, волосы. А иногда это уже не воспоминание только, а виденье: я вижу их в самом деле. И тогда я говорю с ними, все им рассказываю.

3/I 59. Сегодня наконец я выбралась в Боткинскую к Тусе.

Мне тяжело было сворачивать за тот же угол, въезжать в те же ворота, видеть прошлогоднее Люшенькино окошко.

Слава богу, Туся в другом, далеком, корпусе. Я долго шла по

белому, чистому снегу в самую глубь территории.

В больнице (и в тюрьме) время течет совсем не так, как на воле. И это странным образом чувствуется не только внутри корпусов, но даже пока идешь по двору. «Тут каждая минута протекает тяжелых полных шестьдесят секунд».

Тусю я застала в нехорошем духе, какую-то непохоже на себя тревожную, раздраженную. Один раз у нее даже оборвался голос слезами.

Она увела меня из приемной в большую пустую проходную комнату, где горела елка, и мы остались вдвоем. Туся сказала мне, что ее не только не лечат, но даже почти и не исследуют. Та докторша, ради которой она сюда согласилась лечь, работает в других палатах и по этому случаю не обращает на Тусю никакого внимания, хотя и обещала Самуилу Яковлевичу заняться ею. Туся уверяет, что ей здесь стало гораздо хуже, чем было дома.

– Питание хуже и не спите? – спросила я. – От этого?

– Нет, от больничных безобразий. Я не могу переносить зрелище больничных безобразий. Не относительно меня, а других.

Все за деньги. Дашь три рубля – принесут грелку, дашь три рубля – переменят рубашку или полотенце.

У Туси в палате лежит тяжелобольная, умирающая. За ней нет настоящего ухода, больные сами поят ее, меняют ей грелку, Туся постоянно по ночам бегает в дежурную за врачом или за сестрой, настаивает, чтобы сделали то или другое.

Мимо нас в одну из палат прошли три молодые женщины в белых халатах.

– Смотрите, Туся, все три – хорошенькие, – сказала я.

– Да, их, верно, по этому признаку и подбирают, – сердито ответила Туся. – И никто их не учит, как надо обращаться с больными людьми.

Она рассказала про свою единственную отраду здесь, больную девушку, лет девятнадцати, Нину, которая с удивительной деликатностью, отзывчивостью, нежностью ухаживает за тяжелобольными.

– Без нее я бы тут просто лопнула от злости, – сказала Туся.

Потом она на минуту развеселилась и в лицах изобразила сцену между врачами и одной больной – деревенской старухой, у которой нашли язву желудка. Ей объясняют, что необходимо оперировать. А она не хочет. Лечащий врач и так и этак – ни в какую. Тогда ее посетил высокий, статный, красивый – и хоть молодой, но уже очень важный – заведующий отделением. Объясняет ей необходимость операции.

Сыплет научными терминами. А она твердит свое: «Я вот тут

в больнице не ем мяска, и мне лучше. Я теперь и дома не буду есть мяска, и все пройдет».

– Не в том дело, мамаша, – говорит врач, – скажу вам попросту, по-русски: язва – это трамплин! Поняли?

Мне пора было уходить – кончились приемные часы, – но Туся меня не отпускала. «Ну еще минуточку, ну еще немного». Я все старалась у нее узнать: почему же ее все-таки не исследуют, если положили на исследование, и что надо предпринять? но так ничего и не поняла. С. Я. уже много раз звонил и пытался добиться толку, но дело ни с места.

А мы-то все без конца уговаривали Тусю лечь на исследование! И Любовь Эммануиловна[26], и Ревекка Марковна, и Самуил Яковлевич, и я… Теперь надо хотеть одного: чтобы она скорее вернулась домой, где нет этих мучительных впечатлений… Но дома встанут опять те же нерешенные вопросы: дозировка еды и инсулина…

– Мы здесь словно не для лечения находимся, – сказала мне Туся, – а арестованы на две недели за хулиганство. Нет, со мною вежливы. Меня тут, как больные говорят, «уважают». Но вот с другими…

16/III 59. У Туси – рак. Рак желудка.

Она позвонила мне часов в 12 утра, рыдая в телефон. Нет, она не знает, что рак. Ей сказали – язва.

– Сегодня, по случаю дня моего рождения, мне врачи подарили язву, – начала она бодро и насмешливо. – Тороплюсь вам об этом сообщить, стою еще в шубе.

– Но понимаете, Лидочка, – рыдание, – я боюсь, они не говорят *всей* правды. Мне-то ведь не скажут: не полагается, – рыдание. – Как вы думаете, если Самуил Яковлевич позвонит рентгенологу, ему скажут все как есть?

– Ну конечно! – закричала я. – Конечно, скажут правду!

(А Самуил Яковлевич уже звонил рентгенологу, и тот ему уже сказал: рак, и я уже это знала.)

Вечером мы все собрались у Туси с подарками. Туся была оживленная, нарядная, и стол был накрыт не на кухне, а в большой комнате. От Тусиного смеха и оживления было как-то еще горше. Один раз, когда она вышла из комнаты, Самуил Яковлевич сказал:

– Точно солнце закатывается.

В конце ужина заговорили о язве, больнице, Кассирском[27].

Туся сразу рассердилась и, став возле книжного шкафа, начала на нас просто кричать:

– Я не ребенок! Если это язва, то мне отлично известно, что

язву не удаляют, а лечат! Я соберу консилиум, и пусть меня научат, как я должна лечиться! Ни в какую больницу я не лягу: в Боткинской меня отравили. Я послушалась вас всех, легла туда, и мне стало хуже.

22/III 59. Звонила Туся. Уговоры врачей, объяснявших ей, что язву необходимо оперировать, пока она не кровоточит, возымели свое действие.

– Я вижу, что мне все равно не дадут остаться дома, – сказала Тусенька спокойным голосом. – На днях я лягу.

29/III 59. Сегодня я ездила в железнодорожную больницу к Тусе. Она в отдельной палате. Кажется, что вся весна собралась в этой маленькой комнате: в чистом окне – яркое небо, на подоконнике, в вазах, живые цветы, на полу – солнце, а Туся такая веселая, розовая, сильная, молодая, что я уверена в ошибке врачей. Лежит она не в больничном, а во всем своем. Чувствует себя великолепно, много читает, хорошо ест, диабет настолько улучшился, что ее милая врачиха, слегка похожая на Зою, Дебора Абрамовна, в шутку называет ее «симулянткой».

В опухоль я больше не верю. Чепуха. Туся даже прибавляет в весе.

30/III59. Сегодня с утра я в больнице. Оперировали Тусю.

Часа два я сидела внизу с Ревеккой Марковной. Потом кое-как прорвалась в кабинет Кассирского, где был и Самуил Яковлевич. Кассирский рассказывает, что Туся вела себя мужественно, весело, а организм ее тоже оказался на высоте:

«Сердце работало так, как будто ей ничего и не делали».

Мы с С. Я. без конца ходили по коридорам и врачебным кабинетам, С. Я. еле волочил ноги, опираясь на меня, но с врачами и сестрами говорил требовательно, настойчиво, энергично.

В палату к Тусе нас не пустили. Но пока С. Я. беседовал с дежурным врачом, я пробралась к дверям палаты и сквозь стекло увидела Тусю. Она еще не очнулась. Лицо белое. У ног стоит деревянное сооружение, в ногу воткнута игла. Возле, на стуле, сестра.

Лучше бы мне позволили посидеть, хоть первые часы.

Мы спустились вниз к Ревекке Марковне. Втроем ждали Андросова. Страшно хлопала дверь на блоке. Андросов похож на доброго людоеда: широкая улыбка и сплошные сильные зубы. На вопрос С. Я. об опухоли он ответил, сверкнув зубами:

– Матерый рачище!

Но клянется, что метастазов нет…

5/IV 59. Была у Туси в больнице. Когда вошла в палату, она спала (после морфия). Я села на стул и долго ее рассматривала. Как будто что-то новое в ней поселилось, с тех пор как она в больничной рубахе, на плоской подушке, – или это потому мне кажется, что я знаю, какая у нее болезнь? Лицо искажено опухолью заушной железы, лицо серое, я бы даже не сразу узнала Тусю, если бы уже не видела ее раньше на этой кровати. И только когда она открыла глаза – умные, проницательные – и полилась ее живая, обильная, сама себя перебивающая, насмешливая речь – я вполне узнала ее.

У Зои инфаркт, у Шуры криз и, может быть, инфаркт, у Туси – вот эта внезапно подкравшаяся смерть, от которой ее на время спасли. Внезапно? Нет, ведь человек не может перенести того, что выпадает ему на долю. Это только кажется, что он перенес. Если и перенес душевно, то физически – нет. И этой материализованной невозможности дают название: инфаркт, рак.

Разве может даже самый здоровый человек перенести то, что перенесла Туся?

Тюрьма.

Блокада.

Гибель Миши на войне.

Гибель Юрия Николаевича[28] на войне.

Гибель Иосифа в лагере.

Четырнадцать лет жизни в шкафу, из которых 8 в этом же шкафу она день и ночь ухаживала за парализованной больной.

Гибель Евгении Самойловны и Соломона Марковича.

Все эти гибели вместе и называются: «У Туси рак».

7/V 59. Туся рассказала мне о сиделке, молоденькой девушке, которая, желая сделать приятное пожилой больной и поговорить с ней о церковном – так поздравила ее с Пасхой:

– Христос – Исус! – и сообщила:

– Я сегодня, когда шла в больницу, видела длинный-длинный Крестовый Поход!

5/XII 59. Навещала Тусю. У нее желтуха. Она лежит, вставая только к столу. На одеяле, на подоконнике, на бюро – всюду зелененькие томики: Туся перечитывает Бунина, которого она любит, а я только «признаю». Пристроив книгу перед собой на подушке, она прочитала мне вслух маленький рассказ «Русак» – и по голосу, когда она читала, было слышно, как нравится ей каждое слово.

– Хорошо, – сказала я. – Только мне это почему-то не надо.

– А мне – так надо, так надо! – закричала Туся. – Какое удивительное в этом рассказе горячее чувство жизни, таинственности жизни, тайны пространства, дали, отрытого поля, тьмы… До жгучести, до счастья.

5/I 60. У Туси желтуха, у нее метастаз, рак печени.

И руки милые сгорят
Под лживый плач органа,
И будет глупый этот сад,
Как асфальтированный ад,
И тщетно буду прятать взгляд
От дыма над поляной.

Когда я одна или говорю с друзьями или с врачами, я понимаю, что казнь совершится, и приговор обжалованию не подлежит. Подходя к Тусиному подъезду, я вижу автобус, похоронный автобус, который скоро будет стоять здесь. Но стоит мне услышать Тусин голос по телефону или увидеть ее – я перестаю верить в приговор. Ее гибкий, полнозвучный голос и смех, умные, зоркие глаза, ее расспросы о близких, пересказы прочитанных книг – живое опровержение надвигающейся смерти.

Возле нее я успокаиваюсь.

Но стоит мне уйти – и я опять знаю, что руки сгорят.

18/II 60. Теперь уже верю и сидя возле. Другое лицо: маленькие глаза, большой рот. Другие руки: большие и худые.

Ей все трудно: говорить, слушать, хотя она по-прежнему ласкова и расспрашивает меня обо мне и моих делах. Ей хочется одного – отвернуться к стене и спать. Я вижу от раза к разу, как она все дальше и дальше уходит от нас. Я под разными предлогами торчу в кухне или в большой комнате и возвращаюсь к ней только тогда, когда она звонит в колокольчик.

Иногда она жалуется:

– Ах, Лидочка, я никуда не гожусь. Завяжите меня узелком и выбросьте в окошко.

– Ах, милый друг, с каждым днем все меньше сил. Путают что-то врачи.

Недавно сказала:

– Мне и Шуре судьба всегда отрезает от одной краюшки. Мне – ей, мне – ей… Надо мне выкарабкиваться, чтобы и она спаслась.

По телефону говорит с трудом. Объяснила мне, что голос упирается в то место живота, где у нее боль.

(«Все-таки оказалось, что главное в жизни – это живот».)

Но видно, что она не теряет надежды. Сегодня приподнялась и долго смотрела в окно.

– Очень хочется на воздух. Чуть только мне станет лучше – поедем за город, к деревьям.

Я сказала, что повезу ее в Переделкино.

– И туда, конечно, я давно хотела побывать в Библиотеке[29]. Но о чем я мечтаю – это о Коломенском. Я там никогда не была. В первый же хороший день – поедем непременно.

20/II 60.

Гораздо меньше глаз, чем рта,
Уже в лице осталось.
И щедрая улыбка та
Уж возбуждает жалость,
И руки те уже не те,
Что жизнью нас поили,
И правоте и красоте
Пособниками были.
Осиротелые, одни,
Лежат на одеяле,
Как будто ей самой они
Уже чужими стали.

27/II 60. Туся.

Сегодня многое было, наверное, в последний раз, и потому с такою остротой весь день вблизи и вдали от нее работала «память сердца».

Она еще жива, она с нами, она сегодня говорила и со мною, и с Настей, и с Самуилом Яковлевичем, а я уже вспоминаю былое, будто нет ее!

Я к ней собиралась в 12. Но в 10 позвонила Настя: не могу ли я придти раньше, Тусенька просит. Я поехала. Туся сегодня какая-то возбужденная и изнеможденная зараз. Вызвала она меня затем, чтобы попросить съездить в сберкассу на Новослободской и узнать, как перевести деньги в другую сберкассу, поближе к Аэропорту. «Я дала Леле доверенность на получение некоторой суммы денег, а вас хочу попросить добиться перевода: пусть часть денег лежит поближе. А то мне неловко каждый день посылать Настю или друзей с доверенностями в такую даль».

Говорила Туся очень толково и уверенно, а у меня сердце сжалось от этой просьбы: значит, она, бедняга, надеется жить! Иначе она либо вовсе не заботилась бы о деньгах, либо просто

поручила кому-нибудь из нас взять все деньги домой…

Спорить я не стала, а отправилась в сберкассу на Новослободскую.

В троллейбусе я все время плакала. Стыдно было перед людьми. Весь район Сущевской улицы более для меня связан с Тусей, чем Аэропорт. Вот проходной двор их дома, через который я ходила в аптеку за кислородом для Евгении Самойловны, а Тусенька глядела в окно: не иду ли я. Да и вместе мы здесь сколько раз ходили в аптеку. Вот остановка троллейбуса, где меня ночью однажды, когда я возвращалась от Туси, переехал велосипедист. И в сберкассу эту мы с ней ездили еще не так давно вместе. Вот ее остановка метро. И всегда все это для меня до самой смерти будет ее, а ее не будет.

Я взяла бланки и поехала обратно. Прежде чем войти к ней, вымыла физиономию в ванной. (Тусенька ведь не плакала, когда входила к Евгении Самойловне после смерти Соломона Марковича.) За этот час, что меня не было, она переменилась. Как-то устала, поникла, не полусидит, а глубоко лежит в подушках, и говорит с трудом. Она посмотрела на меня как-то издали, и сначала даже ничего не спросила, и только потом припомнила свое поручение. Приподнялась, попробовала прочитать бланки. Ничего не поняла и сразу устала. Велела мне самой все заполнить и дать ей подписать.

Я заполнила, сидя за бюро. И вот тут опять началась моя сегодняшняя мука: в последний раз, в последний, я пишу что-то для нее, возле нее, и вытираю перо тряпочкой, которая хранится под глиняной юбкой ее вятской куколки. Сколько раз она, смеясь, показывала мне, где лежит ее тряпочка, когда мы работали вместе. И больше никогда мы не будем работать вместе! Это сверкающее, без пылинки, бюро, со всеми ящиками, куколками, коробочками – бумага для машинки в левом верхнем, почтовая в правом нижнем – все оно как будто ее дом, обдуманный, обжитый, трудовой и нарядный. И в этом доме, где было подарено мне столько мыслей, исправлено столько моих страниц, я вытираю перо в последний раз.

В последний раз сегодня Тусенька сидела за своим бюро. Я хотела было подать ей бланки на подпись в постель, но сообразила, что, лежа, она подпишется не так, как обычно. Я помогла ей подняться, надела ей на босые ноги маленькие ее туфельки и почти перенесла в кресло перед бюро. «Где писать? Здесь? Я что-то не разберу», – говорила Туся, еле держа голову.

Я уложила ее обратно, и она сразу закрыла глаза.

28/II 60. Она сидит, я пою ее чаем с ложечки. Слабенькая, еле

держит голову. Я одной рукой пою, а другой поддерживаю спину.

Проглотила две ложечки, взглянула на меня:

– Вот так, Лидочка, и бывает. Так и бывает…

И махнула рукой.

Очень долго спала; проснулась бодрее. Лежит и улыбается.

– Вы что, Туся?

– Лидочка, я все думаю, откуда берется столько лиц, образов, происшествий, интересных картинок… Где они производятся, откуда ко мне приходят?

– Во сне?

– Нет, все время.

1/III 60. Сознания уже нет. Вернется ли?

В последний раз она узнала меня вчера – или это уже сегодня? – часов в 6 утра. Опять были судороги. Они всегда пробуждают ее сознание – болью пробуждают. Мы уже поняли, что когда начинает как бы улыбаться рот, это не улыбка, это судороги близки. Надо скорее растирать руки, лицо.

Я наклонилась – глаза расширенные, и в них ужас перед болью и радость, что она не одна, я тут. Она меня узнала. Я растирала ей лицо и звала Настю. Когда судороги прошли, Туся взяла мою руку и положила под щеку себе.

3/III 60. Туся в гробу.

Если смотреть от дверей, кажется, что гроб – это лодка и Туся плывет куда-то, покорно и торжественно отдаваясь течению.

Течению чего?

Если смотреть, стоя в головах, то виден прекрасный лоб, высокий, сильный. И справа, над виском, – нежное пятнышко седины. Кругленькое.

II
Отрывки из воспоминаний

Тусенька была первым интеллигентным религиозным человеком, с которым я встретилась в жизни. Меня это дивило; мне тогда казалось, по молодости лет, что религиозность присуща только людям простым и отсталым; Туся же была так умна, так образованна, так начитанна, от ее суждений веяло зрелостью ума и сердца. И вдруг – Евангелье, Пасха, церковь, золотой крестик, молитва… Я видела, что разговаривать о своей религии она не любит, и долго не решалась ее расспрашивать. Но любопытство взяло верх, и однажды, уже в редакционные годы (наверное, в начале тридцатых), я попросила ее рассказать мне и

Шуре о своей религии, объяснить нам, в какого она верит Бога.

– Хорошо, – сказала Туся, – но только с одним условием. Я вам объясню *раз,* и поймете вы или нет – я больше никогда объяснять не стану, а вы больше никогда не будете меня спрашивать.

Я обещала. Она назначила вечер и пришла. Мы сидели втроем у меня в комнате – Туся и Шура на диванчике, а я на ковре – и Туся изложила нам свой символ веры. Воспроизвести ее речь подробно я сейчас, четверть века спустя, не могу, запишу немногое.

– Вы спрашиваете, что означает моя вера в Бога? – сказала Туся. – Я верю, что существует счет, и к этому счету всегда мысленно обращаюсь. Бог – это постоянный суд, это книга совести. Меняются эпохи, времена и люди, но ведь красоту добра и самоотвержения люди понимают всегда, во все времена. Красота отдачи себя понятна всем людям. Культивирование этой красоты – это и есть религия.

* * *

Познакомились мы зимой 1924/25 года в Институте; впервые разговорились, пройдя вечером по набережной Невы от Медного Всадника до Литейного.

Туся рассказывала мне о Рождестве в Выборге, о маленьких домах и о елках, горящих внутри, за окнами; о саночках, на которых везут детей и покупки; о снежной тишине.

Была весна, мы обходили лужи. Я смотрела на нее с удивлением: я никак не ожидала, что эта барышня, в какой-то мудреной шляпке, с намазанными губами и мелкими кудряшками на лбу, может так чудесно рассказывать…

Вообще, в первое время нашего знакомства мне казалось, что Тусина наружность и манера одеваться не выражают ее естества, а противоречат ему. С годами это изменилось: то ли я привыкла, то ли Тусина внешность стала более соответствовать ее душе.

* * *

Еще в студенческие времена Туся мне рассказывала, что ощущение счастья связывается у нее всю жизнь с мыслью, с подаренной ей, осенившей ее, новой мыслью.

Религиозная мысль впервые посетила ее в детстве. Маленькой девочкой, в Выборге, она стояла вечером у окна, слегка раздвинув

шторы. За окном, в луче света, опускался снег, и она впервые ощутила огромность вселенной, единство жизни, свою причастность к миру и неизбежность смерти.

* * *

В ленинградские студенческие времена Туся называла меня «Лидия-Катастрофа» – за то, что со мной всегда что-нибудь случалось, и «Чуковская-Немезида» – за то, что я всегда приходила в назначенное время, минута в минуту. Это мешало ей, так как сама она к ею же назначенному времени обычно не бывала готова. Приду к ней к 9 утра, как условились, – а в передней еще темно, и в Тусиной комнате спущены шторы, и Туся крепко спит, положив руку под щеку. Проснется, увидит меня:

– А, Чуковская-Немезида, вы уже здесь? Ну что бы вам было опоздать немного?

В ту пору называла она меня в шутку – за высокий рост и густые короткие волосы – «Помесь льва и пальмы»; про одну мою тогдашнюю фотографию, где у меня рот открыт, говорила: «открывает щука рот, а не слышно, что поет». Позже одну мою московскую фотографию, где я сижу какая-то важная, толстая, рядом со встрепанным Ваней, она называла так: «Миклуха-Маклай со своим папуасом».

* * *

Я всегда была – и, к сожалению, осталась – нетерпеливой, нетерпимой, раздражительной. Туся была первым человеком, из встреченных мною в жизни, без раздражения относящимся к трудным, неприятным сторонам человеческих характеров.

– Ну как вы можете выносить NN? – сказала я однажды об одном нашем общем приятеле, студенте. – Он, конечно, человек хороший – но до чего противно заикается, мямлит, тянет, а одеваясь, так медленно заматывает шарф, что я лопаюсь от злости.

– А я не лопаюсь, – ответила Туся. – Если человек в основном хороший, то мне легко сносить его недостатки. Пусть заматывает, заикается или еще что-нибудь. Меня это не раздражает.

Однажды (уже на Сущевской) Туся пожаловалась мне: Самуил Яковлевич сердится, что она много времени тратит на Городецкую.

– Ну что вам за охота без конца возиться с этой старой,

скучной дамой! – крикнул он Тусе в сердцах.

– А я, – сказала мне сердито Туся, – ответила Самуилу Яковлевичу: я сама старая скучная дама. И, наверное, потому мне не скучно возиться с ней.

– Ох, – сказала я, – Городецкая в самом деле, Тусенька, несносная зануда, и я понимаю С. Я., что она его раздражает… Вы больны, утомлены, заняты – она своими просьбами выматывает ваши последние силы. Один телефон чего стоит!

Вы сами жалуетесь, что от телефонных разговоров у вас сердце болит.

– А вам разве неизвестно, Лидочка, – сказала Туся медленно и сердито, – что помочь человеку, не повредив себе, вообще невозможно? Разве вы этого еще не знаете?

К Тусе повадилась одна провинциальная, весьма посредственная и весьма настойчивая писательница. В тяжелую пору болезни Евгении Самойловны она упорно ездила к Тусе на дачу, заставляла ее читать свою рукопись и пр.

– Ну зачем вы ее принимаете? – сказала я Тусе. – Она гораздо более настырна, чем талантлива.

– «Жаждущего напои», – ответила Туся даже с какой-то торжественностью.

Доброту в людях Туся очень ценила. Она часто, говоря, например, о Сусанне, восхищалась «энергией добра», ей присущей. «Если Сусанна жалеет человека, она все для него может». Зато о Барто, о ее напористости, она один раз сказала: «В ней гораздо больше энергии, чем света. Я таких людей боюсь».

* * *

Туся любила Люшу и, когда Люша была маленькая, часто мне говорила, что я хорошо ее воспитываю. «Да она от природы хорошая, я ее никак не воспитываю», – отмахивалась я. «Нет, воспитываете, – спорила Туся, – вы каждый ее поступок, дурной или хороший, показываете ей своим гневом или похвалой как бы в зеркале. Так и надо. Надо, чтобы растущий человек постоянно видел свое отражение в этическом зеркале… Сама собой растет только сорная трава – культурные растения требуют ухода».

Она часто говорила мне – особенно часто в Ленинграде, – что ее любимая мечта – быть директором школы.

«Мне кажется, я знаю, что надо воспитывать в детях, чтобы они вырастали настоящими людьми. Три качества: честь, воображение, волю. От этих трех качеств зависят все остальные».

* * *

– Людей необходимо с детства любить. Обучать интенсивно, деятельно. Надо добиваться того, чтобы ребенок умел сосредоточивать внимание на другом, не на себе, умел заметить состояние другого человека, умел придти другому на помощь. Нужно именно обучать этому, тренировать в этом. Это тоже – наука.

* * *

– «Как люди в страхе гадки!» – великая мысль. Человек, не умеющий одолеть страх, не поддаваться страху, с неизбежностью окажется падшим.

Трем экзаменам подвергается в жизни человек: испытанию нуждой, испытанию страхом, испытанию богатством. Если он может переносить нужду с достоинством; страху – не поддаваться; живя в достатке, понимать чужую нужду – он – человек.

* * *

Однажды я спросила у Туси:

– Как, по-вашему, наиболее кратко и точно сформулировать основную ошибку наших педагогов, критиков – или, скажем, редакторов Детгиза – в подходе к литературе? В чем она?

Туся ответила мгновенно, без всяких затруднений:

– Они думают, будто искусство – это правильная идея в занимательной форме. Между тем это нечто совсем иное; в настоящем искусстве нет идеи в форме; связь другая, гораздо более органическая. Да это вовсе и не связь двух явлений, а нечто третье.

* * *

– Если знаком с человеком и сразу узнаёшь его в его писаниях – его склад ума, его осведомленность, его остроумие, – перед тобою, по-видимому, всего только способности. Признаки таланта другие. Берешь в руки рукопись и поражаешься: неужели это написал вон тот мой приятель? Откуда он это знает? Вот уж никогда не подумала бы, что он это знает!

* * *

Туся говорила о Шкловском:

– В его работах встречаются интересные мысли. Но вот знаете: есть такие собаки, которые умеют родить щенков, а выкармливать, воспитывать не умеют. Так и Шкловский: родит мысль, а додумать ее, вырастить, поставить в связь с другими – не в состоянии. Кто-то другой должен подбирать его мысли и выхаживать, растить их. Сам он из них ничего толкового сделать не способен.

* * *

– Прочитала книгу Нечкиной «Грибоедов и декабристы», – сказала мне однажды Туся. – Интересная книга. Но самое большое место в ней все-таки занимает *и:* Грибоедова нет, декабристов тоже маловато, а вот *и* тянется семьсот страниц.

* * *

– Читаю роман Ч. в «Знамени». Батюшки мои, как интересно! Очень интересно следить за тем, что выходит у подлеца, когда он пишет о благородстве.

* * *

Однажды Сусанна привела к Тусе Снегирева. Он сидел целый вечер, читал свои рассказы, болтал, ужинал.

– Ну, каков Снегирев? – спросила я на следующий день.

– В нем живет художник, ребенок и обезьяна, – ответила Туся. – Но ни на гран человека.

* * *

– Хочется иногда умереть, – сказала я Тусе однажды, очень утомившись. (Это было еще на Сущевской, задолго до Тусиной болезни.)

– И мне тоже, – сказала Туся, – очень. Но я не позволяю себе мечтать о смерти. Это было бы не по-товарищески, свинство. Это то же, что самой уехать в санаторий, а других оставить

распутываться как хотят.

* * *

Мне часто случалось жаловаться Тусе на чью-нибудь очередную грубость – в домоуправлении, в издательстве, в Союзе. И сама она нередко жаловалась мне на грубость чиновников. Однажды, когда мы с ней рассуждали о природе чиновничьего хамства, она сказала:

– У советских служащих психология своего рода пенсионеров. Они рассматривают свою зарплату как пенсию, выдаваемую им государством на двух условиях: они должны являться в определенное помещение к определенному времени и находиться там семь часов. Всё! О том, что в это же время, за эти же деньги они должны производить какую-то общественно-полезную работу, – они и не подозревают. Они ссорятся, мирятся, флиртуют, рассуждают о ценах на мясо и на чулки, где что дают, где что выбросили, кто с кем живет… А тут являемся мы с вами, отрываем их от интересных разговоров, задаем неинтересные вопросы, требуем чего-то и ждем и настаиваем. Естественно, что эти странные претензии их раздражают.

* * *

На полушутливый вопрос одного молодого человека, на ком следует и на ком не следует жениться, Туся ответила:

– Жениться можно только на той женщине, с которой вам, мужчине, было бы интересно встречаться и разговаривать, даже если бы она была не женщиной, а, как и вы, мужчиной.

* * *

– Терпеть не могу бабьих упреков: «Я отдала ему молодость, а он…» Что значит «отдала»? Ну а если так, и держала бы при себе свою молодость до пятидесяти лет…

* * *

У Туси был дар замечательной характерной актрисы – тоже один из не реализованных ею талантов. В ленинградские времена

она с аппетитом показывала всех наших студентов и студенток:

Ирину Грушецкую, сообщившую ей по секрету, что в Москве у нее намечается роман с кем-то из конструктивистов: «Я всегда думала, что мне нравятся худые, ан нет! – Длинная пауза. – Оказывается, я люблю полных»;

Крюкова, белокурого, томного маменькиного сынка, с колечком на пальце (Туся изображала, как он изящно изгибает этот палец с кольцом, записывая лекции);

Людмилу Помян, студентку, которая любила рассказывать, что она особенно нравится морякам: «стоит мне закурить на улице – и сейчас же подходит морячок. У меня что-то роковое в изгибе верхней губы, вы не находите?» – и у Туси начинала изгибаться, прямо змеиться верхняя губа.

– Вам не кажется, Лидочка, – спрашивала Туся, – что Степанов[30] (и она показывала его осклабленную, какую-то косую и многозубую улыбку) удивительно смахивает на мертвую лошадиную голову? «Терем-теремок, кто в тереме живет»…

Про Пискунова[31] она говорила, что он – вылитый Урия Гип, и показывала, как он потирает руки; про Кононова[32] – что он, конечно, только притворяется человеком, а на самом деле унылая старая лошадь; придет с работы домой и требует: «жена, сена!» – жена подвязывает ему под подбородок торбу, и он всю ночь, стоя, жует… Я часто жаловалась Тусе на Егорову, редакторшу Детгиза, которая загубила две мои книги. Встретившись с ней впервые, Туся была поражена ее злобным лицом, злобным голосом и немедленно начала ее изображать: «Как же вы не поняли, Лида, какая у нее главная профессия? Редакция – это так, случайный заработок. Каждый вечер она выходит на ловлю детей: посулит ребенку конфетку, заведет в пустую парадную и снимет с него валеночки». И Туся показывала, как Егорова, с лживой улыбкой, приманивает ребенка конфетой, потом, грузная, натужась, стаскивает с него валенки: «с одной ноги – за папу, с другой ноги – за маму».

Любила Туся показывать супругов Тихоновых – как муж говорит, говорит, говорит, без паузы, без передышки, а жена ждет, копит силы, словно на качелях раскачиваясь, – и вдруг встревает в его речь с размаху и говорит, говорит, говорит, и теперь уже он ждет, наливаясь от нетерпенья красной кровью, когда можно перебить и встрять.

Дар характерной актрисы – как и все ее дарования – не покидал Тусю до последних дней. Дней за десять до смерти она показывала, с трудом присев на постели, как Маша, очень глупая сестра, стоит Тусе побрести в ванную, начинает ее уговаривать, въедливым, тупым, настырным голосом:

– Тамара Григорьевна, лягте в коечку! Вы бы легли в коечку!

И как она по телефону уныло отвечает друзьям на расспросы о Тусином здоровье.

– Помните песню? – сказала мне Туся слабым голосом и с совершенно Машиной интонацией пропела: – Умер бедняга в больнице военной!

И хотя я вполне понимала ее собственное положение и полную неуместность этой строки – я смеялась, смеялась вместе с ней.

* * *

– Еду сегодня в трамвае, – рассказывала Туся, – теснота, трамвай переполнен. Передо мной стоит молодая дама, очень нарядная, шляпка на боку по последней моде, нейлоновые перчатки.

Входит контролер.

– Ваш билет, гражданка!

Дама, с величавой небрежностью, скосив глаза куда-то к затылку:

– У гражданина в заду!

И, повернув голову в пол-оборота, Туся величаво вытягивала кисть через плечо. Интонация и жест были такие точные, что мне казалось – я вижу у нее на руке тугую перчатку, а на волосах – розовую нарядную шляпку.

* * *

Туся очень необычно относилась к старости, к старению. Если скажешь о ком-нибудь из знакомых: «Она очень постарела. Была такая хорошенькая, а теперь ничего не осталось», – Туся начинала спорить: «Нет, по-моему, она и сейчас хороша. Имейте в виду, что красота человеческая очень стойкая вещь».

Я говорила, что старые лица, на мой взгляд, будто тряпкой стерты – и не догадываешься, какими они были прежде, в чем была их прелесть, «про что они». «Только увидя молодую фотографию, поймешь: ах, вот какое это было лицо, вот в чем его прелесть».

– Нет, я не согласна, – говорила Туся. – Напротив: только к пятидесяти годам в лице проступает его скрытая красота, его сущность. А в молодых лицах все неопределенно, неуловимо, еще основа не проступила.

Когда скончался Соломон Маркович, я приехала к Тусе. Он лежал у нее в комнате, на ее постели. Она отдернула простыню:

– Посмотрите, Лидочка, какой красивый, какой гордый, какой молодой. Какой красивый! – повторяла она, плача.

* * *

– Вы заметили, что люди артистического склада дольше остаются молодыми? Артистизм, то есть напряженная духовная деятельность – молодит. Люди искусства моложавы.

* * *

Весною, не знаю которого года, мы с Тусей под вечер идем из редакции пешком. Я ее провожаю; мы только что пересекли Литейный и идем по Бассейной. Разговор о любви. Я говорю, что поглощаемость личности этим чувством меня тяготит и утомляет. Что до меня, у меня это нечто вроде мании, очень мучительной.

– Нет, у меня не так, – говорит Туся. – Я не могу сказать, что бываю всецело поглощена каким-нибудь одним чувством. У меня так: знаете, бывают люстры – если горит одна большая лампа, то маленькие загораются, а если большая погаснет, – то и маленькие вместе с ней… Можно еще так сказать: есть одно основное большое чувство – это ствол, ствол дерева, а от него идут ветки, потоньше, в разные стороны…

* * *

В Ленинграде, в 39-м или 40-м году, в разговоре о Мите, я сказала, что хоть и знаю, что его больше нет, но мне кажется, он жив и только живет где-то далеко от меня.

– Это, вероятно, потому я не верю в его смерть, – сказала я Тусе, – что мертвым я его не видела.

– Нет, – ответила Туся. – Не потому. Вы просто не знали до сих пор, что со смертью человека отношения с ним не кончаются.

* * *

Туся редактировала мою последнюю книгу[33], как редактировала все, что я когда-либо писала. Ею подсказаны мне

многие примеры, в частности примеры из Панферова. (Однажды вечером, отворив мне дверь, она встретила меня в передней неожиданными словами: «А знаете, Лидочка, секретаря обкома волки съели». За ужином она пересказала мне весь роман Панферова, цитируя наиболее выразительные места.) Особенно много в моей книге сделала она для седьмой главы, рассказав мне о Золотовском, о Тэкки Одулоке и побудив меня написать первую, полубеллетристическую, главку. Она моей книге радовалась, что вполне естественно: ведь там повествуется о нашей общей жизни… Но когда я сказала Тусе (уже зная, что все поздно, что мои слова – одна риторика), когда я сказала ей, что ей самой следовало бы написать о редактировании, о своей огромной и разнообразной многолетней редакторской работе, она ответила:

– Может быть, и следовало бы… Но я написала бы иначе…

– А как? Как иначе?

– Я бы не писала длинную книгу, – ответила Туся. – Я попыталась бы кратко и точно сформулировать, какая именно задача стояла передо мною относительно каждой книги и каждого автора. Я бы не повествовала, не описывала, а отыскивала бы определение, точную математическую формулу каждой работы.

* * *

Туся сказала мне (уже во время последней болезни, но когда она еще была на ногах):

– Много думаю о времени. О том, чем отличается течение времени в детстве и в молодости от теперешнего его течения – в старости. Оно все ускоряет и ускоряет бег. Вспомните детство. Ведь гимназия – это была целая вечность, бесконечная дорога, как будто в гору идешь: медленно, трудно, долго. А во вторую половину жизни время не идет, а летит, как будто с горы бежишь, и все скорее и скорее: блокада, война, годы после войны – все это один миг.

* * *

Туся – уже в последний год жизни – однажды сказала мне:

– Я теперь совсем иначе понимаю пословицу: «чужую беду руками разведу, к своей – ума не приложу». Совсем иначе, чем понимала раньше, и чем вообще принято ее понимать. Теперь я

думаю, что эта пословица вовсе не имеет иронического смысла: вот, мол, лезешь к другому с советами, когда себе самому посоветовать не можешь. Тут не ирония, а точно высказанное прямое наблюдение: чужой беде и в самом деле почти всегда можно помочь, если сильно захотеть и серьезно подумать, а вот собственной – нет…

Сколько чужих бед развела Туся руками на своем веку! Все мы привыкли к ее словечкам: сообразим, подумаем, попробуем, поймем. Проницательность и живое воображение помогали ей легко постигать всякую жизненную ситуацию, как бы она ни была сложна – психологическую, бытовую, литературную – а доброта и мужество побуждали вмешиваться деятельно, сильно. Она не боялась притрагиваться вопросом, словом к тому, чего человек и не говорил ей; она смело спрашивала: «а почему вы на ней не женитесь?» или «вы уже не любите его?» – и никогда в ее устах подобные вопросы не были грубыми, и люди, неожиданно для самих себя, рассказывали ей порою такие тайны, которые и от себя прятали. Спрашивала она с большой смелостью, а слушала – всем умом, всем сердцем. Человек, который хоть раз, в трудную минуту, приходил к ней за советом и помощью, неизбежно становился постоянным ее подопечным: он уже не в силах был отказать себе в счастье подставлять под свет ее ума и сердца все свои невзгоды, планы, намерения. Его тянуло снова туда – к ее бесстрашной догадливости.

…В детстве, когда мне было лет десять, мне подарили книгу о замечательных путешественниках. В ту пору я уже свободно и много читала. Но эта книга оказалась мне не по зубам: как это ни странно, меня оттолкнула непонятность заглавия. На обложке, на фоне палаток, оленей и юрт, было выведено в двух строках:

«Люди
доброй воли».

«Люди» отдельно и «доброй воли» отдельно… Это сбивало меня, я не умела их соединить. И, читая эти слова подряд, я не понимала их, для меня слишком трудными оказались падежные связи: «люди» – чего? «доброй воли». Заскок непонимания оказался таким прочным, что простой смысл фразы ускользал от меня, и я упорно отказывалась читать интересные очерки несколько лет.

Ни одного замечательного путешественника я так и не встретила в жизни, но Туся была безусловно самым крупным изо всех людей сознательно направленной доброй воли, каких мне довелось встретить.

«Надо посоветоваться с Тусей», – говорил каждый из нас, друзей ее, когда его одолевало недоумение, горе, тревога, когда не ладилось что-то в работе или в жизни. И вот Тусины спокойные и зоркие глаза уже сосредоточены на твоей беде; она вникает в нее всей силой ума, привлекая на помощь догадку и опыт; и вот ее быстро двигающиеся, смелые руки уже готовы развести твою горькую беду. Ты уже не один на один со своей бедой. «Давайте-ка поймем», – говорит Туся энергичным, бодрым, звонким голосом. И под звук этого голоса, как-то по-новому излагающего тебе твои же горестные обстоятельства, под взмахи этих энергичных рук – начинаешь понимать истинную цену, подлинный размер и облик своей беды – ее небезнадежность и способ ее одоления.

Может быть, Туся более всего на свете и любила «разводить руками чужую беду». Тут было ее призвание; тут в одном узле переплетались ее религия, ее доброта, ее ум – высокий и практический одновременно – и ее бесстрашность. И – как это ни странно сказать – художественность ее натуры, которая позволяла ей по одной смутной черте дорисовывать характеры и положения, угадывая таящиеся в жизни «начала и концы».

* * *

Самым полным выражением Тусиной личности был ее голос, которого мы больше никогда не услышим, – такой богатый оттенками, звучный, свободно выражавший и насмешку, и печаль, и серьезность, и гнев, и бесстрашие, и силу.

Как человек светский, как человек лишенный нервозности, раздражительности, истеричности – Туся владела им в совершенстве. И чем ей самой было хуже, тем более ласковым к другому становился ее голос. Когда нам больно, плохо, когда мы измучены, голоса наши звучат нетерпеливо, раздраженно. У Туси напротив. Когда я, в последние месяцы ее болезни, поднимала телефонную трубку и слышала обращенный ко мне, слабый и какой-то замедленный – не от горя, а от нежности – отклик:

– Ли-доч-ка… – я уже знала, что если голос у нее ласковый, значит, ей худо, хуже, чем было вчера, еще хуже… Страдания вызывали в ней не раздраженность, а какую-то пристальную нежность к близким.

Лет двадцать пять тому назад, в Ленинграде, я приехала за ней в больницу, чтобы отвезти ее домой после тяжелой операции. Я стояла в одном конце коридора, а ее вела сиделка под руку с другого конца. Туся шла с трудом, пошатываясь, чуть задыхаясь, и

что-то говорила мне издали, – я не слышала слов, они расплывались в коридорном гуле – но голос, сквозь задыханье, был полон старательности: я дойду, не бойтесь, я справлюсь.

Дней за пять до смерти я стояла над ее постелью и глядела, как она спит. Вдруг я вспомнила, что у нее под мышкой градусник и она может его во сне раздавить. Я тихонько вытащила его, – она проснулась. Я зажгла лампу и поднесла градусник к свету.

– Погасите, Лидочка, – сказала Туся, – ведь у вас глаз болит, – вам нельзя глядеть на свет.

Голос был тихий, тихий, еле слышный, трудный – но полный тревоги – не о себе – обо мне.

1960, 1961

Полгода в «Новом мире»
О Константине Симонове

28/XI 46. Совсем редакционный день.

В 2, как условились, меня принял Симонов. Сначала дал список поэтов, у которых надо добыть стихи не позже 15 декабря – по три от каждого – лирические и «без барабанного боя».

– Я хочу сделать подборку: «в защиту лирики». В конце концов двадцать поэтов вряд ли обругают, а если обругают, то редактора – что ж, пусть…

Потом дал мне папку:

– Сядьте в уголке и разберитесь в этих стихах – я уж совсем запутался.

Я села в углу, за шкафами, где корректоры. Стала разбираться. Отобрала кое-что получше. Сунулась снова к Симонову.

– Мы с вами послезавтра запремся и всё почитаем, приходите. А сейчас я должен торопиться домой: сегодня день моего рождения.

– Поздравляю. Сколько же вам лет?

– Тридцать один.

У него хорошая, легкая и с светской выправкой фигура и лицо приветливое и скорее красивое – но какое-то плоское.

Он ушел, а ко мне кинулась крашеная редакторша, ведающая стихами.

– Я хочу с вами посоветоваться…

И надавала мне целую гору стихов.

Вот сижу читаю.

Уже часов двенадцать, должно быть.

Очень болит голова. Но мне интересно. Попадаются и хорошие стихи. Но пометки редакторши на полях и одна рецензия Сашина[1] чудовищны по темноте и неверности. В рецензии за «неряшливость» обругано то, что по установке своей простовато. Значит, первоначальный отбор стихов – в очень ненадежных руках.

Завтра понесу всё советоваться к Тусе[2].

Маленькая черта неприятная.

Прочтя список поэтов – в котором рядом с именами почтенными стоят Долматовский, Матусовский и пр. чушь – я сказала:

– Разрешите мне, Константин Михайлович, добавить к этому списку два имени: Маршака и Семынина[3].

Он разрешил, но о Семынине сказал:

– Ну, это вряд ли.

Неужели у него настолько нету слуха. Стыдно быть недоброжелателем поэта.

1/XII 46. Трудно писать. Я лежу. Температура 37,8. И главное – один глаз не видит, будто муть какая-то перед ним или пятнышко. Всё кажется, что стекло очков запачкано, я протираю, но без толку. Снимаю их совсем – невозможно писать. Надеваю – опять нельзя. Концы строк загибаются.

Сегодня уже не так мучительно: я часов восемь читаю стихи – они написаны более крупным шрифтом.

К 15-му надо подборку стихов.

В субботу я была у Симонова, просидела в редакции целый день, добилась всего: и того, чтобы он слушал толком, не отрываясь, и того, что принял все мои предложения по стихам и отменил рецензию Сашина, – и того, что крашеная редакторша весь день смотрела мне в рот, – и того, что Раковская[4], передавая мне чью-то рукопись, ядовито сказала:

– Так как вы теперь ведаете стихами, то…

Под конец я все и всех путала: спутала Николаеву с Некрасовой (фамилии), Жарова с Уткиным[5]. Ушла с пудом новых стихов под мышкой – Ушаков, Заболоцкий (переводы), Шубин[6] и пр. и пр. Я уже знала, что больна, но крепилась.

4/XII 46. Кровоизлияние в сетчатку правого глаза.

Нельзя ни читать, ни писать по крайней мере месяц.

Звонил Симонов. О здоровье: «Если вам что-нибудь будет нужно – мы вам устроим». И тут же сказал, что пришлет мне рукопись Героя Советского Союза Борзенко[7].

Он не может себе представить, что я действительно больше не чтец.

И я не могу.

Дома беспокойства и разговоры о санатории.

Условились с Симоновым встретиться послезавтра.

5/XII 46. Весь день лежала.

Потом Тусенька. Читала мне стихи для «Нового Мира». Укрепила меня в моих намерениях насчет Ушакова.

Потом заехал С. Я., веселый и напористый, как бывало, и повез меня к себе.

Читал много своего. Правил перевод «Веселых нищих»[8].

Я попросила стихов для «Нового Мира» – лирических. Дает, но мне не понравилась фраза: «Может быть, Симонов мне бы сам

позвонил?» С ним, как всегда, будет много хлопот, но игра стоит свеч.

Да. Был Борзенко с колоссальной рукописью. Симонов сказал ему, что если мне понравится – будут печатать, нет – нет. «То, что она думает, то и я думаю», – сказал он. Ого!

Это не точно (!) и это зря.

Я сказала, что буду читать только через месяц. Он все же оставил рукопись.

Высокий, очень красивый и, кажется, неумный, т. е. элементарный…

Сашин мне эту рукопись бранил – но верно это или нет? – вот вопрос.

Глазу явно хуже.

6/XII 46. День неудач. Все через силу и все зря.

К половине первого пошла в «Новый Мир». Люшенька меня провожала, несла папки со стихами. Но Симонов не пришел, хотя и назначил мне в это время. Не пришел и не позвонил.

Нивинская сразу увела меня в соседнюю комнату и стала читать поэму Ковынева[9] – очень плохую, выдавая ее за хорошую. А это просто острословие, вне всякого лирического чувства. Умирает ребенок – глаза его автор сравнивает с потухающими окурками. Экий прохвост.

Сама Нивинская понимает мало, но дает себя убеждать. Не любит Твардовского, любит Ушакова. А что можно любить в Ушакове – в этой искусственности, в этом холоде? Глупости.

Пришла домой смертно усталая. Что-то еще со мной, кроме глаза. Но что?

Пришла, полежала и решила обзвонить по телефону поэтов, от которых журнал ждет стихов для лирической подборки. Начала, конечно, с Пастернака, ожидая радость.

А дождалась другого. Оказывается, Симонов обещал Борису Леонидовичу аванс за прозу – десять тысяч рублей. Это было уже две недели назад. И с тех пор ему не позвонил. И Б. Л. просит ему передать, что если журнал не окажет ему этой материальной поддержки, то он не даст ни строки стихов.

Легко сказать – передай. Я всячески желаю уладить этот конфликт, желаю, чтобы Борис Леонидович получил десять тысяч (даже если журнал не может печатать его прозы – все равно: для русской культуры они не пропадут даром), желаю, чтобы были стихи, – но как не хочется звонить, дозваниваться – ух!

Я ему оставила в редакции записку – авось позвонит сам.

Затем я безо всякой охоты позвонила Алигер, Инбер, Исаковскому, Антокольскому. Дамы были со мной величаво сухи,

мужчины приветливы – особенно почему-то Антокольский.

Очень тоскливо и страшно.

Хоть бы кто-нибудь мне что-нибудь читал.

7/XII 46. Симонову я наконец дозвонилась. Я доложила ему о Пастернаке. Он сказал, что хотел заплатить Пастернаку деньги, но не вышло и что он даст их ему только в январе. Казалось бы, скажи Пастернаку сам, и обиды бы не было, ан нет. Я позвонила Борису Леонидовичу и доложила. Он благодарил со свойственными ему преувеличениями.

10/XII 46. Днем приходила Ивинская со стихами, с целой уймой. Часть с резолюцией Симонова «показать Чуковской». Трудно было слушать так много подряд.

12/XII 46. Туся действительно пришла. Мы разобрались в стихотворном хозяйстве. Как она отчетливо слышит и отчетливо называет беду. Я вот сразу поняла, что Пагирев[10], которого рекламирует Симонов – не поэт, но не умела сформулировать. Она же *мне* все объяснила – но я не уверена, что это можно объяснить Симонову.

13/XII 46. Вижу как будто лучше – зато целый день болит голова.

Спасаюсь только пирамидоном.

Утром внезапно, без звонка, пришел Заболоцкий. Поговорили с ним о его переводах Гидаша[11]. Потом он читал свои стихи. Хорошие. И я радовалась.

А Симонов в Смоленске, и все дела стихотворные без него стоят.

14/XII 46. Веселый день, интересный.

Вижу лучше – и кругом, и буквы. Значит, это правда, что скоро я буду видеть как прежде.

Звонок из «Нового Мира», что меня вызывает Симонов.

Я туда. Мороз – но я не успела сильно замерзнуть.

Симонов без пиджака, в белоснежной рубашке и какой-то мудреной, не нашей жилетке, с трубкой, окруженный людьми – сразу попросил меня в кабинет.

Там был Кривицкий и еще кто-то.

Речь пошла о моей работе и о деньгах.

Я поняла: это Лелька[12].

Мне предложено получать ставку зав. стих. отделом – 1200 р. и быть им. Прозы не читать, а только работать с отдельными

авторами – оплата по соглашению.

Что ж, это разумно. Я согласилась.

– Над стихами будем работать мы вдвоем, – сказал Константин Михайлович. – Ивинская только путает. А пока меня не будет – вы одна. Проверьте, как подготовил Сашин переводы болгар[13]. И как он готовит подборку молодых.

Я вышла. Мы условились, что к восьми я приеду к нему домой. Я сразу заказала по телефону машину.

В большой комнате курили, по-бабски ругались секретарша с Ивинской и ждала Некрасова. Она сразу кинулась ко мне.

– Вам передали мои стихи?

– Нет еще. Но это потому, что я болею.

Я пошла к Ивинской выслушать ее. Через секунду подошел Симонов.

– Лидия Корнеевна, я уже давно прошу т. Ивинскую дать вам стихи Некрасовой. Она талантливый поэт, и я хочу, чтобы вы, Лидия Корнеевна, выбрали целый цикл.

– С удовольствием, – сказала я.

Ивинская пришла в ярость.

– Я и так дала бы вам стихи ее! Я сама знаю! Зачем она жалуется Симонову!

Я попыталась угомонить ее, а потом кинулась к Некрасовой, которая плакала.

Она всех изводит, но ей хуже всех, конечно. Она – поэт.

Я пришла домой возбужденная и вызвала машину. Но позвонил Симонов, что его отъезд в санаторий откладывается до 19-го и поэтому мы лучше встретимся в понедельник утром.

Мне весело. Пусть всё это кончится худо, но весело начинать новую работу, узнавать новых людей.

15/XII 46. Днем – Ян Сашин со средненькими болгарскими переводами. Один я убила, другой велела поправить. Разговор был мирный.

Как-то будет при подборке молодых?

Редакция: Симонов просил, чтобы я присутствовала, когда Кривицкий будет слушать Заболоцкого.

16/XII 46. Нет сил писать. А надо, хоть конспективно.

Сколько раз я еще воскликну: зачем я пошла в эту яму? От Герцена, от сумерек библиотечных окон? К этим чужим, клыкастым?

Утром на машине – к Симонову, домой.

Маленький кабинет с дамскими нарядными вещами. Вазы, красное дерево – комиссионный магазин.

Одно хорошо: соломенный Дон Кихот, привезенный из Америки. Прелестный.

Страшная крашеная мадам с тупой, злой улыбкой, в небесно-голубом халате. Еле здоровается, входит во время работы, ищет какие-то ключи.

Ей противно, что с утра чужие люди.

Симонов приветлив, мягок, любезен. Это, видно, в нем органическое: мягкость.

За окошком какие-то амбары, склады – только зима спасает от скуки, притушив.

Первые сорок минут он слушал живо, хорошо. Мы много прочли и сделали. О, конечно – это не чтение стихов, а только накладывание резолюций, но иногда они накладываются верно.

Потом случилось то, чего я боялась: он прочел свои стихи. О любви. О Японии.

Я ужасно смутилась. Я сказала:

– Тут еще много работы.

В сущности, это и было самое точное. Действительно, в каждом из них есть нечто живое, что могло бы быть доведено до хорошего. Но сказала я это как-то неуверенно, не так.

Он ушел завтракать. Я отказалась. Позвонила в «Новый Мир», предупредила, что в три явлюсь слушать Заболоцкого.

Симонов вернулся вялый – от кофе ли, от жены, от чего ли еще. Я сразу чувствую это. Заторопилась. Когда он провожал меня и искал мне перчатки, Валентина Васильевна[14] уже что-то опять орала о ключах – и я торопилась ужасно. Он послал со мной шофера… поехала в «Новый Мир», не занеся книги, – было уже почти три. Приехала: Заболоцкий только что ушел. Ему не сказали, что я приеду для него. Он посидел-посидел и уехал.

А живет он за городом.

Правда, он оставил свою поэму… Ай да аппарат, секретари.

Нужно срочно вызвать несколько поэтов, с которыми Константин Михайлович просил меня поработать, – нет ни адресов, ни телефонов.

Пришла домой разбитая, злая. Знаю, что не буду спать.

Глазу лучше. Сама разобрала поэму Заболоцкого. Рябит немного. Поэма великолепная[15].

17/XII 46. Все болит. Заснула поздно, встала рано.

К трем часам решила позвонить Симонову: знала, что он будет в «Новом Мире». Хотелось продвинуть поэму Заболоцкого.

Все удалось, и, хотя все удалось, – мне очень противно.

Я пришла. Симонов был занят. Потом меня позвали в кабинет – там Симонов, Кривицкий, до ужаса похожий на Мишкевича[16] и

кто-то на диване, кого я не могла разглядеть. Но с дивана дуло злым, темным. И вообще при обсуждении стихов не должно быть чужих – переносчиков.

Симонов прочел сам [поэму Заболоцкого]. Прочел хорошо. Вчера он отозвался об этой поэме не очень восторженно – сегодня, кажется, она ему понравилась. Он сказал:

– Человек восемь лет был *там*… Надо его печатать.

– В первом номере, – сказала я. Он взял перо.

– Места нет, – сказал Кривицкий.

– Уберем Яшина[17], – сказала я.

– Да, да, – перенесем его, – сказал Симонов.

– Там есть недопустимая строка, – сказал Кривицкий.

– Какая? – прислушался Симонов.

– Вождь и господин.

(Это о природе, о власти человека над природой.)[18] Симонов согласился. Я не возразила.

– И виола, – сказал с дивана мерзавец, и я узнала по голосу К.

– Да, да, – сказал Симонов.

– Какая виола? – спросила я, озадаченная.

– Да, это не надо, – сразу согласился Симонов.

Я не стала спорить, хотя замечание крайне глупо. Присутствие К. душило меня.

Я оставалась в редакции, пока поэму перепечатывали и пока при мне ее не отправили в набор.

То-то будет рад Н. А. [Заболоцкий]. Он сегодня утром мне звонил и говорил, что поэма для него главное.

А о виоле я еще подумаю. Уговорю Константина Михайловича или позвоню ему.

В четверг у меня приемный день.

19/XII 46. Глазу худо, худо, как в первый день. Яшин, Тушнова, Гидаш, Заболоцкий, Сашин, Гудзенко.

Г[удзенко] – нахальный мальчишка, способный, избалованный, наглый.

Яшин – мил, прост, доброжелателен, но плохой поэт.

Тушнова – хорошенькая, талантливая, сдержанная, холодная. Сделает большую карьеру, т. к. умеет не только быть поэтом, но и писать стихи.

В ней есть прелесть глубины, но и роскошь ее учителя, Антокольского. И холод.

Гидаш – добродушен, мил, с хорошей улыбкой.

Заболоцкий – ленинградский, и из-за его плеча: Леня Савельев, юность[19].

Некрасова.

Дозваниваюсь второй день к Константину Михайловичу, чтобы защитить виолы и, кроме того, спросить, дадут ли без него обещанные деньги Пастернаку. Но не могу его поймать. А надо.

21/XII 46. Симонов на мой звонок через секретаря передал, чтобы я пришла к четырем в редакцию.

Хорошо. Я скоро тоже научусь беседовать с ним через секретарей и при помощи резолюций.

Я пришла. Он был облеплен людьми. Я немного посидела с Ивинской, которая явно тупа и глупа и груба. Пока пытаюсь ее учить. Но это зря. Если бы она хоть бумаги могла хранить, хоть корректуру читать – мелкий шрифт.

Меня позвал Симонов.

– У меня есть 5 минут, – сказал он.

– Хорошо.

Я была готова. Я сказала ему: если у вас нет возражений против мысли, которую выражает Заболоцкий о хоре светил и цветов, почему вы возражаете против силы выражения его мысли? А виолы усиляют – им действительно откликается следующая строка.

Колокола, виолы и гитары
Им нежно откликаются с земли.

– Я никогда не обращаю на это внимания, – сказал он.

«Ну так пишите тогда статьи и не трогайте стихов», – надо было ответить, но я смолчала.

Поэма была за мной.

– Передайте Заболоцкому, – сказал Константин Михайлович, – что Симонов просит его переделать кусок, чтобы не было архаизмов: виолы, лилеи[20]… А вы, Лидия Корнеевна, можете продолжать высказывать свое мнение, – прибавил он зло, – так как это не повредит вашему доброму имени.

– Я не о добром имени своем хлопочу, – сказала я.

– Но разве вы забыли, что было с «Торжеством Земледелия»? [21] И можете поручиться, что из-за этих архаических строк не будет того же?

– Нет, не могу. Но что угодно может быть из-за любых строк – не только этих.

Затем разговор перешел на Пастернака.

Я спросила, заплатят ли Пастернаку аванс, обещанный ему, без Симонова.

Тот дал при мне распоряжение и добавил:

– Не знаю, как Б. Л., – но *моей* этике не соответствует просьба

о деньгах с угрозой не дать стихов – угрозой мне. После всего, что я для него сделал. Я бы на его месте так не поступал.

– Дай бог, вы никогда не будете на его месте.

Он стал собирать бумаги в свой желтый роскошный портфель. Я ушла. О, кажется, теперь я начинаю его постигать. Он хочет быть благодетелем и чтобы ему были за это благодарны. А люди не хотят благодеяний. Они хотят уважения по заслугам. Поэму Заболоцкого надо печатать не потому, что он восемь лет был в лагере, а потому, что поэма его хороша. Пастернака Симонов обязан сейчас поддержать, а не оказывать ему милости – *обязан,* потому что он поставлен хозяином поэзии и Пастернак в его хозяйстве – первая забота… А если Борис Леонидович и не вполне справедлив к нему, то как можно сейчас требовать от Бориса Леонидовича справедливости?

Поэма Недогонова. Человек способный, бесспорно. И Твардовский, и Маяковский, и Некрасов – и боек, и кругл, и идилличен. Ему обеспечена Сталинская премия[22].

22/XII 46. В «Новый Мир» – отдать Гидаша в набор. Чтобы он скорей получил деньги. В машинку.

24/XII 46. Глазу лучше, лучше! Пятнышка передо мной почти нет, и буквы не расплываются. И я полегоньку читаю.

Симонов не звонит. Сердится? Болен? Занят?

Меня подмывает написать ему письмо – о стихах. Чтобы разъяснить основу и снять недоразумение со звуками. Не в звуках самих по себе дело, а в мобилизации всех подспудных сил языка на осуществление замысла поэта. Все должно на него работать – и звуки тоже.

Я даже набросала черновик письма – но послать ли? Не будет ли это также письмом к К. и прочей мрази?

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…[23]

В два часа должен был быть Недогонов. И подвел – не явился. Вероятно, он звонил, когда меня не было, хотя мы условились, что он явится без звонка. А я на час забегала в «Новый Мир». Сдала в набор Гидаша. Я хочу ввести свои порядки – в хранении и исправлении рукописей.

Кроме того, написала довольно язвительное письмо Кривицкому в ответ на его атаки на Гидаша.

Потом разбиралась в папке стихов. Адалис (которая уже кидалась на меня; волчья улыбка; страшный напор, а поэма ее пустота и бездарность, и надо придумать причину отказа умно и политично[24]).

25/XII 46. Рискнула. Послала сегодня письмо Симонову.

Был Лейтин – я его вызвала, чтобы сделать поправки к Фининбергу[25], которого уже давно решено было печатать – да невозможно было добыть адрес Лейтина. А теперь, кажется, в № 1 опоздали. Это жаль – и стихи и перевод первоклассны. Добыла у него интересного тувинца – как раз необходима литература братских народов.

Завтра у меня прием.

Спала плохо, на приеме была шальная. Сама читала стихи и натрудила глаз. Были: Белинский (способный, но подозрительно похожий на Рейсера, только красивый и умный)[26], Лейтин – больной, забитый; Сашин – интригующий, корректный, хитрый, трусливый и нагловатый вместе. Видя, что к Симонову послали курьера, я вложила туда записку о Фининберге – но ответа не последовало. А мне очень хочется напечатать этот стих – и хорош, и старику подмога.

Вечером Ивинская и Сашин уговорили меня пойти на вечер одного стихотворения, и я сдуру согласилась. Трудно, холодно было идти. Накурено, душно в зале. Тридцать девять стихов! Я на третьем уже ничего не понимала. Кажется, интересна З. Шишова[27]. Голоса долетали до меня как из рупора – я никого не видела без очков, хотя сидела близко. Кажется, интересен был Светлов – про ангелов[28].

27/XII 46. Радость. Симонов позвонил. Выдержал экзамен и позвонил сам – т. е. не рассердился на письмо, которое ведь было «учительное». И еще радость. Ему понравился приложенный к письму Зыбковец[29], и он сказал, что напечатает его. И еще радость: он согласился, что не надо никакой «подборки молодых», что это неважно – молодые или старые, – а просто в двух номерах будут лирические стихи: во втором – тех поэтов, которые начали в 30-х годах, в третьем – тех, которые начали в 40-х. И Симонов будет во втором. Это очень умно и положит предел всяким нареканиям и обидам – за отнесение к молодым. Нет, прав Леля – в этом товарище нечто есть.

О письме сказал: «получил и прочел с большим удовольствием».

То-то.

А день был усталый, сонный, сбитый с ног. Вот и сейчас уже давно бы мне спать, а только сейчас наступила тишина и можно наконец лечь. А именно сейчас хочется наконец писать и думать – в тишине. Но нельзя.

Встала поздно. Некрасова, назначенная на два часа, явилась раньше – и я не смогла пообедать с Люшей, проводить ее. Читали с ней ее стихи, отбирали. Она очень талантлива, явно. Но в стихах у нее самое сильное – вещи, природа, а не люди, только не люди. И думаю, и в жизни она людей не видит и не знает. Не верит им.

Потом – в «Новый Мир», по мелким, нудным делишкам.

28/XII 46. Днем был Лейтин. Он, конечно, ремесленник – но очень умелый. Так жаль, что Фининберга мне сорвали!

Потом дома читала стихи, данные мне Ивинской. Боже, до чего она ничего не понимает! Пошлейшие стихи преподносит мне как открытие.

Но ничего, если пройдут глаза, я со всем справлюсь, всюду поспею, и к Герцену моему[30].

Завтра, может быть, увижу Тусю и покажу ей Адалис. Надо придумать формулу отказа. Это непросто.

Сегодня сама читала Маяковского. «Флейта-позвоночник», «Про это», «Маяковский векам», «Облако» – какие вещи.

Вчера Симонов еще сказал по телефону:

– Не ставьте мне каждое слово в строку. Поймите, что когда я отступаю в мелочах, – я делаю это, чтобы наступать в главном.

Пусть так. Но почему у него в двенадцатом номере плохие стихи Долматовского, ужасные, вялые, пустые?[31]

29/XII 46. Завтра тяжелый день. Попробую повидать Симонова и уговорить его вместо жидких стишков Яшина дать в № 1 стихи С. Я. (это бы, наверное, вышло, если бы С. Я. дал их давно, как я молила, – но у него ведь болезнь: он не может расставаться со стихами и дал только сегодня). Посмотрим. Я делаю это не для С. Я., а для номера: Недогонов, Заболоцкий и Маршак – тогда всё было бы на высоте.

30/XII 46. Утром позвонил Симонов, вызвал на два – смотреть подборку лириков к № 2. Пошла. Довольно спокойно читали с ним и Ольгой Всеволодовной. У него есть вредная тенденция брать и дрянь – только бы взять у всех, никого не обидя. Подписал сегодня к печати ужасно дрянные стихи Щипачева и Жарова[32]. Я протестовала как-то недостаточно. Буду еще.

Опять тяжкий и бессмысленный разговор о Пастернаке. Тут

уж я высказалась вполне: что, мол, Пастернак не может быть справедливым и ему, Симонову, надо самому позвонить Борису Леонидовичу и «помириться».

– Да ведь он меня обидел, а не я его. Что же я буду первый звонить.

– Потому вы первый, что вы годами моложе его на двадцать лет, а положением – старше в десять раз, – сказала я.

Вот как я обнаглела.

Маршака в № 1 он не дает – зато и Яшина снял, слава богу. Так что две превосходные поэмы, плохие болгары и никакой плохой лирики. И то хлеб.

Затем он показал мне свою статью, идущую в № 1. Там для меня неожиданности. Когда-то, ругая ему рецензию Сашина, я сказала мельком: «Все мимо, как в безобразной статье Трегуба об Алигер». И вот, оказывается, он написал ответ Трегубу[33].

Статья правильная и даже не без остроты и благородства, но *беглая* (хотя и длинная), недостаточно монументальная.

Завтра – еще раз к нему, кажется, в последний. А потом он уедет, и всё останется на мои руки.

Неприятно то, что он обещал статью «В защиту лирики», под которую все и дают стихи, а теперь, по случаю болезни, ее не пишет.

31/XII 46. Происшествий много.

Ночью – так около часу или позже, – только я задремала меня разбудил звонок Симонова. Возбужденный, злой голос сказал:

– Лидия Корнеевна, мне звонил Пастернак. И я с ним поссорился. И я хочу перед отъездом дать вам насчет него некоторые распоряжения.

Он знал, что завтра (т. е. значит, сегодня) мы всё равно увидимся – но не мог дождаться. Так его взбесил Б. Л.

– Я зол. Потом перестану, но сейчас зол. Разговор был скверный. И распоряжение мое вам такое: 15/I Кривицкий выпишет Пастернаку деньги. 16/I пригласит его для подписания условия. Об этом вы ничего не должны ни знать, ни говорить Пастернаку. Это дело Кривицкого. От вас же я требую следующего: если Пастернак, вне зависимости от договора и денег, даст вам стихи 15-го – вы сдадите их в набор. Если же нет, если он принесет их 16-го – вы их не примете.

И, извинившись за поздний звонок, – бросил трубку.

Это *распоряжение,* а не беседа о – поэтому я демонстративно молчала. Но настанет время, и я скажу ему всё про это. Сейчас говорить было бесполезно.

Но как это безжалостно относительно меня! Как же это я, три

раза прося у Бориса Леонидовича по поручению Симонова стихи и постоянно изливаясь в любви, – 16-го скажу ему, что я у него стихов не беру!

И как это неумно. Что он, воспитывать Бориса Леонидовича хочет, этике его учить? Он решительно не понимает, что выдавать Борису Леонидовичу деньги, устраивать дела Бориса Леонидовича у Храпченко, Александрова и пр.[34] – есть его *обязанность* перед русской культурой, перед народом. Он делает это как одолжение, за которое Пастернак должен быть благодарен. Он, очевидно, не любит и не ценит его как поэта. Не понимает масштабов.

Долго я не могла уснуть.

Сердилась я и на Бориса Леонидовича, которому совершенно не следовало ссориться с Симоновым. Не из-за чего и не для чего, в сущности. Если Симонов ему и не благодетель, то, во всяком случае, дурного он ему тоже не сделал и хотел хорошего.

Теперь надо просить Тусю дать совет. Как быть. Не исполнить приказа Симонова было бы бесчестно. Ответить Борису Леонидовичу отказом, если он принесет стихи позже назначенного срока, я не могу.

Подумаем.

Мешает мне также и то, что Б. Л. на днях в одном телефонном разговоре сказал мне, что участвовать в подборке ему не хотелось бы, т. к. он не верит в количество и пр… Ах так, значит, не из-за денег, а просто не хочет. Зачем же было раньше мне этого не сказать.

Днем мы встретились. Я была зла как собака и сразу кинулась на Симонова. Не по поводу Пастернака. Об этом он еще первый заговорит со мной. И услышит. А по поводу того, что до Нового года из-за идиотского недоразумения не выписали денег Заболоцкому, хотя выписали Гидашу. Это он мгновенно исправил, и с удовольствием. Затем, пока мы еще были с ним одни, я его обругала за принятие паршивых стихов Щипачева. Он отменил свою резолюцию. Затем заговорили о принципе подборки – о том, что меня беспокоит более всего. В это время уже вошли двое противных – учтивый и лживый Ян Сашин и Кривицкий, да еще Агапов[35]. Моя мысль о том, что принцип постройки неясен, – ни в ком не встретила сочувствия. Они не понимают, что такое постройка, т. е. единая *музыкальная,* а не механически стучащая фраза. Симонов предлагает стихи во втором и третьем номерах делить по возрастам поэтов: 30-е и 40-е годы. И это, по-моему, неинтересно и внешне. Я бы знала, как их разделить и организовать, если бы они все были в наличии. Но когда они все

будут в наличии? Пока имеется только процентов тридцать пять.

Алигер прислала стихи – и среди них одно, к моему удивлению, хорошее. Но, кажется, трудно напечатаемое.

5/I 47. Вот сколько дней я не писала.

Все эти дни – поэты дома, поэты в редакции. Лица, лица и стихи.

Я очень во многом разобралась за эти дни.

Чувствую себя значительно лучше, хотя, как всегда, и не совсем хорошо.

1-го я позвонила Борису Леонидовичу и поздравила его с Новым годом. Ни слова не спросила о стихах, о Симонове. Но он сам сказал:

– Знаете, я звонил Симонову. Сначала я его поблагодарил за хлопоты и пр. А напоследок сказал ему грубость. Он мне стал жаловаться, как трудно вести сейчас журнал, как много подводных камней и мелей и пр. Я ему говорю: так что же вы об этом не пишете? об этих трудностях? какой же вы после этого редактор, общественный деятель?

Недогонов. С умными, прекрасными глазами, кожа да кости. Мороз в 24 градуса – на нем летнее пальто и тапочки.

Этого невозможно терпеть. У него двое детей. Говорят, он пьянствует. Наверное, это правда. И под этим предлогом ни Союз, ни журнал ничего для него не делают.

Кондырев. Этот поплоше – хотя и не без способностей.

Шубин. Противен. Неинтересен.

Гинзбург. Способная, но комнатная. И навязчивая[36].

Необыкновенно противный, с грязными глазами и мокрыми руками, Мартынов. Вычурная бездарность.

Милый и умный Кронгауз[37].

Ивинская делает вид, что «обслуживает» меня – при полном безделии. Ей нельзя поручить, конечно, не только того, что имеет отношение к поэзии, но прочесть корректуру или дозвониться кому-нибудь – тоже. Вечно бегает по своим делам или флиртует.

15-го я должна послать Симонову в Кисловодск подборку. Туся обещала помочь построить. Стихи хорошие есть – Смеляков, Недогонов, – но мало[38]. Кстати: Алигер дала три стихотворения, из которых два заурядны, а первое («У меня еще один денек…») – превосходно[39]. Я удивилась. Но первое она боится печатать… Я видела ее дважды: стареющая девочка, старенькая пионерка. Деревянная, некрасивая, сухая. И говорить с ней трудно: нет

контакта.

Вчера я видела ее у Лели. Там она была очень разговорчива, но также как-то бесконтактна.

Мы вместе ехали в машине назад.

Сегодня в «Лит. Газете» Ермилов ругает Платонова и заодно Симонова, который поместил его рассказ в «Новом мире»[40].

Рассказа я не читала.

7/I 47. Ольга Всеволодовна с грудой плохих стихов. Сидела до бесконечности, сплетничала. Утомила меня ужасно.

Хорошие стихи Антокольского. А я ведь не любила его всегда. Видно, то, что у него в столе, много лучше того, что печаталось. Но трагическая нота – без которой поэзия и невозможна, – как ее защитишь? К счастью, она в тембре голоса, а не в слове.

8/I 47. Звонит Борзенко. А я не могу добраться до его рукописи.

Все время думаю о подборке.

Готовлюсь к завтрашнему приемному дню.

Опять был Недогонов. Удалось его накормить, сунуть 100 р. и папиросы и выудить два хороших стихотворения для подборки.

Поправки к поэме он принес не весьма. И как странно, что в стихах еще много вялых строк. Я думала, он зрелее.

И конечно, очень не прям.

9/I 47. Еле поспела к трем часам в редакцию. Там – Недогонов с последними поправками, милый толстый калека Кронгауз, приведенный ими довольно нудный Ойслендер, полуспособный Рощин[41], и, главное, письмо от Зыбковца. Письмо строптивое, но стихи хорошие, я рада.

Ойслендер сказал: – Мне рассказали, что в «Новом Мире» начали *говорить о стихах*. Меня печатают часто, но со мной никто не говорит. Вот я и пришел. Можете не печатать, но поговорите.

Отвыкли люди.

13/I 47. В редакции – Ойслендер, Рощин, Наровчатов. Говорю, прельщаю. Спасение, что Кривицкий болен и потому свободен его кабинет. В ушах гудит, и глаз режет.

Думаю, 15-го мне подборки не отослать, потому что Алигер не принесла поправок и многие.

14/I 47. Семь часов у Тихонова!

Стихи (странные; никакие; иногда – хорошие); рассказы о

Югославии; потом, к счастью, – обед и водка, иначе бы мне не выдержать.

Он попросил, чтоб я прочла ему стихи. Собранные. Я читала. Замечания были меткие, но иногда (редко) – требует точности, там, где всё на другом. Симонова он, по-видимому, не очень любит. Это осторожно. Весело смеялся над Щипачевым. С ним у меня вкусы, пожалуй, больше совпадают, чем с Константином Михайловичем.

Но интересно не это. Я только в середине беседы поняла, почему он хотел послушать стихи.

Читаю ему Маршака, не говоря кто.

– Отгадайте?

– Ахматова? Нет…

Потом догадался.

Потом, в конце:

– А почему же статья К. М. [Симонова] будет называться «В защиту лирики»? Что же здесь такого защищать? Тут все благополучно… Я думал, вы хотите взять под защиту лирику, которую хают…

То есть он боялся, что мы затеяли защищать Анну Андреевну и, скажем, Бориса Леонидовича. А потом, убедившись, что подборка серенькая и благополучная, – решил дать свои стихи. Дал очень хорошие пьяные Любляны – и похуже[42].

С. Я. звонит – хочет взять свои стихи из подборки, чтобы дать потом цикл. Понятно: у него три чисто лирические стиха и он боится дать их неприкрытыми, не подперев «значительной темой».

Все понятно. И скучно.

Но я не осуждаю их. Они такие, какими могут быть.

15/I 47. В редакции с Сашиным и Ольгой Всеволодовной. Сашин, в последнюю минуту, сдался – и принес мне стихи своих «молодых». Он хотел делать отдельную подборку. И – игнорировал мою. Я перестала напоминать, просить. И вот он явился – любезен, точен, хитер.

Отобрали кое-что. Но сегодня уже не послать Константину Михайловичу, как было обещано. Не всё переписали, да и письма моего еще нет.

Трудная Алигер принесла поправки. Не все.

16/I 47. Сдала. Кривицкий (который выздоровел) обещал как-то отправить самолетом.

Утром писала письмо, пока было еще тихо. Двенадцать страниц.

Пишу ему – а какой будет ответ – не понять. Темно, темно.

Была в редакции. Заговорила о деньгах, что было очень противно, – я хотела, чтобы они сами вспомнили. Сказала Кривицкому, что хотела бы, чтобы сами помнили.

Львов – с неприятным лицом.

Замятин – милый и талантливый, но топорный и ничего не воспринимающий[43].

Очень голодная Мочалова[44].

Да, в редакции – Ковынев. Говорят, он сумасшедший.

Придя домой, я сразу кинулась читать его поэму.

Мертвечина и пошлость.

20/I 47. Денег не выдали. Велели позвонить завтра.

Утром я возилась с хозяйством. Потом читала накопившиеся стихи. Надо отдать справедливость Симонову: он мне давно говорил, что у Мочаловой следует что-нибудь выбрать, так как она талантлива; и он прав.

Я выбрала. Набросала рецензию на Борзенко.

23/I 47. Грязный, страшный день.

Прием в редакции.

Прием! Ни комнаты, ни стола, грохающая в спину дверь.

Я чувствовала себя униженной и бессильной.

Говорила с Мочаловой, потом с Межировым. В сутолоке, так что бессмысленно, хотя я и была хорошо подготовлена.

Заболоцкий. Все-таки прелестную музыкальную строфу он испортил. Читали гранки. А тут еще Кривицкий и Борщаговский[45] отозвали его и потребовали еще порчи. И без меня. И Заболоцкий почти согласился. А я обозлилась и решила не спустить.

Пастернак. Давно я его не видела. Постарел. Поседел, облез. А лицо всё – уже не глаза, а только рот.

Безумствовал.

Что делать со стихами? Как быть? Правда, выход есть. Кривицкий вызвал его только 20-го по поводу денег, а Ивинской он сказал, что разрешает дать стихи – раньше.

Но не только в этом дело. Я не пойму, что лучше для него.

Межиров – юноша с огромными голубыми глазами пятилетней девочки.

Он рассказал, что у Недогонова беда, жена больна, и есть уже совершенно нечего – нет картошки, едят один кисель.

Я решила поговорить с Кривицким. Но это мне не удалось в этот проклятый день.

Там заседание – опять что-то вынимают (в третий раз!), из 12-

го номера.

Я оставила ему записку с протестом по поводу Заболоцкого и просьбой о Недогонове.

Теперь лежу дома и читаю гранки поэмы Недогонова.

Симонов молчит. Это тоже худо.

24/I 47. В одиннадцать вдруг явился Семынин. Я встала, оделась, умылась и почти накричала на него, больного. Потому что Люше негде делать уроки, а он пришел совершенно не в пору, сидит, курит, читает стихи.

Ушел. Пришла Ивинская с целой грудой сплетен и стихов.

Вся пересохшая внутри, я пошла в редакцию, где встретилась с Недогоновым, чтобы показать ему гранки.

Кривицкий выписал ему деньги.

Неразлучные пираты – Сашин и Раскин. Пираты – паяцы[46]…

Щипачев с еще одним стишком. Седой и непочтенный. С ним Златова[47], которую я не узнала сослепу. Неловкий разговор.

Стихи чудовищные.

Надо опять писать Симонову, что-то решать с Пастернаком.

25/I 47. Утром встала рано, хотя еле держалась на разбухших, нарывающих ногах. И написала большое (не очень) письмо Симонову, приложив стихи Мочаловой, Гудзенко и Пастернака (два; за третьим надо идти к нему – третье из имеющихся у меня никак не подобрать). В письме написала очень сухо о Пастернаке – цифрами, – он, мол, был у Кривицкого 20-го, а нам позвонил, что разрешает печатать стихи 17-го… Насколько я понимаю, это значит, что стихи у него взять можно. Мне, мол, эти расчеты трудны, т. к. я отношусь к Пастернаку коленопреклоненно и пр., но распоряжение выполняю точно.

К концу страшного после недосыпа дня мне позвонила Зинаида Николаевна[48], что прибыл пакет и письмо от Симонова. Мне его доставили. Письмо длинное, но лохматое, спешное, без знаков препинания, «выполнить полностью» и пр. И там ему некогда, и там спешит! Милое, доброжелательное, иногда умное и всегда – поверхностное. Непременно хочет Щипачева, Жарова – да еще добавить Кумача[49] и пр. Давать в алфавитном порядке. «Моментальная фотография» современной поэзии… А зачем так безвольно? Зачем не подборка, а безразборка? К чему щелкать фотографическим аппаратом в ту секунду, когда человек чешет правой рукой за левым ухом?

Зарезал несколько хороших стихотворений (мало, правда!) и вставил довольно много плохих.

Сейчас сижу сортирую, соображаю, кого вызвать, где что поправить.

В письме поразительный абзац:

«Александр Юльевич [Кривицкий] мне сказал, что 15-го с Пастернаком всё сделано. *Теперь надо просить у него стихов.* Я не могу. Выручайте!»

Конечно, это мило, что, приняв несколько ванн, он сменил гнев на милость. Но зачем же давать обратные распоряжения. *Теперь!*

И как неловко, что я ему сообщила числа не те, какие ему сообщил Кривицкий. Он подумает, что я лгу. А 15, 16, 17-го Кривицкий в самом деле был болен и не бывал в редакции. Конечно, он мог ему позвонить домой.

Боже, какая чушь.

26/I 47. Хотела дать себе отлежаться, но с утра явился Семынин, поднял меня, сидел, курил, говорил по телефону, выселив из-за стола Люшу, – и моя радость встречи с ним сменилась злостью. Я ведь просила его несколько раз, и устно и письменно, не приходить без звонка – а это уж такое наплевательство.

Дал перевод из сербского короля, который нельзя печатать; а стихов не дает.

Фадеев снова хлопочет о его поэме.

Целый день писала письма поэтам, излагала резолюции Симонова, утешала, приглашала и пр.

27/I 47. С утра в редакции. Мне Кривицкий назначил свидание в двенадцать утра, чтобы поговорить о сдаче в набор стихов, чтобы выслушать общие указания Симонова и пр. Но не пришел.

Я же, ожидая его, делала глупости: говорила с Долматовским и читала свои стихи Ивинской.

Долматовский оказался еще глупее, чем я представляла себе его по стихам. Пустые красивенькие глаза. Попросил посмотреть некоторые стихи и, прочтя Фо[ло]мина[50], сказал:

– Собачина.

Обругал Пастернака.

Свои обещал «поправить мигом».

Ивинская быстро улепетнула на рынок продать мыло. Не делает она ровно ничего. Она работает (очень неквалифицированно) в день полтора часа – самое большое; я – четырнадцать, пятнадцать, а получаем мы одинаково: 1200 р.

На площади встретила Заболоцкого и вернулась с ним в

редакцию опять.

Он решил исполнить оба требования Борщаговского и Кривицкого, хотя от одного я отбилась. Как он боится, бедняга; и – прав.

«Исправил» он хорошо; и виолы хорошо; но с лилеями беда: заменил хвощей – ночей, а хвощ по звуку – это борщ и никак не верится, что он издает какое-нибудь пение… Я собственноручно восстановила лилеи и буду снова объясняться с Симоновым – если Заболоцкий до его приезда не найдет чего-нибудь хорошего для замены[51].

Он читал мне великолепные переводы грузина, а потом своего «Скворца». «Скворец» – поразителен[52]. Но в подборку не дает – и опять-таки прав.

28/I 47. К четырем часам – к Эренбургу, с письмом Симонова.

Нет уж, пусть Пушкин ходит к Эренбургу, а я не пойду.

Сух, угрюм, недоброжелателен – не то ко мне, не то к Симонову, не то к «Новому Миру», не то к целому миру вообще.

Ни одного лишнего слова. Только дело. Пока говоришь, он сидит мешком, глядя в пол, ничем тебе не помогая.

Стихов не дает. Их у него нет. Симонов думает, что его журнал чем-нибудь будет отличаться, – напрасно. Будет та же серость. Ничего не дадут: вот ведь и Платонова не дали напечатать. Рассказ Платонова для Платонова – не лучший, но в журнале – из лучших… То же и со стихами станет.

Я немного пролепетала что-то про подборку.

– А Мартынов у вас будет?

– Да.

– Он – единственный интересный из молодых.

Ах так! Значит, ты – совсем неинтересный. Хоть и старый.

Оттуда в редакцию. Сдала Ивинской прочитанный самотек. До семи часов ждала Кривицкого. Комбинация такая: для сдачи в набор нужна его резолюция. То есть симоновской и без него достаточно – но тех экземпляров нельзя отдавать, где Симоновым написано в набор; надо другие – значит, нужны его резолюции. Это очень жаль, потому что он будет заново смотреть и цепляться.

Он спросил о Пастернаке. Я ему показала «Март», в котором совершенно уверена. И вдруг: это невозможно.

– Почему?

– Навоз! Всему живитель! Да это же целая философия!

Я ужасно разозлилась и наговорила резкостей.

Сказала Кривицкому, что он, наверно, вообще не любит стихов.

Он сообщил, что любит Ахматову, Лермонтова, Тютчева и что

Пастернак гений, но…

Вошел Дроздов. Этот чинуша мне давно не нравится. Кривицкий дал ему прочесть стихи Пастернака.

– Это – издевательство, – сказал Дроздов[53].

Кривицкий прочел Зыбковца.

– Плащаница – нехорошо, – сказал Дроздов.

Я объяснила.

– Это – только *бытовая* правда. А не общая, всенародная.

Боже, как мне стало скучно.

Теперь сижу выдумываю строки для Кронгауза, который завяз.

Звонил Пастернак. Что он хочет перед сдачей посмотреть стихи. «Я от Недогонова (!) узнал, что вы собираетесь печатать, и очень вам благодарен» (как будто можно было сомневаться, что я решу печатать!) Мы условились, что я буду у него в субботу.

Ох, нелегкая это работа
Из болота тащить бегемота.

29/I 47. С утра в «Новый Мир» говорить с Мартыновым о поправках к его стихотворению и о новых.

Не знаю, чувствует ли он, как я его не люблю.

Я стараюсь быть очень с ним вежливой и мягкой.

Странной он души человек. Вычурный какой-то, придуманный.

Туся думает – судя по стихам и внешности, – что он – плохой человек. А я не знаю, не уверена. Но ни грана поэта нет в его стихах, и мысли его о поэзии тоже какие-то – не дикие, не странные, а пустые и вычурные.

На правку он почему-то соглашается очень легко. Дал новые стихи, из коих я отобрала два, чтобы послать Симонову.

Плохие стихи. Он дал мне сборник своих поэм, который мне хвалил Симонов.

Поэмы – чудовищное недоразумение. Какие-то исторические анекдотцы, рассказанные безголосым раешником.

29/I 47. Прием. Урин, Некрасова, Наровчатов, Коваленков, Фоломин[54].

Глупый, самодовольный и бездарный Урин.

Талантливый Наровчатов с упорным красивым лицом. Недаром С. Я. мне о нем говорил.

Некрасова. К счастью, встретились мы утром, в кабинете у Кривицкого было пусто, и у меня хватило сил на длинный разговор. Мы вместе переделали «Кольцо», которое я хочу послать

Симонову вместо забракованного им «Гостеприимства»[55]. Она идет на поправки, когда они близки ее замыслу, когда они не извне, а с ее позиций. Когда же они внешние – она, молодец, не сдается. Дрожат руки и на глазах слезы. Несчастная, замученная, голодная, немытая, затравленная. Я не думаю, чтобы она была психически больна, – скорее нервно. Говорит:

– Я больше не хожу в Союз писателей. Там все надо мной смеются и хотят посадить в сумасшедший дом.

Будь они прокляты, обидчики поэта.

А она твердый человек, тоже выносливый.

Я не рассчитала своих сил и позволила после приема еще придти ко мне домой Кронгаузу для общего разговора о его книжках. Книжки мне не понравились, я хотела сказать ему что-то существенное, но от усталости и мигрени плела невесть что.

5/II 47. Вот сколько не писала.

Придется писать конспективно.

Вчера была в «Новом Мире» с одиннадцати до семи. Шесть часов работала с Капусто[56].

Потом – противный, глупый разговор с Кривицким о стихах. Очевидно, я что-то сделала не так: нужно было обойтись без Кривицкого – и можно было. А я запуталась в трех соснах. Ну, впредь [буду] умнее. Он задержал до приезда Симонова некоторые стихи, которые я непременно отстою. Основная же масса пошла в набор.

Самое главное – в субботу была у Пастернака. Впервые я у него в городе. Холодновато, порядок, просто, картины на стенах. Было тихо и пусто, только кухарка гремела кастрюлями в кухне. Кажется, впервые мы были так, один на один, и он говорил со мной пристально и с интересом.

Как он жив – как молод – какой огонь в глазах – и как восемнадцатилетне движется – и как постарел.

– Конечно, может быть симбиоз с действительностью. Это – чаще всего. И – второй путь, который неинтересен, потому что все это уже написано у Пушкина[57]. А есть еще третий – помимо всего, поверх всего.

О Симонове:

«Мне нравятся его аппетиты. Остальные хотят только ЗИС, а этот – и Америку, и Японию – ненасытимо».

Пригласил на четверг к Юдиной слушать его прозу! Он дал мне с собой на день статью о Шекспире. Статья гениальна, как «Охранная грамота». Хочется всю переписать или выучить наизусть.

В понедельник, как условились, зашел за статьей в «Новый

Мир». Мы посидели за столом. В этот день – препоганая статья Фадеева, где опять он скучно лягает Пастернака (и Платонова)[58]. Я спросила Бориса Леонидовича:

– Что, он не любит ваших стихов и вас? Почему он так упорно занят этим?

– Ах, почему? Нет, любит. Не знаю, не знаю… А я нарочно показываю, что не желаю с ним знаться. Летом какие-то помещичьи голоса у меня на участке: Шуня[59] с гувернером… Я открыл окно и нарочно закричал: «Эй вы, фадеевские! Тут и без вас люди живут!»

Скоро он ушел, обернувшись на меня от дверей.

Завтра целый вечер буду слушать. Только бы поспать сегодня, чтобы ничего не болело!

В редакции на днях – два часа разговоров с Мартыновым, который мне тяжел и противен («Смердяковское в нем», – сказал Пастернак) и который плохо перевел милого Гидаша.

Завтра будет письмо от Симонова по поводу моей второй посылки ему: Мочалова, Пастернак и др. Была телеграмма. Жду неприятного письма.

Талантлив, интересен Наровчатов. Непременно хочу его продвигать.

7/II 47. В «Новый Мир». Ольга Всеволодовна ушла гулять с Пастернаком с тем, чтобы зайти ко мне. Звоню домой – они уже ушли. Жду Кривицкого. Устраиваю ему сцену – со всей отчетливостью и злобой. Выручаю стихи в набор. Он подписывает – но намекает, что остановит в другой стадии.

Да, в редакции письмо от Симонова. Неприятное, как я и ждала. О числах ни слова. Рассуждения о стихах Пастернака – хотя и мягкие и деликатные, но, в сущности, кривицкие: он споткнулся на том же навозе в «Марте» и на «всё сожжено» в «Бабьем лете». Что, мол, сожжено? Господи, ясно что – раз речь идет о лете. Не Красная же площадь и Николаевский мост.

Он просит меня просить Пастернака переставить строфы в «Марте» и заменить *всё* в «Бабьем лете». Ну нет, этого не будет… Я попрошу Константина Михайловича договориться с Кривицким, Дроздовым и пр. окончательно и потом передам их решение Пастернаку – но предлагать поправок я не буду. Пусть берут или не берут… Борис Леонидович звонил вечером, благодарил за письмо.

Приехал бы уж Симонов поскорее.

10/II 47. К одиннадцати часам поплелась в редакцию. Холодно, пусто, ко мне явились совершенно никчемные автора.

Потом пришла Ивинская и наговорила кучу сплетен о том, что Кривицкий обижается, что мы считаем его врагом стихов, и обвиняет нас в формализме.

Этого надо было давно ждать.

Где ему понимать, что Жаров – искусство бессодержательное, а «Март» Пастернака – содержательное.

Меня тошнило и от ее слов, и от того, что мою позицию защищает – *она,* с кем я никак не связана.

Затем было счастье: Борис Леонидович, обещавший прислать мне «Рождество» и долго хваливший меня за то, как я эти стихи определила (в моем письме), – прислал их не мне, а Ивинской. И я прочла эти гениальнейшие из гениальных стихов[60].

12/II 47. Дома – письмо от Симонова. Просит читать рукопись о Майданеке[61].

13/II 47. В редакции: Ховкин [Ю. Яковлев] (плохая поэма)[62]; Некрасова.

Больной, своевольный, не глядящий в глаза, не то некрасивый, не то с прекрасным лицом Смеляков.

16/II 47. Хотела дождаться симоновского звонка, но потом позвонила ему сама: уж очень многие люди ждут моего с ним разговора.

17/II 47. Два раза в редакции.

Утром – Сашин с польской подборкой. Груда сомнительных польских стихов в весьма посредственных переводах. Особенно плох Мартынов, который, увы, был тут же.

Переводы из польских поэтов похожи на то, как если бы Маяковский был переведен на польский язык, а потом обратно на русский.

«И очень много конских морд» (одним словом, «Полтава»)[63].

Среди дня я ушла домой, пообедала, посидела и к шести вернулась в редакцию, на свидание с Симоновым.

Он пришел – загорелый, посвежевший, молодой – веселый, доброжелательный, мягкий – почти обаятельный. Поискал свободного стола, сели мы втроем: он, я, Ивинская. Он на угол:

– Семь лет без взаимности.

Выслушав мой предварительный доклад о подборке и о новых людях, он решил взять с собой – на дачу – всю груду стихов. Обещал отдать в четверг. Он тоже будет принимать в четверг, когда и я.

Выслушав мой отчет об Антокольском, о Пастернаке, об

Алигер, он на несколько минут задержался у нашего стола.

– Мое положение особенно трудное, – сказал он. (Мы коснулись Платонова.) – Многие не любят меня, считают, что я вознесен не по заслугам и пр. И будут делать мне пакости. Но мне не могут пока – так будут крыть людей, которых я печатаю в журнале. Это мешает мне быть особенно смелым. А зато другие будут в обиде, что я не такой смелый… Но каков подлец Ермилов! Этот товарищ схлопочет от меня по морде. В том же номере, где поносит Платонова, делает передо мной реверанс…

– Что ж Ермилов, – сказала я. – Это ведь только псевдоним. Ведь и «Правда» повторила его версию, и «Культура и Жизнь»[64].

– Разве «Культура и Жизнь» тоже? – спросил он.

– Да, – сказали мы в один голос с Ивинской.

Странно, что он этого не знал.

– Прочтя Ермилова, я немедленно послал в «Новый Мир» телеграмму: заказать Платонову другой рассказ.

18/II 47. Из вчерашнего разговора с Симоновым примечательно еще то, что он сказал:

– Если бы у меня были только стихи, то и меня бы здорово хлопнули. Но у меня были и другие вещи.

И еще:

– По-моему, товарищи должны бы *научиться* писать в стол.

Чудак-человек!

19/II 47. Пришла домой – позвонил Кривицкий: он был у Симонова на даче и Симонов просил передать мне, чтобы завтра к одиннадцати часам я пришла в редакцию.

Худо дело. Очевидно, они на даче *вместе* смотрели стихи. Так.

20/II 47. Так.

«Мы пришли к выводу, что стихов хороших все-таки мало. И решили давать не по три, а по одному».

Я не была готова к этому, а когда я не готова, то и беспомощна. Я не сказала ему, что это – удар по хорошим стихам, а не по плохим: плохие все равно останутся, а хороших становится меньше.

Алигер, Смеляков, Наровчатов.

Далее он изложил мне их резолюции.

Я очень протестовала на Наровчатова.

Кокетлив товарищ, кокетлив. Он долго восхищался «Свечой» Пастернака; потом толковал, что ее нельзя дать; потом сказал, что сам позвонит ему. Потом:

– Я, может быть, для того и затеял всем дать только по одному, чтобы Пастернаку было не обидно.

Потом опять говорил о своем сложном положении:

– Ну как печатать людей, если потом тебе не дадут возможности их защищать?

– И все-таки, – сказала я, – хотя люди и их судьбы – это очень важно, но у нас есть забота более серьезная: литература.

Но это не дошло.

И не может дойти. И может, и не права я, а самое важное в действительности, чтобы люди были живы. И сыты. И веселы.

Я сегодня в отчаянье. От всего вместе. От Кривицкого. От Симонова. От Капусто. От глаза. От того, вероятно, что не работала – ни над Пантелеевым моим[65], ни над Герценом.

Успела внушить Симонову, что надо непременно помочь Семынину, который завтра придет к нему на прием.

21/II 47. От последнего разговора с Симоновым, от его кокетливого задора и внутренней слабости – до сих пор тошно на душе.

24/II 47. Когда я уже собиралась домой, приехал Симонов. Я обрадовалась ему. Вчера Кривицкий вручил мне стихи Васильева, Софронова и прочей дряни с предложением что-нибудь выбрать[66]. Я сказала, что уже читала и выбрать ничего не могу.

– А Симонову показывали?

– Нет.

– Покажите.

– Зачем? Я ему показываю то, что одобряю, или то, в чем сомневаюсь. А тут я уверена: не годится.

– Все-таки покажите.

Сегодня я показала – при Кривицком же. Симонов во всем согласился со мной, только Васильева всё же одно стихотворение отобрал.

– Через мой труп, – сказала я.

– Мне непременно надо одно его напечатать.

– Почему?

– Он мой личный враг.

Ох! Опять благородство.

Петровский. Одержим лингвистико-шовинистическими идеями, но дал хорошие стихи, стихи поэта[67].

Забыла записать: Недогонов уже неделю в психиатрической лечебнице. Я рассказала Симонову. Он сначала вспылил: «терпеть

не могу пьяниц», – но все-таки написал в больницу письмо на депутатском бланке и прислал мне с Музой Николаевной[68].

Симонов, должна признаться, имеет способность выводить меня, хотя бы ненадолго, из мрака.

25/II 47. С утра пошла в редакцию для двух неинтересных встреч: с Вержейской, с Захарченко[69]. Ивинская принесла дурные вести: вчера Фадеев выступал с докладом на сессии в Институте мировой литературы и громил Пастернака. Очень как-то (слово вырезано. – *Е. Ч.):* школка, немецкое; переводит удачно только сумбур чувств, а не политическое и пр.; «не наш», «пропащий»… Придя домой со всем этим сором в душе, я позвонила Борису Леонидовичу. Хотелось услышать его голос. Боже мой, теперь и переводить ему не дадут, ведь это – голод… Разговор был сначала незначительный, потом он сказал фразу, из которой я поняла, что он еще ничего не знает.

– Я звонил к одному из Александровских людей, Владыкину; спросил его: можно ли мне затеять с Чагиным однотомник и можно ли устроить открытый вечер? Мне показалось, он выслушал благожелательно…[70]

Интересно, как теперь поступит Симонов с Пастернаком.

27/II 47. День без конца. Прием без конца. Люди без конца. Стихи без конца. Сутолока без конца.

Прием у меня и у Константина Михайловича.

Толпа поэтов в проходной.

Симонов на репетиции, и неизвестно, когда будет.

Уходят, ждут, приходят, звонят – и, ожидая, читают стихи мне.

Гранки начала подборки. Шрифт, который расковыривает мне ранку в глазу.

Наконец Симонов приехал. Начал принимать. И сразу позвал меня (я подумала: как Маршак Тусю), и началось трудное: чтение и обсуждение стихов с листа. Матусовский. Ушаков. Кирсанов. Наровчатов. Казин.

Целый день в редакции Некрасова. Целый день ждет Симонова: чтобы выпросить денег и прочесть стихи. Я с утра приняла ее первую; показала гранки; выслушала десять стихотворений; условилась, как, когда будем отбирать. Угостила завтраком. Но она не ушла, ждала. Она умна, талантлива, хитра и неприятна. В ее детской прямоте много хитрости и кокетства. Когда наконец ей удалось зайти к Симонову, она успела пожаловаться ему 1) на то, что Кривицкий не дает денег; 2) мне

не нравится одна строфа в политическом стихотворении… Симонов обещал гарантийное письмо в Литфонд.

Но не в этом дело. Произошло следующее.

Некрасова сидела, ожидая, где-то в кресле – как мне казалось, на другом конце комнаты. У моего стола сидела Алигер. Я показывала ей гранки стихов – и протянула гранки «Мальчика» Некрасовой. Та вдруг:

– Этой идиотки?

– Она вовсе не идиотка.

– Неправда! Она идиотка! Я знаю наверняка! Терпеть не могу шизофренической поэзии! Если вы станете ее защищать, я с вами поссорюсь.

– Прочтите.

Она прочла «Мальчика» и согласилась, что это очень хорошо.

Вдруг подошла Некрасова.

– Мне очень нравится ваш лексикон, т. Алигер, – сказала она.

О, как это непереносимо[71].

29/II 47. А сегодня мерзко. Всё, с начала до конца.

Я как-то проспала и в то же время не выспалась. Встала с головной болью. Собиралась в редакцию к двенадцати, но пришлось спешно бежать к одиннадцати, потому что у меня была книжка Сельвинского, которая понадобилась Симонову, пришедшему спозаранку.

Я примчалась – однако он долго был занят бухгалтерскими делами.

Пришел Ошанин, вызванный Кривицким, хотя ни я, ни Симонов его не звали.

Стараясь быть возможно мягче, я объясняла ему, что он не лирик.

Он старался быть весьма корректным, но все же успел мне сообщить, что мое мнение – вкусовщина и что ему жаль, что Симонов из *моих* рук получил его стихи.

Что я могла ответить на это. На первое – ничего, на второе – тоже, потому что не могла же я ему сказать, что Симонов говорит о нем: «бездарен, как стол», «тринадцать лет знаю – и ни одной строки» и пр.

Он вышел и заговорил у окна с Ивинской.

Ивинская сообщила: он говорил сквозь слезы.

Когда вошли ко мне Симонов и Кривицкий, я сказала, что Кривицкий виноват, что незачем было звать Ошанина и мне сейчас совершенно бесплодно его огорчать.

Кривицкий, как всегда, не понял слова «бесплодно» и стал объяснять, что нужно быть смелым и прямым.

Смелым! Но в данном случае – для чего? Разве человек, пишущий пятнадцать лет, поверит, что он не поэт?

Симонов мягко, но твердо сказал Кривицкому, что приглашать поэтов без нас – не следует.

Кривицкий отравил бы меня, если б мог.

И отравит когда-нибудь.

Но Симонов недвусмысленно всячески «поднимает» меня.

Потом Ольга Всеволодовна доложила, что приходил Ковынев и сказал, что мы все интриганы, а Симонов обещал напечатать его поэму. Я спросила Константина Михайловича, правда ли это? Он вспылил, схватил перо и написал:

– Ввиду того, что Вы сказали, что я обещал напечатать Вашу поэму, которой я не читал, – я читать ее не буду.

И дал записку Ольге Всеволодовне, не желая слушать никаких объяснений.

А мне хотелось, чтобы он выслушал и чтобы прочел.

Но говорить толком как-то нельзя было. Все – наспех, под звон телефонов. И хотя и благородно, но каждую минуту с оглядкой на Кривицкого:

– Саша, это я верно сделал?

Потом показал мне свои последние стихи: На день рождения[72].

Со второй половины они совсем хорошие – с подспудной грустью, – и потому мне легко было хвалить их – и легко было бранить первую строфу, очень плохую.

3/III 47. С утра была в редакции, работала с Уриным, Ойслендером.

Потом Ивинская уговорила меня пойти на совещание молодых, послушать «руководящие» доклады. Я согласилась, желая сама, своими ушами послушать о Пастернаке

Кировский дом пионеров. Капусто с пылающими щеками. Мы втроем в бельэтаже – опоздали, – Фадеев уже говорит. За столом как-то кучей президиум: Михайлов[73], Маршак, Тихонов, Федин. Впервые я увидела Фадеева (видела в Казани, спала рядом на стульях, но тогда не разглядела). По-моему, очень неприятное лицо с хитрым и злым ртом и белыми глазами.

Говорит с темпераментом, умело, но, по существу, плоско и неумно. О Пастернаке мягче, чем я думала (говорят, ему сверху приказали слегка поприкрутиться), не по первому разряду, а по второму, но в достаточной степени гадостно. О немецкости – нет, о чуждости – тоже нет, но индивидуализм, бергсонианство, ничего, кроме «Девятьсот пятого года» и Шмидта[74], невнятица, не может ничего дать молодежи и пр. пошлости. (Странно: я уже всё

просто забыла и мне смерть как скучно вспоминать.)

В перерыве мы спустились вниз. В вестибюле Алигер, Тушнова, Недогонов, Наровчатов – множество всякого народа. Мы пересели во второй ряд. Доклад Перцова о поэзии. Нескладно, приблизительно, невнятно, бездарно. Тоже о Пастернаке. Вот в 46-м году вышло «Избранное». Что же позволяет себе поэт печатать в этом «Избранном?» (Жду с замиранием сердца: что же?) Строфы, которые так трудны, что пробираться через них – неокупающийся труд. И цитирует совершенно понятное, легкое об Урале (без родовспомогательницы и пр.)[75].

Если бы я взялась за это нехорошее дело, я бы исполнила его лучше. Мало ли у Пастернака действительной зауми?

Затем – доклад Симонова о драматургии.

Он должен был докладывать о поэзии, но уклонился.

Я должна признаться, что говорил он умно, и элегантно, и благородно – ни на кого не кидаясь.

4/III 47. Встала сегодня в девять – и вот только сейчас, через двенадцать часов, смогла сесть за стол в библиотеке, писать, думать.

…Днем решила пойти в редакцию в надежде увидеть Симонова и показать ему «Окраину» Семынина[76], которую я хотела бы дать в № 3. Дождалась его. Но он забежал на секунду и меня не принял: между репетицией и поездом, едет в Ленинград, весь черный от устали.

6/III 47. Страшный поток людей и гранок – страшный – державший меня часов семь – без еды – в грохоте дверей, в куреве – нет, не могу – в физическом и душевном ужасе.

Ивинская приносит газету, где ругают Пастернака[77], и почему-то настойчиво требует, чтобы я зашла к Музе Николаевне.

Иду, после всего.

Муза Николаевна радушна, поит кофе. Муж ее литератор, – кажется, нуден. Затея Ивинской: пригласить Бориса Леонидовича читать к Музе Николаевне.

Я звоню ему, приглашаю.

Чувствую во всем этом какую-то фальшь и глупость.

Сейчас пришла домой. Завтра – Симонов, который, оказывается, улетает в Англию. Вот почему он такой вытаращенный. Без конца составляю список дел к нему. Хочу показать ему «Окраину» Семынина – ему понравится, может быть, – и тогда Кривицкий с его резолюцией вынужден будет пустить.

7/III 47. Я с утра в редакцию – там уже ждет Симонов, запершись с Кривицким. Меня принимают; по движениям, по лицу, по голосу Симонова вижу, что он не в духе, замучен, холоден, на какой-то другой, чужой волне. Говорит отрывисто, официально… Передает мне стихи ленинградцев – рывками – и вдруг – вскользь:

– Знаете, Пастернака мы не будем печатать.

Так.

– Только позвоните ему перед отъездом, К. М., – говорю я. – Скажите сами.

Он как-то неопределенно кивает.

А Кривицкий взрывается:

– Незачем тебе звонить… я не ждал от него… крупный поэт… что он дал за стихи? ни одного слова о войне, о народе! это в его положении!

– Мне жаль, – говорю я, – что мы просили у него стихов.

– Нисколько не жаль! Просили, а печатать не будем! Нечего стоять перед ним на задних лапках!

– Разве *не* просить у него стихов – значит стоять на задних лапках?

– Товарищи, товарищи, не надо, у нас еще много дела, – морщится Симонов.

Я ставлю еще один роковой вопрос: о Бирман[78]. Кривицкий добился, чтобы ее не печатали, и теперь не хочет даже, чтобы ей заплатили. Я говорю о неприличии. Симонов велит платить. Кривицкий возражает.

Даю Семынина. И на минуту – счастье. Симонов читает с увлечением, с радостью, очень артистически – смеется – и Кривицкий смеется – и я на эту минуту, на одну, люблю их обоих.

Симонов произносит о Семынине целую речь – о его нужде и таланте, – забывая, что слышал он ее от меня же. Ну, это пусть.

Аудиенция окончена. Я ухожу из кабинета в грязь и суету приемной, где мне негде сидеть, где нет чернил и пр.

Поток людей сквозь поток гранок. Мне бы унести гранки в тишину, посидеть, подумать – но нельзя: № 2 идет спешно. А тут грохот, спешка.

Услышав новость о Пастернаке, Ивинская начинает реветь и ревет весь день, бездельничая, отказывая всем, ничем не помогая мне, – и я испытываю к ней отвращение.

Скоро двенадцать.

Написала письмо Симонову о Пастернаке. Надо успеть передать.

8/III 47. Была в редакции. Люди, гранки второго номера, верстки № 1.

Борщаговскому (который почему-то имеет право вмешиваться) не нравится Недогонов. Он, кажется, милый человек, но:

– Лидия Корнеевна, что значит «тишиной оглушены»?

– Почему «перегоревший небосклон»?[79]

Вот поди объясни ему.

Один ответ: понимаете, это стихи! это стихи, а не газетная статья.

Милая, но чем-то меня раздражающая Спендиарова[80].

Муза взялась передать Симонову мое письмо. Думаю, на этот раз уж он рассердится.

10/III 47. Позвонит ли Симонов Пастернаку?

Вьюга. Погода нелетная. Думаю, он сегодня не улетит.

Утром работала над Герценом.

Потом – в редакцию, добывать подпись Кривицкого для всяких стихов – последних для подборки, в частности для одного отрывка из поэмы Семынина, который он наконец надумал дать. (Мне удалось под «Окраину» уже добыть ему деньги.) Но Кривицкого нет – провожает Симонова. (Ну, значит, Симонов не позвонит Борису Леонидовичу.) Держит его за горло, как бульдог.

12/III 47. Режим работы, режим сна – ха-ха!

Сегодня в три должна была придти работать Эмма Григорьевна[81]. Но в 2.30 мне в редакцию из-за поляков. Прихожу– меня Наталья Павловна (зав. производством)[82] оглушает новостью:

– № 1 сильно сокращен, нет бумаги – сняты болгары, латыши и Заболоцкий.

С тех пор 7 (семь!) часов борьба с Кривицким из-за Заболоцкого.

Он не против, но: за снятие Стонова ему влетит[83], за снятие критики и библиографии тоже, а за снятие Заболоцкого – нет, и он снимает его, хотя там всего четыре страницы.

Уже истощив все доводы, я нахожу неожиданного союзника в Агапове, который горячо отстаивает эту поэму как событие в литературе. Кривицкий уходит – Агапов обещает мне звонить ему вечером.

Даже Дроздов обещает помочь.

Вечером – не заходя домой, – придумав новые доводы, иду к Кривицкому в «Красную Звезду»; убеждаю, хитрю, молю; при мне звонят о том же Дроздов и Агапов; Кривицкий неколебим («не мог

щадить он нашей славы»[84]) и только обещает, если ему удастся выхлопотать где-то еще два листа – тогда напечатать его.

А в № 2 нельзя – там лирика занимает всё место.

Как я устала, устала.

Пастернак, Заболоцкий.

По живому.

Мне еще предстоит звонить Борису Леонидовичу.

Я бы хотела лучше пойти к нему, но нет возможности.

Завтра прием. Послезавтра Капусто и Кривицкий.

13/III 47. Писать не могу. Встала в семь, проснулась в пять. С утра в редакции. Заболоцкий идет. Сегодня его уже печатают.

Целый день сидела в редакции и правила, клеила гранки подборки.

Сдала. А в верстке ее начнут резать.

Телефон не работает… письмо Пастернаку.

16/III 47. Вчера позвонил Пастернак. Благороднее нельзя было ответить на мое жалкое письмо. Он же еще меня и утешал.

«Всё это пустяки… Важно то, что Вы меня уважаете и я никаким другим не буду… А я сейчас очень рад. Я узнал недавно, что издательство (какое-то английское название) выпускает переводы русских классиков (перечисляет), а из советских (sic!) только два: я и Блок. Я эти переводы видел и знаете чему обрадовался – я думал, что у меня многие стихи вокруг рифмы, а смысла не имеют никакого – но оказалось, что в переводе без рифм, где один прозаический подстрочник, – смысл всё равно есть». (?!)

18/III47. Тяжело писать, а надо.

Симонов когда-то – когда я еще только пришла в редакцию, – отдавая мне переводы Мочаловой, исполненные по его заказу, сказал:

– А те, которые не подойдут, надо будет оплатить в 50-процентном размере. Она очень бедная женщина…

Два ее перевода я забраковала, два вытянула.

Когда она спросила меня о деньгах, я, для подтверждения, зашла к Кривицкому, рассказала ему о желании Симонова и спросила, когда ей можно обещать деньги:

– Когда будем платить по № 1.

Я так и сказала ей – глухой, больной, голодной.

Теперь идет разметка по № 1. Я звоню Кривицкому.

Чудовищный разговор. Ничего не помнит, ничего не было, ничего не обещал. «И не берите на себя, пожалуйста, инициативу

в денежных делах».

Это мне месть за Бирман, которой он вынужден, по моей инициативе, платить.

Лгун и интриган из породы Мишкевича[85].

Длинный разговор с Раскиным, который тоже – по своей линии – возмущен Кривицким.

Эта крыса всех сгрызет.

Не стала бы я с ним вообще разговаривать – но – подборка. Не миновать разговора.

Я дам ему почувствовать обиду.

19/III 47. Утром – Семынин. Он теперь гораздо бережнее меня расспрашивает о здоровье – или мне кажется так? Чудные штуки люди! Он пришел, сел и сказал, буквально:

– Я решил печататься в «Новом Мире» в каждом номере…

Господи! Хоть бы в одном протащить…

20/III 47. Вечером пришла Ольга Всеволодовна с целым ворохом сообщений о Кривицком.

Позвонил Раскин: ему сказала Наталья Павловна, что Кривицкий решил сократить подборку на лист.

Я решила предложить перенести ее в № 3, чтобы дождаться Симонова. А во второй номер сдать то, что у нас готово для № 3… Иначе никакая антология не получится и никакой лучший отбор тоже: ни то ни се.

Не желая говорить с Кривицким после его грубости, я попросила Ольгу Всеволодовну позвонить ему и спросить, когда будет обсуждение подборки.

Он ответил ей грубо, одним словом: извещу.

Так.

А все-таки Бирман уплачено, а все-таки Заболоцкий идет, а все-таки Мочаловой и Лейтину тоже уплачено будет, а все-таки я уже научилась добиваться своего.

Говорили опять о предстоящем чтении Пастернака у Кузько[86]. Хозяин глуп и плосок. Общество неизвестно. Положение перед «Новым Миром» щекотливое. Ответственность перед Борисом Леонидовичем большая и ложится на меня (в его глазах), хотя я нисколько не была инициатором, а только согласилась принять участие.

Не жду хорошего.

21/III 47. Девять часов подряд вычитывала с Ольгой Всеволодовной корректуру подборки.

Глаз болит.

Много плохих стихов – Васильев, Рывина, Луконин[87].

Интересно, что придумает Кривицкий. По сведениям моей тайной агентуры – он хочет не сокращать подборку, а пустить ее подряд, не с отдельной страницы каждого. Ну, это еще не худшее. Только бы уцелели Семынин, Недогонов, Светлов, Тушнова, Наровчатов, Некрасова, Зыбковец…

Что за пакость – Кирсанов.

26/III 47. Не знаю, как держусь на ногах.

С утра в редакции, чтобы выяснить, нет ли ошибок в сданной мною вчера корректуре.

В ответ – грубый скандал, учиненный мне ни с того ни с сего Натальей Павловной и, в ее защиту, Кривицким.

Будет ли исправлена ошибка или назло не будет – так и не ясно.

27/III 47. Приемный день в редакции. Ойслендер, Ховкин, и еще, и еще.

С Натальей Павловной не разговариваю. Так и не знаю, исправит ли она грубейшую опечатку на рифме (у Тихонова!) или же назло оставит так. Во всяком случае, о ее бюрократизме и грубости буду говорить с Симоновым.

Вечером написала заявление Кривицкому насчет несогласия моего с тем, что подборку дали сплошняком, в подверстку. Прочла заявление Семынину, который сейчас мой союзник и собирается говорить с Симоновым о неспособности Кривицкого вести журнал.

Я буду с Симоновым тоже о многом говорить: о грубости Кривицкого, о том, как он тиранит Ольгу Всеволодовну, о его защите наглого поступка со мной Натальи Павловны. О том, что он всех теснит и все от него хотят подальше. (Вчера мне жаловался на него Замошкин[88]. Вообще в редакции его все дружно ненавидят.)

28/III 47. Кривицкий непременно будет сокращать подборку, и непременно – за счет лучшего, и сделает это самым неуважительным образом: без меня. Ну ладно, обо всем поговорим, настанет время.

1/IV 47…Зашла на минуту в «Новый Мир» – глянуть на сигнал № 1 и успокоить Ольгу Всеволодовну насчет намерений Кузько.

В номере – Недогонов, Заболоцкий. Опечаток, кажется, нет, все пристойно.

Ольга Всеволодовна сообщила мне – со слов Заболоцкого, что ходят слухи, будто «Новый Мир» закрывают.

Оно бы и по заслугам. № 1 – в апреле. И злой клоп Кривицкий, всех давящий своим преувеличенным чувством субординации… Как будто субординацией держится такое живое, страстное дело, как журнал!

4/IV 47. Ну вот и развязка истории с подборкой. Боже, какой чудовищный по напряжению день. Капусто. Как всегда – утомительно и бесплодно.

И бесконечно долго.

Во время работы с ней мне позвонил Асеев. Очень мягко спросил:

– Лидия Корнеевна, скажите, почему не идет моя «Горная идиллия»?

– Как – не идет! Она подписана к печати.

– А т. Кривицкий говорит, что она не идет.

– Это значит, что он снял ее…

Звоню Кривицкому.

– Ведь вы обещали мне, что сокращать подборку мы будем вместе.

– Я никогда вам этого не обещал…

Как я всегда *удивляюсь* лжи. Уже до сорока лет дожила, и всё она меня ошарашивает каждый раз. Он не обещал! Обещал, и лично, и по телефону раза три.

– Александр Юльевич, в какое положение вы ставите меня перед авторами. Я только что сказала им, что стихи идут, а потом оказывается, что они не идут…

– А вы никогда не должны говорить, что они идут. *Над вами есть еще люди…*

Одним словом, в сотый раз – всяк сверчок знай свой шесток.

От Ивинской (на которую он накричал за ее вопрос, что осталось в подборке) я узнала, что снят Асеев, Антокольский, мой милый Зыбковец, мой Семынин («Облака»), неприятный Луконин, Гитович, Ушаков.

Зыбковцу я писала, что он идет, Антокольскому говорил всякие приятности Симонов, насчет Гитовича он дал мне строжайшее распоряжение – непременно печатать (при Кривицком), у Луконина мы *просили* стихов.

Он не считается не только со мной, но и с Симоновым.

А я шутом гороховым не буду ни у кого.

Непременно буду говорить с Константином Михайловичем об этом способе работать, об этом понимании субординации.

Сорок телефонных звонков.

5–6/IV 47. Ну вот опять ночь, опять после Пастернака.

Теперь я уже не сомневаюсь, что мы вчера присутствовали при чтении «Войны и Мира».

Это «Война и Мир» нашего времени, на этом будут расти наши дети.

Это великая книга великого народа. И задача теперь в том, чтобы он ее дописал, чтобы его не сломали раньше. Только это. Бог с ним, с печатанием.

…Явилась нарядная Ивинская, и я отправила ее с машиной за Борисом Леонидовичем. Потом за мной зашел приглашенный мной Семынин и потом Эмма Григорьевна. И мы отправились.

Нельзя сказать, чтобы я с легким сердцем шла на это дорогое свидание в чужом, неизвестном обществе, о котором мне известно, что Кузько глуп и пошл, Муза нелитературна, а гости – кто их разберет. Но волноваться было поздно.

Мы столкнулись у лифта – Борис Леонидович с Ивинской и мы.

Он в летнем очень некрасивом старом рыжем пальто и широкополой, не идущей ему шляпе.

В его присутствии меня все режет. Плохие фотографии на стенах. Японские трофеи Музы Николаевны – безвкусные тарелки – американский ширпотреб – «под Японию», который она ему – ему! – показывает. Новые, только что вышедшие книги, отточенные карандаши и квадратики бумаги, *нарочито* разложенные на общем столе в комнате Кузько; тупое, неинтересное лицо его молодой сожительницы (бывшей воспитанницы Музы Николаевны).

Мы довольно долго ждем опаздывающего Агапова.

Большинство мне незнакомо. Очень подозрителен по части глупости и пошлости человек, одетый под англичанина, в каких-то полуспортивных брюках.

Семынин забился в угол, у него измученное больное лицо. В последнюю минуту пришел хорошенький неглупый и неуместный Зильберштейн[89]. Тушновой нет. Эмма Григорьевна, у которой было все время очень чистое лицо, сидела возле меня.

Борис Леонидович сидел за отдельным столиком, под лампой.

Он начал говорить об искусстве. Я многое записала стенографически. Главная мысль была, что проза – наиболее совершенная форма словесного искусства. Это – театр, но тут нужен не драматург, а прозаик[3].

Потом он начал читать.

Будто все окна открыли, будто я вступила в какую-то новую,

легкую и светлую жизнь.

Я слушала вторично и еще отчетливее понимала величие.

И стихи – стихи его героя.

Те самые, которые могли бы сделать «Новый Мир» литературой. «Март», и «Бабье лето», и – бессмертная – Звезда Вифлеема («Рождественская Звезда»).

И тут разразился один из гостей. Он сказал сразу то, что, как объяснял мне по телефону Борис Леонидович, его больше всего огорчает: стихи *лучше*. Между тем они не *лучше*. «Медный Всадник» не *лучше* «Войны и Мира», а для восприятия – легче как более конденсированная форма искусства. Боже, что кричал сытым голосом пошляк. Борис Леонидович мельком сказал что-то такое о Маяковском, пошляк сказал: «Весь Маяковский не стоит одного этого стиха».

Самодовольный голос.

Во время чтения он иногда восклицал с места: «вот это великолепно».

Я готова была его убить.

Я старалась скорее увести Бориса Леонидовича – я сама многое бы сказала, – но тогда заговорили бы и идиоты, и мне хотелось только поскорее его увести.

Мы шли втроем по Тверской – по холоду, – он под руку с Ивинской и я на пристяжке.

Он был прелестен и жалок. Он будто не знает, что гений, и хочет, чтобы это ему повторяли. Он лепетал что-то, что собирается мириться с Фадеевым, потому что сын сказал ему, что ему кто-то сказал, что, если будет установлено, что он дурно влияет на молодежь, – ему капут.

А я думала о том, что после гениальной прозы можно уже не драться с Кривицким, а просто идти помимо него, куда-то выше.

6/IV 47. Утром звонил Семынин, говорил очень умно и тонко о романе; я его переадресовала к Борису Леонидовичу.

7/IV 47. Константин Михайлович приедет 10-го. Готовлюсь к разговору с ним – обстоятельному, полному, обо всех делах журнала.

8/IV 47. Решила дать отдых глазу и целый день проваландалась: днем ходила по второстепенным делам, вечером у меня без конца сидела Ивинская.

В промежутке – звонок от Кривицкого. Совершенно идиотский. Семынин в № 3 не идет – его потеряла Наталья Павловна, он не набран. Предлагаю немедленно придти,

принести экземпляр – нет, поздно. В № 3 будет один Гидаш, Семынин переходит в № 4.

9/IV 47. С утра я потащилась в «Новый Мир» – из-за пертурбации с № 3 и 4. Поэма Семынина, которой должен был открываться № 3 – утеряна Натальей Павловной; а теперь набирать заново – поздно. Очень мило.

Кривицкий как-то добрее и со мною, и с Ольгой Всеволодовной. Однако на свой манер. Он вошел в комнату, где я была одна, и сказал:

– Если хотите, я могу сейчас вам сказать, что изъято из подборки.

– Теперь поздно, – сказала я, – теперь уже я могу из напечатанного узнать.

Но он все же сообщил.

Я спросила, как будет с авторами, когда он известит Антокольского и др.

На это он сообщил мне, что никого не извещает, так как еще *до печати* будет советоваться с Симоновым.

Это интересная новость. Однако успеет ли Симонов прилететь. Теперь, говорят, – 13-го.

10/IV 47. Зачем я разговариваю с Кривицким? Он, как опытный провокатор, вечно вызывает меня на разговоры, а потом хамит.

Сегодня у меня приемный день.

Кроме Кушнерева[90] никого интересного.

Снова разговор с Кривицким, вызванный им, и очень знаменательный.

Я проиграла свою пластинку насчет отсутствия в редакции коллективной работы, обсуждения рукописей и пр.

На это он ответил:

– Редакция не дискуссионный клуб и не салон. А если вам хочется устроить салон – то Муза Николаевна предоставляет для этого удобное помещение поблизости от «Нового Мира».

И еще:

– Как это вы говорите, что никогда не слыхали в редакции *литературных* разговоров? Симонов тратит на работу с вами 5–6 ч. в день, а иногда дни и ночи…

До каких гипербол доводит ревность!

Все-таки этот умный человек очень глуп и плосок, кроме всего прочего.

Пришла домой – на столе «Культура и Жизнь» с подвалом

хвалебным о Недогонове и шпильками по адресу редакции. «Неряшливые фразы», «слабые места» и пр.[91] Что ж, пусть. За Недогонова я рада. Только бы это не значило, что Заболоцкого будут ругать.

12/IV 47. Симонов прилетел. Кривицкий торчит у него. (Сведения от Музы Николаевны.)

Затребует ли он к себе подборку?

Воображаю, как информирует его Кривицкий[92].

13/IV 47. Звонила Константину Михайловичу – тщетно. От Музы Николаевны знаю, что он готовит доклад, смотрит «Русский вопрос», устраивает банкет актерам[93]. Когда еще до меня дойдет очередь. А у меня полные руки стихов, вопросов, жалоб.

14/IV 47. С утра в «Новый Мир». Шевелева, Ойслендер, Кронгауз, Капусто. Ольга Всеволодовна с новой сплетней. Чинуша Дроздов сказал ей:

– Ну что, уже наябедничали хозяину? Нет? А мы уже сообщили ему всё, и ваша карта бита.

Так лакеи и горничные говорят в передней у большого барина, а не порядочные люди.

С барином же я беседовала секунду по телефону, и он мне назвал час (завтра), когда я могу ему позвонить, чтобы условиться, когда мы увидимся, – по редакционным делам. О других же делах я с ним не говорила, так как это было из редакции, у всех «на слуху». Но ему дозвонился Раскин и сказал, что нам троим нужен сепаратный разговор. Он обещал.

15/IV 47. День содержательный – и даже какой-то весенний, – и по-весеннему теснит где-то возле сердца. И не понять – хорошо или плохо или только тяжко.

С семи начала звонить Константину Михайловичу в «Новый Мир», по условию. Он вдруг сказал, что с текущими делами я могу придти сейчас. Я схватила заветную папку с подготовленными циклами и помчалась. Очень весенняя улица – холодно, сухо, зеленоватое небо, огни при свете – что-то не ленинградское, нет, но как отзвук забытого гимна. Константин Михайлович вышел мне навстречу из кабинета – располневший, приветливый, любезный, неторопливый. В кабинете был, конечно, Кривицкий.

– Что вы так располнели? – спросила я.

– Пито много было, – сказал Константин Михайлович. – И скучно очень.

Кривицкий сказал, что удаляется на пятнадцать минут.

– Чтобы утешить вас с нашими отношениями с Пастернаком, – сказал сразу Константин Михайлович, – я хотел вам сказать, что я звонил ему и на днях встречусь и подробно буду с ним говорить. Я привез ему привет от его сестры и посылку из Англии.

Боясь, что Кривицкий вернется с минуты на минуту, я поспешила просить Константина Михайловича назначить мне свидание у него дома – мне и Раскину и Сашину. Он назначил в 7 ч. в пятницу.

Очевидно, он подборку изуродованную видел и благословил. Он мне сказал только:

– Зыбковца, Лидия Корнеевна, мы напечатаем в новых голосах.

Очевидно, это мне в утешение.

Вернулся Кривицкий. И объявил, что нужно немедленно сдавать материал в № 4 – потому что стихи, перемещенные (из-за него) в № 4, возвращаются в № 3. (И Семынин в том числе…)

– Понимаешь, Константин, нельзя же, чтобы в № 3 отдел был представлен одним Гидашем!

Затем я передала Константину Михайловичу заветную папку и ушла.

Я торопилась в этот вечер на другое свидание – с Пастернаком.

Легкий, веселый, весенний, какой-то возбуждающий вечер.

Но чуть я уселась напротив Бориса Леонидовича за круглым, накрытым белой скатертью столом, в тишине пустой квартиры, в мутном блике картин, – меня сразу охватило чувство усталости и, главное, ненужности моего прихода.

Борис Леонидович надел очки, взял карандаш и бумагу.

Я читала какие-то десять стихотворений, потом поэму.

Прежде чем начать, я просила, чтоб он не был снисходительным – как бывала ко мне и другим, например, Анна Андреевна. С ее высоты всё хорошо.

Заговорили о ней, и в сторону он сказал:

– Стихи ведь непонятно чем измеряются. Ахматова, как и Мандельштам, и Гумилев, думает, что есть «ремесло», «уменье». А я думаю, что. – и он заговорил о глубине и о раскрытии человека, о личности.

Я читала, он помечал что-то на листках.

Я совсем не волновалась. Только мне казалось все ненужным, скучным, и почему-то было все равно, что он скажет.

Он сказал:

– Вот и не правы мы оказались в начале разговора. Те ваши

стихи хороши, где не только глубина, а есть и форма, и довоплощенность, и красота.

Такими он назвал «Вишни», «Но пока я туда не войду…», «И все-таки я счастлива…», «В трамвае…», «Свернула в боковую тьму…» – и «Поэму», а в других отмечал отдельные удачи: «Мертвая – равная…», «И зорче мы видим глазами…»[94].

Обо всем он говорил доброжелательно и, вероятно, искренне, но во мне совсем не было радости, и я все время думала: «надо, надо бросить стихи».

(Как он сам у Скрябина о музыке[95].)

Потом сидели, ели невкусный торт, разговаривали. Мне он казался очень усталым, очень обиженным, замученным. Рассказал о Крученыхе, который пришел его уговаривать написать какое-то заявление, о Зинаиде Николаевне, которая выступает в обычной презренной бабской роли: «ты губишь Леничку» – и пр….Потом говорили о Риме, о христианстве, и меня поразило сходство с Герценом и жаль стало, что он его не знает: такое родство (как у всего великого). Потом о народе, о неверности этой мерки «народ понимает» – «народ не понимает».

Я сказала:

– Лучше бы мериться на Чехова, например. Понял бы Чехов или нет? Потому что Чехов есть *орган* понимания русского народа – *он,* а вовсе не пассажир метро.

Он чудно сказал:

– Конечно, все для народа и через него и от него. Но вы правы… А я, когда чувствую себя признанным, когда слышу отклик, – вот тогда я чувствую себя в долгу и хочу уметь в остаток жизни заслужить это незаслуженное мной признание.

Говорил еще о всяких своих намерениях, которые иначе не назовешь, как бредовыми: пойти к Фадееву, прочесть ему кусок из романа…

Он верит, что кто-то его будет беречь, он повторил несколько раз: «Ивинская сказала, что Замошкин сказал, что печатать можно. Как вы думаете?»

Бедняга! Стоит мне на минуту подумать о Кривицком… Или Ермилове.

16/IV 47. Нудные мысли о предстоящем разговоре с Симоновым, тяжелом.

На меня будет очень влиять обстановка, телефоны, m-me.

Но я выучу все наизусть, чтобы не сбиваться.

Да, вчера Борис Леонидович сказал:

«Мне необходимы такие чтения, как было. Для меня это

наслаждение, почти физическое, чувственное. От лиц, от лампы и стола в комнате, от улицы, по которой мы шли».

17/IV 47. Нет, кажется, я не в силах продолжать.

Мне недостаточно того сознания, что, не будь меня, – не было бы в № 1 Заболоцкого, в № 3 – Семынина, в № 2 – Некрасовой, Фоломина – тех островков поэзии среди моря риторики, фальши, мертвечины, которые мне удалось оборонить, возвести. Я, кажется, не согласна платить за них такой дорогой ценой, как платила сегодня.

А на что же я рассчитывала, смела рассчитывать? На какой рай?

Сегодня день редакционный – приемный – собирался быть очень спокойным. Я пришла, сидел один Ойслендер. Потом я взялась кое-что читать. Появился Симонов. Он сразу осчастливил меня двумя сообщениями: что едет в Ленинград и поэтому наше свидание отменяется, что стихов, данных ему, не прочел, а будем сейчас срочно читать вместе, так как надо сдавать срочно № 4 и № 5. Я вошла к нему. Началась скороговорка. Читал он как-то недоброжелательно и даже один раз сказал колкость. Забраковал несколько стихотворений, не *чудесных,* но вполне достойных печатанья. Упорно вчитывался в Гудзенко, когда мне хотелось, чтобы он прочел Семынина, Некрасову. Кривицкий входил и выходил. Вдруг Константин Михайлович объявил перерыв на сорок минут. Я не удивилась – думала, срочные дела – и ушла. Но через час он позвал меня и сказал:

– *Мы* решили в № 5 стихов не давать вовсе – потому что ничего особенно хорошего я не вижу тут, – а в № 4 дадим Карпенко[96] – он хотя бы свежий…

Во-первых, – каков поворот: решать, когда я сижу в редакции, но без меня – это новость! До сих пор он очень демонстративно всегда звал меня, когда речь шла о каких-нибудь стихах. Во-вторых, зачем говорить, да еще при Кривицком, что стихи плохи, – раз он не прочел лучшего, что я ему дала?

Одним словом, тот, по-видимому, накачал его здорово, налгал обо мне с три короба и решено меня «подсократить» и «поставить на место».

Уходя из редакции, Симонов подошел ко мне проститься и сказал:

– Чуть я приеду, мы поговорим.

Но я уже *не знаю,* желать этого свидания или нет. Очевидно, тот нашел, что ему сказать про меня… Нет, все-таки я свое скажу.

А там – как хочет. Шутом не буду и у царя небесного, не только что у Симонова.

Неприятности следовали дальше.

Только что Симонов удалился, ко мне подошел Кривицкий и спросил:

– Как зовут Львова?

– Николай, – бодро ответила я.

Оказывается, Михаил – и опечатка, глупейшая, по моей вине, – опечатка в подборке[97].

Кривицкий был довольно милостив, на мои ламентации великодушно отозвался:

– Ну что ж, со всяким бывает, – очевидно, решив, что с меня на сегодня довольно.

22/IV 47. Что за отвратительные, тупые, бездеятельные, нуднейшие дни.

Симонов изволил прибыть, но не изволил пригласить. А я, признаться, целый день ждала звонка от него.

26/IV 47. Ну вот, основной нарыв, кажется, вскрыт – или, по крайней мере, находится в периоде вскрытия.

Все было так, как я ждала, – то есть почти до точки. В ночь, предшествующую разговору с Симоновым, я не спала совсем – не было часа. Не спала не только от волнения, а потому что за день до этого была у Туси, поздно легла и выбилась из сна. Поняв, что не засну, я стала пробовать репетировать свою речь. Она изводила меня своей длиной, кляузностью, беллетристичностью. Побившись, я бросила. Было утро. Папа дал мне книжку – вызвать машину. Я заехала за Яном, а потом за Раскиным. Ян был бледен, томен (он поздно ложится), но, как всегда, как-то не по возрасту величав; Раскин живее. Мы приехали в пустой Союз. Константин Михайлович недолго заставил себя ждать. Мы вошли в огромный кабинет с печкой в изразцах и с бронзовым медведем на столе: я все пыталась понять, на чьем столе был точно такой же. В ту минуту, как Константин Михайлович предложил мне начать, – позвонил Кривицкий. Я начала говорить. Я не понимала, как он слушает, и у меня несколько раз срывался голос. Я говорила, перескакивая и чувствуя, что говорю слишком долго, что Раскин и Ян ждут, когда я кончу и наступит их очередь. Когда я уже кончала – снова позвонил Кривицкий, главный герой моего повествования. Потом секретарша доложила, что академик Шишмарев[98], которому назначено в одиннадцать, уже ждет. Значит, я одна говорила час! Симонов заторопился. А я рассказала почти все, о нравах Кривицкого и редакции, но до критики журнала не дошла. Симонов стал настаивать, что надо перенести разговор. Мы просили – сегодня же. Мне было ужасно

неловко перед Яном и Раскиным. Симонов сказал:

– В воскресенье я могу заехать к Лидии Корнеевне, когда буду проезжать с дачи в центр. У меня будет час времени.

Я в смятении согласилась… Отпуская нас, Константин Михайлович сказал:

– Я буду отвечать подробно и обо всем подумаю. («То есть поговорю с Кривицким?» – пронеслось у меня в голове.) Пока скажу только вот что. Вы, Лидия Корнеевна, говорите о коллективе и пр. Но вы – единственный человек в редакции, который высказывает мне *свое* мнение; Дроздов и Замошкин заглядывают мне в глаза, желая угадать, что думаю я, – поэтому их мнение мне неинтересно.

Раскин усадил меня в трамвай, и я поехала в редакцию – Симонов поручил мне поговорить с неким Костериным[99].

Ко мне кинулась Ивинская, потом Муза Николаевна, которая со мной чрезвычайно дружит и сообщает мне последние сведения о разговорах Симонова с Пастернаком или Кривицким.

Я пришла домой, повеселев, – как бы ни решился вопрос о моей работе в «Новом Мире», – он решится, и со смутным сознанием, что мне придется встретиться с Кривицким и это окажется не очень приятно…

Сегодня с утра я была в редакции из-за одного проезжего автора.

Сегодня у Симонова в редакции был прием. Раньше, слушая стихи, он всегда звал меня – сегодня нет. (Правда, меня в редакции не было – но мог бы позвать.) Вечером мне звонил Кронгауз и сообщил две любопытные черточки. Во-первых, когда он – Кронгауз – обратился с каким-то вопросом к Кривицкому, тот ответил: «Я стихами не занимаюсь. Обратитесь к Симонову». Демонстрация это, результат разговора с Симоновым – или просто так? Во-вторых, Константин Михайлович сегодня, вместо того чтобы принимать за закрытой дверью, как министр, – уселся в большой комнате за круглый стол и беседовал со всеми вместе – совсем как в том «дискуссионном клубе», о котором я ему вчера внушала. Ох, внушаемый он человек, и это вовсе не хорошо – принимая во внимание окружение.

Ну что ж еще стоящее? На днях был у меня Николай Алексеевич Заболоцкий, читал свое – «Орган»[100] и переводы из грузин (Орбелиани, Чиковани). Мы вдруг с ним разговорились, вспомнили нашу молодость, стихи, эпиграммы – тех, кого уже нет, кто с таким шумом и блеском входил когда-то в нашу редакцию – с таким артистизмом – и мы бросали работу, валясь от смеха…

Но приятнее всего мне было то, что, когда я спросила его, читал ли он «Рождественскую Звезду», он ответил:

– Я был ошеломлен ею. Это стихотворение, каких немного в русской литературе. Его надо повесить в рамку и каждое утро снимать перед ним шляпу.

Главный поганый разговор все-таки уже позади.

27/IV 47. Ну вот и finita. Снова захлопнулось окно, которое чуть-чуть было приоткрылось в жизни. Прощайте, Константин Михайлович.

Пришел Ян – и убежал к воротам ждать Раскина и Константина Михайловича. Скоро вернулся с Раскиным, но без Константина Михайловича. Мы ждали, сердясь за барское опоздание. И вот наконец – лифт и стук. Он вошел – в диковинной куртке, запыхавшийся, стирающий пот – он перепутал номер корпуса и квартиры и долго искал во дворе. Он сел за мой стол – внимательный, добрый, простой, – будто совсем никуда не торопится, будто нет ни Кривицкого, ни Валентины Серовой, будто здесь он привычный и милый гость. Заговорил Раскин. Он говорил о Кривицком очень резко и прямо, ничего не смягчая. Ян молчал. Потом я сказала несколько слов о неинтересности прозы в журнале. Потом взял слово Симонов.

Он очень подробно и дружески рассказал нам о том, какие романы закуплены им для журнала. (Не бог весть какие.) Потом сообщил, что в журнале каждые две недели будут производиться собеседования. И о планах и текущих делах. Потом погоревал, что в редколлегии нет единства и находятся такие члены, которые уверяют, будто прав не он, а Ермилов. «Моя статья, может быть, и плохая, но разве не ясно, что ею я веду борьбу за человеческое отношение к литературе против хамского».

Потом он стал отвечать на наши претензии. Сказал, что Кривицкий был в очень тягостном положении из-за того, что у журнала вдруг отняли бумагу (будто мы так глупы, что этого не понимаем). Никак не оценил его поведение, никак не осудил его. Сказал Раскину и Сашину, что теперь будет заниматься их отделом *сам* и им не придется иметь дел с Кривицким. Они просияли.

– Теперь я хочу сказать вам, Лидия Корнеевна, – сказал он. – Мне, признаться, было очень горько слушать вас. Пригласил вас в журнал я, и отвечаю я – а в вашем рассказе я услышал, что много тяжелого вам приходится переживать. Мне это больно (sic!). Я думаю, мы с вами сделали ошибку – надо было вам работать на прежних основаниях. Я возьму у вас отдел, а вы будете работать

при мне, в качестве моего личного консультанта, читая стихи и прозу, работая по моей просьбе с авторами и пр.

Я не сказала ничего. Но я уже знала, что откажусь, – сразу же знала, в первую секунду.

А – ему горько, ему больно, что меня унижал и портил мою работу Кривицкий, – ну так дай по рукам Кривицкому, зачем же ты увольняешь меня?

А – ты борешься за достоинство литературы против хамства, – почему же ты не гонишь Кривицкого, а гонишь меня?

А – ты, оказывается, лицемер и ханжа, – ну хорошо.

Он поднялся. Поднялись и Раскин и Сашин – веселые, пошли провожать его. Он нежно и почтительно поцеловал мне руку и ушел – со свитой.

А я кинулась к столу писать письмо – но в эту минуту пришел дорогой Алексей Иванович[101], принесший мне свои воспоминания о Горьком для «Нового Мира».

Мы посетовали с ним – он ушел поздно, – а я села писать письмо и написала.

Скорее бы только, скорее. Завтра он на несколько дней уезжает на дачу – поспеть бы.

Вот он, Лелин друг, защитник благородства и чести, бесстрашный и мужественный.

28/IV 47. Заснула в три, встала в шесть. Переписала письмо. Кончила править Зильберштейна, который обещал сегодня приехать за рукописью из Узкого и не приехал, к счастью, – о, к счастью, я без ног, без глаз, без сил… Созвонилась с Музой Николаевной, она обещала в четыре быть у себя дома, а в шесть отвезти письмо Симонову. Позвонила Раскину и прочла ему письмо – он не ждал ничего подобного, он думал, что все в порядке. Был удивлен, а письмо хвалил – особенно указание на то, что спор с Кривицким – это тот же спор с Ермиловым. Вызвала Тамару[102], чтобы посоветоваться – и она одобрила разрыв и хорошо проредактировала письмо. В самом деле – не только с точки зрения чести, но и практически уходить необходимо: ведь Кривицкий все равно не оставит меня в покое, и если сейчас он не располагает никаким оружием против меня, кроме отсутствия субординации, то в дальнейшем он схватится за другое – и мы ученые, знаем, за какое оружие хватается Мишкевич. Ну вот.

Жаль мне людей, для которых мое присутствие в «Новом Мире» было светом, надеждой – Семынина, Заболоцкого, Ойслендера, Кронгауза, Зыбковца, Мочалову, Левика. Жаль мне бедные росточки поэзии, которые я холила… И все-таки «всё так».

Еще звонят по телефону люди о стихах – и я лгу им, не

говорю о своем уходе.

Но это – недолго, недолго.

А Муза меня подвела. Я пришла, еле волоча ноги, к четырем к ней – сидела битый час с Кузько, – а она не явилась. Вечером позвонила мне, что ее задержал Константин Михайлович, что он уже уехал – без моего письма! – и что она отвезет его ему на дачу послезавтра.

Вечером опять позвонил Раскин «просто так», то есть выразить сочувствие.

Л. К. Чуковская – К. М. Симонову[103]

К сожалению, я вынуждена отказаться от нового Вашего предложения. Разумеется, мне совершенно все равно, в каком именно звании читать стихи и прозу для «Нового Мира»; Вам я всегда рада помогать, потому что направленность Вашей деятельности представляется мне благородной – но то, что Вы отстраняете меня от заведования отделом именно сейчас, – означает в данной ситуации, что Вы, возвратившись в журнал, санкционировали «линию» т. Кривицкого относительно меня и моей работы, – я же с такой оценкой всего происшедшего согласиться никак не могу.

Разумеется, рассказывая Вам обо всей, с моей точки зрения, неправильной и ложной системе поведения А. Ю., я ни на минуту не рассчитывала, что в результате моего рассказа Вы отстраните его от работы в журнале; прочность Ваших дружеских и рабочих с ним связей известна достаточно хорошо; но я, признаться, надеялась, что эта прочность не помешает Вам быть справедливым и Вы найдете ясное и громкое слово, которое даст всему свое название, всё поставит на место и всё разрешит. Оказалось не так. Что ж поделаешь, верно, Вам иначе нельзя. А жаль: в моих спорах с т. Кривицким я и по-человечески и принципиально права – не менее права, чем Вы в Вашем споре с Ермиловым, – и, в сущности говоря, это тот же самый спор – о чести и достоинстве литературы и литераторов.

Всего хорошего, Константин Михайлович, желаю Вам счастливого труда и благодарю за доброе расположение ко мне, которого я не могу не ценить.

28/IV 47.

29/IV 47. Звонил Пастернак.

На что я буду жить? На что?

Жаль, что Константин Михайлович получит мое письмо только завтра.

30/IV 47. Утром – звонок от Музы Николаевны.

– Приходите немедленно. Письмо ваше не передано, и я сомневаюсь, нужно ли его передавать.

– Почему?

– Быть может, это значит ломиться в открытую дверь или бежать с тонущего корабля. Константин Михайлович не на даче, он здесь, его экстренно вызвали…

Я – к ней. Резкое солнечное холодное утро. Чего только я не передумала по дороге! Подборка? Заболоцкий? Из-за стихов, на которых я настаивала, закрывают журнал?

Или все это не через меня, но закрывают журнал?

Муза сообщила, что прямо от Константина Михайловича она ничего не знает, но по репликам его и Кривицкого, который при нем неотступно, уловила, что Константин Михайлович очень расстроен, что его вызвали для каких-то объяснений по «Новому Миру», что кто-то недоволен – не то Жданов, не то А.[104], что Кривицкий произнес:

– Ну что ж, будем вместе работать в другом месте.

Ах, как я огорчилась, что письмо мое опоздало. Теперь надо пережидать, – а кто его знает, когда оно выяснится всё? А я хочу скорее, скорее на волю, раз уж так…

Муза Николаевна сегодня рассказывала, как Кривицкий спаивает Симонова, таскает его по кабакам, ссорит с хорошими людьми.

3/V 47. Теперь уже пора, ничего не ожидая, передать Симонову мое письмо.

Я позвонила Музе Николаевне, и она обещала мне сделать это.

Несколько раз звонил Леля. Он очень обеспокоен всем происшедшим и, вероятно, недоволен мной.

4/V 47. Константин Михайлович весь день был в редакции. Ему нужны кое-какие стихи, которые до сих пор у меня. Я уже дней пять рвусь все отдать Ивинской, а она не берет: «что вы, Лидия Корнеевна, Константин Михайлович непременно уговорит вас остаться!» Как бы не так! Сейчас он просил их к завтрему добыть у меня… Вот и ответ на письмо!

Вечером я пошла к Музе Николаевне со всякими пакетами. Там была Ивинская. Мы пили чай, болтали. Муза Николаевна огорченная, бедняга: Константин Михайлович холоден к ней, держит только «на телефоне»; она видит тут происки Кривицкого – что весьма возможно. Кривицкому, конечно, у Симонова нужен

другой человек, *свой* человек.

Говорят, Константин Михайлович 29-го был с Фадеевым у Сталина[105].

Да, к вечеру, когда я вернулась из библиотеки, состоялась крупная неприятность. Явился Семынин с новостями: Фадееву не понравилась «Окраина» и он предупредил, что ее, наверное, будут сильно бить. Семынин от меня позвонил Константину Михайловичу; тот величаво сказал, что вещь ему нравится и Фадеев не прав. Молодец! Но Семынину от этого не легче.

Но эта вещь даже Кривицкому нравилась. Вот и разберись в этом талмуде.

Каменщиком быть, маляром. Господи!

7/V 47. Утром звонил Леля и сообщил о разговоре, который был у него вчера с Константином Михайловичем. Лелька выражал свое сожаление по поводу инцидента со мной. Константин Михайлович говорил, что я «кристально чиста, правдива» и пр., что он получил от меня письмо, в котором я совершенно права, и что он пишет мне в ответ очень большое письмо. Но он, мол, ничего не мог поделать, не мог поступить иначе. (!) Леля сказал ему, что мне не надо было, очевидно, с самого начала поручать организационных дел (тут он не прав, так как без этого, при постоянном отсутствии Симонова в редакции, было не обойтись), на что Симонов ответил, что даже Кривицкий признает, что у меня блестящие организационные способности.

Странное впечатление произвел на меня этот разговор. Мне, кажется, было бы легче, если бы Симонов порочил меня. А то: я чиста, я благородна, и все же меня выгоняют, как пешку… Что же ты сам за ничтожество! Ведь политических обвинений Кривицкий еще против меня не выставил – значит, если бы Симонов действительно хотел меня оставить, – он нашел бы способ…

Интересно, получу ли я действительно письмо от него?

16/V 47. Утром письмо от Симонова. В одном конверте – два письма. Одно – ответ на мое первое, второе – на записку о Капусто.

Ответ – учтив, даже ласков, и совершенно легковесен.

К. М. Симонов – Л. К. Чуковской[106]

Дорогая Лидия Корнеевна!

Я прошу у Вас прощения, что так долго не отвечал на Ваше письмо. Причина тому не сознательная невежливость моя, а какое-то внутреннее желание оттянуть с этим делом, поискать

выхода, каким все-таки всё могло бы «образоваться».

Я несколько раз передумал Ваше письмо и пришел к выводу, что, серьезно говоря, Вы, конечно, правы, и то, что я предлагал Вам, это полумеры, которые, в конце концов, ни к чему хорошему и не привели бы.

Мне остается от души поблагодарить Вас за всё, что Вы сделали, за Вашу большую и дружескую помощь мне. Прошу Вас так же искренне принять эти слова, как искренне я их говорю.

Глубоко уважающий Вас

Ваш *Константин Симонов*

16 мая 1947 года

Борис Пастернак

Первая встреча [4]

1939. Лето. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать о Мите[1]. Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес: «Городок писателей, дача Чуковского – сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево». В Городке таксист свернул не туда, запутался, приметы не совпадали – непредуказанное поле – и ни одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, стоял на корточках за дачным забором: коричневый, голый до пояса, весь обожженный солнцем; он полол гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и, прежде чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину, шофера и меня, будто впервые в жизни увидал автомобиль, таксиста и женщину. Гудя, объяснил. Потом бурно: «Вы, наверное, Лидия Корнеевна?» – «Да», – сказала я. Поблагодарив, я велела шоферу ехать и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась: «Это был Пастернак! Явление природы, первобытность».

6 февраля 1947… Пришла с работы домой, стала собираться слушать Пастернака[5].

В 6 позвонил Борис Леонидович, чтоб я спускалась. Голос отчаянный. Я спустилась. В машине Алпатовы[2] и Ольга Всеволодовна[3].

Едем минут двадцать. Огни, и московская бессмысленная дорога, которую даже снег не красит.

Борис Леонидович в машине говорит неустанно, – но нет, сейчас я уже и не пробую вспомнить.

Когда мы подъехали к какому-то стандартному безобразию, выяснилось, что никто толком не знает адреса, хотя Пастернак и Алпатовы тут бывали. Борис Леонидович все говорит о бензоколонке, от которой будет пятый дом. Выходит, суетится, торопится. Он очень сегодня нервен. Наконец Алпатов все разузнал, и мы подъехали к дому, а потом прошли по тропе, сбиваясь в глубокий снег.

Комната. В тесноте сидят люди, которых я не вижу. Возглас: «Лида!» – это Николай Павлович Анциферов[4], остальных не вижу[6].

Страшная духота от неумеренного центрального отопления, форточка не помогает, тошнота от духоты, теснота, сижу на скамеечке, и затекают ноги, больному глазу больно от лампы, стоящей возле Бориса Леонидовича, пахнет керосином (это вчера травили клопов, но недотравили: они явно ползают по стенам).

Борис Леонидович говорит много лишнего, страшно ощущает духоту, тесноту, суетливость полной хозяйки дома, которой негде суетиться; он стирает со лба пот.

Наконец начал.

Нет, еще слова и слова о романе. Точно могу записать немногое: «Такого течения, как то, которое представляет у меня Николай Николаевич, в то время в действительности не было, и я просто передоверил ему свои мысли».

Читает.

Все, что изнутри, – чудо. Чудо до тех пор, пока изнутри. Забастовка дана извне, и хотя и хорошо, но тут чудо кончается. Читает горячо, как будто «жизнь висит на волоске»[7], но из последних сил.

Не понимаю, какие люди кругом. Мучаюсь духотой, кровь стучит в больной глаз, и глаз наливается болью. Передо мною все время это горячее лицо и какой-то, может кажущийся, но вполне ощутимый его поворот ко мне. Он как-то читает не только всем вместе, но и мне.

Хозяйка, топчась и задевая спиной, плечами и ногами окружающих, самоотверженно и приветливо разносит бутерброды и, к счастью, вино.

Никто не говорит ничего интересного, а я просто молчу.

Борис Леонидович ждет слов; торопится домой и хочет, напротив, не уезжать, а оставаться и пить; хочет говорить и хочет, чтобы говорили другие. То, что говорит он, так же гениально, как стихи и как лучшие страницы романа, но я все роняю, все теряю: всего слишком много для моего страха забыть.

Глаз колет зайчик от зеркала.

Какая-то седая дама (судя по выговору, актриса) произносит какие-то вялые пустяки.

Борис Леонидович читает стихи из романа.

«Рождество»! «Рождество»!

Читает, как всегда, с интонациями, для меня неожиданными.

Назад еду в машине Весниных[5].

И вот я дома. И пишу ему письмо.

5 апреля 1947. Борис Леонидович читал главы из романа у П. А. Кузько. Чтение было устроено Ивинской. Из приглашенных ею помню И. С. Зильберштейна и некоего гражданина в

американских брюках; как мне объяснили, это отец Игоря Моисеева. Присутствовали: хозяин дома, Кузько; его молодая жена; его прежняя жена – пожилая Муза Николаевна (секретарша К. М. Симонова). Был также Агапов и какой-то неизвестный мне актер – на ты с Борисом Леонидовичем. Я пригласила своих друзей: Т. Г. Габбе, Э. Г. Герштейн и П. А. Семынина[6]. Тамара Григорьевна заболела и не пришла, а мы трое сидели рядом.

Накануне я отговаривала Ивинскую устраивать чтение у Кузько, но она была неудержима.

Уже через несколько дней ненавистник Пастернака, Кривицкий[7], кричал в редакции нечто угрожающее о подпольных чтениях контрреволюционного романа.

5 апреля 47 года Борис Леонидович, читая роман у Кузько, произнес небольшое предисловие. Мне удалось записать его речь стенографически:

«Я думаю, что форма развернутого театра в слове – это не драматургия, а это и есть проза. В области слова я более всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи.

Стихотворение относительно прозы – это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдником.

Я, так же как Маяковский и Есенин, начал свое поприще в период распада формы, – распада, продолжающегося с блоковских времен. Для нашего разговора достаточно будет сказать, что в моих глазах проза расслоилась на участки. В прозе осталось описательство, мысль, только мысль. Сейчас самая лучшая проза, пожалуй, описательная. Очень высока описательная проза Федина, но какая-то творческая мета из прозы ушла. А мне хотелось давно – и только теперь это стало удаваться, – хотелось осуществить в моей жизни какой-то рывок, найти выход вперед из этого положения. Я совершенно не знаю, что мой роман представит собой объективно, но для меня, в рамках моей собственной жизни, это сильный рывок вперед в плане мысли. В стилистическом же плане – это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным, который давал бы чувства, диалоги и людей в *драматическом* воплощении. Это проза моего времени, нашего времени и очень моя.

Летом просили меня написать что-нибудь к блоковской годовщине. Мне очень хотелось написать о Блоке статью, и я подумал, что вот этот роман я пишу вместо статьи о Блоке. (У Блока были поползновения гениальной прозы – отрывки, кусочки.)

Я подчинился власти этих сил, этих слагаемых, которые оттуда – из Блока – идут и движут меня дальше. В замысле у меня

было дать прозу, в моем понимании реалистическую, понять московскую жизнь, интеллигентскую, символистскую, но воплотить ее не как зарисовки, а как драму или трагедию».

12 мая 1947. Вечером позвонил Б. Л. Он и вчера звонил мне, но был крайне возбужден, устал и невнятен. Он сказал, что читал у Кончаловских, где должно было быть много народа. И не пришел никто, кроме Иванова с Комой, причем Иванов был недоволен романом[8]. Все это он произносил весьма сбивчиво, голосом измученным.

Это вчера. А сегодня он звонил мне потому, что я вчера послала ему поэму[8].

О, если бы на кухне не кричали и я могла бы записывать параллельно или хотя бы запоминать! Но именно от напряжения, от усилия ничего не забыть я и не в силах помнить. На этот раз я поверила голосу его и спокойным словам и теперь счастлива. На этот раз он говорил искренне: тут, конечно, щедрость, но, хочется верить, и искренность. Постараюсь записать хотя бы крохи, обрывки, пусть без связи, но зато – точно.

«Аскетическая, протестантски-скромная, но всюду свободная и смелая вещь».

«Это лучше стихов. Там только отдельные строки, а тут все: и «хранитель холода», и Нева, и «унеси же его, унеси», и «ящик»».

14 мая 1947. Пастернак – мне о разговоре с Симоновым в «Новом Мире». (Я уже там в это время не работала.)

Б. Л.:

– Я ему говорю: «Неужели вы не понимаете, что я беспартийный не случайно? Что же вы думаете, у меня ума не хватает, чтобы подать заявление в партию? Или рука правая отсохла? Неужели вы меня хотите заставить на пленуме это объяснять? Ну что же, я объясню, потом меня сотрут в пыль и вы будете иметь удовольствие при этом присутствовать…» Единственные были в нашем разговоре человеческие слова – это о встрече Симонова с моей сестрой в Англии. Она пришла к ним, когда их принимали в Оксфорде. Вошла женщина, и с нею два мальчика. Симонов сказал: «Два *красивые* мальчика». И они говорят по-русски. Вот это меня потрясло… Значит, она их научила по-русски… Они родились и выросли там.

Далее:

– Я запретил Зине рассказывать мне обо всех запугивающих сплетнях и вообще разговаривать на эту тему. Я принялся за переводы и роман.

Ивинская показала мне письмо Гольцева к Пастернаку[9].

Плоское, убогое, деревянное: «Ты – человек глубоко советский, и нападения на тебя Перцова[10] и Суркова[11] меня не удовлетворяют. Ты советский, и я тебя люблю. Но ты дал повод врагам тебя хвалить. Ты подарил мне стихи из романа, которые можно истолковать как отклик на современность – и поэтому ты должен теперь выступить с присущей тебе искренностью» и т. д.

Сколько, однако, людей толкают сейчас Бориса Леонидовича под руку. (Из письма Гольцева следует, на мой взгляд, одна-единственная несомненная истина: так как на свете много Гольцевых и того больше Кривицких – нельзя раздавать направо и налево ненапечатанные стихи.)

17 июня 1947. День начался счастливо: звонком Бориса Леонидовича. С отвычки – голос его, доброта, щедрость его и гениальность каждый раз кажутся чудом. И возраст – юность бьет ключом. И опять это мучение: не могу, не умею записать поток речи слово в слово.

Сейчас он переводит Петефи в каких-то огромных количествах, потом возьмется за «Короля Лира». А роман отложен. Это его гнетет. Я придумывала утешения. «Ведь вы не просто так работаете над переводами, ведь это ради романа, вы зарабатываете себе возможность писать свое, не отрываясь». Утешение, конечно, слабое: внутри роман пишется уже сейчас, а переводы уничтожают в Пастернаке Пастернака. Не мытьем, так катаньем, а умеют-таки помешать ему писать свое.

Я спросила о лесе.

– Какой лес! Я леса не вижу, не бываю в лесу, я перевожу без перерыва, и когда вечером выхожу к Зине и Ленечке – это одно тартюфство, потому что от работы я уже глух и слеп… Все кончилось. Когда я писал роман, я чувствовал вокруг себя особое племя, родное мне, с которым мне было не больно, а теперь все это осталось где-то далеко, как не бывало. Приезжал ко мне Асмус, с ним брат с женой, все привычные, милые люди: потом я был у Константина Александровича[12], там Алянский[13], – все мудры и рассудительны. Мы пили водку. Я потом говорю Зине: «Вот и водка мне перестала помогать». А она говорит: «Это не водка перестала, а люди перестали».

Расспрашивал подробно и ласково о моем житье-бытье. Я рассказывала (конечно, не рассказывая).

– Заходил как-то ко мне Корней Иванович. Я ему говорил снова о вашей поэме. Корней Иванович мне: «Бедная Лида». А я ему: «Почему она бедная? Она живет по закону поэтов, как все мы». Вот и вышло, что я вас не пожалел.

25 июня 1947. Была у Пастернака. Дед послал за Henry James'ом. Борис Леонидович взял книгу у Деда и еще не успел прочесть, а Деду срочно понадобилась. «Скажи, что мне только на один день для справки, а послезавтра я ему пришлю ее снова».

Пастернак, голый до пояса, копался на самом солнцепеке.

Увидев меня, он ушел в дом одеваться и крикнул из окна сверху, что книгу должен поискать.

Я была принята на террасе самой Зинаидой Николаевной, чего прежде никогда не случалось.

На ковровой дорожке молча играет Леничка. Белоснежная скатерть: белоснежная панама на голове у хозяйки, цветы в горшках на полу, на подоконниках. Уют и покой.

У Зинаиды Николаевны много тучных плеч и очень много тучной, черной от солнца спины: она в сарафане.

Говорит она как-то странно – отрывисто – в сторону, – глядя при этом не в лицо собеседнику, а куда-то мимо.

Она спросила, что я думаю о пленуме и о положении Бориса Леонидовича. Не следует ли Пастернаку обратиться с письмом «наверх»?

Я сказала, что в таких вещах я плохой советчик: газет не читаю, о пленуме не думаю ровно ничего, но, по-моему, всякие письма «наверх» – бессмысленны.

– Пока Борис не сделает заявления, его дела не поправятся, – сказала Зинаида Николаевна с резкостью.

– Каким же заявлением можно опровергнуть чушь? – спросила в ответ я. – Чушь тем и сильна, что неопровержима. Единственный способ, по-моему, – это молчать и работать. Ведь вот молчит же в ответ на все клеветы Ахматова – и молчит с достоинством.

– Ах, боже мой, нашли с кем сравнивать! Борис – и Ахматова! – Тут Зинаида Николаевна впервые взглянула мне прямо в лицо. – Борис – человек современный, вполне советский, а она ведь нафталином пропахла.

Лучше бы всего было сразу встать и уйти. Но как же – без книги? И тут как раз спустился сверху Борис Леонидович, сверкающий сединой, новым галстуком, щедрой улыбкой, радушием, пододвинул свой стул к моему – и уйти сделалось уж совсем невозможно. Ушла не я, а Зинаида Николаевна. Пока мы разговаривали (или, точнее, все время, пока Борис Леонидович произносил не воспринимаемый мною монолог) Зинаида Николаевна таскала воду в огород. Плечи и руки у нее сильные, мускулы как у борца.

Борис Леонидович между тем рассказывал мне о молодой Марине [Цветаевой]. Что? Не помню. Я молчала и притворялась

слушающей, но не слыхала ровно ничего. Зинаида Николаевна, уже невидимая, крикнула откуда-то издали, чтобы мы шли обедать. Прекрасный предлог проститься, но Борис Леонидович загудел, загородил мне дорогу, и я осталась. Перешли на другую веранду. Обедать я не обедала, но сидела. Обед прошел в полном молчании: Зинаида Николаевна и Борис Леонидович ели поспешно и друг с другом не разговаривая. Наконец я простилась – как будто для этого необходимо было дожидаться их последнего глотка!

Борис Леонидович проводил меня до калитки.

– Вы, кажется, чем-то расстроены? – спросил он вдруг, вручая мне книгу.

– Я? Нет.

– А вот Зинаида Николаевна все расстраивается из-за пленума. Она даже требует, чтобы я что-то кому-то писал. Но я читать их не могу, как же я им буду писать? Кланяйтесь, пожалуйста, папе.

22 июля 1947. Борис Леонидович встретил на улице Люшу и попросил, если я могу, чтобы я зашла к нему завтра в четыре.

24 июля 1947. Вчера к четырем я собралась было к Пастернаку, но без четверти четыре он внезапно явился сам. (Это что же – Зинаида Николаевна не желает меня более видеть? Ну и ну!) Борис Леонидович в белых одеждах, а лицо и руки перенасыщены солнцем. Мы втроем – он, Дед и я – сели за стол в тени под деревьями. И сразу начался разговор, мучительный своею незапоминаемостью. Ведь не запоминать и не записывать Пастернака – великий грех – а как запомнить? Запоминаешь только тему, не слова; или хуже: и слова запоминаешь, но не точно… Он прочел «Бурю» Эренбурга и «Необыкновенное лето» Федина. Кое-что все-таки записываю точно. О «Лете» сказал: «В пятом номере лучше, чем в предыдущих». (Ему хотелось похвалить Федина, но он не придумал – как.)

О «Буре»:

– Вы заметили? В наших романах живет и действует очень странное народонаселение. И такие поучительные происшествия случаются! Я не знаю, не могу проверить, существуют ли на Марсе марсиане, – быть может, да! – но *эти* не существуют наверняка.

Корней Иванович начал расспрашивать его о работе: Петефи, Шекспир… Борис Леонидович вместо ответа заговорил о переводах Маршака – хвалебно, восторженно и с какой-то странной запальчивостью.

– Я прочел Маршака, – сказал он. – То есть я его, конечно, и раньше читал и знал, но мало: я знал только, что он хорошо переводит. А теперь перечел и убит. Шут в «Лире» и сонеты!.. Сколько для этого нужно было благородства и, главное, честности. Человек выбрал себе участок, на котором он – полный хозяин. Какая находчивость рифмовки, какие эпитеты… И я со своими дилетантскими переводами почувствовал себя проходимцем, самозванцем…

Мы рассмеялись.

В эту минуту к нам робко приблизилась маленькая, миленькая, кудрявенькая, голубоглазенькая Люся П.[14], которую Борис Леонидович однажды уже посылал ко мне с каким-то поручением. Теперь она явилась сюда как гонец от Зинаиды Николаевны: Борису Леонидовичу пора домой обедать.

– А он у нас пообедает, – сказал Корней Иванович.

Но поднадзорный Пастернак покорно встал. Дед и я пошли провожать его. Люся П. следовала за нами на почтительном расстоянии. Когда мы пересекли шоссе, Дед начал объяснять Пастернаку, что он, Корней Иванович, как это Борису Леонидовичу памятно («вы даже обиделись тогда на меня, Борис Леонидович!»), далеко не все принимает в его переводах, но тем не менее рад, что кроме маршаковских – отличных! – существуют и пастернаковские переводы Шекспира. «Там у вас такие взлеты – недосягаемые».

Борис Леонидович остановился вдруг посреди дороги и даже не закричал – заорал:

– Перестаньте, пожалуйста!.. Не говорите, пожалуйста, ничего. Взлеты! Я сам от себя должен узнать, что я – порядочный человек… А не от вас. Даже не от вас!

Выкрикивал он громко, с надрывом, с отчаяньем и даже приседал от натуги, словно камни выталкивал из горла.

3 октября 1947. Утром, когда я еще в постели, звонок Бориса Леонидовича. В трубке напор счастливого голоса. Он сдал «Лира».

– Я как-то летом заходил к вам и к Корнею Ивановичу и пустил такую унылую, минорную ноту. Так вот, я хотел сказать вам, что теперь все другое, я очень счастлив, и все хорошо. Все дело в том, что надо быть прилежнее и больше работать.

Он берется теперь за роман и обещает вскорости устроить чтение новой главы.

О «Лире» сказал:

– Я его перевел совсем по-новому. Из него всегда делали шумную вещь, а она тихая, там шум только в одном месте, в

ремарке.

12 октября 1947. Звонил Пастернак. Густой, тягучий звук наполнял и переполнял трубку. Выливался из трубки и наполнял комнату. Долго еще жил в комнате, уже умолкнув.

– Звоню я вам потому, что сегодня запнулась моя работа над романом, а у вас на меня легкая рука… Да, да, это так… Сейчас я читаю книги о 14-м годе, но на втором часе чтения начинаю клевать носом. Я стал плохим читателем, я уже совсем не могу читать нечто *вообще,* понимаете? Заниматься *вообще* чтением, читать *вообще* книги… А эти меня возмущают, кажутся скукой и ложью, и мой роман представляется мне одной из форм протеста против них.

Затем он рассказал, что недавно вместе с Зинаидой Николаевной он побывал на «Дяде Ване».

– Ну и как?

– Да, да, да, это хорошая пьеса, пойдите непременно. И спектакль хороший, но с одной оговоркой. Понимаете, что с ним случилось? Он попал в руки Серебряковых: он поставлен Серебряковым, декорирован Серебряковым, сыгран Серебряковыми… Помните, у Чехова дядя Ваня говорит, что Серебряков двадцать пять лет пишет об искусстве, ничего в нем не понимая? Вот это с «Дядей Ваней» и случилось. Все покрыто лаком, это спектакль для современных генералов и генеральш, это не имеет никакого отношения к Чехову. Но когда привыкаешь к чужому языку, видишь, что спектакль все равно хорош… Таково искусство, оно все равно остается собою даже и в дурных руках.

Я вам только что сказал, что Чеховым там и не пахнет. Это не так. «Дядя Ваня» и в пошлых руках все равно «Дядя Ваня».

19 октября 1947. Звонил Пастернак. Он прочел мою статью о Герцене (посланную мной накануне через Ольгу). Мне посчастливилось: во-первых, статья пришлась ему по душе, а во-вторых (карандаш в минуту звонка был тут же, под локтем), я наконец записала Пастернака дословно. Он говорил, а я писала.

– Браво, браво, браво! Это ведь так трудно: литература о литературе, а у вас вышло литературное произведение большой силы и легкости, хотя вы ступили на беговую дорожку, на которой оступился бы всякий… Вот я попытался когда-то рассказать о Гансе Саксе, и у меня ничего не вышло, а ведь был такой интересный материал. Вы написали о Герцене по-герценовски, это та же стихия, что он сам. Вы не теряете зрительности в изложении отвлеченной мысли.

– Но мою статью никто не желает печатать.

– Как вам не стыдно пользоваться такой меркой. А самого Герцена, вы думаете, сейчас напечатали бы хоть одну строку, будь он жив? Я не о мыслях его говорю, а о поэзии. Ведь и он и вы – инородное тело, органическое явление природы (значит, поэзии) среди неорганического, но организованного мира. Организованный мир вечно уничтожает органический. Организованный мир нюхом чует противоположность себе (чем бы она ни прикрывалась) и норовит все органическое уничтожить.

6 января 1948… Я пришла рано[9]. Зал был почти пуст. Села не далеко, не близко – посреди. Скоро явилась запыхавшаяся Ксения Некрасова[15]. Она всегда льнет ко мне, помня мое заступничество за ее стихи в «Новом Мире». Села рядом. Я этому соседству не обрадовалась: я чту в ней поэта, но психически неуравновешенных людей переношу с трудом.

Теперь уж, поняла я, от Ксении Некрасовой мне не уйти во весь вечер. Она от меня не отлипнет.

– Скажите, Лидия Корнеевна, – спросила она, положив мне руку на плечо, – вы из «Нового Мира» сами ушли или вас в конце концов Симонов выгнал?

– Скажите, Лидия Корнеевна, почему не печатают Чуковского? Он впал в немилость? Как вы думаете, это надолго?

Зал наполнялся. Входили слушатели, входили и усаживались за большой стол переводчики: Инбер, Обрадович. Рядом со мною по другую руку села Ольга Всеволодовна – раскрашенная, усмешливая, приветливая, фальшивая. Сразу же возле нее закружилась ее постоянная свита – Крученых и нарядненькая, маленькая, миленькая Люся П.

Входили и усаживались люди. Пришел и Борис Леонидович, которому сегодня читать. Пришли Мартынов, Замаховская и наш Коля[16]. Выступающие садились за стол, но Борис Леонидович прошел в публику и расположился возле нас, точнее – возле Ольги Всеволодовны. Весь наш ряд был уже занят, поэтому, чтобы оказаться лицом к ней, он сел на стул предыдущего ряда верхом – то есть спиною к столу выступающих. Со мной он сначала забыл поздороваться (что так противоречит его обычной доброте и внимательности), вспомнил через несколько минут и, прервав на полуслове беседу с весело ухмыляющейся Ольгой, выпалил со внезапностью:

– Здравствуйте, Лидия Корнеевна! Спасибо, что пришли. Я очень рад вас видеть. Как здоровье Корнея Ивановича? Перестали уже наконец над ним измываться?

Я никогда еще не видела его таким взбудораженным. Волновался он перед чтением, что ли?

Председательствующий, Николай Семенович Тихонов, предложил Борису Леонидовичу сесть за стол переводчиков. Зал был уже полон. Пастернак, шумно извиняясь и всем мешая, неуклюже пробрался между рядами и наконец сел за стол – с краю.

Вечер начался. Загорелый под сединою Тихонов с грубоватыми чертами лица, выражающими, как всегда, непреклонную готовность прямодушно резать правду-матку, произнес, как всегда, несколько кривых и пустых слов – в данном случае о дружбе между русским и венгерским народом. Потом говорил Гидаш. Этот мне нравится. Быть может, какой-то крупностью, не только физической? Быть может, каким-то неуловимым сходством с Квитко? Гидаш – как и Квитко (хотя на другой лад) – коверкает русские слова. Обычно я этого не терплю, но словам их обоих легкий чужеродный акцент придает почему-то обаяние. Речь затруднена, и уже одна эта затрудненность делает ее не пустою. Мы слышим труд мысли… Гидаш очень сердечно рассказал о судьбе и поэзии Шандора Петефи.

Потом началось чтение. По очереди поднимаясь на кафедру, переводы из Петефи читали: Обрадович, наш Коля, Вера Инбер, Замаховская, Мартынов.

Каждый по два стихотворения. Каждого усердно снимал фотограф.

Я слушала и думала: «Как высок у нас, однако, уровень перевода». Изо всех читающих плох оказался один Обрадович.

Все остальные – «на уровне», а наш Коля и Леонид Мартынов даже хороши. Слушаешь их и любишь Петефи. Слышны стихи.

Поднимались на кафедру по очереди – как сидели. Наступила очередь сидевшего последним – Пастернака.

Тихонов назвал его имя. Аплодисменты.

Борис Леонидович встал. Аплодисменты.

Пастернак не взошел на кафедру, как другие, он сделал один шаг вперед – навстречу переполненному залу.

В начале вечера, когда он сидел неподалеку от меня, – он, как обыкновенно, казался мне моложавым. Наверное, с мороза. А сейчас я увидела серое, осунувшееся, постаревшее лицо – запавшие глаза, синие губы.

Нет, не синие губы, трагическое выражение рта.

Чуть только сделал он шаг вперед, сразу к самому его лицу придвинул свой аппарат фотограф. Борис Леонидович отмахнулся от света, как от мухи.

– Меня не надо фотографировать, – громко, с вызывающей брезгливостью сказал он. – Я не знатный. Снимайте лауреатов. А мне не мешайте *читать.*

Фотограф не смутился и все-таки щелкнул.

Пастернак начал читать. И сразу все те хорошие переводы, которые читались здесь только что, перестали быть поэзией, переводами стихов, вообще чем-нибудь. Я не знаю, было ли поэзией то, что читал он. Но голос его был трагедией. «Недаром славит каждый род / Смертельно оскорбленный гений»[10].

И лицо – трагедией. Явление обнаженной трагедии – народу.

Лицо и голос открывали себя нам навстречу. Всем вместе и каждому из нас.

Слушатели подолгу рукоплескали после каждого стихотворения. Рукоплескали – ему. Рукоплескали существованию на свете Пастернака.

Переводчики, сидевшие за столом, сделались не более чем фоном явления поэта. Они перестали быть не только поэтами, но даже людьми. Тем более что они были единственными, кто не хлопал. Они казались неодушевленными, как, например, кафедра, графин или стол. Духом и жизнью был один Пастернак.

В ответ на аплодисменты Борис Леонидович полуобернулся к Тихонову. Спросил через плечо:

– Можно, я прочту еще две вещи?

Зал примолк, выжидая.

– Пожалуйста.

Снова грянули аплодисменты. И когда Пастернак прочел еще две вещи и сел – зал рукоплескал, не стихая, минут пять.

Но Борис Леонидович не читал больше. Вечер и так превратился из вечера Петефи в вечер Пастернака.

Тихонов объявил перерыв. Во втором отделении – музыка.

В перерыве Пастернак снова подошел к нам. Не к нам – к Ольге Всеволодовне. Он говорил только с нею, смотрел только ей в лицо, но говорил так громко, будто обращался по-прежнему ко всему залу. (Люди в это время – кто стоял, кто сидел, кто уходил покурить. Но оборачивались.) Длился монолог Пастернака. Лицо у него было мученическое. Он произносил слова с такою глубиною искренности, что казался позирующим или нарочито изображающим искренне исповедующегося человека в каком-то спектакле. Я подумала: «Он сейчас заплачет». Об этом он и заговорил…

– Я – человек отвратительный, – сказал он. – Мне на пользу только дурное, а хорошее во вред. Моему организму вредно хорошее. Право, я словно рак, который хорошеет в кипятке. Случается вот что: я читаю и вдруг вижу у всех в глазах, что они понимают меня, что они видят своими глазами все, про что я говорю. И у меня сразу начинает першить в горле от слез… – Он пошевелил пальцами в воздухе, стараясь показать, как першит. –

Читать надо с легкостью, как бы шутя, а я так не могу. Мне мешают слезы.

Он вцепился в обе руки Ольги Всеволодовны. Их лица были почти на одном уровне, и страшно было видеть ее раскрашенность рядом с его обнаженностью.

– Вы прекрасно, прекрасно читали, – сказала ему в утешение Люся П. – Совсем как настоящий артист. Профессионально.

– Борис Леонидович, – спросила Ксения Некрасова, – а почему вы не читаете *свои* стихи? Вам запрещено?

4 мая 1948. Дурные вести: новое издание «Девятьсот пятого года» разобрано после гнуснейшей статьи в «Октябре»[17]. Впрочем, бродят какие-то слухи о допущенных «перегибах» и грядущем «переломе». Да, если бы человек жил не 60–70 лет, а 200, то поэтам бояться было бы нечего: ведь полное собрание сочинений Бориса Леонидовича и Анны Андреевны выйдут, в сущности, совсем скоро. Я за них не беспокоюсь.

10 октября 1948. Ирина Владимировна Воробьева, редакторша Детгиза, рассказала мне, что по какому-то случаю Егорова, заведующая отделом классиков, кричала ей о Пастернаке: «Зачем вы пригреваете этого насквозь антисоветского человека? этого шизофреника?»

13 октября 1948. Я побывала у Барто, которая вытребовала меня к себе, чтобы я помогла ей разобраться в вариантах ее поэмы к тридцатилетию комсомола. Живет она в писательском доме, в Лаврушинском переулке, на той же лестнице, что и Пастернак.

Оказывается, Агния Львовна чуть не влюблена в Пастернака, «это мой идол», читает наизусть его стихи, пересказывает свои разговоры с ним и пр.

– Но, Лидия Корнеевна, скажите мне, почему, объясните мне, почему он не напишет двух-трех стихотворений – ну, о комсомоле, например! – чтобы примириться? Ведь ему это совсем легко, ну просто ничего не стоит! И сразу его положение переменилось бы, сразу было бы исправлено все.

6 июня 1952. Я вместе с Наташей Роскиной[18] в гостях у Вани[19]. Мне вдруг приходит на ум позвонить Борису Леонидовичу – ведь он от нас отделен всего тремя этажами! И в ответ обрадованный милый голос:

– Хорошо, через десять минут я спущусь.

У нас суета. Наташа демонстративно пудрит нос, Вова[20]

заряжает аппарат, Ваня, моря нас со смеху, кричит:

– Подайте мне все мои ордена! – и взамен орденов Вова подает ему свою игрушечную позолоченную саблю.

Приходит Борис Леонидович. «Чудо это проходило в двери»[11].

Это он написал:

Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия[21].

Он:

«А кто вы такие? – спросила Мария»[22].

Он: о пейзаже разлуки в этюде Шопена, где выражению подлежало не только нырянье саней по ухабам, не только плывущие белые хлопья и свинцовый черный горизонт, но и «кропотливый узор разлуки».

Я очень давно не видела его. Молодость, студенческость сделались в нем еще заметнее, еще разительнее – молодость движений. Движется он как мальчик. Но седина побелела, он сильно похудел, говорит напряженно, и лицо у него – больное.

Мне он сказал:

– Это, конечно, звучит нехорошо, как «вчера у нас пирог был, а вы не пришли», но я вчера читал свой роман, а вас не было. Я думал о вас, но не позвал.

– Когда же я прочитаю?

– Не беспокойтесь, вот кончу и буду навязывать вам, не отвертитесь. Ведь я пишу роман для немногих, и вы – одна из них.

Перескакивал с предмета на предмет. Ему, наверное, так же трудно разговаривать со всеми вместе, как и мне. Вова сфотографировал сначала всех, а потом Бориса Леонидовича. Пришел Талик Халтурин[23], бородатый. Борис Леонидович говорил с ним очень нежно. Потом нежно говорил о Вове, когда тот на минуту выбежал в кухню.

И скоро ушел.

8 мая 1954[12]. Я видела их обоих вместе – Ахматову и Пастернака. Вместе, в крошечной комнате Анны Андреевны. Их лица, обращенные друг к другу: ее, кажущееся неподвижным, и его – горячее, открытое и несчастное. Я слышала их перемежающиеся голоса.

Вообще слишком много сегодня: я слышала новые куски «Поэмы».

Все это во мне остро и живо, как незаслуженное внезапное счастье, обернувшееся бедой… Какой-то пир горечи, жалости и гнева. Может быть, записывать следовало бы не сейчас, а позже, когда все уляжется и понимать я буду яснее. Но я боюсь утратить верный звук. Лучше уж запишу сразу – пусть неразборчиво, комом, подряд.

Анна Андреевна приехала сегодня и позвонила. Ранним вечером я помчалась к ней.

…Поспешно, без обычных расспросов и пауз, вынула из чемоданчика экземпляр «Поэмы» (на машинке и в переплете) и стала читать мне новые куски…

В столовой раздался телефонный звонок. Никто не подходил. Я подошла.

– Это вы, Анна Андреевна? – спросил Борис Леонидович.

– Нет, Борис Леонидович, это Лидия Корнеевна.

– Наконец-то я вас слышу! Вы еще не уходите? Не уходите, пожалуйста, я через полчаса на десять минут зайду.

Этого получаса я не помню.

Он пришел. В присутствии их обоих, как на какой-то новой планете, я заново оглядывала мир. Комната: столик, прикрытый потертым платком; чемоданчик на стуле; тахта не тахта, подушка и серое одеяло на ней; ученическая лампа на столике; за окном – нераспустившиеся ветви деревьев. И они оба. И ясно ощущаемое течение времени, как будто сегодня оно поселилось здесь, в этой комнате. И я тут же – надо уйти и нельзя уйти.

Комната наполнена его голосом, бурным, рокочущим, для которого она мала. Голос прежний, да сам он не прежний. Я давно не видала его. Все, что в нем было восторгом, стало страданием. «Август»:

> То прежний голос мой провидческий
> Звучал, не тронутый распадом…

Голос прежний, нетронутый, а он – тронут, уже тронут… чем? болезнью? горем? Его новый вид и смысл пронзает мне сердце. Никакой могучей старости. Измученный старик, скорее даже старичок. Старая спина. Подвижность, которая еще недавно казалась юношеской, теперь кажется стариковской и притом неуместной. Челка тоже неуместна. И курточка. А измученные, исстрадавшиеся глаза – страшны.

«Его скоро у нас не будет» – вот первая мысль, пришедшая мне на ум.

Войдя, он снял со стула чемодан, сел – и сразу мощным обиженным голосом заговорил о вечере венгерской поэзии, устроенном где-то за Марьиной рощей, нарочно устроенном так, чтобы никто из любящих не мог туда попасть; афиши были, но на них стояло «вход по билетам», а билеты нарочно разослали учащимся втузов, которым неинтересно.

– Вечер из серии: «лучше смерть», – сказала Анна Андреевна.

– Да, да, и они роздали свояченицам…

Но бросаю – пересказывать речь Пастернака нет возможности, и я не берусь, это не Анна Андреевна. В его монологе были Ливанов, юбилей, Тихонов, кучера с ватными задами, вечер «Фауста» в Союзе писателей, где он, Борис Леонидович, заплакал, читая сцену Фауста с Маргаритой… И многое, многое еще, чего и пытаться не могу воспроизвести. Да и слушала я плохо, такую я чувствовала острую жалость к страданию, глядящему из его глаз.

Я спросила, как роман. Он сказал, что сейчас на несколько дней отложил роман, потому что занят срочной работой: переделывает «Фауста» для охлопковского театра. И стал объяснять нам, как именно он его переделывает.

28 января 1956….Иду на поезд. В одной руке чемоданчик, в другой – муфта, которой я прикрываю от ветра лицо. Метель пастернаковская, и там, с левой стороны дороги, березы наряжены тоже в пастернаковский иней. «Мело, мело по всей земле / Во все пределы», а платок поверх шубы и шапки упорно наползал на лоб и хуже встречного снега мешал мне глядеть. И вдруг я вижу, навстречу человек – большой, широкий, в валенках. Хозяин здешних мест и метелей – Пастернак. Я бросила в снег чемоданчик и муфту, он – рукавицы, обнял меня и поцеловал прямо в губы. Потом поднял все мое, подал – «Я немного провожу вас» – и пошел рядом. Я смотрела на него сбоку, искоса, платок и снег мешали видеть ясно. Кажется, он похудел, лицо заострилось. Он сразу заговорил о романе: «Шестьсот страниц уже. Это главное, а может, единственное, что я сделал. Я пришлю рукопись Корнею Ивановичу, а потом вам».

Я спросила про театр.

– «Малый» поставил «Макбета». Мне с ними легко, потому что они мне менее родственны, чем МХАТ. Они просто хорошие люди, хорошие актеры – Царев, Гоголева, – а в отношениях моих с МХАТом наличествует некий лунатизм.

Слева началась новая цитата из Пастернака: кладбище. Сам он обрастал снегом, белел, круглел, ширел, шапка и плечи в снегу, не человек – сугроб. Он спросил меня, что делаю я. Я ответила: пишу сценарий о Шмидте – и добавила, что Зинаида

Ивановна, оказывается, еще жива[24].

Он остановился и потер рукавицей лоб. Снег полетел между нами. «Зинаида Ивановна? – повторил он. – Жива?» – «Да, – сказала я, – она, говорят, сейчас работает медицинской сестрой в каком-то ванном заведении в Крыму». Мне казалось, он все не понимает. «Та самая, Борис Леонидович: «Однако, как свежо Очаков дан у Данта!»»[25]

Он понял, помычал от удивления (в самом деле, то, что Зинаида Ивановна жива, так же удивительно, как если бы вдруг оказалась жива другая дама из другой эпохи – например, Наталия Николаевна Пушкина), и мы пошли дальше. Идти навстречу ветру в гору было трудно, он взял у меня из рук чемоданчик. Заговорили об ожидаемой «Литературной Москве».

– Нет, нет, никаких стихов. Только «Заметки о Шекспире», да и те хочу взять у них. Вышло у меня с ними так неприятно, так глупо… Какая-то странная затея: все по-новому, показать хорошую литературу, все сделать по-новому. Да как это возможно? К партийному съезду по-новому! Вот если бы к беспартийному – тогда и впрямь ново. У меня с ними вышла глупость. Я такой дурак. Казакевич прислал мне две свои книжки. Мне говорили: проза. Я начал смотреть первую вещь: скупо, точно. Я и подумал: в самом деле. В это время я как раз посылал ему деловую записку, взял да и приписал: «Я начал читать Вашу книгу и вижу, что это прекрасная проза». И потом так пожалел об этом! Читаю дальше: обычное добродушие… Конечно, если убить всех, кто был отмечен личностью, то может и это сойти за прозу… Но я не понимаю: зачем же этот новый альманах, на новых началах – и снова врать? Ведь это раньше за правду голову снимали – теперь, слух идет, упразднен такой обычай – зачем же они продолжают вранье?

Мы взошли на гору. Он умолк и на мои попытки продолжать разговор отзывался вяло. Я почувствовала, ему уже не хочется идти рядом со мной, а хочется туда, куда он спешил до нашей встречи. Он как оскудевающий ручей, который вдруг начинает просыхать, утекать в землю. Он ведь случайно встретил меня, случайно пошел рядом. Теперь он оскудевал…

– Вы похудели и потому стали похожи на Женю, – сказала я, не зная, что сказать.

Ответ прозвучал неожиданно:

– Разве Женя красивый?

Я не нашлась…

…Он поставил мой чемоданчик в снег, повернулся и побежал с горы вниз, и уже из далекой сплошной белой мути я услышала басистое, низкое, мычащее: «До свиданья!»

14 февраля 1958. Забегалась – заработалась – сбилась с ног – со сна – с толку…

Борис Леонидович болен… Опять, по-видимому, непорядок с почками, страшные боли. Зинаида Николаевна потеряла голову. Быть может, задет какой-то нерв позвонка. Ездят три профессора в день, а самые простые анализы не сделаны и диагноза, собственно, нет. Боль лютая, он кричит так, что слышно в саду. Сказал Корнею Ивановичу, который был у него три минуты: «Я думаю, как бы хорошо умереть… Ведь я уже сделал в жизни все, что хотел… Только бы избавиться от этой боли… Вот она опять…» Возле него, в помощь Зинаиде Николаевне, две деятельные женщины: Тамара Владимировна Иванова и Елена Ефимовна Тагер[26]. Дед бился дней пять, писал и звонил в Союз, в Литфонд, пытаясь устроить Пастернака в хорошую больницу, в отдельную палату. Все было неудачно, пока он сам не поехал в город к некоему благодетельному Власову (секретарю Микояна). В конце концов удалось устроить Бориса Леонидовича в больницу ЦК партии и, кажется, даже в отдельную палату.

22 *апреля 1958.* Поднимаясь по лестнице к Деду, я на мгновение остановилась, чтобы перевести дух. И сразу наверху голос: горячий, глуховатый, страстный голос Бориса Леонидовича.

К сожалению, у Деда были: Ираклий[27], которого не терпит Пастернак, Оля Наппельбаум и Наталья Константиновна Тренева. Так что мое свидание ни с Дедом, ни с Борисом Леонидовичем, в сущности, не состоялось. Но с Дедом я рассчитывала вечером увидеться наедине, а сейчас во все глаза смотрела на Бориса Леонидовича. И слушала во все уши.

Я зашла на середине монолога. Как всегда, запомнить бурный водопад его речи мне оказалось не по силам: словесные шедевры, рождаемые в кипении и грохоте, шли вереницей, один за другим, один уничтожая другой; зрительное сравнение здесь, пожалуй, более уместно: они шли, подобные облакам, которые только что напоминали гряду скал, а через секунду превращались в слона или змею.

Он говорил об искусстве (я застала конец): о Рабиндранате Тагоре (по-видимому, бранил): о письме, полученном на днях из Вильно от какого-то литовца, который его, Пастернака, призывает срочно устыдиться романа по причине успеха на Западе.

Мое первое впечатление было, что выглядит он отлично: загорелый, глазастый, моложавый, седой, красивый. И, наверное, оттого, что он красив и молод, печать трагедии, лежащая в

последние годы у него на лице, проступила сейчас еще явственнее. Не утомленность, не постарелость, а Трагедия, Судьба, Рок.

И еще новизна: его отдельность. От всех. Он уже один – он ото всех отделен. Чем? Сиянием своей гениальности?

Но это мощное и щедрое свечение исходило от него всегда. Чем же? Судьбой, Роком? Обреченностью?

По-своему, на свой манер, лицо у него, вопреки загару и здоровью, не менее страшное теперь, чем у Зощенко. Но, глядя на того, сразу замечаешь болезнь. Михаил Михайлович худ, неуверен в движениях, у него впалые виски и жалкая улыбка. Он – «полуразрушенный, полужилец могилы»[13].

А Борис Леонидович красив, моложав, возбужден, голосист – и – гибель на лице.

Впрочем, подсев ко мне поближе и понизив голос, он пожаловался не на что иное, а именно на болезнь. Болит нога.

– Сильно болит? – спросила я.

– Да.

– Зачем же вы выходите в такую мокрую погоду?

– Эта боль больше погоды, больше всего, погода перед нею мелочь…

Он взял у Деда «Свет в августе» Фолкнера, шумно и весело простился с хозяином и гостями и вышел. Я проводила его до ворот. Он спешил.

26 октября 1958. Длится пастернаковская Страстная неделя.

Сегодня «Правда» спустила на Пастернака Заславского[28].

Этот «публичный мужчина», если воспользоваться терминологией Герцена, из тех, кто торгует красой своего слога, призван, видите ли, напомнить Пастернаку (он – Пастернаку!) о совести, о долге перед народом.

Все тонет в фарисействе…

Все это давно уже нашло свое изображение в 66-м сонете Шекспира и в «Гамлете» Бориса Леонидовича.

Где-то он сейчас? Что с ним? Каково ему?

Глядят на меня с газетных страниц кавычки – излюбленный знак того жаргона, на котором изъяснялись у нас журналисты палачествующего направления; так и вижу через десятилетия: «деятельность» – в кавычках, «группка» – в кавычках, «школка» – в кавычках; теперь: «награда» – в кавычках, «мученик» – в кавычках.

Только два слова – враг народа – всегда употреблялись без кавычек. И еще два: внутренний эмигрант.

27 октября 1958. Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным статьей Заславского?

В 1938 году у меня был один спор с Г.: ощущает ли человек, когда его бьют в кабинете следователя, оскорбленность? или одну только боль? Я говорила – да, ощущает оскорбление, Г. говорил – нет. «Представь себе, – объяснял он, – что ты идешь по улице и тебя за ногу кусает собака. Рана глубокая, укус гноится, у тебя гангрена, ты страдаешь, ногу отнимают, ты остаешься калекой. Естественно, ты чувствуешь себя несчастной, но – оскорбленной ли? Оскорбить человека может, – говорил он, – только человек: кирпич, упавший на голову, наносит рану или смерть, но не наносит оскорбление».

Заславский, рядом с Борисом Леонидовичем, да и просто с любым порядочным человеком, всего лишь собака, науськиваемая на… Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным?

Да, я думаю, может. Потому что Заславский, какой бы он там ни был, все-таки человек. И потому, что побои эти наносятся словом и слова читают не собаки, не кирпичи, а люди…

Звонила в Переделкино. Деду хуже. Давление не снижается. Сна нет. Не потому ли, что там побывал Коля и заразил его общим страхом, царящим в Союзе писателей? И своим собственным в придачу – за то неловкое положение, в которое попал Дед?

Я-то считаю, что Дедовым поступком, совершившимся вполне естественно, следует гордиться, а как думает Коля – Бог весть.

К вечеру в городе распространился слух: Пастернак исключен из Союза писателей. Какой-то президиум собрался и исключил. Или правление. Черт их знает. У нас сейчас много правлений, я не в состоянии запомнить, что – что и кто где.

Но как бы там ни было, я – член Союза, стало быть, и я исключила его.

Когда исключали Ахматову, мне было легче. Не потому, упаси боже, что мы тогда, после ссоры, еще не начали снова встречаться, и не потому, что я любила ее поэзию меньше, чем стихи Пастернака. Нет, речь Жданова меня оскорбила, унизила – за нее, за нас всех, за Россию.

Но тогда мне было все-таки легче: я не была еще членом Союза.

А теперь – теперь – я тоже в ответе.

Пастернак называл меня своим другом. У меня есть его фотография с надписью: «Большому другу моему…»

Он возил меня на чтения своего романа. Он доверял мне.

Да если бы и не друг! Какая огромная часть созданного им мира стала моим!

Постепенно становится мной…*

Не становится – стала… И «Отплытие», и «Приедается все…», «Не как люди, не еженедельно…», и речь Шмидта, и «Я тоже любил, и она жива еще…», и вся «Сестра моя жизнь», и «Рослый стрелок, осторожный охотник…», и «В больнице». Всего не перечесть. И «Август», и «Гамлет», и стихи из романа…

28 октября 1958. С утра, встревоженная состоянием Деда, я поехала в Переделкино. Он лежал у себя на диване, укутанный одеялом по самое горло: балконная дверь полуоткрыта.

Глаза несчастные, потому что работать нельзя, и три ночи не спал, и, конечно, Пастернак, Пастернак.

Думает он, разумеется, только о том, что случилось. Эти мысли подняли давление, лишили его сна, уложили в постель. Не знаю, известно ли ему уже, что Пастернак вчера исключен из Союза?..

Я читала ему вслух какой-то роман Томаса Гарди, из середины, с того места, где кончила Клара[14], не понимая ни единого слова, но «с толком, с чувством, с расстановкой». Он сначала будто вслушивался, потом опустил веки. Я отмахала еще страницы три и вгляделась в него, как столько раз вглядывалась в это засыпающее лицо в детстве. Спит? Притворяется? Хочет, чтобы я ушла? «Иди, иди, Лидочек, я сплю», – пробормотал он, и я вышла.

Спустилась, побродила по мокрому снегу и вдруг поняла, что я сейчас сделаю: пойду к Пастернаку.

Я с жадностью ухватилась за эту мысль.

По ту сторону нашей улицы, между нами и воротами Сельвинских, у обочины стояла машина. «Победа», что ли? Она и утром, когда я пришла со станции, была тут же; я еще подумала тогда: вот кто-то приехал мешать Деду, надо не пустить, а может быть, это к Сельвинским? И сразу же забыла про нее. Сейчас я рассмотрела четверых одинаково одетых мужчин, погруженных в чтение одинаково раскрытых газет. На меня они даже и не взглянули, но, идя своей дорогой к шоссе, я все время чувствовала затылком провожающие меня восемь глаз.

Я свернула на шоссе, потом на улицу Пастернака, имеющую наглость именоваться улицей Павленко. Тут, за поворотом, я им уже не могла быть видна. Зачем они там торчат? Объект наблюдения – Дедова дача? Вряд ли. На пастернаковской дороге пусто, никого. Заборы слева, канава и поле справа. Бесконечно

тянется фединский забор. Я никогда не думала, что он такой длинный. Что я скажу Борису Леонидовичу? Как перенесу сегодня обычную грубость Зинаиды Николаевны?

Сегодня этот короткий путь казался мне удивительно длинным. Я шла мимо глухих заборов, по пустой дороге, мимо канавы и поля. Кругом – никого. Но, к стыду моему, страх уже тронул меня своей лапой. Я чувствовала, что не они, а я сама уже подозрительно кошусь на кусты, на канаву, на знакомую тропу, пересекающую поле… Так, наверное, ходят люди по дорогам оккупированной местности: все свое, родное, знакомое и, в сущности, ничем не измененное, оно вдруг становится источником страха.

Подойдя к воротам, я каждую секунду ожидала окрика: «Стой!»[15]

Толкнула калитку. Вошла. Во дворе пусто: я подалась к боковому, правому, кухонному крыльцу. «Дома Борис Леонидович?» – «Дома». Работница побежала сказать ему и, вернувшись, объявила: «Идите через двор, он вышел вам навстречу». Он в самом деле шел по двору, вглядываясь в меня и не узнавая. Серая куртка, серые брюки, заправленные в сапоги. Узнав, убыстрил шаг и обнял меня.

– Исключили? – спросил он.

Я кивнула.

– В газетах уже речи… и всё? У нас еще не было почты.

– Нет, только самое постановление. Я поглядела мельком.

Он повел меня в дом. Помог снять пальто. Мы вошли

в комнатку налево, маленькую, где только рояль, а на стенах – рисунки отца.

Усадил меня, принес другой стул и сел прямо напротив. В ясном дневном свете я увидела желтоватое лицо, блестящие глаза и старческую шею.

Он заговорил, перескакивая с предмета на предмет и перебивая себя неожиданными вопросами:

– Как вы думаете, и Лёне они сделают худо?

– Как вы думаете, у меня отнимут дачу?

Рассказал, что вчера поехал в город с намерением явиться на собрание, но в городе ему сказал кто-то, будто состоится общее собрание, и он решил не идти («На это сил нет»). Наспех написал записку, что не может придти, потому что почувствовал себя дурно. Что отказывается от премии в пользу Комитета Мира. Что просит дать ему время – недели две, чтобы обдумать свое положение. Но что он решительно не согласен считать честь, ему оказанную, позором… Едва он успел вернуться в Переделкино, приехала на машине литфондовская докторша.

– Как вы думаете, почему ее послали? Потому что я написал о своем здоровье? Послали врача – лечить?

– Да, по-видимому, – сказала я без уверенности. – Это называется «беспощадность к врагу» в сочетании с «заботой о человеке».

– А мои близкие говорят, это была проверка: в самом ли деле я болен.

– И что же оказалось?

– Давление повышено… А знаете, – сказал он с раздумьем, взяв меня за руку и близко заглянув мне в глаза, – мои друзья, Ивановы, говорят, что мне следует уехать отсюда в город, потому что здесь, на улице, может кто-нибудь запустить в меня камнем.

Он вскочил и остановился передо мной.

– Ведь это вздор, не правда ли? У них воображение расстроено.

– Вздор! – сказала я решительно. – Совершеннейший вздор! Как это может быть!

(В ту секунду я была искренна: чья рука поднимется на Пастернака?! Но сегодня вечером, перед сном, вспомнила, как Дед в самом начале войны уверял нас, что Ленинград может не бояться бомбежек, потому что у кого же поднимется рука бросить бомбу в Адмиралтейство или на улицу Росси?..)

– Вздор! – повторила я опять. И потом, когда мне на секунду представилось, что мерзкая тема покинула нас, сказала, что из его последних стихов знаю «Птичку» и «Грозу» – от Деда.

Он отмахнулся раздраженно.

– Стихи – чепуха, – сказал он с сердцем. – Зачем люди возятся с моими стихами, не понимаю. Мне всегда неловко, когда этакой ерунде оказывает внимание ваш отец. Единственное стоящее, что я сделал в жизни, – это роман. И это неправда, будто роман люди ценят только из-за политики. Ложь. Книгу читают и любят.

Сегодня он говорил отчетливо и легко записываемо. Но в этой отчетливости была какая-то сухость и какое-то смятение – нечто более беспокойное, чем в обычных его бурных речах.

Я поднялась. Ничего путного я все равно не умела сказать ему. Он меня не удерживал. Надел пальто и вышел вместе со мною – он собирался дозваниваться из конторы городка в Москву. Я его уговорила идти лучше к нам: подумала, закрою поплотнее двери из столовой в переднюю, и Дед наверху не услышит голоса. Зачем Борису Леонидовичу идти сейчас в контору на всеобщее обозрение? Он согласился. Мы шли быстро. А машина у наших ворот? – мельком подумала я, но ему не сказала. Впрочем, теперь не все ли равно?

Безлюдье, пустота, безмолвие дороги и поля охватило нас и

заставило умолкнуть. Я заметила, что Борис Леонидович одним глазом покосился на кусты и канаву.

– Как странно, – сказал он, с совершенною точностью выговаривая мою собственную мысль, – никого нет, а кажется, что кто-то смотрит.

– Упырь? – спросила я. – Тот, блоковский, или недавний, наш, все равно.

Он пробормотал что-то, кивнул, но, кажется, не понял. А я про себя молча прочитала этот блоковский отрывок, который воспринимаю и помню, как стихотворение из любимого третьего тома[16].

Мы подходили к нашей даче. Четверо сидели в машине вразвалку, уже не прикрываясь газетами, и во все глаза глядели на нас. Один даже высунулся. Они-то и есть – *око?* Нет, Блок прав, если бы это были только они, не было бы так странно и страшно. Око старого упыря… Борис Леонидович не обратил на них никакого внимания, не раздеваясь сел сразу в столовой звонить. Я плотно прикрыла дверь в переднюю, чтобы голоса не услыхал наверху Дед, и вышла на крыльцо, чтобы самой не слышать разговора. Борис Леонидович переговорил очень быстро. Я проводила его до ворот, а потом – так не хотелось расставаться с ним! – до перекрестка. Парни, развалясь, тосковали в машине.

– А вы видели, – сказал мне вдруг Борис Леонидович своим обычным бодрым и громким голосом, – как ваша Люша прекрасно вышла на фотографиях? Решительно на всех. И ямочка на щеке! Я был очень рад[17].

Его трогательное желание порадовать меня этим сообщением меня рассмешило. Хорошо, если этих отличных фотографий, где воспроизведена даже ямочка, не пожелают заметить в Люшином институте.

Мы простились. Он пошел было прочь (странно – мне впервые бросилось в глаза, как он хромает), но вернулся, обнял меня и поцеловал.

Только что я пришла домой и хотела было подняться к Деду, меня остановил телефонный звонок. Из Союза писателей. Просят Корнея Ивановича. Я сказала, что Корней Иванович очень болен, лежит, и повесила трубку. Снова звонок: Анна Андреевна приехала и требует, чтобы я как можно скорее предстала пред ее ясные очи…[18] Я отказалась ехать сегодня и обещала явиться завтра утром, когда меня сменят: боюсь оставить Деда.

И поднялась к нему.

Хорошо, что он не выходит на балкон и не видит машины.

29 октября 1958. Вспоминаю Герцена: «Какие вы все злодеи

народа».

Сегодня я с утра вызвала такси и – к Анне Андреевне, в ее новую резиденцию на Малой Тульской.

Еду. Мальчишка шофер внезапно обернулся ко мне:

– Читали, гражданочка? Один писатель, Пастер, кажется, фамилие, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ! Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Вот, в газете пишут.

И протянул мне «Правду».

Ах, какие мы все злодеи народа! Мы не прочитали тебе, мальчик, Пастернака, не дали вовремя его стихов, его Шопена, его статей, чтобы ты оказался в силах встретить этот номер газеты так, как он того заслуживает.

Идет настоящая охота на душу «простого человека», этого ни в чем не повинного, нами обокраденного мальчика. И он – по нашей вине – беззащитен.

Хуже того: его можно научить бросить камнем. Если это случится, это тоже будет наша вина…

Анна Андреевна расспросила меня о здоровье Корнея Ивановича, но то была лишь вежливость, а главный теперешний ее интерес, страстный интерес – Пастернак.

К моему удивлению, она была потрясена – да, именно потрясена! – другого слова не подберу – тем, что я вчера видела его собственными глазами. Вчера вечером она столь настойчиво вызывала меня из Переделкина, в надежде, что я привезу оттуда какие-нибудь слухи о нем, еще не дошедшие до Москвы, но что я попросту видела его и говорила с ним – это ей на ум не приходило. Так что, по ее внушению, я сама впервые удивилась, что это было. Я перенесла получасовой допрос. Каждое слово, его и свое, и как он сидел, и когда вскочил, и когда схватил меня за руку, и каждую свою вчерашнюю мысль я передала ей со всею возможною точностью, но я не уверена, удалось ли мне передать то чувство, которое я испытала, когда шла одна, а потом вместе с ним по знакомой, родной и почему-то уже чужой и опасной дороге.

Она спросила меня, могу ли я обещать, что достану машину и поеду с ней к нему, когда она решит ехать? Ей очень хочется.

Конечно, достану…

– По гроб жизни буду вам благодарна за ваш сегодняшний приход, – сказала Анна Андреевна. – Теперь я все знаю о Борисе, как будто побывала там сама. Не оставляйте меня без известий.

29 октября 1958, вечер. В городе новые слухи: какая-то речь Семичастного на сорокалетии комсомола, где он будто бы

обозвал Пастернака свиньей…[30]

Цицероны! И ведь говорят на века.

Но не это меня взбудоражило заново. Это как-то уже «по ту сторону». Поставила вверх дном душу другая весть: 31-го в 12 часов дня общемосковское собрание писателей.

Не чиновников – писателей!

Мне позвонили из Союза.

Повестка не объявлена, но догадаться легко: будут утверждать исключение Пастернака.

У, как заколотилось сердце, как сразу потянуло в эту прорубь, на эту вершину, на эту погибель, на трибуну: сказать. Все высказать им в лицо. Сказать, чтобы были произнесены и услышаны не только слова Семичастного. Но и мои.

А – Дед? Ведь меня исключат непременно. У него будет новый спазм.

На трибуну меня, конечно, не пустят. Там небось все распределено и прорепетировано заранее. Но я могу крикнуть с места, громко, на весь зал. Какую-нибудь одну фразу. Пусть потом меня выведут. Ну, например, такую:

– Пушкин говорил: надо быть заодно с гением!

Пусть зашикают, засвистят. Я сама уйду.

А Деду я нанесу рану. Ему 76 лет. Каждая рана сейчас может для него оказаться смертельной.

Наверное, те, кто любит Пастернака, просто на это собрание не пойдут. Заболеют. Уедут из города…

А вдруг послезавтра придут хорошие люди и станут его защищать, а меня не будет и моих друзей не будет, чтобы в поддержку вырос лес рук?

30 октября 1958, день. Нет. Никто из друзей, обожателей, поклонников идти не намерен. Я встретила одного знакомого, он сказал мне: «Сяду в машину и уеду в неизвестном направлении. Куда глаза глядят».

Врешь, от себя не уедешь.

Пятым действием драмы
Веет воздух осенний…[31]

И «Августом», и «Гефсиманским садом». А ощутимее всего – национальным позором.

Но, с другой стороны, я не в силах сообразить: справедливо ли счесть национальным позором то, чего не ощущает нация? Вообще не ощущает? Ведь для народа такого явления – Пастернак – просто нет.

Прочитала речь Семичастного в «Комсомольской правде». Переписываю сюда, чтобы перечитывать и никогда не забывать.

Сначала сравнение с овцой. Паршивая овца в стаде. Ну, это обыкновенно. Потом – образ не выдержан! – овца превращается в свинью:

«Иногда мы… совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, – все люди, имеющие дело с этим животным, знают особенности свиньи, – она никогда не гадит там, где кушает… Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. *(Аплодисменты)».*

Самое примечательное тут слово – кушает. «Свинья кушает». Вот он кто такой, товарищ Семичастный. Он полагает, что слово «ест» – грубое слово, а сказать о свинье «кушает» – это представляется ему более интеллигентным.

Завтра собрание.

О Борисе Леонидовиче слухи разные. Будто он написал какое-то заявление. Будто он у Ольги.

О президиуме рассказывают, что там выступали не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком – в особенности Михалков… Выступил с каким-то порицанием и наш Коля. Коля, который любит его и был любим им, который знает наизусть его стихи, который получал от него такие добрые письма. Какой стыд.

Впрочем, я не вправе осуждать его. Он произнес те слова, от которых следовало воздержаться, а я не произнесу тех, которые должно произнести. Большая ли между нами разница?

1 ноября 1958. И в Москве, и в Переделкине (только не возле Деда) бесконечные разговоры о том, кто же, в конце концов, вел себя вчера на собрании гнуснее: Смирнов или Зелинский, Перцов, Безыменский, Трифонова или Ошанин?

Не все ли равно? Мы. Я.

А в газетах, газетах бедный мальчишка-таксист и его обокраденные братья выражают «гнев и возмущение». Председатель колхоза, учитель, инженер, рабочий, машинист экскаватора… Я так и вижу девку из редакции, так и слышу, как она диктовала им текст.

Это те самые сейчас выражают свой очередной гнев, о которых у него сказано:

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

Он боготворил без взаимности.

Слесаря пишут: «Правильно поступили советские литераторы, изгнав предателя из своих рядов». Он и лягушка в болоте, он и свинья, и овца, и предатель.

А предатели-то на самом деле – мы. Он остался верен литературе, мы ее предали.

23 ноября 1958. Была в Переделкине. Заходила к Борису Леонидовичу. Домработница: «Ушел гулять. Не скоро вернется» (с усмешкой).

Я поняла, что он, видно, ушел к Ольге.

Оставила ему записочку с просьбой зайти, откликнуться.

Но не последовало ничего.

31 декабря 1958. Последние часы уходящего года.

Пишу письмо Борису Леонидовичу.

11 мая 1960. Трудный день.

В 6 часов вечера внезапно приехала Анна Андреевна: ее привезла в своей машине Наташа Ильина[32].

В доме у нас тревожно. Корнею Ивановичу не лучше, гости к нему не поднялись. Анна Андреевна грузная, с одышкой, в лес не пошла, а села на скамью возле дома, радуясь воздуху и зелени.

Привезла показать мне новую строфу в «Поэму»…

Однако главные разговоры были о Борисе Леонидовиче.

Как раз накануне приезда Анны Андреевны я бегала в Дом Творчества, к Ване, чтобы разузнать что-нибудь о Пастернаке: в Доме Творчества всегда знают все раньше всех. И в самом деле: только мы вышли с Ваней на балкон, к нам подсел Асмус, который ходит к Пастернакам по три раза в день. Валентин Фердинандович сказал, что больного он не видел со дня болезни, но сегодня слышал из-за двери его голос – изменившийся, слабый; лечит Пастернака Фогельсон, а дежурят возле него литфондовские врачи и сестры; инфаркт тяжелейший. «Фогельсон говорит – тяжелее, чем у Олеши».

Зачем же он это говорит! Олеша вчера умер.

После ужина Анна Андреевна пожелала съездить к Пастернаку, справиться о здоровье. Поехали. Наташа осталась за

рулем. И вот я опять веду Анну Андреевну по тому же двору. Пусто. Мрачно. Анна Андреевна ступает с трудом, задыхаясь. Взошли на крыльцо – правое кухонное.

Нам навстречу – Леня и Нина Александровна Табидзе. Встретили сначала неприветливо: не узнали Ахматову. Потом подобрели. Нина Александровна, рассказывая, пошла нас проводить до ворот. Говорит, что сегодня Борису Леонидовичу лучше.

Анна Андреевна с измученными глазами еле сделала шаг вверх: в машину, внутрь. Все труднее и труднее с каждым месяцем дается ей этот единственный шаг.

В машине она сказала:

– Я так рада, что побывала здесь. Надеюсь, ему передадут.

(В последнее время она была недовольна Борисом Леонидовичем, и, я думаю, сейчас это ее точит.)

14 мая 1960. Фогельсон полагает – мне передавал Асмус: инфаркт еще страшнее, чем у Олеши, но организм гораздо могущественнее; состояние хотя и тяжелое, но далеко не безнадежное. Началась кровавая рвота. Собирают консилиум…

Я думаю о том: неужели я видела его в последний раз – вот тогда, в самом начале месяца, когда он пришел возвратить Деду деньги и книги? Дед лежал больной, после спазма, и к нему никого не пускали. Борис Леонидович очень торопился; он уже снял было калоши и пальто, но, услыхав, что Дед болен, стал сразу опять одеваться, хотя я и сказала, что

поднимусь наверх, взгляну, что ему-то Корней Иванович будет рад и пр. Но он в передней совал мне в руки книги и какой-то конверт:

– Вот, передайте папе. Тут – я у него брал книги и деньги. Ваш отец удивительно благородный человек. Он, наверное, даже вам не сказал, что я давно уже должен ему пять тысяч.

И, оставив меня с книгами и тысячами в руках, побежал чуть не бегом, сильно хромая.

Нет, это был не последний – я его еще раз видела, – но уже не вблизи, а издали. Я шла по дороге вдоль поля. Меня обогнало такси. У ворот Бориса Леонидовича машина остановилась, и оттуда вышла дама. Ей навстречу поспешил Борис Леонидович, взял под руку и повел к себе.

В последний? И его – в последний раз?

26 мая 1960. У Бориса Леонидовича – рак.

(Псевдоним смерти. У Бориса Леонидовича – смерть.)

31 мая 1960. Переделкино. Борис Леонидович скончался вчера вечером.

Мне сказала об этом наша Марина[33]: позвонила утром с дачи в город.

Деду они не говорят, ждут меня.

Я поехала. В Переделкино, где уже нет Пастернака. В Переделкино, которое будет носить его имя.

Дед впервые решился встать с постели и переселиться работать на балкон.

Сидит в кресле, укутанный по пояс пледом, и пишет на дощечке.

Когда я вошла, он не сразу услышал – сидел, опустив бумагу на колено и вглядываясь в любимую березу со скворечником.

Он всегда выискивает на ее стволе следующую свою строку.

Поморщился с досадой: я прервала строку.

– Ну, что ты?

Я взяла стул, села напротив.

– Несчастье, Дед.

И выговорила.

Совершая эту жестокую операцию, я видела ясно, при ярком свете солнца, какой он старый, как отекло лицо, какие синие губы, как он горбится в кресле. Маленький старичок. Только руки прежние, молодые, куоккальские. Но руки дрожат.

Он всхлипнул – без слез – и попросил принести из кабинета бумагу и конверт: письмо Зинаиде Николаевне.

Я принесла. Хотела остаться возле, но он не позволил.

– Иди, иди, я сам.

Я спустилась в сад, нарезала вишневых веток – целую охапку – и снова поднялась к Деду: за письмом.

Он уже был выпрямившийся. Расспросил меня о болезни, о последних днях Бориса Леонидовича. Я рассказала то немногое, что знала от Асмуса.

Взяла письмо, цветущую охапку – и туда.

На пастернаковской дороге (которая, смеху ради, называется улицей Павленко) я встретила Веру Васильевну[34]. Пошли вместе.

Пустая дорога. Яркое солнце. Жара.

Ворота распахнуты настежь. Бездомье, ничейность, брошенность, осиротелость.

Пустыня двора залита солнцем.

Нас облаяли две собаки, одна маленькая, другая большая.

Мы вошли в дом через левое крыльцо, никого не встретив. Постояли в прихожей. Ни звука, ни голоса.

На полу ведро с водой, и в нем гладиолусы. Направо, в спокойной столовой, на столе, большая ваза с цветами.

Я толкнула дверь в комнату налево – в ту самую, где я говорила с ним в день исключения из Союза.

Оглядевшись, не сразу поняла: это он лежит на узкой раскладушке, слева у стены, укрытый простыней.

Вера Васильевна откинула простыню.

Лицо искажено. Уста запали. И глаза. Глубоко подо лбом темные, черные, округлые веки.

Я начала укладывать вдоль тела ветки. Но тут вошла Берта Яковлевна Сельвинская и очень громко сказала нам, что класть цветы сейчас нельзя и открывать лицо нельзя. Засунула мои веточки в ведро у двери.

Я передала ей письмо для Зинаиды Николаевны, и мы ушли.

Двор был по-прежнему пуст, но на дороге уже началось шевеление. Кто-то топтался у ворот, кто-то что-то фотографировал. Видела я только двоих, но спиною чувствовала – как тогда! – что и поле, и дорога простреливаются незримыми взглядами.

Вера Васильевна пересказала мне слух, которым мне противно марать свою тетрадку: будто из Союза к Зинаиде Николаевне приезжал Воронков[35], предлагал ей, что Союз возьмет похороны на себя, если она разрешит поставить гроб в ЦДЛ.

(«Союз Профессиональных Убийц» – так называл Союз писателей Булгаков.)

Зинаида Николаевна, к чести ее, отказалась.

Дед снова слег.

Опять вызывали врачей, терзаясь телефоном.

Я думаю, новый спазм, потому что головокружение и тошнота.

Кляну себя.

Вечером я пошла к Ване в Дом Творчества. У ворот мне встретился заплаканный Асмус. Минутку мы посидели рядом на скамье.

Видел он Пастернака в последний раз 6 мая, накануне инфаркта. Борис Леонидович жаловался на боль в левой лопатке. «Но это не сердце, – говорил он. – Скорее – легкое. Рак легкого».

Асмус думает, это была саркома. Очень быстро она развилась: легкие, печень, желудок.

Умирал Борис Леонидович в сознании. Прощался с домашними – с Женей, Стасиком, Леней. За несколько часов до смерти сказал Зинаиде Николаевне:

– Что же, конец, и нам пора проститься.

Асмус ушел от них в 11 часов вечера и еще слышал из-за двери его голос.

1 июня 1960, Переделкино, утро. Как бы узнать их имена и выгравировать – в назиданье потомству – на особой доске позора!

В «Литературе и жизни»[36] объявление: «Литфонд с глубоким прискорбием сообщает о смерти члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака».

Не велика честь принадлежать к ихнему – и моему – Союзу. И сейчас, когда Пастернака уже нет, не все ли равно: член ли он Союза или всего лишь Литфонда?

Но ведь это нарочно придумано в оскорбление почившему! в уничижение славы России! Могли же они просто написать: извещаем о смерти Бориса Пастернака.

1 июня I960. Переделкино, вечер. Часов в 9 я снова к нему, с цветами из садоводства. Пышные их красные и желтые головки я все-таки окружила белыми веточками вишен – они ему ближе, родней. Никогда еще так рано не расцветали вишневые деревья на нашем участке, как в этом году.

Он в той же комнате, где вчера, но уже не на раскладушке, а выше, на столе, в гробу, весь в цветах. Кто-то рослый (я не разглядела кто) вошел вместе со мною, зажег свет и оставил меня одну.

Лицо другое. Словно он за ночь отдохнул немного от мучений и попривык быть мертвым. Спокойное лицо.

На простыне в ногах – красная роза. И я свои цветы положила к ногам.

Вошли и стали у гроба двое. Я узнала их, рабочие городка. Один монтер, один водопроводчик. Хмурые, робкие лица, озирающиеся, вглядывающиеся, пытающиеся понять. И я вглядываюсь и пытаюсь понять…

2 июня 1960. Переделкино. Горе, усталость, жара; изобилие шпиков; милиционер-регулировщик, заставляющий всех выходить из машин на шоссе и загоняющий машины на нашу улицу; Воронков, с утра лично обозревающий вверенный его попечениям поселок; иностранцы, лопающиеся от любопытства, карабкающиеся со своими аппаратами на заборы и деревья, – и сквозь все это какое-то странное чувство торжества, победы.

Чьей-то победы. Не знаю, чьей. Быть может, его стихов? Русской поэзии?

Нашей с ним неразрывной связанности?

Никто над его могилой не произнес слова, которое жаждали услышать сосны, люди, поля. Но студенты до темного вечера читали его стихи. Наверное – это и было самое лучшее слово.

Толпа была пронизана гавриками.

Но гроб от стола до ямы пронесли на руках – по шоссе и на гору, к трем соснам. Вдоль заборов во весь путь молча, мужчины без шапок, женщины в платках, стояли люди. Встречные машины вынуждены были пятиться, отступать перед гробом, утыкаться в кюветы и не смели торопить нас гудками.

Толпа двигалась молча, торжественно, сознавая свою правоту.

Одни из пастернаковских ворот пошли через поле прямо на кладбище, другие – кругом, по шоссе, вслед за гробом.

Я пошла за гробом, хотя идти сегодня мне было совсем не по силам. Мучительнее всего, впрочем, было даже не идти, а перед этим стоять – час или более стоять накануне выноса на солнцепеке, уже простившись, но еще ожидая, когда вынесут гроб.

Я уже прошла через столовую, где он лежал сегодня высоко, пышно, среди лент, венков, цветов, уже откровенно торжествующий и победительный. В честь его торжества тихо и непрестанно играла музыка: сменялись Юдина и Рихтер[19]. На стуле в столовой плакала Нина Табидзе. Стояли: Леня и Стасик. Стояла у гроба Зинаида Николаевна – я поклонилась ей, но она отвела глаза…

…А я, пройдя через столовую, оперлась на какие-то бревна, сваленные у правого крыльца, стояла и думала только об одном: как бы не упасть. Устоять.

Каверин. Паустовский. Аким. Рита Райт. Мария Сергеевна[37]. Володя Глоцер. Володя Корнилов. Фридочка[38]. Хавкин. Харджиев. Копелев. Смирнова. Ливанов. Коля и Марина. Калашникова. Волжина. Наташа Павленко. Ивич. Яшин. Казаков. Рысс. Рахтанов. Любимов. Вильмонт. Старший Богатырев. Нейгауз.

Старые дамы, неизвестные мне, откровенно или прикровенно седые, в перчатках и без.

Деревенские старухи с детьми.

Студенты.

Опираясь на бревна, я вглядывалась в лица. Болтовни было мало, толпа сосредоточена. Фридочка мне рассказала шепотом, что сразу после кончины Бориса Леонидовича, утром следующего дня, на Киевском вокзале появилось рукописное объявление:

«Граждане! Вчера скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похороны в Переделкине, 2 июня, в 2 часа дня».

Вот вам и «член Литфонда»!

Объявление сорвали. Но оно появилось вновь. Опять сорвали. Опять появилось.

Фридочка от меня отошла, утешив меня этим объявлением, а сзади незнакомый голос негромко сказал:

– Вот и умер последний великий русский поэт.

– Нет, еще один остался.

Я ждала, холодея, не оборачиваясь.

– Анна Ахматова.

(И этот день придется пережить?)

…Какие-то двое молодых людей вынесли крышку гроба[20].

Музыка.

Несут гроб. Несут венки.

На одной ленте я прочитала: «от семьи Ивановых». На другой: «от Литфонда».

Пронесли и наши два: «Корней Чуковский», «Лидия Чуковская».

Щелканье аппаратов. Нагло щелкают прямо в лица. Снимают не покойного, а нас, толпу.

И вот я иду вместе со всеми, в толпе, глотая пыль. Гроб от меня не очень далеко. Его несут Женя Пастернак, Кома Иванов, Копелев, Володя Корнилов.

Стоят, стоят люди вдоль заборов.

Когда, после мостика через Сетунь, толпа свернула и начала подниматься в гору – я задохнулась и отстала. Гроб уплыл далеко вперед – туда, наверх, к соснам.

– «И к лику сосен причтены». Помните? – спросил Харджиев.

Гроб плыл на вершину, к соснам. Люди, поспевая за ним, шли все быстрее, а я все медленнее. Здороваться и говорить я уже не могла, только головою мотала.

Раневская. Ваничка Халтурин.

Когда я втащилась наверх, подойти к могиле уже было нельзя. Волна толпы прибила меня к сосне. Там я и осталась, из-за спин ничего не видя, но в тишине отчетливо слыша все.

Был когда-то немой кинематограф: лица, плечи, руки, движения – безголосье. Тут наоборот: голоса, движения – без лиц.

Я; толпа; корявый ствол – и впереди голоса.

Открыл митинг и произнес речь Асмус. Слова были какие-то никакие, несущественные, но они и не оскорбляли пустотою, потому что Валентин Фердинандович говорил горестно. Я слышала голос, горе, а не фразы.

(Паустовский нашел бы слово, но, как мне объяснили потом, он, из-за больной гортани, в этот день мог только шептать.)

Актер Николай Голубенцев прочел: «О, знал бы я, что так бывает».

Асмус закрыл митинг, сказав, что Борис Леонидович не любил длинных речей об искусстве.

И вдруг кто-то – я не видела кто, но голос неинтеллигентный, неприятный и фальшивый – заявил, что будет говорить «от имени

рабочих».

– Ты написал книгу, но ее задержали. А ты был за правду…

Обрыв. Кто-то что-то прошипел. И в ответ на шип – девичий голос:

– Не затыкайте ртов!

Молчание. Жду нового голоса. Тот же? Другой?

Нет. Слава богу, юноша читает «Гамлета»:

– И неотвратим конец пути…

Потом другой юноша-невидимка говорит от имени богословов: Пастернак был христианин.

Начинают опускать гроб. Слышу по окрикам, стукам, топотам: гроб в яму не лезет. Зычная команда:

– Раз! Два! Три!

(Каково-то сейчас Жене?)

Мягко-жесткий, глухой, страшный звук комьев земли.

Опустили.

Мне сделалось темно. Если бы не сосна и не чужие тела, я упала бы. Но тьма была одну секунду. Когда она рассеялась, я, сквозь толпу, пошла вниз.

Одно у меня было желание: лечь. Дойти до дому и лечь. Не на дороге, не в поле, а дома.

Трудно идти, когда нету ног. В жару я их часто лишаюсь. Ни колен, ни ступней; только боль, тугими кольцами сжимающая щиколотки.

Я даже не вошла в дом спросить о Деде. Доковыляла до своего домика, сняла туфли, чулки и легла.

Минут через сорок – Фридочка. Принесла мне вести о Деде, накапала капли и посидела возле.

Девушка, которая крикнула «не затыкайте ртов!» – это, оказывается, дочка Ивинской, Ирина.

Молодежь до сих пор читает на могиле стихи. Наизусть – напечатанное и ненапечатанное. «Гамлет», «Август», «Другу». Толпа разошлась. Гаврики стали заметней. Фридочка, уходя, слышала разговор двоих, скучавших чуть пониже свежей могилы, у чьей-то ограды:

– А не разогнать ли нам это нарушение?

– Пусть понарушают, никуда не денутся.

Победа – оцепленная оперработниками.

Иосиф Бродский

11/XII 63. Переделкино. А мы пока с Фридой написали Черноуцану[1] письмо в защиту И. Бродского, ошельмованного в гнусной газетной статье[2]. Вот и экзамен Черноуцану. Мне не нравится Бродский, но он поэт и надо спасти его, защитить.

Посмотрим…

15/XII. Москва. Два дня светлее – работаю. И дело идет. Теперь бы писать и писать. Но нет.

Дело Бродского, в кот. меня втянуло, отнимает часы – и пока бесплодно. Разговоры, звонки в Ленинград, Фрида, Анна Андреевна, Найман…[3] И все зря. По-видимому, дыхание КГБ всех замораживает.

16/XII 63. Третьего дня работала – много и легко. Вчера и сегодня – нет. Все съедено очками, собесом, поликлиникой и делом Бродского.

Дело Бродского идет преплохо. Письмо Фриде от Эткинда[4]: за Бродского вступилась секция переводчиков, но более никто. Назначен общественный суд 25-го, который и должен приговорить его к высылке. Черноуцан не отвечает: пленум кончился, началась сессия… Мы написали для АА[5] шпаргалку записки к Суркову[6]. Выяснилось, что Шостакович – депутат Дзержинского района Ленинграда, где живет Бродский. Его тоже может просить АА, он ее обожает. Кроме того, в Переделкине я попробую поговорить с Расулом Гамзатовым.

17/XII. Переделкино. Звонила Фрида. Сегодня АА и Фрида и Ардов[7] принимали Д. Д. Шостаковича (АА у Ардовых). АА изложила эмоциональную сторону дела, Фрида и Ардов – фактическую. Кажется, Д. Д. внял и будет действовать. Потом Анне Андреевне позвонил Сурков, получивший уже ее записку, и сказал, что «дело попахивает клеветой».

В самом деле «попахивает». И сильно.

7/I 64. Звонок Черноуцана мне о Бродском.

Статью он назвал подлой и доносительской (!). Газете «указано».

Он говорил с Толстиковым[8] и с «ленинградскими литераторами». Они – Гранин – дали о Бродском неблагоприятные сведения. Дневник. Назначена комиссия: Олег Шестинский (?) и Эльяшевич (!)[9].

Я произнесла речь о Лернере[10]. О подлости читать чужие Дневники. О таланте и болезни Бродского.

Все очень плохо. Они его домучают.

9/I. Из Ленинграда весть: в той же газете – подборка «писем трудящихся» с требованием выселить Бродского.

Значит, неправда, что газете было указано?

Весь день тщетно звонила Черноуцану.

Бродский пытался перерезать себе вены. Ибо его оставила невеста.

Посылаем туда Алену Чайковскую[11].

6/III 64. Вот уже третью неделю запрещено читать и писать.

Кровоизлияние в сетчатку левого (т. е. «здорового») глаза.

И вот – еще шаг в полную темноту, в слепоту.

В самый разгар слабости и тьмы – Фридин отъезд в Малеевку – и на меня обрушились все ленинградские и московские телефоны по делу Бродского, вся суета в составлении телеграмм и писем, в посылке курьеров к Самуилу Яковлевичу и Корнею Ивановичу и т. д.

Фрида шла на подвиг, на смертный бой: уехав из Малеевки, которая для нее спасение здоровья и труд над книгой, она поехала в Ленинград на суд над Бродским, зная, что едет на издевательство и бессилие, ибо «Лит. Газета» и «Известия» отказали ей в корреспондентской командировке.

13/III. Переделкино. Сегодня в 5 ч. снова судят Бродского. В Клубе строителей.

Вчера К. И. звонил Миронову (в ЦК зав. Судами и Адм.), которому они с С. Я. писали письмо[12].

Миронов: «По Вашему письму я приказал послать туда человека и все исследовать… Вы не знаете, за кого хлопочете… Он писал у себя в дневнике «Мне наплевать на Советскую власть»… Он кутит в ресторанах… Он хотел бежать в Америку… Он хуже Ионесяна[13]: тот *только* разбивал головы топором, а этот вкладывает в головы антисоветчину… Вы говорите, что он талантливый поэт и переводчик. Но он не знает языков; стихи за него пишут другие (!!!)… В Ленинграде общественность о нем самого нелестного мнения, Александр Андреевич (Прокофьев. – *Е. Ч.)* дал о нем отрицательный отзыв».

Вот что мы наделали своими хлопотами: раньше Бродского обвиняли только в тунеядстве, а теперь они уже вооружились булыжниками – даже свои стихи сочиняет не он!

Мне нравится человек, ездивший туда проверять и

говоривший только с врагами подсудимого: Толстиковым, Лавриковым, Прокофьевым. А Герман, а Вахтин, а Долинина, а Эткинд, а мы все – это не общественность? Мнение общественности – это мнение начальства. Плюс шпиков – Лернера и пр.

Законных оснований для его осуждения нет. КГБ, рассмотрев его дело, отпустило его на волю – а расправу поручило, по-видимому, «общественности».

И никому из власть имущих не приходит на ум, что Бродский совершенно безопасен, ибо он человек не антисоветский, а просто а-советский… Если же правда, что он хотел бежать за границу (чего я не думаю), то почему бы его туда не отпустить? У нас 200 миллионов населения. Почему бы КГБ не воскликнуть: «одним дураком меньше! Скатертью дорога!»

Сегодня утром – симптоматический звонок (подходила Клара[14]) – по поручению Шостаковича (которого тоже просила АА) кто-то спрашивает – когда и как послана была К. И. и С. Я. телеграмма в суд?

Телеграмма была послана 17/II (накануне суда) председателю суда Румянцеву. По оплошности Клары Израилевны – незаверенная. К делу ее, воспользовавшись этим, не приобщили: «Мало ли кто ее послал!» – сказал умный Лернер. Тогда я послала в Барвиху Клару Израилевну с просьбой к Самуилу Яковлевичу и Корнею Ивановичу написать текст от руки и этот текст, заверенный в Союзе Писателей, был послан в Ленинград председателю суда и защитнице.

«Настаиваем на приобщении к делу нашей телеграммы от 17/II».

Теперь, очевидно, тамошние подлецы решили и этот текст как-то скомпрометировать…

Кого мне жаль больше всех, это Фриду. Второй раз едет она на суд. В первый раз она привезла шедевр: запись допроса. Она верила в необходимость своей поездки и ради этого бросила отдых в Малеевке, бросила книгу и приняла порицание семьи. Сейчас она поехала, не ощущая ни смысла, ни цели. Да и пустят ли ее в суд?

Вообще-то вполне естественно, что, если где-то убивают человека, окружающие отравлены – каждый на свой манер. Одни слепнут, другие не спят, четвертые получают спазмы и инфаркты – и лишь немногие силачи – вроде С. Я. и К. И., заступаясь, могут продолжать работать.

10 часов. Суд начался в 5. Жду звонка. Иногда звоню в Москву

друзьям – Юле, Толе, Нике, Надежде Марковне[15]. Все ждут, ни у кого никаких вестей. Толя у Анны Андреевны и каждые 30 минут звонит в Питер. Но там еще никто не вернулся… Значит, приговора еще нет. А вдруг – победа?

14/III. Как бы не так!

Суд начался в 5 ч; приговор вынесен в 1.30 ночи. 5 лет ссылки.

Подробности неизвестны, потому что ни Фрида, ни Евгений Александрович[16] (который две недели тому назад сам, по собственному почину, туда поехал специально по этому делу) – еще не вернулись.

18/III. А Фрида воюет. Ею привезена такая запись процесса, что камни вопиют. Она уже дала экземпляр Чаковскому (чтобы хотя бы остановить возможное выступление газеты)[17], Суркову; дает Твардовскому, Федину… Пусть читают. И думает, думает неустанно – как быть, что делать.

Вот это, может быть, самая главная в ней черта: неспособность к предательству, ни грана предательства никогда.

Потому мне легко с ней. Фрида – совершенно устойчивый здоровый организм. Ясность, здравость ума в сочетании с добротой, светом, стойкостью, мужеством.

3/IV 64. Всё – плохо.

Кругом суета – и я суечусь – бессильные попытки спасти Бродского. Очень видны люди, разницы – не случайные. За него страшно, он может быстро погибнуть; дело черное, гнусное; и в то же время радостное: сколько вокруг него объединилось хороших, доблестных людей! Не говоря о героине – Фриде – сколько вокруг прекрасных людей!

В деле Бродского из порядочных людей оказались плохи – Панова, Дудинцев, Берггольц. Сначала – Гранин, но теперь он раскаялся; сначала – Алигер, но, кажется, и она уже разобралась.

7/IV. Очень складно выходит, что Воеводин – приключенец, строчит об убийствах и пр. Секция приключенцев в Союзе – это наиболее невежественная, бездарная и спекулянтская часть писателей. Штамп – сюжетный и стилистический – как идеал, как предел мечтаний. Ни грана поэзии, художества. Все элементарно, т. е. антихудожественно, т. е. античеловечно и реакционно. Вот почему я обрадовалась, узнав, что Воеводин, выдавший суду фальшивую справку – приключенец. Складно выходит.

10/IV 64. Москва. Бродский возит навоз в совхозе.

Прокофьев напечатал в «Лит. Газете» статью об успехах ленинградских писателей за истекший год – и о своей работе с молодыми…

На пьянке у Расула Гамзатова (Кайсына Кулиева?) встретились Твардовский и Прокофьев. Рассказывают – со слов присутствовавшего там Козловского, – что Твардовский кричал Прокофьеву:

– Ты подлец! Ты погубил молодого поэта!

– Ну и что ж! И правда! Это я сказал Руденко, что его надо арестовать!

– Ты негодяй! Как же ты по ночам спишь после этого!

– А ты в это дело не лезь! Оно грязное!

– А я непременно вмешаюсь!

– А кто тебе о нем наговорил?

– Оно мне известно как депутату Верховного Совета.

– И стихи тебе известны как депутату?

– Да, и стихи.

Тут Твардовский заметил Козловского и снова кинулся на Прокофьева:

– Что же ты его не арестовываешь? Ведь он тоже переводчик, тоже переводит по подстрочнику, и тоже еврей…

Правда ли это?

Теперь мы надеемся на Твардовского, который ничего не обещал, но, кажется, собирается что-то сделать, и… и… на Бажана.

Они вхожи.

Составляется справка по делу Бродского – схема событий со всеми приложениями, документами, письмами и пр. Основной удар – по Лернеру и прочим провокаторам. Что они, мол, ввели в заблуждение высшее начальство.

В Ленинграде плюют в морду Воеводину и корят Гранина. А он раскаялся только на минуту, а сейчас изворачивается.

20/IV 64. Дело Бродского по трем каналам пошло вверх – но – что будет? И когда? Неизвестно.

22/IV. А от него приехал ленинградский посетитель и московская посетительница и подробно рассказали о его быте и душевном состоянии.

Грязь, холод. Спит, не раздеваясь. Горячей пищи нет. Не переводит, не читает, потому что слишком холодно в

комнатушке. В 4 ч. дня, вернувшись с работы, ложится, не раздеваясь, на койку.

Уверяет, что никто ничем не хочет ему помочь. («Это психоз», говорит АА. «У Левы такой же. Он уверен, что я нарочно держала его в лагере».)

Посылаем ему спальный мешок, спиртовку, свечи.

Вся история Бродского навела меня на ясную и четкую мысль. Кажется, впервые за всю жизнь.

Я поняла, что сейчас нам всем надо делать – и в общем и в частном плане.

Поняла, с помощью двух лиц: Фриды и Герцена.

2–5/V. Москва. Писала – не Герцена – а снова о Бродском. Кажется – все говорят – удалось. Но какой ценой! Несчастные семь страниц на машинке выбили из сна; три дня я жила с мигренью, с горячим лицом, обожженными изнутри глазами – больная, потерянная…

Если бы ему помогло!

9/V 64. Вечер. Москва. А с делом так.

Сарра Эммануиловна[18] добилась (по моему наущению) от Гранина, который был в Москве, что он не только Черноуцану сказал о безобразиях, но написал Руденко[19], что справка Воеводина – фальшивка. Еще до этого он заявил в обкоме, что уйдет из комиссии, если Воеводина не снимут, – и показал письмо «молодых». Толстиков на это ответил, что он еще посмотрит список молодых и разберется, кто они, а Прокофьев пригрозил Гранину, что тот положит билет.

Гранин мне удивителен. С. Э. дала ему мое письмо к Черноуцану и Фридину запись, и он сказал, что только теперь он все понял. А ему давно бы все следовало понять!

Остальное мрачно. Черноуцан тяжело болен. Между тем он тоже уже перешел на нашу сторону и мог бы помочь. Он сказал Гранину:

«Я жалею, что вовремя не обратил внимание на письмо Чуковской и Вигдоровой».

Новое мое письмо к Черноуцану все друзья превозносят, как яснейший и сильнейший документ, но куда его послать – неясно.

И тут разночувствия у меня с Фридой. Она хочет – Миронову, Руденко. Я не хочу к ним обращаться; если бы попало вместе с досье – пожалуйста.

Фрида, конечно, понимает лучше меня. А у меня как всегда: *написала* – а дальше не понимаю и даже не хочу. Будто это

стихотворение.

Затем: Фрида все время хочет, чтобы я на что-то сдвигала С. Я. и К. И. А я этого не хочу – раз они сами не рвутся в бой. Ведь тут нужны борцы, которые, как я, Фрида, Копелевы, С. Э.[20], сами рвутся, хотят, пробуют, а не люди, согласные что-то подписать.

Но Фрида настойчивее меня.

А я так не люблю ни на кого нажимать!

12/V. Переделкино. Дело Бродского – плохо.

К нему ездили молодые врачи. Повезли еду, деньги, книги. От денег отказался, еду и книги взял. Обрадовался моему письму Игорю Сергеевичу Черноуцану, которое ему показали. Врачи нашли, что плохо с сердцем: непосильный труд при пороке грозит сердцу декомпенсацией.

Я написала Черноуцану и послала вчера ему письмо и Фридину запись – в ЦК, хотя и знаю, что он в больнице. Но в больницу писать неприлично. А в ЦК надо просто для того, чтобы Фрида в своих хлопотах могла бы на мое письмо ссылаться[21].

Сейчас главное – спасти Иосифа от тяжелого труда, добиться, чтобы тамошние врачи его освободили.

Как это сделать?

Среди его стихов я нашла одно, которое мне очень полюбилось – «Стансы городу».

Миронов пишет в «Правде» о необходимости соблюдать законы – Миронов!

19/V 64. Мать Иосифа.

Настырная, с первого же слова – неумная, измученная всем – и им! – несчастная женщина.

Она была у него, но не сделала главного: не отвезла его к врачу. А здесь она явно с одной целью: подталкивать нас. А надо бы другое – использовать свои материнские права, докричаться о его болезни.

Копелевы все же уговорили ее послать телеграммы Руденко, Тикунову[22], Брежневу.

22/V 64. Но все кругом – худо.

Сурков передал нашу папку Руденко. Ответа нет. Он написал кому-то письмо в ЦК, и его оттуда, по его выражению, фукнули. «Опять письмо пишешь?» (На знаменитой встрече ему попало за какое-то письмо, от которого он мгновенно отказался[23].)

Фрида собирается через Расула – к Тикунову и еще через кого-то – к председателю Верховного Суда РСФСР Смирнову.

Фрида!

Сегодня Сурков должен был быть у АА (она ведь летит в Рим – получать премию Европейского Содружества). Ей он должен рассказать об Иосифе, т. е. о хлопотах.

Ходят слухи, что о деле Иосифа передавали по Би-би-си.

Ходят слухи, что в Нью-Йорке вышла целая брошюра о суде.

Плохо это для него? Хорошо?

26/V. Пришла утром Фрида, села в кресло и заплакала.

Чувство бессилия, стены.

«Я хочу умереть»…

А вечером – некоторая радость: позвонила мать из Ленинграда, что она получила ответ на одну из своих телеграмм, которую по нашему настоянию она дала Руденко, Тикунову, Брежневу о болезни Иосифа; помощник Тикунова, Евдокимов, сообщает ей, что в Коношу дано распоряжение обследовать здоровье Иосифа.

27/V. Вечером – звонок, и Фридин голос, срывающийся:

– Мне нужно сейчас, сию минуту увидеть вас… Я тут близко… Вы одна?

Я ждала ее минут пять, с напряжением, со страшной дрожью в сердце.

Одна новость хорошая: Иосиф позвонил Юле [Живовой], что у него в руках справка от врача, тамошнего, что тяжелая работа ему запрещена. Теперь ее должна заверить милиция. («А вдруг коношская милиция начнет справляться в Ленинграде?» – говорит Фрида.)

Вторая новость – мутная и тревожная. Е. С. Романова передала Фриде, что в Иностранную Комиссию пришел кто-то из агентства «Новости» с вопросом: надо ли опровергать статью в Лондонской «Gerald Tribune», где говорится… и дальше какая-то путаница – говорится, будто С. Я. М., К. И. Ч. и Шостакович прислали *им* (?!) письмо с просьбой вступиться за Бродского… Боже мой, теперь я ни жива ни мертва, потому что это значит, что будут тревожить Деда! Почему бы не меня? Я была б спокойна. Но я надеюсь, что в статье на самом деле написано иначе – т. е. правда – что поименованные лица обращались к здешним властям…

Завтра все выяснится.

Боюсь, что начальство начнет от них требовать какого-нибудь отречения – а они ведь – не Фрида… Отречься не отрекутся, но могут сделать какой-нибудь ложный или фальшивый шаг.

Что еще? Да, третьего дня я спокойно приняла из рук почтальонши пакет, но, увидев штамп, обмерла обмиранием 38

года: на пакете штамп Ленинградской прокуратуры. Вскрыла. Оттуда выпали все бумаги, посланные мною в ЦК, Черноуцану, кроме моего письма к нему… И короткая, малограмотная, лживая отписка из прокуратуры.

Это значит, что по случаю болезни Черноуцана пакет мой был вскрыт в Отделе – и материал послан в Ленинград. Что вполне бессмысленно, потому что он был подобран как разоблачение общественное, а не юридическое.

5/VI 64. Москва. Интеллигенция, не утратившая бескорыстия и бесстрашия мысли.

Ее мало во всем мире. Но она все-таки есть.

Она ничего не может переменить – в настоящем. Мир движется своими путями, двигаемыми не ею. Но все плодотворное – от нее; эстафета культуры передается ею. Она постоянно разбита наголову – и всегда победительница.

23/VI 64. Пиво-Воды[24]. А в деле Бродского – просвет. Наконец мое письмо и Фридину запись прочел Черноуцан и обещал попробовать что-то сделать. Затем неожиданность: делом возмущен заведующий международным отделом КГБ.

Я его понимаю!

Уже и левая итальянская печать выступила.

От Иосифа пришло очень хорошо написанное письмо к Руденко. Пошлем его в разные места.

Фрида приезжала из Тарусы и была на приеме в Управлении милиции с просьбой распорядиться послать его во ВТЭК. Ей сказали, что это может сделать Архангельск – сам. И Коноша. Но Архангельск – сам, увы! боится…

Иосиф на три дня ездил – с разрешения начальства – в Питер.

17/VII 64. Москва. Одной доброй силой в мире меньше – умер С. Я.

Наша личная беззащитность и общая беззащитность добра в мире увеличилась – нет Маршака.

К кому бежать с делом Бродского?..

2 июля в 8.45 вечера меня, как я всегда ожидала, сшиб в Переделкине велосипед.

5-го у меня были Юля и Раиса Давыдовна[25]; сказали, что Иосиф Бродский прислал цикл стихов для «Нового Мира» – кто же передаст Твардовскому? «Только С. Я., – сказала я, – если еще ему понравятся эти стихи». – «С. Я. тяжело болен», – пробормотала Юля. «Я, как встану, пойду к нему в больницу», – сказала я.

29/VII 64. Переделкино. Пиво-Воды. Об Иосифе дурные вести: отношение к нему на месте переменилось, Лернер принял свои меры. Врачи испугались, инвалидности не дадут.

11/IX 64. Сегодня дурные вести о деле Иосифа.

Несколько дней назад, в городе, была у меня Грудинина[26]. Она специально приехала из Ленинграда, чтобы добиться приема у Смирнова, Миронова, Суркова, Руденко и, кроме того, послать большое письмо Н. С. [Хрущеву]. Письмо составлено малограмотно (она член СП, руководитель лит. объединений), длинно, – но горячо и убедительно. Женщина она малоинтеллигентная, ограниченная, даже не умная – но с прелестной улыбкой, доброй, застенчивой и смелой.

Вместе с Львом Зиновьевичем она посетила Воронкова[27] и толково объяснила ему, сколько в деле фальшивок.

Попыталась охмурить Грибачева – но тот, не будь дурак, отказался вникать, сказав, что у него времени нет.

Ну вот, а сегодня К. И. ходил к Федину, который читал начало его воспоминаний о Зощенке – и Федин сказал, что: дело Бродского (с Фридиной записью) было докладываемо лично Хрущеву (по-видимому, из-за криков за границей), и он сказал якобы, что суд велся безобразно, но пусть Бродский будет счастлив, что его судили за тунеядство, а не за политику, потому что за стихи ему причиталось бы 10 лет…

Значит, мерзавцы – или обманутые – обманули Никиту Сергеевича разного рода фальшивками, состряпанными Лернером…

Завтра я еду в город, увижусь с Фридой, с которой не виделась сто лет, и будем думать думу…

Да, еще Н. С. спросил, как Фридина запись попала за границу…

Фрида посылала ее в «Известия», в «Лит. Газету», в прокуратуру и т. д. Очевидно, в каком-то из этих учреждений кто-то переписал и пустил по рукам, а то, что ходит по рукам, – неизбежно попадает за границу.

А от Иосифа вести плохие, и самая плохая та, что он не в силах переводить, хотя его завалили переводами.

Зима там близка. Переживет ли он ее?

8/X 64. Переделкино. Вернулась – после третьей – вторая ахматовская осень[28]: тепло, синее небо, пышные, сквозные леса. Это было так явственно, так прекрасно, что я ехала по шоссе в Переделкино с редким светом в душе, будто и меня осенило золотом и синевой.

Приехав, по листьям, под синим небом, помчалась в Дом Творчества к Оксману, узнать, не прочитал ли он уже мою рукопись?

В коридоре я встретила Л. Н. Радищева, что тоже меня как-то развеселило.

Но Юлиан Григорьевич встретил меня мрачно и сухо, без обычных приветствий.

Приезжал Ильин, вручил ему повестку, что в 3 часа дня в Союзе будет разбираться вопрос о его недостойном поведении[29].

Я уговорила его выйти на двадцать минут погулять. Он был возбужден. На улице мы сразу встретили К. И. Я ему сказала. Он с ходу стал давать Ю. Г. советы, совершенно неподходящие к случаю.

Пошли к Дому Творчества – Ю. Г. было пора собираться. Прибыла заранее заказанная машина.

Мы с Дедом побрели домой. Я понимала, что вечером К. И. нельзя пускать в Дом Творчества – иначе он не будет спать.

Но сама я, конечно, пошла.

Его исключили единогласно.

Читался материал из папки КГБ. Причем КГБ от преследования отказывается (нет оснований); но его должна съесть «общественность».

С бешеными речами выступали матерые палачи: Софронов, В. Кожевников. Лучше других – Чаковский. Федин прислал письмо, что по болезни приехать не может, но присоединяется к решению исключить. То же – Сурков.

11/X 64. Вчера у меня был светлый день: Володя Корнилов, мой любимый читатель, которого я видела перед собой, когда писала о Герцене, – пришел с рукописью, прочитав ее. Говорил как поэт, напр.: «цитаты из Герцена и ваш текст естественно переходят друг в друга – как поле в лес, лес снова в поле». Все дошло до него, все он понял – вдаль и вглубь – текст и подтекст. Но литературоведческая сторона, видимо, для него совсем пропала (глава 4) – и это жаль, потому что там есть новинки, находки.

Вчера съездила к Орьеву – юристу СП, а потом, по его рекомендации, к Келлерману – юристу охраны авторских прав – и подала по их совету заявление о взыскании с «Советского писателя» сорока процентов за «Софью». Если бы это удалось, я как-нибудь бы перебилась пока до денег за «Былое и Думы». (А пройдет ли книга? А заплатят ли?) Меня удивило и порадовало, какая ненависть к Лесючевскому[30] и пр. сквозила в словах сухого и сдержанного Орьева, с каким уважением встретил меня

Келлерман, с какой охотой взялся за дело (он читал «Софью»).

14/X. Переделкино. Осень, осень, осень… Не совсем голые, но полуголые деревья и золотые листья на земле.

Мы приехали вместе с Фридой – чтобы вместе (она так хотела) идти к Ивановой[31] договариваться о комнате. Но Дед позвал нас к себе наверх. Сообщил поразительную новость: к нему приезжал Дмитрий Алексеевич Поликарпов специально по делу Бродского. Просить, чтобы К. И. взял назад свое заступничество[32].

К. И., дорогой, отказался.

Странное дело: никаких политических обвинений, а все та же галиматья о тунеядстве, подстрочнике, каких-то попойках и пр.

22/X 64. В субботу, послезавтра, еду в Комарово.

За эти дни – многое случилось, многое хорошее.

1) Юлиан Григорьевич держится умно и стойко, хотя Шкловский его чуть не ежедневно терзает требованиями покаяния, хотя он уже изгнан из ИМЛИ, хотя в «Лит. Наследстве» по требованию Анисимова снято его имя, хотя все узнала Антонина Петровна: Союз послал на дом выписку из постановления…[33]

2) Сдвиг по делу Бродского, – большой, счастливый. Миронов – тот самый Миронов, который накануне суда так гнусно говорил с К. И., тот, который дал ход всему беззаконию, – 3/X позвонил в Ленинград Грудининой и сообщил, что он передал дело снова в Прокуратуру СССР, куда ее и вызовут. 19/X эта Жанна д'Арк была на приеме у и. о. Прокурора СССР, Малярова. Решено: мы, хлопотавшие, пятнадцать человек (число назвал он), берем Иосифа на поруки, срок сокращается до восьми месяцев. Вечером 19-го у Фриды – я, Гнедин, Грудинина – написали соответствующее письмо; 20-го утром Шура[34], я и Грудинина съездили к К. И.; он подписал; затем Грудинина поехала к Паустовскому, а от него —

в Питер. Туда же – Фрида; там подпишут АА, Дар, Вахтин, Долинина, Эткинд, Адмони – и письмо будет представлено Малярову. А к Иосифу поедет Толя (из Ленинграда), с которым Фрида пошлет ему для осведомления наше поручительство.

23/X 64. Еще Москва. Да, а Миронов, Н. Р., который благословил суд над Бродским и только недавно, 3/X, сделал крутой поворот, – позвонил Грудининой и сказал, что он никогда не был против, что это было его частное (!) мнение и что он передал дело Малярову – этот Миронов Н. Р. разбился в самолете,

вместе с нашей делегацией, и сегодня его хоронили…

31/XII 64 – 1/165. Переделкино. Дед спит. Я одна.

Фрида в больнице – еще есть слабая надежда, что это не…

Без трех минут 12. Тишина.

Дело Бродского все еще не кончено. Хотя – обещано. И он в отпуске в Питере.

«Оно изгрызло мне нутро», – сказала Фридочка – сама не зная, что говорит…

Фрида, будь жива.

11/I 65. Сейчас от Фриды.

Прощаюсь. И тогда она говорит мне – не печально, но деловито:

– Если со мной что случится… Вам детские дневники[35].

Я ее целую и ухожу.

Но сегодня я еще должна быть счастливой, потому что сегодня она еще там, в палате, такая, какой я ее только что

видела, – смеется, шутит, читает Диккенса, посасывает виноград, думает о Бродском, о всех нас; сама может одеться, накинуть халатик, пойти в столовую…

Такая, как всегда. Жизнь. Фрида.

14/I 65. Нет, смерть.

Три часа вместе с другими я просидела в вестибюле больницы.

Рак поджелудочной железы. Неоперабельно.

18/I. Прокуратура СССР опротестовала приговор суда по делу Бродского и направила его в Ленинградский городской суд: говорят, насчет Савельевой[36] и клеветников будет вынесено «частное определение».

Но радости у меня нет – не Фридиной ли жизнью мы заплатим за эту победу?

В Ленинграде на писательском собрании провалили Прокофьева, и в добавочном списке провели Эткинда, Грудинину, Долинину, Адмони – всех, кто защищал Бродского.

У нас собрание в среду. Орлова собирается говорить о подвиге Фриды Вигдоровой.

Дело Бродского длится, т. е. стоит на месте. Прокуратура обещает написать протест и передать дело в Верховный Суд РСФСР. Там – Л. Н. Смирнов, которому К. И. написал письмо и к которому на прием пойдет Алена Чайковская. Но прокуратура

медлит. Говорят, Ленинградский обком ни за что не желает, чтобы Иосиф был выпущен.

Хочет опять вступиться Сурков. (Ему за границей неловко.) Но вступится ли?

Иосиф дважды звонил мне. Из Коноши. Фриды дома нету– он звонит мне. Он боится, что от него что-нибудь скрывают. «Вы меня не обманываете?» Чудак, он не понимает, что обманывают нас.

20/II 65. Москва. Иосиф получил только теперь извещение об отказе ленинградского суда – и прислал Юле горькое письмо, что он будет ждать «не более двух недель».

Между тем из Прокуратуры СССР дело перешло, как и было обещано, в Верховный Суд РСФСР, к Смирнову.

Смирнов уехал на десять дней в Африку. Его будут ждать.

В день его возвращения ему будет передано письмо К. И.

За оставшиеся десять дней надо бы обратиться еще к кому-нибудь в то учреждение, от которого все зависит: в ЦК. Но к кому и как?

Дурное решение искалечит Иосифа, тяжело ударит больную Фриду.

14/III. Два месяца со дня Фридиной операции.

10-го ее выписали. 11-го перевезли в Переделкино. Я видела ее чуть-чуть.

Дело Бродского терзает, мучает, давит. Сегодня у меня была его мать: его «в порядке планового переселения» отправляют на Север, на полуостров Ямал – на гибель. В 6 часов ко мне придут О. Чайковская и Гнедин – будем решать, как быть.

Что мы можем?

Дело в Верховнов Суде, у Смирнова. Но решения нет. И разговор у Ольги Георгиевны Чайковской с Шубиным, зам. Смирнова, был худой.

А за границей передают и пишут, что он на свободе…

18/III 65. Переделкино. Дело Бродского держит в тисках меня и Копелевых и Анну Андреевну – в городе и на даче.

Вот и завтра – ко мне должен придти Наровчатов, которого мобилизовала по этому делу АА.

У Алены, после ее разговора с Шубиным, кричавшем ей: «Тоже еще поэт! Какой он поэт! И больше всего меня возмущают Маршак и Чуковский, которые пишут о нем, его не зная», – явилась мысль, что АА должна пойти к Анастасу Ивановичу

Микояну. Он сейчас в азарте правосудия. Необходимо, чтобы он дал возможность суду осуществить правосудие *вопреки* Ленинградскому обкому…

АА согласилась – но решила заручиться предварительно поддержкой Твардовского и Суркова; мы дали им знать, что она хочет их видеть, но они пока не отозвались.

А суд длится. Если будет отказ – не могу подумать об Иосифе, о Фриде…

И в то же время мне жаль АА, которая после трех инфарктов должна предпринимать эти хлопоты…

19/III 65. Москва. Был у меня Наровчатов, принес письмо к Л. Н. Смирнову в защиту Иосифа…

Сделала это АА – он *для нее* это написал.

Но письмо толковое.

Про него худо говорят, речь его на съезде произвела впечатление сильного уклона вправо.

В стихах он, безусловно, понимает, но – как возразил мне кто-то – «в начальстве он тоже хорошо разбирается».

Завтра приму меры, чтобы передать его письмо Смирнову. Самому ему «некогда»…

18/IV. Была у Деда в Кунцевской больнице. Условия идеальные: отдельная комната, с отдельным входом, отдельной ванной. Парк.

Спросил о деле Бродского.

Предложил, что в новое издание «Искусства перевода» вставит отрывки из его переводов (сейчас я отбираю).

Проводил до ворот. И пошел назад – я поглядела вслед – на слабых ногах. На слабых, на старых.

Вчера утром, от глазной врачихи я забежала к Фриде. Первый ее вопрос: как дело Бродского? Ну, как: обещано было «на днях», а оно до сих пор не назначено; О. Г. Чайковскую, которая хотела говорить со Смирновым, Смирнов к себе не пускает. Ходят слухи, что делом заинтересовался Микоян (ему давно писал и отправил все наши бумаги Паустовский, но ответа не последовало). Ира Огородникова[37] взялась поговорить с его сыном.

Фридочку завтра утром кладут в больницу, в ту же палату: второй курс лечения.

23/IV 65. Сегодня у меня была мать Иосифа. Он болен. Начальство тамошнее запретило врачам давать ему бюллетень. (Там новое начальство.)

Смирнов не принимает Чайковскую. Дело у него – он его все

не назначает.

Вчера, в Доме журналиста на диспуте «Мораль и суд» выступал Тендряков и сказал, что дело Бродского волнует людей во всех углах страны, что он читал запись Вигдоровой и если это правда – надо судить Суд…

Конечно, Савельеву и Логунова давно пора судить[38].

А Иосиф пока погибает…

17/V 65. Смирнов улетел в Берлин – и вернулся. Наш друг, Анна Моисеевна, видела его на вечере памяти Короленки, и он сказал – опять! – что дело Бродского будет решено на днях. На ее просьбу – разрешить ей придти, он ответил: не стоит! его решат в минуту!

В дело уже вмешался Сартр, Арагон, Неруда.

Сегодня вечером в Союзе встреча писателей с Зам. Пред. Верх. Суда СССР. Приглашен Копелев и готовится выступить (о Бродском).

25/V 65. На днях письмо от Бродского – просит для родственника лекарство от бронхиальной астмы. Три стихотворения, из которых одно – «В распутицу» – превосходно.

Лекарство ищу. (В Кремлевке нет.) Копелева оборвал высокий гость, не дал ему говорить («не надо на меня воздействовать»); писатели не поддержали; Атаров сказал: «не будем нарушать законы гостеприимства».

(Лучше бы не нарушать законы справедливости – и страны.)

29/V 65. Москва. Оказывается, Иосиф неделю сидел в тюрьме за то, что на два дня опоздал из Ленинграда. Мальчики, приехавшие к нему на день рождения (27/V), пошли к секретарю райкома и упросили, чтобы его выпустили на этот день…

Завтра пойду к Фридочке.

7/VI 65. По поводу Иосифа была тревога: мне позвонила из Ленинграда Грудинина, что будто дело уже решалось, 3/VI. Решение неизвестно, просила узнать. Назавтра с утра милый Гнедин отправился в секретариат Верховного Суда: дело было поставлено на повестку, но снова снято и снова находится у Л. Н. Смирнова.

10/VI 65. Переделкино. Дивные дни – теплые, сухие. Расцветающий сад.

И как всегда, лгут – птицы, тишина, зелень. Пошла я в дом накапать капли в глаза. Телефонный звонок: Лев Зиновьевич. Ему

сказала И. Огордникова (из Иностранной комиссии), что по делу Бродского – отказ… Отказ в пересмотре.

Надо проверить – правда ли это.

12/VI 65. Москва. Нет, кажется, неправда.

Милый Гнедин ходил в секретариат Верховного Суда, там ему сказали, что все на прежнем месте: т. е. дело у Смирнова… Но может быть сведения Огородниковой были из более высокой инстанции?

20/VI 65. Москва. Дело Бродского стоит на месте. Стало и стоит.

17/VII 65. Вчера, после трехнедельного перерыва, вызванного моей болезнью, поехала к Фриде.

Она лежала на боку, раскинув руки, с закрытыми глазами. Потом:

– Как наш рыжий мальчик?

Медленно, трудно, но с отчетливой ясностью всех мыслей и ассоциаций.

20/VII 65. Фрида как-то еще выше лежит на подушке, словно бы на облаке. Или поднятая на крест.

Спросила, что нового.

Я рассказала ей о Евтушенке: вернувшись из Италии, он написал в ЦК записку – отчет и там о Бродском: как вредит нам это дело, как необходимо его выпустить поскорее, и потом издать его книгу – причем он, Евтушенко, берется отобрать стихи и написать предисловие.

– Не до книги, – сказала Фрида. – Освободили бы поскорее.

11/VIII 65. Вчера мы похоронили Фриду – свет, жизнь.

В толпе – Над. Як. Мандельштам, приехавшие из Ленинграда: Дьяконова, Адмони, Эткинд, Руня Зернова, Нат. Долинина; Калабалин с детьми из своего детского дома; Фридина любимая учительница – Анна Ивановна; множество друзей (Савичи, Облонская, Галль, Грекова, Гнедины, Ивичи, Сана, Оттены); множество знакомых – лечившие ее врачи, шившая ей портниха, В. Корнилов, Аким, Эмма Гр. Герштейн, Н. Иос. Ильина; журналисты из трех газет; читатели; незнакомцы.

За кулисами – чиновничья возня: кто будет «вести» траурный митинг. Копелев не годится, нужен член секретариата… Бегают друг за другом Галин, Борисов.

Сменяется почетный караул. И я постояла немного,

посмотрела на Фридин лоб и брови – всё, что осталось неизменным.

Венки от «Нового Мира», от «Сов. Писателя», от К. И. (который еще не знает о смерти; это и телеграмму организовали мы с Кларой и Люшей), от «Известий», от «Комсомолки».

Распоряжающийся Арий[39].

Я, присев в духоте, оказалась рядом с Над. Як. (чего вовсе не хотела) – она меня познакомила с Шаламовым. Я с истинным глубоким уважением пожала его руку.

Начался митинг. Открыл Галин. Произносил пошлые газетные приблизительности. Потом Калабалин. Это человек талантливый, оратор блестящий, но надгробные речи – не его жанр, к тому же он все время плакал. Потом Орлова – хорошо. В заключение она прочла телеграмму от А. А. «Пусть ее светлый образ останется для нас утешением и примером душевного благородства». Потом я. Став на свое место, я почему-то совсем перестала волноваться и говорила спокойно.

О деле Бродского, как мы условились с Копелевыми, говорили только отвлеченно, не называя фамилий.

Потом Глеб Семенов – стихи.

Оттен прочитал полстраницы очень трогательные, присланные Паустовским. Там была хорошая мысль: что с Фридой Абрамовной случилась такая беда, которую не может исправить даже сама Фр. Абр.

11/VIII 65. А неприятности своим чередом: сегодня позвонила мне И. Н. Пунина из Ленинграда, спрашивает, нет ли чего решительного плохого об Иосифе.

– Нет, говорю, а что?

– Меня вызвал директор издательства и в очень грубой форме предложил снять стихотворение «Последняя роза» с эпиграфом из Бродского «Вы напишете о нас наискосок» из книги АА» (Ленинград, «Советский Писатель»).

– Почему? – спросила я.

– «Бродский – антисоветский поэт, упоминать его мы не будем»… Вот я и подумала, – говорит мне Ирина Николаевна, – что здесь что-нибудь случилось.

– Пока нет, – говорю я. – Ответа ни от Микояна, ни из Верховного Суда мы не получили.

– Значит, должна решать сама АА, – говорит И. Н. – А я боюсь, она снимет всю книгу…

Я этого не думаю. Но вряд ли это фанаберия Ленинградского отделения. Что-то случилось.

12/VIII. Да, случилось.

Сегодня мне стало известно, что в Гослите Косолапов распорядился выбросить из сборника «Голоса друзей» переводы Бродского[40].

Почему? А потому, что в ЦК было идеологическое совещание, на котором т. Семичастный (большой специалист по поэзии Пастернака) назвал Бродского «антисоветским явлением»…[41] Вот и ответ. Никакой Верховный Суд, никакой Микоян теперь за него не заступятся…

На том же совещании некто Скоба с Украйны возмущался напечатанием «малограмотной повести Солженицына».

Кто-то взывал: чей журнал «Новый Мир»?

Словом, мы снова переживаем весну – весну 63 года[42].

Плоды совещания видны уже в прессе: «Правда» выступила против Сёмина, «Известия» – против целой серии имен: Битов, Сёмин, Аксенов, Горышин.

Когда Фридочка умирала, я вспомнила чьи-то мудрые слова, сказанные по поводу других погибших: всегда старайтесь понять, *для чего* человек умер. Чтобы не дожить *до чего?*

Для чего умерла Фрида? Это мы скоро увидим.

15/VIII 65. Оказывается, уже после выступления знатока поэзии, Семичастного, несколько ленинградцев, во главе с Дудиным, ходили к Демичеву[43] заступаться за Бродского…

17/VIII 65. Пробую кое-что предпринять в защиту выкидываемых переводов Иосифа. Но, кроме всей обстановки – на шее – август! – все, кого я хотела бы просить пойти к Косолапову, в отъезде…

А С. Я., говоривший с ним некогда, в могиле.

18/VIII 65. Из Ленинграда вернулись вездесущие и всемогущие Копелевы.

Сил у них – на зависть. Съездить в Ленинград и обратно, повидаться с десятками людей им ничего не стоит…

Видели АА, были у нее в Комарове.

Снять стихотворение «Последняя роза» (с эпиграфом из И. Б.) она, к моему удивлению и огорчению, очень легко согласилась.

Зато сильно сердится на какую-то типографскую ошибку в листах книги, где четыре строки приклеены к какому-то не тому стихотворению… Конечно, это безобразие, но ведь гораздо меньшее… А там надо было упереться насмерть.

Виделись они с Граниным. Он действительно вместе с М.

Дудиным объяснял Демичеву, как вредит нам за рубежом дело Бродского, и Демичев, оказывается, при них звонил в Верховный Суд РСФСР с просьбой ускорить дело…

Итак, Смирнов (или Французов?) между Семичастным и Демичевым.

А к Косолапову пошел Евг. Мих. Винокуров, редактор (внешний) сборника «Голоса друзей». Он не шибко храбрый, но, видно, общественного мнения боится больше, чем боится Косолапова. Это делает ему честь.

Косолапов отказал… Переводы Бродского велено снять. Какое беззаконие! Новое.

21/VIII. Придумали для защиты интересов Иосифа вот что: чтобы Гранин обратился к Демичеву с просьбой, чтоб тот позвонил в Гослит… Для них это перекрыло бы Семичастного… Удастся ли?

Новое наступление на «Новый Мир» и пр., кажется, «захлебнулось». Судя по газетам, литературу пока не травят. Весна 63 года не повторяется. Тем более обидно, если снимут переводы.

22/VIII. Обдумываю, как браться за новую книгу. Она должна быть памятником Фриде.

По-видимому, новое наступление на литературу «захлебнулось». Судя по газетам, оно не развивается. Очевидно, наверху не договорились.

Но с борьбой против изъятия переводов Иосифа ничего не выходит. Ленинградский вариант отпал.

Может быть, я сама напишу Демичеву. Я готова. Беда только в том, что мое слово мало значит.

25/VIII 65. Оказывается, Семичастный говорил о Фриде. В числе тех литераторов, которые сбивают молодежь (Аксенов, Солженицын, Сёмин, Вигдорова). Чем она сбивает? Распространением записи суда над «антисоветчиком» Бродским.

Произнесено это было 6 августа…

Какая дивная концовка для книги!

Его речь 6-го, ее смерть 7-го и моя речь 10-го[44].

Я решила писать Демичеву. Завтра.

29/VIII. Письмо Демичеву я написала и послала.

1/IX 65. Вчера мне сказала Сара Эммануиловна, что Твардовский сказал Фишу, что он, Твардовский, говорил с горкомом и Руденко о деле Бродского. И те согласились, что дело беззаконное, но «Толстиков сказал – через мой труп».

Толстиков – реальная власть, Верховный Суд – мнимость.

7/IX 65. Переделкино. Месяц со дня Фридиной смерти.

Пред отъездом – неприятность: от Демичева мне ответа нет, но, очевидно, он запросил Гослит не о том, почему выбрасывают принятые переводы Бродского, а почему они были приняты?

Такого поворота я не ожидала…

Значит, письмо мое принесло вред.

9/IX 65. Переделкино. Чудеса в решете – нет, принесло пользу!

Вчера мне позвонила сюда Юля, что все переводы Иосифа велено в сборнике восстановить. Таков звонок – приказ. Трус и гад Косолапов (вместе со своим покровителем Семичастным) съел гриб.

А сегодня, когда Марина привезла Деду «Правду» со статьей Румянцева об интеллигенции, либерализм в деле с переводами Иосифа сделался понятен[45]. Мое письмо нежданно-негаданно попало в самую точку.

А может быть тут еще сработал мой разговор с Алексиным, которого я просила позондировать Михалкова?

А может быть тут еще письмо Суркова и Сартра куда-то наверх, о чем мне вчера сообщила Юля?

10/IX 65. Москва. Как я мечтала: «Саша?[46] Это ты? Говорит ЛК. Скажи маме: дело пересмотрено, Иосиф свободен».

Нет, ей некуда позвонить.

Вчера – звонок и старческий голос нашей старушки[47]:

– В субботу, 4-го, дело пересмотрено, он свободен…

Сегодня – капля яда.

Лев Зиновьевич пошел сам в Верховный Суд РСФСР. Приговор отменен только в части срока; вместо 5 лет – 1 год 5 месяцев (т. е. отбытое наказание) – значит, все-таки он в чем-то виноват был? в чем же? значит, прописки в Ленинграде ему не дадут – и Толстиков, Лернер и Прокофьев снова могут сделать с ним что хотят…

Все гадают: чье вмешательство побудило Верховный Суд наконец рассмотреть дело? Я думаю – капля долбит камень. Фрида своею записью докричалась до целого мира. На нас Толстиков может плевать. А на Сартра и Европейское Содружество ему плевать не позволяют. А Сартр, говорят, написал

Микояну, что в октябре писатели содружества съедутся в Париже и там разговор о Бродском пойдет непременно…[48]

Фридочка, вот что вы сделали своими маленькими сильными руками…

13/IX. Позвонил некто т. Мелентьев из ЦК и сообщил то, что я уже знала: «указано Гослиту восстановить переводы Бродского»[49].

17/IX 65. Москва. Вчера вечером на даче мне вдруг стало страшно, что нет вестей об освобождении Иосифа. Стала я звонить в город – Юле, Нике, – никого нет дома. А вечером позвонила мне Света Орлова, что звонил из Коноши Иосиф – ничего там о нем еще не получено… Сегодня я через старушку навела справки в Верховном Суде – бумага послана в Архангельск 9 сентября.

Я дала ему телеграмму.

22/IX 65. Переделкино. От Иосифа сведений нет. По-видимому, он еще в Коноше.

Я попрошу известинцев позвонить в Архангельскую область, куда 9/IX Верховный Суд послал свое решение.

24/IX 65. Москва. Алена ходила в Верховный Суд и выяснила, к нашему ужасу, что по ошибке решение об Иосифе заслано вместо Архангельской области – в Ленинградскую… А он, бедняга, звонит оттуда, спрашивает, когда же.

25/IX 65. Иосиф.

Только что ушел от меня.

Освобожден. В Ленинграде еще не был. Приехал сначала сюда, говорит – чтобы получить деньги в Гослите.

Иосиф. Тот, кого не дождалась Фрида. Не я имела право обнять его в дверях, и жарить ему яичницу, и смотреть, как он ест…

Но – выпало это мне. И я старалась радоваться, и мне это почти удавалось.

Он как-то еще вырос и поширел. Большой, будто сильный. Но нет, болезнь видна: не кончает фраз, бегает по комнате, все время крутит пальцами…

Мы вместе звонили в Ленинград: Анне Андреевне. И его тетушке.

Очень плохо одет. Но и это его не портит.

Доброта, простодушие, ум, дурной нрав – ребячливость –

прямой поэт.

Читал стихи – но бросал, забывал их…

Теперь предстоит Ленинград и последний барьер: прописка.

Хочет, прописавшись в Ленинграде, ехать в Таллин.

Зашла Юля. Подавая ей ее клетчатое пальто, Иосиф сказал:

– Все в клетку, как тюремная решетка!

Стараюсь догадаться, как поступила бы Фрида. Иосиф освобожден, но не реабилитирован. Решение Суда РСФСР (несомненно, под воздействием Толстикова) вопиющее: освободить как психически неполноценного. (А не как оклеветанного!)

Думаю – надо укрепить его благополучие, т. е. чтоб он был прописан, стал членом Группкома переводчиков и пр., а потом – а потом, когда страсти улягутся, – подумать.

6/X 65. Москва. Из Ленинграда ни звука. Не знаю – прописывают Иосифа или не прописывают? Берут на учет в Группком переводчиков – не берут?

Сегодня я постараюсь дозвониться Эткинду или Грудининой.

15/X 65. Вечер. Комарово. Да, Комарово. Море шумит. Тепло и сухо. Я в комнате № 4. Пока тишина полная.

Иосиф звонил мне из Ленинграда в Москву и повторял, что у него все хорошо: прописан на год; в Группком, вероятно, примут… Но за сорок минут до моего отъезда позвонил Толя и сказал, что нужна характеристика от К. И. Мне пришлось поручить создать шпаргалку и съездить к Деду Копелевым; они сделают это хуже, чем я, и я тревожусь.

Завтра Иосиф ко мне приедет. (Имя, звук, тревога, обратившаяся в человека!) Я хочу поговорить с ним о его дальнейшей жизни. Дело в том, что даже если ему дадут сейчас гору переводов – деньги воспоследуют не раньше, чем через год…

Подарю ему Фридину фотографию (от Гали и Саши) и свое «Над гробом».

Меня огорчает, что ближайшие «соратники» – Копелевы, Гнедины – считают наши бродские дела конченными… Это не по-Фридиному: судьба его еще не устроена.

16/X 65. Комарово. Светлый день. В 12 ч. приехали Иосиф и Яша[51].

Дело не кончено, как я и боялась.

Прописка не осуществлена еще, потому что нет снятия с военного учета в Коноше.

Вопрос о принятии в местком будет решаться 26-го.

А участковый уже приходил осведомляться: где он работает?

Членство в группкоме, достаточное для всех, для него может оказаться защитой недостаточной. Да и денег ведь нет и за переводы не будет ранее чем через год. А деньги?

Стало быть, надо хоть на первое время идти куда-то на службу.

Так он и собирается поступить.

Мы пошли гулять. Яша скоро помчался на поезд. А мы гуляли вдвоем и впервые в жизни разговорились. Он умен, тонок, блистателен… «Прямой поэт». Более всех любит англичан: Браунинга, Саути, Кольриджа. И американцев: Фроста. Из русского XX века – Цветаеву.

Оказалось, что он живет в доме Мурузи… Подумать только, в двух шагах от моего детства, наискосок от Маршака, в доме, где была студия «Дома Искусств», а до того, где жили Мережковские!

Считает гением переводчика Андрея Сергеева.

Элегантен: в куртке, привезенной из Италии Анной Андреевной, при галстуке. Красив. Очень внимателен, любезен, починил лампу от моего пюпитра, которая снова сломалась.

Необходимо достать ему переводы.

24/X 65. Вчера была телеграмма от Копелева, что рекомендация наконец выслана. Гора с плеч. Сегодня в городе я позвонила – рекомендация получена; Грудинина клянется, что тучи рассеиваются. Мальчики ходили к Гранину, рассказали о капкане; Грудинина – к Дудину. Кетлинская, нынешний председатель Комиссии по работе с молодыми, взялась очень горячо и устроила скандал той бабе из группкома, которая затевала провалить его. Авось 26-го все обойдется.

31/X 65. Была на днях и Наташа Долинина[52] – тоже человек из Фридиной жизни, тоже тревога.

Сообщила мне Нат. Грудининой и Рунины[53] идеи насчет того, что «дело Бродского» погубило Фриду и что я виновата, послав Фриду на суд.

Фрида всю жизнь занималась спасением других. Я – нет. И не мне было втягивать Фриду в дело Бродского. Я сама втянулась в него поначалу только из желания помочь Фриде, разделить ее тяжесть. Ко времени второго суда она была в Малеевке. Ей туда позвонил кто-то из ленинградцев. Она приехала в Москву. Тут восстали родные: не пускали ее. Вечный аргумент: ты ничем не поможешь, а сама… Мне позвонила Саша, спросила совета. Я ответила:

– Маме надо ехать, Сашенька. Она очень глубоко уже вошла в это дело, она уже любит Иосифа, и, если она не поедет – она съест себя.

Она поехала. И совершила свой подвиг.

Если бы она не поехала – она все равно продолжала бы за него драться, но у нее не было бы оружия – записи суда, – того оружия, которое в конце концов сокрушило стены его тюрьмы.

И неправда, что дело Бродского было для нас только мукой и болью. Сколько друзей, помощников, соратников принесла ей запись! какую она почувствовала силу – силу своего слова!

Сколько людей помогали ей – в деле Бродского она секунды не была одна.

Да, забыла записать главное: 26-го Иосифа приняли в местком. По-видимому, он теперь для милиции недоступен. Теперь надо ему уезжать, уезжать, чтобы здешние Лернеры не учинили каой-нибудь провокации.

3/XI 65. Был Панич. (Я теперь друзей зову к 6-ти.)

Гуляли, разговаривали. Я прочла ему стихи К. о стихах и дивные Иосифа – о малой Охте, которыми я просто заворожена, которые я послала Деду[54].

1/XII 65. Время бежит под откос. Скоро Москва.

Я живу здесь очень интенсивно: работаю, гуляю, лежу, пишу письма – день набит до отказа. Еле успеваю написать письмо, выстирать платки.

Была мечта: кончить о Фриде числа 5-го, а потом десять дней жить вольно, отдыхать. Но нет. Хотя работаю ежедневно и много, вижу, что и к 15-му еле кончу.

Глина размялась, потеплела, лепится, и это дает счастье и чувство полета. Но хорошо ли то, что слеплено? Имеет ли оно хоть отдаленное сходство с нею, чей голос я слышу, очи вижу? Не знаю.

Вчера утром вдруг – Иосиф. Был у Гитовича, который отбирает с ним его стихи для книги. Чудеса! На днях он с успехом выступал в Союзе на семинаре молодых; все хвалили; Кетлинская («она всегда на два шага впереди прогресса» – говорит о ней Дар) в восторге и обещает напечатать стихи. Ездил он

в Москву, видел трижды в больнице АА, и получил множество переводов – в «Прогрессе» и Гослите. Все, казалось бы, хорошо. Но он грустен, темен, тяжел, невнятен. Два раза его слова полоснули меня по сердцу. Я позвала его обедать. Мы вообще-то всегда в складчину кормим всех гостей – жен Гладкова и Ляленкова, Наташу Долинину и пр. А тут был обед уехавшего Дара. Так что я

звала Иосифа уверенно. Он пошел – по двору шел очень лихо, руки в брюки, свистал. И вдруг на крыльце:

– А меня там никто не унизит?

За столом быстро познакомился с Гладковым, поговорил с ним о Цветаевой… Вернулся в комнату, сел. И вдруг:

– Если бы меня хоть через день кормили таким обедом, я бы перевел все на свете…

Когда он поднялся, я стала предлагать ему денег – нет.

Обещал приехать завтра.

Пойти бы к Фридочке на могилу, рассказать бы о нем ее холмику.

Из того, как развивается дело Синявского, видно, что наша борьба за Бродского принесла большую пользу.

11/XII 65. Еще Комарово. Читаю.

Полторак. «Нюренбергский процесс»[55].

Вглядываюсь в лица негодяев. Убийцы, палачи – все это только слова. Что это? Как это случилось с человечеством – лагеря – это?

Природа фашизма до конца, до дна непонятна мне.

И тут же лица обвинителей, судей.

Руденко (не помню, что он делал при Сталине?)

Л. Н. Смирнов.

Это им полтора года мы без успеха писали об Иосифе, с ними говорил К. И. – от них мы ждали помощи…

Слушаю, слушаю о Синявском и Даниэле. Ловлю каждое слово.

Шолохов попал под это дело, как под трамвай.

Поехал получать Нобелевскую премию – и должен скрываться от международных писательских петиций.

Отвечает о Пастернаке, что его стихи – бред, а сам Б. Л. – внутренний эмигрант… И отказывается заняться делом Синявского, хотя он член правительства.

И воображает себя патриотом (не любя Пастернака!), защитником мира (не защищая арестованных).

Сидел бы в Вешенской.

17/XII 65. Москва. Последние дни в Комарове были трудны. Я думала, три последних дня буду только гулять, читать, слушать музыку. Но вышло не так.

В понедельник, 13-го, утром, я прочитала статью о Фриде приехавшим специально Эткинду и Наташе[56]. Накануне не спала

с шести часов. Читала час и от этого как-то вся распухла. Они сделали много замечаний, я записала. Еле стояла на ногах, хотела лечь.

Стук в дверь – Иосиф.

К счастью, они уехали и он ушел к Гитовичу, обещав вернуться в 6. Я легла. Спать не могла (срок), но хоть уняла сердце лежанием. В 6 часов пришел Иосиф, я позвала Дара, Гладкова; приехали Тата[57] и Яша – Иосиф читал стихи.

Очень громко, почти крича.

14-го надо было потихоньку укладываться и гулять, а я села делать поправки и правила до 11 часов вечера.

20/XII 65. Главное, я уже знаю, как напишу о Фриде – в стол.

О том, что она к гражданственности шла от материнства, от обороны человека. Не из задора.

5/I 66. Переделкино. В Москве Иосиф.

Прислал мне милое поздравление с картинками. Был – правда, ненадолго, на бегу. У него грипп – 38,3 – а он мчался в Гослит, к Слуцкому и пр. Подарил мне свои стихи о Боге в деревне и один перевод из Галчиньского. Сказал:

– Это будет смешно, но я, кажется, уеду обратно в Коношу. Там можно дешево прожить.

Рассказывают, что в Ленинграде где-то выступал Толстиков и объяснял, что освобождение Бродского – «крупная политическая ошибка Москвы».

На партсобрании в ТАССе делал кто-то официальный сообщение о Синявском и пр. И добавил: «Писатели вмешивались в дело Бродского и добились его освобождения совершенно незаконно».

7/I 66. Переделкино. Только что я проводила Иосифа – до мостика, до кладбища, и показала ему наверху две сосны.

Он приехал около часу. Сидел у меня, курил и читал отчет о беседе с собой. Мы ждали, когда нас позовет Дед.

Наконец Дед нас позвал. И вот Дед сидит на диване, а Иосиф ходит; и Дед встает и подводит его к полкам англичан и американцев; и они перекидываются именами и оценками. Иосиф учтив, добр, внимателен – и я вижу: не спорит, даже когда не согласен.

Все идет довольно хорошо, пока за обедом (Дед, я, Клара Израилевна и Бродский, наверху) Дед не просит Иосифа читать стихи. Тот читает – «Новые стансы к Августе». Дед очень слушал и

очень хвалил: «Вдохновенно с начала до конца и виртуозно». Но Бродский, как я уже замечала не раз, сатанеет от собственных стихов. Он сразу стал напряжен, резок, неприятен. Выслушав похвалы, он сказал: «Вам это не понравилось, я прочту другое». И прочел «Послание одной поэтессе». – Кому это? – спросил Дед. – Конечно, никому! – ответил зло Иосиф. Потом начал читать «На смерть Элиота», и весь дрожа, бросил, когда заглянул в комнату Геннадий Матвеевич и поманил Клару. Вошла Марина и села с каменным лицом. Кончив, Бродский был весь в поту. Я видела, что он мучительно хочет курить. Я его увела. У меня ни от чего разрывалось сердце. Отчего? От того, что после стихов нельзя «обращаться к своим делам», как сделали К. И., Кл. Изр., Марина – ведь человек только что пошел на смертный риск: прочел стихи. От того, что К. И. не полюбил его. От того, что К. И. в силах смотреть на него просто как на одного из талантливых молодых поэтов, а не как на Фридину, нашу тоску и бессонницу. А я не умею видеть в человеке только его – без всей боли, с ним связанной.

Бродский отчаянно курил, дорвавшись до низу, и звонил Ласкиной и Гале Корниловой по поводу своих стихов (или переводов?). «Москва», «Знамя».

Потом мы вышли. Мороз. Я довела его до мостика, показала тропинку к могиле и ушла.

20/I 66. Переделкино. А в городе в моей комнате живет Иосиф, – как жил прежде Солженицын. Странный юноша. Радовался моей комнате, тишине и покою, темным занавескам, книгам – в первую же ночь, имея ключи, не пришел ночевать. Ночевал ли во вторую – еще не выяснила.

Странное существо – больное и привлекательное. Читал в Союзе с успехом свои стихи и переводы. Сидя у меня – пока я ждала такси, уже вручив ему ключи и объяснив ему все тайны замков и кранов, – читал мне наизусть Горбовского. Вкус точнейший, потому что он читал хорошие стихи Горбовского, а мне в журнале всегда попадались плохие. Потом мы заговорили о Мандельштаме и он вдруг сказал: «А я несчастнее его. Есть общее в судьбе, но я несчастнее». – «Не грешите, Иосиф», – сказала я.

Он был накануне в «Новом Мире», у Твардовского со своими стихами. Разумеется, отказ был предрешен – стихи не той системы.

– В ваших стихах не отразилось то, что вы пережили, – сказал ему Твардовский.

Странный упрек. А если б отразилось – он бы напечатал?

И далее:

– Сейчас мне некогда, но если хотите, я выберу время и потолкую с вами о ваших стихах.

– Не стоит, – ответил Иосиф.

23/I 66. Москва. В довершение радости: я дома! – тут же Иосиф: «И изгнанники в доме моем».

Мы встретились у входа. Он помог расплатиться и поднять вещи. Пришел и сразу заторопился (ждут друзья?), но попросил «Прозу» Цветаевой – на чуть-чуть. Пока я распаковывалась и мы с Марусей его переустраивали в маленькой комнате – он читал. Вскочил, и схватился за сердце.

– Болит что?

– Нет. Но это ведь немыслимое чтение. Она одна все понимала – все поняла сразу. Маяковский поверил, пошел напрямик и пришел к обрыву. Ахматова и Мандельштам думали, что можно все-таки построить внутренний мир. А она поняла сразу – конец, гибель. И надо мерить себя и правду ею, только ею.

И дальше – слова о неизбежности гибели и что он хочет ее.

(Я ему немного рассказала о своей встрече с Цветаевой в Чистополе. Она: «Разве вы не видите, что все кончилось?» – Я: «Все равно, я мобилизована, со мной дети… И у вас ведь сын». – «Я для моего сына только помеха. Ему без меня будет лучше».)

Я сказала Иосифу, что моя религия: 66-й сонет Шекспира. Что каждый человек – свет для кого-то. Погибнешь – и кому-то темней.

Да другу худо будет без меня.

– Неверно. Им, всем нас любящим, будет лучше без нас… Мы им только мешаем.

Потом сказал тронутым голосом: «Мои старики»…

Читал мне стихи Горбовского: «Я свою соседку изувечу» – квинтэссенция коммунальной квартиры.

Вечером пришел, когда я еще не спала. Беглый разговор в маленькой комнате, где ему, он говорит, больше нравится, чем у меня.

Я ему прочла свое письмо в «Известия»[58].

Ему очень по душе. Сказал грустно:

– Вот, все готовятся. А мне соваться нельзя – это будет во вред им.

Назавтра к 8 ч. 30 м. – ему на самолет в Ленинград. Утром, в 7 ч. 30 м., я его разбудила. Пила чай, он сварил себе кофе.

С нежностью об А. А.

«Единственная радость, которая еще осталась в мире». «Возле нее становлюсь комплиментщиком». «Чувствует она себя прекрасно, говорит: «РОЭ 7, хожу по лестнице не задыхаясь,

сердце не болит. Не совершить ли мне еще какое-нибудь чудо – например родить близнецов»».

Оделся, взял чемодан, отдал мне ключи.

И улыбнулся на прощание открытой, доброй [улыбкой].

23/I 66. Москва. Да – еще.

За кофе: «Меня Сергеев сосватал. Я уеду под Ригу в какую-то келью. Там дешево жить. Все время надо уезжать… Я – пыль».

Иногда он кажется очень красивым – словно юноша Блок.

«Переводить стихи больше не могу. Они меня душат. Лучше буду делать технические переводы».

10/VI 66. Пиво-Воды. День счастливый и больной.

Утром кончила писать о Фриде.

Подняла голову – на тропочке Иосиф и Толя.

Иосиф и Толя – это ведь и Фрида, и АА…

Сидели на скамьях у костра. Оба читали стихи, оба очень хорошие.

Потом Толя увидел ежа. Они бросились. Иосиф снял пиджак и поймал его. Они его отнесли к К. И.

23/IV 67. Люди…

Вчера утром Бродский; вечером Peter Norman[59].

Бродский читал – кричал – стихи. То, что он любит в своих стихах: длинное, виртуозное, абстрактно философское, ироническое до меня не доходит; зато такие стихи, как «В деревне Бог живет не по углам…», кажутся мне прекрасными.

Сам он мирен, даже добр, но изнурен, болен.

25 января 68. Другая боль: Иосиф. Он был опять, принес мне прочитанные им мои «Записки» с высокой похвалой: «это комментарий к ее жизни и творчеству». Жаль мне его очень. Он на перепутье. Деньги наконец скоро будут большие (ему устроил Жирмунский перевод Джона Донна), но он их, конечно, истратит зря, а надо бы устроить жилье, где бы он мог работать.

23 апреля 68. Вчера внезапно появился Бродский с какой-то молоденькой англичанкой, приятельницей Аманды[60], изучающей Епифания.

Иосиф гораздо спокойнее, ровнее; выглядит хорошо, розовый. Сообщил несколько неприятных вестей:

– Толя подавал в Союз – чудак! – и его не приняли.

– Его собственная, Иосифова, каша, на мели; издательство чего-то требует, чего он, конечно, не хочет.

Мельком Бродский обронил несколько интересных фраз. Он сказал, что всем обязан какому-то своему другу Гарри. «Я ныл, был болен, жаловался. Он мне сказал: «Ты ведь не тело». С тех пор я все понял».

1 января 69, среда. Бродский талантлив, умен, на границе гениальности, но всегда будет нищ и мало любим и неудачлив – как О. Э. [Мандельштам. – *Е. Ч.*], потому что он ничего человеческого не понимает и не хочет, и не идет ни на какую другую работу, кроме поэзии, переводы – способ зарабатывать – делает неохотно.

Он совсем не литератор и очень мало человек – он только поэт, и это не сулит благополучия.

2 февраля 69, воскресенье. Иосиф мыкается без денег. Кончил какую-то Поэму – Рейн говорил: «гениально», «грандиозно». Как помочь ему?

14 июля 69. Дважды за это время был Бродский. Это тоже радость. Мы с ним до сих пор встречались как-то «официально»: сначала при АА до ссылки он мною вообще не интересовался, а мне не очень нравился; потом, после беды с ним и его ответов на суде я поняла, что это за человек, потом – что за поэт; потом он приходил ко мне, но все как-то не клеилось – с его стороны это был скорее «долг благодарности». И только теперь я почувствовала с ним какой-то контакт. Был дважды – оба раза читал дивные стихи. У него снова над головой тучи – ленинградские власти пытаются впутать его в тамошнюю очередную историю. Он приехал сюда, спасаясь, но не может перенести здешней жары. Опять хочет в Ленинград. Мои записи ему понравились *очень.* Я польщена, потому что знаю его правдивость. Сказал:

– Это лучше, чем разговоры Эккермана с Гете. Тем более что А. гораздо выше Гете. (!)

Когда я сказала – в другой связи, – что А. А. часто бранила людей и иногда несправедливо и людям будет больно читать, он ответил:

– Это все равно. Важно, что она так думала. А если думала *так,* значит, была права.

«Делаю только это».

– Но я слепну, – *не* сказала я.

Еще о Бродском.

Его пригласили на какой-то писательский съезд за границу –

не знаю, в Америку или Англию. Наши ответили, что такого *поэта* в России нет: напечатаны какие-то три стишка в «Дне Поэзии». История воистину гнусная. Не печатают его, а потом заявляют, что его нет. «Вас здесь не стояло» – как говорила АА. Рассказывая мне этот эпизод, Бродский добавил: «Если бы я знал, кто написал отсюда письмо, я бы набил ему морду». – «Хорошо, что не знаете», – сказала я.

Еще он сказал очень примечательно про жару:

«Такая безвыходная, словно Сталин вернулся и это по его приказу».

25 октября 71, понедельник. Читаю Бродского. Читала вслух Фине, и читая «От окраины к центру» – заплакала. Многое мощно и берет за душу, а многое мне не по силам. И как грустно, что К. И., встречаясь, не встретился с ним, и так и не понял, кого он помогал спасать. И какое счастье, что эта книга – есть[61].

18 мая 72, четверг. Переделкино. Мерзкий день.

Еще одно дурное известие. Иосифа почти насильно убирают из страны – в срочном порядке.

Лучше ли ему там будет? Или хуже, чем здесь? Сохраннее ли? И как же – родители?

И – Россия. Опять теряет поэта.

31 мая 72, среда. Переделкино. За час до отъезда сюда я простилась с Иосифом.

Навсегда?

Голос по телефону. Тот, из «дела Бродского», из Фридиного мира. Я ему открыла. Похудел; волосы поредели; морщинки у глаз: другой возраст. Одет, как всегда, не по погоде. Я его усадила против себя, дала пепельницу.

И сразу между нами потекло считанное время – время разлуки. Оно особенное – «Мы на учете»[62].

– Я вам сделаю маленький подарок.

Надписал книжку (или оттиск?) «От слагаемого, меняющего место»[63].

На обороте – его лицо: обиженный древний еврейский мальчик.

– Вот и вторая ссылка, – сказала я.

– Да.

– А где в Ленинграде ОВИР? Он оживился.

– На улице Желябова. Идешь дворами. Потом Михайловский сад…

Он говорил об этих местах уже будто с чужбины – о родине.

Уже как о дорогом прошлом.

– Я думаю, вы вернетесь, – сказала я.

– Конечно. Через год-полтора.

(О родителях я не заговорила. Нельзя.) – Я здесь ничего не сделал плохого, – сказал он. – Я писал стихи.

– И вообще ничего плохого, – сказала я. – Только хорошее. (Время текло, туда и назад, так, что, кажется, его можно было потрогать рукой… Фрида!)

Я спросила, у кого он здесь остановился.

– У Мики Голышева[64]. Знаете?

– Да, знаю: это ваш друг.

– Дело не в том, что мой друг. Это вообще человек № 1. Единственный, кого можно оставить за старшего.

Я попросила его прочесть стихи.

– Нет, не надо. Они мешают. Попросите, чтобы вам прочли «Сретение». Это лучшее, что я написал.

– Вряд ли вы сами понимаете, что у вас лучшее.

– Я разбираюсь в изящной словесности.

Мы помолчали. Я сказала, что видела его вторую книгу и дала оттуда переписать для себя многие стихи.

– Какие же?

– «От окраины к центру»… «Теперь так мало греков в Ленинграде…»

– Это все старое, 59-й год, – сказал он презрительно.

Я спросила, сколько времени он будет ехать – плыть – лететь.

– Не знаю и не хочу знать. Не хочу про это думать.

– Вот что, – сказала я, – имейте в виду, что я не боюсь переписываться с заграницей. Пожалуйста, пишите, мне и побольше и почаще.

Он обрадовался – единственный раз.

– Хорошо, что сказали. Спасибо! Я помню ваш адрес.

– А кому вы обязаны своим отъездом? Новой ссылкой?

– Все тому же поэту.

(Я не поняла, но не спросила.)

– Что же, Иосиф, там, может быть, в вас хоть любопытство проснется.

– Нет. В 32 года уже не любопытствуешь.

(«Еще как!» – подумала я.)

Он поднялся, что-то сказав о времени. Я тоже встала. Мы обнялись. Я поцеловала его в колючую, небритую щеку.

– Да хранит вас Бог, – сказал он (мне бы ему!).

Мы быстро прошли в переднюю, я отворила перед ним дверь.

– Вот и нету мальчика, – сказал он, перешагнув порог.

– Всё есть, – сказала я.

Александр Солженицын

19/X [1962]. Всенародное торжество: вышел № 11 «Нового мира» с повестью Солженицына. Я рада, счастлива даже, ибо это в самом деле правда.

22/XI Переделкино. Твардовский напечатал Солженицына, и все газеты, понимая, что все это сделано с благословения НСХ [Никтиты Сергеевича Хрущева], трубят восторги.

Читаю следующую вещь Солженицына «Не стоит село без праведника». Правдиво, сильно, умно – а чего-то (для меня), чего-то пронзительного – нет. Читаю вяло, с трудом.

Впрочем, ведь я и «Илиаду» Гомера читаю вяло, с трудом.

4/X 63. Наконец меня потряс Солженицын. Я слушала отрывки из романа. Потому ли, что он охотится тут в *моих* лесах (женщины возле тюрьмы), или потому, что он пишет не о крестьянине, чуждом мне, а об интеллигентных людях и интеллигентным языком – но эта вещь взяла меня.

31/I [1964]. Сегодня милый, милый Л. З.[2] передал мысли Солженицына о «Софье Петровне».

Неинтересно. Кое-что (не существенное) верно; многое – неверно совсем. Например. У меня интеллигентка (плохая) Софья Петровна думает:

«Деда Мороза прикрепила она удивительно эффектно». Ему не нравится слово «эффектно»! Да ведь это она – не я.

Или: «ее кооптировали в местком» – кооптировали. Да ведь она так радуется «вумным» словам!

Верные замечания мелкие жизненные; хотя главное жизненное совершенно неправильно: «как же она не понимала»? И не верит в конец.

Вероятно, это потому, что он не нашего поколения. Человек 20 из тех, что *пережили* 37-й на воле, говорили мне: «Вы это про нашу Веру Ив. – или Юлию Гр. и т. д. написали? Точь-в-точь».

Сколько я таких помню – тупиц! – ведь они-то и заставили меня взяться за перо.

16/VI [1964]. Голос Солженицына. [Магнитофон. – Дописано позже. – *Е. Ч.]*

Ясный, твердый, молодой, сильный[3].

Но – актерский! Модуляции провинциального актера;

безвкусные, провинциальные…

Мощная проза. Я не думала, что он такой силач. Краткость и мощь. Губы верблюда! Ужас ослика! Вышки! Кирпичи!

Но – совсем чужой мне.

Любит Есенина – а я нет.

Любит церкви – а я нет.

Думает, что колокольный звон подымает людей, – а я нет.

Ему в деревне не хватает церкви, а мне электричества.

Кроме того, он законченный, решивший, нашедший, а я…

10/IX 64. Солженицын. Дед[4] ждал его «на днях», неопределенно; он приехал сегодня утром, когда мы вдвоем пили кофе наверху. Нат. Мих. доложила: «Там вас какой-то спрашивает… Соже… Говорит, ему назначено».

Я сбежала вниз – нету его.

Он стоял на крыльце.

Первое впечатление: молодой, не более 35 лет, белозубый, быстрый, легкий, сильный, очень русский.

Второе – нет, он гораздо старше; и кожа на лице усталая; и лицо чуть одутловатое; и волосы редкие. Болезненный. Но одно остается в силе: очень русский. Светло-голубые глаза, неопределенного цвета волосы. Шофер? Монтер? Никакого южного акцента нет, но *х* вместо г.

Он пробыл долго, часа 4, гуляли по саду под дождем, обедали. Он внезапно почувствовал, что где-то в груди жмет – лежал у меня в комнате, я ему дала валидол. Говорит, что сердечный приступ – впервые.

Главное ощущение от него: воля, сила. Чувствуется, что у человека этого есть сила жить по-своему.

Рассказал о своем романе, который лежит в сейфе «Нового Мира».

Решено до времени сохранить его неоконченным, потому что сейчас не надеются его пробить. Ждут удобного времени.

Твардовский в восторге, Дементьев и Закс в смятении.

Для осуществления всех литературных планов ему нужно, – говорит он, – 10 лет спокойной жизни.

Когда его звали на симпозиум в Ленинград, он попросту ушел из дому.

Сказал, что написал «наверх» о неправильной системе в теперешних лагерях.

С помощью О. Чайковской[5] хлопочет о пересмотре дела какого-то своего друга.

– Но вообще – не могу заниматься всем, о чем мне пишут.

Иначе не буду работать.

О школе: надо переменить всю систему воспитания. До 16 лет человек растет в сознании, что ничто не наказуемо. Вызывают мальчишку на педсовет. «Ты что же это, Зимаков, учительницу матом обложил, на учителя плюнул?» – «А что мне с вами!» – повернулся и пошел. Ни наказать, ни исключить нельзя. Зато исполнится ему 16 – и тут он узнаёт, что все наказуемо, и еще как! Получить 10 лет ничего не стоит.

К. И. рассказал ему, что пишет сейчас о Зощенке. Солженицын сказал, что не любит его («грубый юмор»), а впрочем, почти не читал.

Сам он родом из Ростова, но терпеть не может этот город. Самое мучительное – язык… И лица у людей жестокие. В трамваях, в очередях ругань страшная: чтобы тебя стукнуло головой, чтобы мозги повыскочили и т. д. «Я всю жизнь хотел жить в средней России, в Подмосковье, и вот только после отсидки попал в Рязань. Это мне по вкусу».

Рассказал, что письмо одной американки, брошенное в Ленинграде, шло к нему в Рязань 25 дней.

Карпова[6] вернула ему сборник рассказов – (три: «Иван Денисович», «Матренин двор», «Случай на станции…») под тем предлогом, что ««Матренин двор» критиковался в печати», а без него два рассказа – это не книжка.

Ловко.

22/IX 65. Переделкино. Сегодня здесь был Солженицын.

Беда: 7/IX он взял из «Нового мира», из сейфа, 3 экземпляра своего романа и отвез друзьям. 11/IX там был обыск… Искали у хозяина какие-то теософские сочинения – всерьез? или для виду? неизвестно – и напоследок спросили: «А что в этом чемодане? белье?» Хозяйка ответила правду.

Они унесли чемодан.

– А роман мой обладает большой убойной силой, – говорит Солженицын. – Теперь они его читают.

Один экземпляр он сейчас же снес в ЦГАЛИ. Не знаю, по правде, зачем… Ведь ЦГАЛИ – это то же министерство.

В Рязани житье ему плохое. Квартира в старом, развалившемся деревянном доме, напротив – база или склад, где бывает 40–50 грузовиков в день. Жить нельзя.

Он хотел перебраться в Обнинск. Жена его прошла там по конкурсу в каком-то институте. Но начальство отклонило ее принятие – всякими ухищрениями: Обнинск, как и Рязань, ненавидит Солженицына. (Разумеется, не население, а начальство.) И ненавидит не по приказу свыше, а из глубины

души.

Рассказал, какие о нем распространяются слухи – нарочно, начальством.

Сначала Павлов[7] заявил, что он уголовник.

Теперь инструкторы сообщают слушателям, что он был в плену, что он – власовец, что он был полицаем…

Арестованы – уже довольно давно – Синявский (автор предисловия о Пастернаке) и переводчик Даниэль. Их обвиняют в том, что они – Абрам Терц[8].

Всюду ищут самиздат.

30/IX 65. Переделкино. Дед 4/X едет, по приговору врачей, в Барвиху.

У нас живет Солженицын. (В Колиной комнате – Коля в Венгрии.) Дед его внезапно пригласил. Он приехал и живет совершенно невидно и неслышно. Целыми днями сидит у себя в комнате за плотно закрытой дверью. Выходит только в сад и бродит один по участку. С нами видится только за едой. Правда, сегодня в 5.30 он собирался читать нам свои стихи, но Дед позабыл об этом и разрешил приехать Заходеру.

21/X 65. Солженицын по-прежнему у нас на даче.

I/XII 65. А Солженицын, кажется, живет у меня в комнате в городе под Люшиной опекой.

21/VII 66. Третьего дня я не спала ночь из-за набившихся в Пиво-Воды[9] насекомых. И именно в этот день приехали ко мне Копелевы, а потом – к Деду – Солженицын с женой… Шум, гам, обед – а я не могла даже выйти к столу и почти не видела Солженицына, который хотел со мной о чем-то посоветоваться. Так жаль, так неловко.

Вчера известие: его «Раковый корпус» из «Нового Мира» ему вернули… Ну, это не могло быть иначе.

16/XI 66. Москва. Сегодня в Союзе было обсуждение «Ракового корпуса» Солженицына. Сейчас он у нас.

Победа полная. Все говорят, что Каверин был боговдохновенен. И Карякин хорош. И Борщаговский[10].

Из негодяев рискнула выступить *только* Кедрина[11] – и во время ее речи многие поднялись и ушли.

Сегодня же должно было состояться его выступление в фундаментальной библиотеке; отменили в последнюю минуту.

4/III 67. Сегодня утром уехал от нас живший несколько дней Солженицын.

Я вышла в переднюю проводить его.

Ватник, ушанка. Вынес из дверей на площадку тяжелый мешок с хлебом и трудно взвалил его на спину. Угловатый тяжеленный мешок, словно камнями набит.

Таким теперь всегда я буду помнить Солженицына: серый ватник, ушанка, мешок за спиной – войдя в трамвай или выйдя на вокзальную площадь, он сразу утонет в толпе, с нею сольется – неотличимо серый, не то мешочник, не то попросту пригородный обыватель, везущий из Москвы батоны. Только тот, кто попристальнее вглядится в него, заметит, что он не из толпы, что он – отдельный – ловко, стройно движется под своим мешком и что у него глаза полны воли и силы.

Это удивительный человек гигантской воли и силы, строящий свою жизнь, как *он* хочет, непреклонно – и этим, разумеется, тяжелый, трудный для всех окружающих. Восхищаешься им, завидуешь ему – но я, старый человек, не могу не заметить, что он, осуществляя свою великую миссию, не глядит на людей, стоящих рядом, *не хочет* видеть *их* миссий, *их* бед, потому что живет по расписанию. Когда все расписано в дне до минуты – откуда же взять мгновение, чтобы взглянуть на соседа.

И из-за его героической фигуры, из-за его прекрасного, мужественного лица глядят на меня другие лица – Туся, Фрида[12] – люди, не успевшие осуществить себя ни в искусстве, ни в жизни, потому что всегда, каждую минуту, готовы были расслышать другого, отозваться на его боль. А Солженицын, такой демократический, живущий на столько-то копеек в день, отказывающий себе во всем, чтобы остаться независимым, Солженицын, по рассказу одного очевидца, ответил своей старой тетушке (которую он пестует), на ее восклицание, что вот, мол, достала валенки:

– Не надо… Валенки – это за обедом…

Верно, в эту минуту он обдумывал главу.

Да будет он благословен. Буду служить ему чем могу – он этого стоит, он вообще стоит *всего.*

6/IV 67. (Информация: преподлейшее интервью с Твардовским в Риме с нападками на Гинзбург[13] – которую только что облаял Семичастный, и Синявского, который в тюрьме. В этом же интервью наш друг и гость Солженицын, которого не печатают, которому не дают выступать, на которого клевещет ГБ – трактуется как лицо благоденствующее и процветающее.)

20/V 67. К нам на несколько дней приехал Солженицын.

Он только что разослал в 300 экз. свое письмо делегатам и не делегатам Съезда[14].

И мне дали экземпляр.

Говорят, готовится петиция в поддержку письма. Если ко мне обратятся, я подпишу.

Солженицын весел и возбужден.

24 мая 67. Длится съезд. Письмо Солженицына еще не прорвалось на трибуну, и неизвестно, прорвется ли.

Он много здесь. Когда не торопится – мил, доброжелателен, весел.

Писем индивидуальных на Съезд ему в поддержку штук 10; под общим письмом подписей около 80[15].

Мне подписать товарищи не предложили; наоборот, предложили не подписывать.

Я хотела, и мне обидно. Но слушаюсь.

Тревогу вносит еще и радио: кризис на Среднем Востоке.

Мы уже знаем, как все теперь в мире близко. «Это где-то здесь – за углом»[16].

30/V 67. Сегодня уехал отсюда Солженицын. Несколько дней он прожил у меня в комнате внизу, проводя дни наверху, на Дедовых балконах. Лежал и читал – у него перерыв в собственной работе, он ждет результатов своего письма к Съезду, а пока читает чужие рукописи – Вс. Иванова, еще кого-то. Мы встречались только за едой. Человек он одной темы, одной страсти – не вширь, а вглубь. Воля колоссальная. Собирается засесть за новую вещь – последнюю, как он говорит, – на которую требуется 7 лет. Собирает для нее материал.

Намерен появиться на юбилее Паустовского завтра: «Чтоб все видели меня веселым, улыбающимся, – сказал он. – Вот, мол, написал письмо, а ничего плохого не случилось».

4/VII. Оказывается, отказались подписать письмо в поддержку Солженицына трое: Лакшин, Бременер и Шкловский.

Я давно уже замечала, что Бременер[17], постоянно выставляющий отметки всем кругом за благородное гражданское поведение, сам изрядно трусоват. О Шкловском и говорить нечего. Он *заплакал,* отказываясь: «Я собираюсь за границу, а если я подпишусь, меня не пустят».

9/VII 67. Москва. Разговоры и новости. Даниэль опять в БУРе – ленинградские писатели написали письмо (Гранин, Эткинд,

Берггольц) после письма его жены. Не думаю, чтоб помогло. А что делать – не знаю. Но судьба этого человека терзает меня. Как и всех.

Исключение из партии Некрича.

Увольнение со службы двоих каких-то молодых людей, намекнувших в статье в «Комсомольской правде», что разрешают и не разрешают спектакли некомпетентные люди. Их выгнали, обвинив в поддержке Солженицына.

(А он сегодня уехал с Эткиндом в экскурсию на машине.)

Разговоры о писательском съезде в Праге, ну и, конечно, об ОАР [Объединенная Арабская Республика].

11 октября 67, Москва. Второй день у нас Солженицын. Веселый, ясный, молодой, кипучий, счастливый. Вернулся из Ростова, где собирал материал для новой вещи. Мы ему рассказали все о пленуме РСФСР. Он не огорчился и не испугался.

(А там читали против него письмо нобелевского лауреата. В самом деле, две России: Шолохов и Солженицын.)

Тревожно. В «Лит. газете» статья «В поисках предателя» – копия тех, которые мы читали в 37 г. и которые я спародировала в «Софье». И абзац о том, что разведки особо интересуются советскими литераторами. Цель все та же: если начнут хватать, то чтоб обыватель понимал почему.

Обыватель-то ведь тот же: ни грана смысла. Можно крутить мельницу сначала.

В народе распускают слухи, будто к праздникам «враги» мобилизуются и подкладывают бомбы.

29/IX. Неожиданная весть: «Новый Мир» заключил с Солженицыным договор на «Раковый корпус»! После ливня помоев, опрокинутого на него Секретариатом после того, как Сурков, назвав его лидером политической оппозиции, попросту примерил ему саван.

Но если вдуматься – это понятно: на Секретариате все пинали Твардовского, крича:

– Что вы у нас спрашиваете! Вы хозяин журнала – вы и решайте.

Вот он и решил.

Разумеется, о печатании говорить рано. Но хоть деньги будут.

16 ноября 67. Сегодня снова приехал Солженицын. Видела его на бегу: приехав, он немедля кидается бегать по делам.

Я подумала сегодня, глядя на его движения, лицо, видя его

прямой, решительный взгляд, сжатые губы, что он тоже, как сказал Пастернак о Маяковском, «весь в явлении», а не в намерении, «феноменально определенный», как тот же Пастернак сказал о Шопене.

20/XII 67. Смотрю на этого человека, слушаю, размышляю.

Быстро, точно, летуче, как-то даже элегантно движется. Красота его именно в движениях, в быстрых переменах лица: то сосредоточенность, сжатый рот, глаза сверкнули, шрам на лбу виднее – то вдруг совсем распустил лицо в пленительной, открытой улыбке, глаза исчезли, сощурившись, одни зубы сверкают, молодой хохот.

Туся когда-то сказала о Барто: в ней больше энергии, чем света. Этого Бог создал так, что в нем пополам энергии и света. Столько энергии, чтобы не дать загасить свой свет.

Иногда кажется – и читая его – и глядя на него, – что, может быть, энергии все же чуть больше, чем света (рационализм в его прозе, желание все упорядочить, всем распорядиться – в жизни).

О письме Алигер ко мне сказал: До сердца ей Ваше слово не дошло.

«Я к Вашему делу этому отношусь как к своему»[18].

Вчера он целый день провел в Союзе у Воронкова. С Твардовским. Оказывается, это – «левая» Секретариата: Воронков, Сартаков (!?)[19] и Твардовский. И они «хотят ему помочь». Все-таки все вымогали у него документ против Запада, даже Твардовский. Он опять отказался. И Твардовский хотел от Воронкова получить разрешение печатать «Раковый корпус»… И они с Твардовским прошагали в «Новый Мир» и Твардовский велел сдавать в набор 8 глав «Ракового корпуса»!

Солженицын собирается торговаться за 11.

22/XII 67. Не пришлось торговаться за 11 – чудеса в решете! – посылают в набор *всё!* А первых глав уже была верстка!

И сборник он сдает в «Советский писатель» через Твардовского, который напишет предисловие… Ал. Ис. включил туда и «Правую кисть», и «Крохотки» – воображаю морды Карповой и Лесючевского![20]

2/I 68. Под плохими чарами начинается год…

И на главном направлении плохо: в «Новом Мире» «Раковый корпус» отложен.

25 января 68 г. И – этак с неделю назад – три дня пробыл классик. Опять это лицо: прямое, со сжатыми губами, сама

прямота и правота, а потому и власть. Дела с печатаньем плохи. Федин провел на Секретариате решение НЕ печатать, пока он не опровергнет свое письмо.

15/III 68. Классик вернулся из Ленинграда замученный и гриппозный. Один день жил в Переделкине. Москву он не выносит совсем, т. е. сутолоку, а на даче сразу распрямляется. Но сегодня пробыл день в Москве и опять вечером был больной, свалился в 11 ч. спать.

Так хочется ему здоровья, силы, счастья – сил, сил, сил.

13/IV 68. Тревога.

Накануне отъезда к себе в скворечник Ал. Ис. виделся с Александром Трифоновичем. Пересказывал разговор с ним (как Федин кинулся ему на шею). Уехал – и Твардовский сразу начал его разыскивать по срочнейшему, наиважнейшему делу. Вероника[21] дала телеграмму в Рязань. Его там нет. Оттуда приехала, узнавать что и как, Наталья Алексеевна. И пришла к нам.

Круглая головка, круглые плечи, округлые руки, хорошенькое личико, голубенькие глазки. И в противоположность этой круглости – резкие движения, резкий голос, обрывистость речи. Раздевается в передней рывками, уходя – натягивает перчатки угрожающе. Других недослушивает и сама говорит восклицательно и без большой связи. Очень возбуждена.

Разумеется, время тревожное и есть основания для страха за лучшую голову в России.

Но в ее возбуждении и тревоге что-то устойчивое, постоянное, не сегодняшнее.

Она вошла со словами:

– Не скрывайте от меня ничего.

А нам скрывать нечего. Мы сами ничего не знаем, кроме того, что погода плохая.

Она пошла звонить откуда-то Твардовскому и потом позвонила нам:

– Шеф сказал, что никогда еще не было Ал. Ис-чу так необходимо приехать, как теперь. Ничего не объяснил: «Разговор не телефонный».

Значит, изобретено для него что-то самое плохое. Что?

19/IV 68. Был Ал. Ис. В самый разгар моей плохости. Внезапно приехал.

Оказывается, Supplement к Times^[22] напечатал отрывки из «Ракового корпуса».

Но не для этого вызвал его Твардовский.

Он предъявил ему следующую телеграмму:

> «НМО 1 77 Франкфурт на Майне 42 9 16.20 Твардовскому Новый Мир.
>
> Ставим вас в известность, что Комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад еще один экз. Р. К., чтобы этим заблокировать его публикацию в Н. М. Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу. Редакция журнала Грани».

Ал. Ис. пришел ко мне в комнату, прочел мне эту телеграмму и тот текст ответа, на котором настаивает Твардовский: послать в «Грани» и в «Лит. газету».

Что вот, мол, узнав о телеграмме из «Граней», он, Солженицын, протестует против печатанья там этого романа.

Меня все это очень ошарашило и смутило.

Сейчас, именно сейчас, все деятели типа Михалкова – Тельпугова[23] жаждут, чтобы в печати появился какой-нибудь протест Солженицына против Запада. Того же домогается давно и Союз писателей, и Федин.

Разумеется, Солженицын не хочет, чтобы его роман публиковался в «Гранях». Он об этом давно говорил. Но ведь «Лит. газета» не напечатает протеста в обе стороны: против КГБ, переправляющего наши рукописи в НТС (вот комментарий к последнему процессу!), и против «Граней». Останется лишь одна сторона.

Я спросила, что же сделал Твардовский, чтоб выяснить, кто такой Виктор Луи и почему ГБ переслал рукопись на Запад.

Оказывается, ничего. Написал докладную Демичеву[24] о телеграмме. И все. И теперь неистово требует от Ал. Ис., чтобы тот «доказал свою «советскость»» и «не подводил «Новый Мир»».

И тут я поняла, что надо и чего не надо. Я сказала, что односторонней телеграммы не надо ни в коем случае, двустороннюю не напечатают, а надо требовать прежде всего рассмотрения действий КГБ и Виктора Луи. И подлинности телеграммы.

Я очень сама была смущена своим ответом. И вдруг по его лицу – благодарному, осветившемуся – я поняла, что попала в точку.

– Спасибо вам, – несколько раз говорил он, появляясь и исчезая в течение дня, – я вам так благодарен.

И еще взял у меня для личного письма к Твардовскому заглавие одной дурацкой детской книжки «В какие игры играют

тигры».

– Мы-то ведь не тигры, – сказала я, – зачем нам играть в эти подлые игры?

23 апреля 68. Вчера приехал снова Ал. Ис. Опять – торопежка, мелькание, вихрь. Опять новое письмо – которое он сам отнес в «Литературку» и в «Литературу и жизнь» Поздняеву[25].

Приехал рано и ждал, когда я встану, чтоб показать. «Здесь ничего нет поэтичного».

Я прочла.

За это время случилось вот что: выяснилось, что в «Times», в «Literary Supplement», отрывки из «Ракового корпуса» напечатаны в переводе с перевода. И второе: в «Monde» известие, что какой-то итальянский издатель выпустил русский текст анонимно и присвоил себе все права и все переводы – что-то уже недоступное нашему пониманию.

По этому поводу А. И. написал письмо в «Лит. газету», «Лит. Россию», «Unita» и «Monde» очень благородное, в котором протестует против самоуправства иностранных издательств, говорит, что они загубили уже «Ивана Денисовича» спешными переводами, загубят теперь «Раковый корпус», и требует, чтобы все переводы и русские экземпляры считались действительными только с его визой; в заключение напоминает, что речь идет не о торговле, а о литературе.

Я вполне разделяю его бешенство; помню бешенство АА [Ахматовой] по поводу издания Струве; собственно – по поводу ошибок в «Поэме», устроенных Амандой…[26] и по поводу проделки с заглавием моей повести[27]. Но я, в отличие от него, не верю в действие письма.

Нашему начальству оно не понравится, потому что там нет протеста против печатания на Западе вообще, а только против качества переводов; а тех спекулянтов разве остановишь?

Он умчался советоваться, переделывать, перепечатывать и пр. Вечером мне сказал:

– Зашел в ЛГ – к счастью, Чаковского[28] не встретил. Что бы делать было – я ведь не мог бы подать ему руки.

Сегодня с утра умчался передохнуть в Переделкино – «еду досыпать» – не спал ночь. Сколько еще будет таких ночей!

За ним с утра зашел Можаев. Удивительно привлекательное лицо, глядишь – и сразу веришь. И рядом на них хорошо смотреть, они как-то очень подходят друг к другу – может быть потому, что у обоих очень русские лица.

Ал. Ис. все беспокоится, не компрометирует ли он К. И. своими наездами в Переделкино. Поручил об этом спросить у Деда. Я Люше говорила, что об этом и спрашивать нечего, что в гостеприимстве Дед тверд и не отречется. Она все-таки спросила. Он ответил:

– Я подлецом еще никогда не был.

24 мая 68. Здесь классик. Он гениален не только в литературе. Добился того, что не он пошел на таможню, а, в назначенное им время, таможенники пришли к нему; и так с ними умело говорил, что все дело обернул против них же! Уленшпигель, да и только![29]

6 июля 68. Десять дней, обливаясь потом, теряя листки, писала статью против «Лит. газеты»[30].

Со сна не сбивалась, молодец, зато все остальное безумное делала: например, один раз на мелкие клочки разорвала 10 страниц – сослепу, – и пришлось писать *заново.*

11 июля 1968. Внезапно явился классик. Впрочем, я ждала его или письма. К счастью, я была отпыхтевшаяся.

Восторга нет (я уже избалована), но виза есть и кое-что ему, видно, по душе.

Сказал, что сначала был смущен самой мыслью о моем выступлении («мы связаны»), но потом понял, что моя статья шире, чем он, что это не защита его, а важнее, что это *нужно.*

(– Ваше свойство: переводить понятия из области мнимой ясности в область настоящей ясности.)

Замечания крохотные.

Ноге лучше; от Мичуринца дошел свободно.

Переделывает главы о Сталине в «Круге». (Я их и так любила.)

30 июля 1968. Тревога растет – в мире, в сердце. Сегодня я уже не спала ночь.

Мелькнул – посидел со мною минут 20 – классик. Нога не болит, но гипертония мучает. Работает по 12 часов. «Движения быстры. Он прекрасен». Завидую ему и любуюсь им. Поговорили про все – разумеется, мы всюду совпадаем, до ниточки, в радостях, болях, горях.

«Будь!»

Прямое, простое, сильное, единственное лицо. Лицо правды.

9 *августа 68.* Второй день классик.

Я читала переработанные и дополненные главы. Силища[31]. Но не все хорошо. Не зная, увидимся ли – ведь он всегда на бегу! – я ему написала письмецо со своими соображениями. Он зашел вчера проститься перед отъездом и сказал:

– Как же я у вас дурно живу, что вы мне вынуждены писать письмо в соседнюю комнату.

10 *сентября 68.* Суд над Литвиновым и др. будет, по-видимому, очень скоро[32]. Помогай им Бог, – да нет, не поможет, их выставят тунеядцами, хулиганами и проходимцами.

Тут классик. У него имел наглость побывать Виктор Луи.

6 октября 68, воскресенье. У меня в руках последний № T1te'a с портретом А. Солженицына на обложке и внутри, с большой статьей о нем и не о нем. Писал кто-то несомненно знающий, но все таки путающий. Кроме того, «Раковый корпус» с чего-то назван самой слабой вещью Солженицына. Кроме того, сообщено, что перевод «Круга» в Америке ужасен. Поминаюсь также я, поминается и Лев Зиновьевич.

Прекрасная фотография Павла Литвинова тут же. Вместе с Ларисой[33].

Один абзац начинается очень страшно: «На прошлой неделе Солженицын был еще благополучен.»

8 октября, вторник. Приехал классик. Мелькнул. Болел гриппом.

Завтра судят Павла, Ларису и др. Двоих адвокатов вынудили отказаться от защиты; пытались и Каминскую и Калистратову – не удалось.

2 декабря 68, понедельник. Загодя ночами сочиняю телеграмму на 11 декабря[34].

Пока так:

«Вашим голосом заговорила сама немота тчк Я не знаю писателя более долгожданного и необходимого чем вы тчк Где не погибло слово там спасено будущее тчк Ваши горькие книги терзают и лечат душу тчк Вы возвратили русской литературе ее громовое могущество тчк Будьте счастливы здоровы молоды

Лидия Чуковская»[34а].

Пишу это и думаю вот о чем: в русской литературе советского периода и до Солженицына были великие поэты: Ахматова и Пастернак, замечательные поэты: Мандельштам, Цветаева, замечательные прозаики Житков, Булгаков, Тынянов. С появлением Солженицына они засияли новым блеском. Он

придал им всем новое качество: силу. Как будто к великолепным вагонам прицепили мощный паровоз.

Из одиноких гениев и талантов они стали великой русской литературой. Некой общностью. Он их чем-то объединил.

Чем? Великим противостоянием, вероятно.

Все они, каждый по-своему, противостояли. Его появление сделало это явным.

Была передача Би-би-си (мне рассказали; была дня 3 назад; о письме Солженицына съезду), затем были даны письма в поддержку его письма – почему-то Антокольский, – а их были десятки, и сильных; затем письмо Каверина Федину, Твардовского Федину[35]; затем куски из моего летнего послания в «Лит. газету».

Твардовский, говорят, в отчаянии. Еще бы, он, вельможа, передается по Би-би-си! Да еще в *такой* компании!

14 декабря 68, суббота. Забыла записать, что от А. И. получила замечательный ответ на свою телеграмму.

Вот он:

«Дорогая Лидия Корнеевна!

Ваша телеграмма высечена на камне или извлечена из архангельских труб.

Прочтя и сравнив уже более 300 телеграмм, мы все уверенно сочли, что ваша превосходит все.

Спасибо, спасибо!

Обнимаю Вас

Ваш Солженицын.

11.12.68».

28 декабря 68. Вчера вечером прибыл классик из Ленинграда. Легкий грипп. Скоро уедет на всю зиму, очень озабочен опечатками в заграничных изданиях: настоящий литератор, ему не все равно.

…Стоять за слово ты должен на смерть. Но я таких не вижу. Кроме одного.

30 января 69. Радости? И радости есть.

А. И. получил Гонкуровскую премию! Говорят, это преддверие к Нобелевской! Но все равно – даже если нет – как хорошо! И даст ли это ему деньги? И значит ли это, что он поедет в Париж?

Хорошо.

15 марта 69, суббота. Было вот что: классик простился, ушел, весло насвистывая, с рюкзаком за плечами сбегал по лестнице – а через день (или два?) Л., чуть я проснулась, вошла ко мне и потихоньку сообщила, что он вернулся, потому что там, куда он ехал, не удалось работать, и он в бешенстве, ярости и едет домой.

Я его не видала. Он уехал в тот же день, не зайдя ко мне.

25 марта 69. Вчера был Лев Зиновьевич.[36] сейчас он оживлен и счастлив: поймал и разоблачил мерзавца, который выдавал себя за А. И. Солженицына, кутя в «Славянском базаре» и «Национале» и приставая к девицам. Теперь осталось понять: кто за ним? что за ним? Это будет труднее.

Блатной. Наколка. Когда его окружили трое, заплакал: «Не бейте!» Они, конечно, не били, но потребовали имя и адрес.

11 апреля 69, пятница. Был Питер Норман[37]. Очень расспрашивал о классике. Я ему рассказала о Лже-Дмитрии.

А утром вчера внезапно явился Сам. Я его видела минут 7. Успел рассказать, что у него тошноты и головная боль – это, конечно, мозговые спазмы от многочасового труда. Работой доволен, но воздуха нехватка. Рассказал о звонке к нему секретаря Рязанского обкома. Тот просил зайти, поговорить. Ал. Ис:

– Нет, не могу, ни к чему. Позовите других товарищей.

– Ну зачем мы будем устраивать митинг.

– Я в Союзе говорил при 32 человеках и 3 стенографистках, и то мне приписывают то, чего я не говорил. А как же наедине…

– Вы слишком подозрительны.

Он стал жаловаться, что преследуют его гостей и пр. Тот все же настаивал, чтобы он пришел.

– Вы, наверное, не знаете, что такое писатель. Я 33 года собирался писать роман о I империалистической войне и вот теперь пишу – я не могу отрываться. Потом тот ему сказал что-то с упреком по поводу похвал ему в Ю<найтед> С<тэйтс> и напечатании там соответствующих глав – «вы должны определить свою позицию». Потом спросил, как он думает откликнуться на юбилей. Этот: «Я работаю по 10 ч. в сутки, если бы я откликался на каждый юбилей, я строки не написал бы». Потом тот ему что-то – «вот вы говорите мне». Этот: «Я этого не говорил». Спор. Тогда этот: «Вот когда вы будете смотреть магнитофонную пленку нашего разговора, тогда установите, что я этого не говорил».

В общем, я добра не жду. В «Лит. России», оказывается, была о нем какая-то брань. Я не читала.

18 июня 69, среда. Здесь классик.

Ходят дивные слухи, что Никита Сергеевич прочел Солженицына «В круге первом» и ему понравилось все – особенно сталинские главы. Но ведь, непонятно, что он говорил бы, если бы остался на своем посту. Нравилось ли бы ему *тогда.*

Когда-то Твардовский просил Лебедева[38] показать Хрущеву сталинские главы. Но тот струсил, не показал. Вдруг бы Н. С. разрешил?

Подумать только: если бы не случилась дурацкая история с архивом, может быть, и «Раковый корпус» вышел бы у *нас.*

12 августа, вторник, Москва. Думаю вот о чем: почему Россия – та Россия, в которой мы живем, влача свое жалкое существование, – почему Россия в ответ на все происшедшее оказалась в силах создать Солженицына, а эмиграция – всего лишь Набокова?

15 сентября 69, опять Пиво-Воды. Видела классика – разумеется, 3 минуты. Радикулит; нога ноет и отнимается. Предполагает, что в октябре его будут исключать из Союза.

Будто бы его родная организация уже ринулась – но ее остановили до октября.

Ну что ж. Я исполню свой долг.

30 декабря 69, вторник. А. И. был на XIV симфонии Шостаковича и произвел там фурор: к нему подбегали в антрактах, и он писал на программах десятки автографов. Шостаковичу написал очень интересное и, пожалуй, злое и очень справедливое, на мой взгляд, письмо.

20 февраля 70, Переделкино. Грибачев[39] в «Лит. газете» накатал ответ Вигорелли, протестовавшего от имени Е<вропейского> С<одружества> П<исателей> против исключения Солженицына, объясняя, что Солженицын был исключен по всем правилам демократизма (без собрания писателей!), а вот Е<вропейское> С<одружество> П<исателей> недемократично, и хвастая, что Солженицын жив, здоров и у него есть квартира. (Это – охранная грамота; шум в мире будет теперь заставлять Грибачевых хвастать, что вот, мол, у нас Солженицына не трогают – и НЕ трогать.)

14 апреля 70, вторник. Он в восторг пришел – действительно не преувеличиваю – в восторг – от моих мыслей о Твардовском и Лакшине. Что если они общественные деятели, то и должны были обратиться к *обществу,* устно или письменно, тогда и общество бы откликнулось – а для него главное: быть безупречным перед Воронковым и др., он их прикрывает. Он не сказал через их голову ни слова – как же он смеет требовать, чтобы кто-то «демонстрировал»?[40]

Классик вставит мои слова.

16/IV 70. Он сегодня специально звонил Люше, чтоб сказать еще раз, как он восхищен моей оценкой поступков Твардовского и Лакшина. Вот!

17 июня, среда, 1970, Пиво-Воды. Сейчас узнала: выпустили Жореса Медведева[41].

А вчера вечером по ВВС и «Голосу» уже передавали, что писатель Солженицын протестует, но, к сожалению, не текст письма (гениальный)[42], а только пересказ.

Накануне моего переезда сюда я писала ему, что выступить ему надо, но позднее, потому что пока возможно спасти человека уговорами негодяев, щеголянием званий (академики, лауреаты) надо дать им возможность уговаривать. «Главное, чтобы мальчик был дома»[43]. Он сначала послушался было (таково было не только мое мнение), но потом в субботу явился с готовым (переделанным к лучшему) текстом и заявил, что «враги человеку домашние его», что он не может ни жить, ни спать, ни работать и будет действовать.

А сегодня выпустили Медведева. Не знаю, будут ли теперь передавать письмо Ал. Ис., нет ли; и полезно это будет (там есть обобщение) или нет; и поможет ли это Наташе Горбаневской, которую судят сейчас, или нет; и повредит ли это самому Ал. Ис. или нет. И хорошо ли я сделала, что не послала свое письмо в прокуратуру, или нет. (Мне со всех сторон объясняли, что мое имя будет вредно, и я послушалась.)

19 июля 70, воскресенье. Люди приходят сюда искать Ал. Ис. «Ведь ваш отец любил его.»

Меня это трогает. Оба они уже принадлежат легенде, т. е. правде.

22 июля 70, среда. Вчера по Би-би-си и «Голосу» – радость: французские писатели обратились к шведам с выдвижением Солженицына на Нобелевскую премию. И очень хитро – за «Ивана

Денисовича», напечатанного у нас, а не за «Круг» и «Раковый». Вчера цитировалось письмо Роже, в котором говорится, что Солженицын мужественно остался на Родине, когда ему предложили уехать. Ну, тут он не разобрался: предложение было пока чисто риторическое.

11 августа 70, вторник. Здесь был – к сожалению – когда я была в Москве – А. И. с женой. Он повез ее на могилу. Они сидели там – пришел человек, положил цветы и стал расспрашивать, как оттуда попасть на дачу Чуковского. А. И. объяснял со знанием дела. Тот сказал: «Там, говорят, живет Солженицын?» – «Вздор! – закричал А. И. – Бабьи сплетни!» – «Гражданин, вы просто не в курсе».

26 сентября 1970, суббота. Внезапно позвонил А. И. – как-то днем – и внезапно явился. Он в понятной тревоге: надвигается премия. Во всех случаях это момент серьезный: дадут – серьезно (пустят ли туда, пустят ли обратно), не дадут – как это скажется на здешнем обращении с ним. А у него на руках 35 листов неоконченного романа – где-то заело, он не поспевает к назначенному им самим сроку.

Перечитывает «Войну и мир» и, к собственному удивлению, недоволен. Говорит, что описания сражений неверны, а люди – схематичны. («Кутузов только для того, чтобы показать, что не следует вмешиваться – и больше в нем нет ничего. Самая мысль неверна: полководческий гений несомненно существует».)

Со мной был ласков, даже нежен – по-видимому, из-за моей болезни и из-за надвигающейся слепоты. Расспрашивал. Потом сказал, что прочел 30 страниц «Спуска» и что это гораздо лучше «Софьи Петровны»: «написано плотнее и своеобразнее». Похвала мастера всегда приятна, но я не обрадовалась – что ж говорить-то по 30 страницам! И зачем мне это. Я не претендую, чтобы он мои вещи читал. Я понимаю – ему совсем не до них.

8 октября 70, четверг. А. И. получил Нобелевскую премию.

Знаю, что и эта радость завтра обернется горем, но сегодня – праздную.

Я была на даче. Телефонный звонок. Голос Р. Д. [Орловой].

Я обрадовалась всеми силами, какие только еще остались во мне.

Только что положила трубку – опять звонок:

– Попросите, пожалуйста, Солженицына.

– Его нет здесь.

– Это дача Чуковского?

– Да.

– А нам сказали, что он живет здесь. Это говорят из посольства.

– Это ошибка.

– А где же он?

– Я могу дать вам рязанский адрес. – Продиктовала.

Звонок. Звонит А. И. Я его наскоро поздравила, сказала, что рада его голосу, потому что хотела послать телеграмму.

– Не надо телеграмм, – сказал он властно. – Не надо. Я не хочу перегружать папки. Столько звонков сегодня было, я еле успевал бегать туда и обратно. Узнал я от NN. Она позвонила первая. Вот что я решил: буду работать не отрываясь.

Великий человек.

[Половина страницы отрезана. – *Е. Ч.]*

10 октября, суббота, 70. Звонил А. И. Впервые измученный, а не столь бодрый, победительный голос. Между прочим спросил – читала ли я заметку о нем и о премии в «Известиях».

К вечеру мне ее добыли, я ее прочла[44].

Ложь с начала и до конца.

Будто народ одобрил исключение. Да народ и не знает ничего, а если и знает, то из этого же страшного источника. Будто писатели одобрили. Какие это? Грибачев? И о протестах – ни слова.

Сразу заныло сердце – отвечать. Но мне нельзя, неприлично, потому что он похвалил меня.

А больше никто – я чувствую – не ответит.

17 октября 70, суббота. Рядом с трагедией «А. И. С.», которого ожидает вечная разлука с друзьями, любимой женщиной, любимым ребенком – Родиной, идет мещанская драма, развивающаяся в традициях великой русской литературы, «не любовь, – как писал когда-то Толстой, – а ревность, самое далекое от любви чувство».

Тусенька говорила: «Терпеть не могу эти бабьи упреки – я отдала тебе свою молодость, а ты! – ну и держала бы при себе свою молодость до 50 лет».

Он, говорят, холоден до бешенства. Кончает роман под улюлюканье мерзавцев. (См. «Комсомольскую правду»[45].) Готовится к изгнанию. А она грозит самым страшным и, если ее «вылечат», может и «дать материал»[46].

«Делать зло легко, – говорила АА, – делать добро труднее».

Эта истерическая, лживая, дешевая, неумная дама решилась

насильничать, т. е. делать зло.

Разумеется, она несчастна и ее тоже жаль. Но его мне жаль гораздо больше.

26 октября, 70, понедельник. Здесь А. И. Приободрился: кончил роман (сквозь все – кончил! человек-чудо!.. Осталась правка), и Н. А. согласилась, придя в ум, дать развод.

Решений еще не принял.

2 ноября 70, понедельник. Сегодня А. И.

Кончил и поправки.

Впервые видела его пьющим. (Принес бутылку виски.) Сначала с Можаевым. Потом с Л. и еще одной дамой.

Сверкает. Рассказал анекдоты о себе. Слухи: будто шведский король заявил – если Солженицына не выпустят, я сам поеду в Москву вручать ему премию. Это раз. А два – будто его согласились выпустить при условии, что он отдаст премию вьетнамским детям.

Из беглых моих вопросов и его беглых ответов я поняла, что он и сам не знает, чего хочет. Или точнее – уже знает, но еще не говорит: ехать он *не* хочет.

10 ноября 70, вторник. Был А. И. О его делах я ничего не спросила; он вошел, чтобы говорить о моем I томе. К моему великому удивлению, ему нравится. Сказал, что многое выписывает в особую тетрадь (из мнений АА о литературе), что поражен совпадениями.

– А я думала, вы рассердитесь на Есенина.

– Что вы! Это было детское увлечение.

А дальше так: он говорит, что необходимо сделать другой вариант (не для специалистов) и там добавить прослоек от себя и кое-что убрать и добавить стихи. Не знаю, прав ли. Нет, объективно он прав – но – но – глаза! Ведь у меня еще на годы работы, чтобы просто *кончить!* Хотя бы и «для специалистов». А хватит ли зрения хотя бы на год? Я же сейчас ахматовским дневником почти не занимаюсь – бессильно и далеко не каждый день кропаю воспоминания…[47]

Радость – Ростропович. Не то чтобы было очень хорошо написано – но свежее и большое имя, и я так рада, хоть и позднему, нарушению молчания[48].

20 ноября 70, пятница. А. И. прочитал и II том, и он понравился ему еще больше, чем первый, он говорил очень высокие слова: не оторваться, делаю выписки, жалел, когда

кончилось, впервые понял, каким был Пастернак, какая умница Габбе – как она верно говорит о критике, замечательно сходство с царевной Софьей. АА видна, Вы, эпоха, время. Видно, какой был горький год 56-й и как она все понимала.

Опять повторил, что с ее суждениями совпадает всегда – литературными и иными.

Ее сильно упрекнул, однако, поступком 54 года, и моих оправданий не принял. «Как же она не чувствовала страну тогда? В то время уже состоялись. (Перечислил.)

«Она говорит: Мишенька не выдержал второго тура.

Она сама не выдержала»[49].

Он не прав. Звук времени тогда совсем не был ясен. Кроме того, в ее ответе было много яду – недаром он не появился в печати. Смехотворность была слишком ясной.

Но он моих возражений не принял.

Он поразительно умен. У меня о Тусе говорится мельком, не очень выразительно: ее мысли о критике, о сущности мещанства – но он усмотрел, запомнил, полюбил. «Когда Габбе – всегда интересно».

О, как она была бы нужна ему, именно ему – Туся. Ее ум, ее образованность, ее доброта, ее *свет*.

26 ноября 70. Сегодня был А. И.

Сидел у меня целых 40 минут. Излучал свет, радость – и горе.

Свет – каждое его движение, слово, его обращенность ко мне. Мы как-то становимся ближе, чем были.

Нет, не потому. Он сам по себе «светозарный», как сказала о нем АА.

14 декабря 70, понедельник. Москва. Шум в эфире по поводу А. И. продолжается, но долетает смутно, потому что глушат. Когда, где, как будут вручать диплом, премию, медаль – неизвестно. Я по-прежнему огорчена, что он не уехал в Стокгольм, что наш праздник не состоялся. Передавали, будто он примкнул к Сахаровскому комитету защиты прав человека. Не знаю, так ли это, и не знаю, надо ли это. А вот в Стокгольм ехать *надо было*.

Наталья Алексеевна неизвестно где, и неизвестно, сколько будет длиться из-за этого развод и оформление нового брака.

Говорят, он увлеченно пишет нобелевскую лекцию.

Дай ему Бог – всего.

Да, еще об А. И.

Он вошел ко мне (3-го? 2-го?) еще вихрее обычного и вдохновенно предложил учиться работать с помощью его

диктофона. Объяснял кнопки и пр. Я не понимала ровно ничего и не научусь никогда, но тронута была бесконечно.

29 декабря 1970, вторник, Москва. Собралась ложиться. Слышу, возвращается Люша. Я в переднюю. А она не одна – на минуту с ней зачем-то М. Р. [Мстислав Ростропович].

Только что со своего концерта. (И завтра днем опять – слава Богу.) Разит вином (мы почему-то обнимались). Я его зазвала и спросила немного. Он оскорблен в высшей степени обыском на границе (обратно). Говорит, что это оскорбление нестерпимое. Читали письма жены его к нему. Он спросил:

– Вы имеете на это право?

– Да, имею.

– Тогда я пока уйду в машину, а вы делайте что хотите.

– Нет, я обязан производить осмотр в вашем присутствии.

Отобрали 5 томов А. И.

Гадостей ему пока не делают никаких (он говорит, «это будет потом»). А у жены его сняли 2 телевизионные передачи.

Опасается, как бы Д. Д. [Шостакович] (которого он боготворит) не подписал бы какую-то бумагу, готовящуюся против него среди музыкантов.

Очень возбужден.

17 января 71, Москва. А. И. кончил передку «Августа 14-го».

10 марта 71, среда, Переделкино. Дважды класссик. Уже готовится сесть за Узел 2-й. О Наталье Алексеевне ни он ни слова, ни я. О мальчике[50]: фотографирует его: «сильная спина, ноги. И голову держит». Да это богатырь! Ведь ему 2 месяца всего, да еще недоношенный.

Так странно слышать от него о ребенке.

И еще страннее: его нежная забота обо мне. Да, нежная. Да, забота. Ищет мне сторожиху и нашел было и привел – сорвалось. И учит меня диктофону – вчера 40 минут истратил! Беда не только в моей бестолковости, а и в том, что диктофон ни в чем меня не выручит, потому что ведь переписывать я не умею… Но он *хочет* мне помочь, и это такая честь, что я стараюсь. Может быть, и пригодится.

24/III 71, Переделкино. Раза два был классик. Тратил на меня время, иногда даже по 30 минут, обучая на диктофоне. Я кое-как научилась, и мне даже приятно наговаривать туда, а потом слушать стихи, но для дела он мне негоден.

17 апреля 71, суббота, Москва. Только что из Переделкина. В изнеможении лежу. Слава богу, хоть дома.

Чуть приехала – оказывается здесь классик. Зашел.

«В прошлый раз не мог с вами повидаться. Плохо мне. Я привык быть бодрым, а теперь. Семейные дела мои невыносимы».

Я ему процитировала Герцена:

«О, семья, семья! Вот тут-то и сидят скрытые Николаи Павловичи. С общим я справлюсь, там я боец, а тут ни любовью, ни силой не возьмешь».

Он подивился мудрости.

Вид плохой и грустный.

Я спросила о работе.

«Теперь займусь только личными линиями. Буду их вести, а потом двину историческое».

28 августа 1971, суббота. А. И. болен. Ноги в волдырях, он лежит и, по словам Копелева, сильно сердится на болезнь, которая мешает ему работать. Перегрев ног приравнен к ожогу II степени[51].

16/IX 71, Пиво-Воды, четверг. Умер Хрущев. Хотела бы я поклониться его могиле. Он – Венгрия, он – Бродский, он – искусство, он – Куба, но, думается, это не *он,* а *они;* он же – освобождение миллионов.

Он – Солженицын.

А. И. встал на ноги, начал работать, но слег опять и очень сердится.

25 октября 71 г., понедельник, Москва. Так вот я, приехав в Москву, не застала только что ушедшего А. И., но зато его письмо, такое благодарное и благородное («будем считать ее общей»), что от кома благодарности в горле застрял ком, и я третий день не в силах его перечесть[52].

20 декабря 71, Москва, понедельник. А. И. теперь требует разрешения устроить парад не в посольстве (раз там «помещения нет»), а на частной квартире – у Али. Читала его письмо об этом. Я думаю, что затея эта безнадежна и опасна; 1) не позволят 2) в посольстве и он, и гости все же будут как-то ограждены, а – у Али… Все поедем в милицию. Я, разумеется, готова; но зачем? Для скандала? Уж скандальнее Горлова[53] не будет.

31/XII 71, пятница. Главное событие последних дней: смерть и похороны Твардовского и появление на похоронах Ал. Ис. («А к

нам не пришел», – зудит у меня мелкая, дрянная мыслишка. Все спрашивал у Люши по телефону: «ехать – не ехать?» – а она обижалась на вопрос и отвечала: «как хотите»… Тут же Мария Илларионовна все равно была с ним, опиралась на него, не расставалась с ним весь день, и они отняли покойного у черной сотни… Но она была в полном разуме, я же в те дни – нет…)

Он прошел в ЦДЛ, как проходит свет – неизвестно как, сквозь стены. Нет, существует подробный рассказ, как его не пускали и как он все-таки прошел – гордо, спокойно, окруженный друзьями, великолепно одетый. Сел в первый ряд. Его без конца фотографировали, больше чем АТ[Александра Трифоновича]; узнав, что он – в зале, не явился кто-то из членов правительства; шпиков был полон зал; по аппарату один передал: «Докладывает Петров. Он пришел. Наших в зале 100». Вдова просила, чтобы не выступал Сурков – он выступил первым; просила, чтоб Дементьев – он представил речь на бумажке – не позволили. Лакшину тоже… Но все таки Ал. Ис. вырвал похороны у них из рук. Когда остались только родные для прощания – вдова взяла под руку Ал. Ис. и подвела ко гробу; он перекрестил А. Т. Поехал на кладбище. Когда он садился в машину – вокруг стояла толпа. На кладбище у могилы впереди были уж только друзья, а те – поодаль; Ал. Ис. бросил первый ком.

Потом он повел Марию Илларионовну – и поклонился могиле Хрущева. И все это запечатлено на сотнях фотографий.

А через 2 дня он написал чудесную страницу о похоронах, о том, как убили Твардовского…[54]

За границей кто-то назвал ее Элегией. Скорей бы передали, но и тут она уже пошла великолепно.

«Красавец – человек» – все умеет.

На похоронах был инцидент: когда митинг в ЦДЛ объявили закрытым, сзади из зала раздался голос. Встала девушка: «Неужели никто не скажет правды?» И все уходящие остановились, стало тихо, и она тихо и торопливо произнесла: «Говорят, что замечательный поэт, а ведь последняя поэма не напечатана; а «Новый Мир» разогнали, и рот ему заткнули насильно и раньше, чем он закрыл его сам». Никто не поддержал. Но и тычков не было. Только какие-то укоризны: «зачем вы нарушаете».

Сегодня забегал и скороговоркой сообщил, что принимает меры для добычи увеличительного стекла. Мне это было скорее неприятно: жалость, чувство долга.

А как великолепно он написал о Твардовском. Новая у него струна – не грозная, а лирическая.

(Речь, жалко, испортил… И предыдущее о вручении у него дома было мелковато и вяловато.)

А это опять взлет.

Вчера исполнился год его сыну.

18 января 1972, Москва, понедельник. Против Ал. Ис. дурацкая статья в «Лит. газете» – насчет тетки, которая живет в нищете. И что его отец был помещик. Составлено так глупо, что даже крупицам правды, там заключенным, никто не поверит. Он, к счастью, смотрит не трагически; уязвлен только ложью об отце, который умер от случайной раны на охоте, а не от боязни красных, как там изображено[55].

На вручение знаков нобелевского лауреата в Москве он все еще надеется.

10 марта 72 г., пятница. Переделкино. Говорят, в «Лит. газете» лежит народный гнев против классика, давно заготовленный. Эти грязные статьи в газетах – не подготовка ли это к нашей вечной разлуке?

Видела его раза 2 мельком. Одержим, тороплив, прекрасен.

Он весь, как Божия гроза…[56]

Ко мне добр, хлопочет о приборе.

20/I суббота, Москва. 73. В прошлый мой приезд в Москву был на лету классик. Минут 6. Какая для меня радость – видеть его. Для меня он всегда – свет. Горячие руки, синие глаза, спешка, *действие.* Он и за 6 минут умеет обогревать и заряжать меня, хоть я и понимаю, что мною он не занят… Правда, пробует добыть *новый прибор.* Это ложный путь; нужна, вероятно, лупа. Он тоже несколько удивлен медленностью, хотя из доброты ко мне, постоянной, милой – не торопит. И с такою щедростью сказал:

– Когда вы кончите, я сразу хоть 2 дня буду читать!

Как рублем подарил. Ведь для него 2 дня – что для другого подарить 2 года.

21 февраля 73, среда, Переделкино. Нат. Ал. Решетовская написала воспоминания, в которых пишет, будто мою «Софью» в «Новый Мир» приносила Р. Д. [Орлова] (!) тогда же, когда и «Ивана Денисовича»; что Твардовский выбрал «Ивана Денисовича» – но это, дескать, меня с Ал. Ис. не поссорило.

Я сказала – и мое mot[57] имело успех – «пережить свою жизнь

каждый из нас еще как-нибудь может, но пережить воспоминания о ней – нет»…

10 июня, четверг, Москва, «Светловы»58. Я здесь уже 10 дней. Классика не видела ни разу, его новых родных – много раз. Алю не видала, но мать, отчима, Диму[59] и Ермолая.

Живу как в осажденной крепости. Уговор с самого начала: никого в квартиру не впускать, кроме своих друзей, окликая. Хозяева приходят с ключами.

Три раза ломились в квартиру несомненные посланцы т. Андропова[60]. Все 3 – когда я одна.

Днем.

1) 2 или 3-го июня.

– Откройте!

– Простите, я здесь чужая, не могу открыть.

– Вы здесь стирку устраиваете, а нас заливает.

– Я сижу и пишу.

Два голоса, мужской и женский. Я дверь не открыла. Они ушли, ругаясь. Я вызвала Люшу. Она все осмотрела: нигде ни капли воды.

– 5-го или 6-го, вежливый женский голос.

– Откройте, я из ЖАКТа, должна вручить квитанцию.

– Опустите, пожалуйста, в ящик.

– Нет, я должна лично.

Я не открыла. Ушли без ругани.

3) 8-го числа, позавчера. Звонок.

– Кто там?

– Откройте (очень грубый мужской голос). Я из агитпункта. Агитатор. (Сразу слышу: врет. Агитаторы всегда любезны до приторности.) Что же вы *и* агитаторам дверь не открываете?

Я бубню свое: хозяев, мол, нет и пр.

– А вы у кого тут живете?

– У Нат. Дм. Светловой.

– Ах у Светловой? А почему же она не соизволит пожаловать в агитпункт отметиться?

Я, самым вежливым голосом:

– Вот на днях будут ее родные, я им напомню. Ответ:

– Таких как ваша Светлова душить надо. Кричу:

– Это и есть ваша агитация? Ушел.

Цель ясна: хотят войти в квартиру без ордера на обыск и все оглядеть. С ордером-то неловко: завтра весь мир будет знать.

На следующий день (вчера?) приехала Екатерина Фердинандовна. Я ей с упреком: почему они вовремя не

исполняют формальности в агитпункте? Чтоб не давать поводов? Выясняется: а) еще 7-го взяты на всех открепительные талоны, б) агитатор у них женщина, а не мужчина.

После этого мы условились с Люшей и Финой: они звонят 5 раз, а на остальные звонки я не подхожу к дверям.

Я получила полуанонимные стишата за подписью Иван Русанов (член Лит. объединения «Святая Русь»), обратный адрес – Красноармейская, 21 (т. е. писательский дом, где живут Копелевы) и три буквы ВТП. Такие же получил классик – сюда. Такие же – Лев Зиновьевич, но там обратный адрес: Литинститут… Стишки о крысе, которая пела о всякой тухлятине, а потом вышла на солнышко весною, «и так ей стало изумительно», что она умерла. Хотелось бы знать, существует ли в действительности, оформилась ли уже эта фашистская организация или все – сплошной блеф?

Русанов – тут и Русь, тут и Сусанин, тут и Русанов из «Ракового корпуса».

17 июня 73, Москва, воскресенье. Сутки тут был классик. Показал письмо – анонимное – печатными буквами, фломастер: предлагают 12-го (т. е. уже 5 дней назад) в таком-то часу прийти на телеграф и принести 100 тысяч долларов, иначе… иначе «нам даже страшно подумать, что будет с Вами и – подчеркнуто красным – с Вашей семьей». Штемпель – и поверх штемпеля очень грубо заклеено. Он пока ничего не предпринял, а по-моему надо – по радио всего мира. Конечно, вернее всего – это шутники, наслушавшиеся по иностранному радио, как там похищают миллионеров и дипломатов, но… чем черт не шутит. Тревожно.

Классик уделил мне целых минут 40, обрадовался линзе, которую сам же и подарил – но видит впервые, – обещал потребовать запасные лампочки. Был проницателен и очаровал меня заново: он умеет те минуты, которые отдает, отдавать в самом деле, целиком, сосредоточенно. Командовал во всю: требовал, чтобы я взяла вторые ключи (для Люши или Фины), обучал замку, просил жить подольше и пр.

К семейной жизни он, видимо, привыкнуть не может, хоть очень интересно говорил о сыновьях: «Ермолай – хозяин жизни, захватчик, а Игнат – он богатырь, красавец, ему 10 месяцев – и его не поднимешь, – но скорбное выражение рта, как будто предчувствие горькой судьбы». Кажется (слыхала от других), намечается третий младенец. Но при том жалобы: «Я сейчас жил в Борзовке, и мне так отлично работалось, а приехал на дачу – 6 дней пустых, ничего не могу – самолеты низко летают, мы

просчитались». И все расспрашивает меня, как в этой квартире, в какой лучше комнате работать… Квартира расположена гениально, но он еще не понимает, что работать вообще можно только в пустой квартире.

1 июля 73, Москва, «тупик». Вчера был А. И. Молодой, загорелый, торопящийся, собранный; по квартире не ходит, а движется как-то прыжками. Со мной минут 10 поговорил о Люше, потом пошел к ней. Я его спросила: как он решил поступить с анонимными письмами? Решил так: написать в местное (кажется, 108-е) отделение милиции, т. е. Угрозыск, а копия – Андропову. Что вот, мол, он получил такие-то анонимки; что ему известно – вся его почта читается, и он возлагает ответственность на них.

Думаю, это верно.

20 августа, 73, дача, понед. Приехала – а тут Ал. Ис. Я всегда становлюсь счастливой, повидав его – хотя он приехал и на этот раз совсем не для меня. Но – видела, слышала – этот колоссальный заряд ума и воли.

Вести всё плохие.

Ему отказали в прописке, заявив, что он должен подать заявление не в милицию, а в какой-то совет при Моссовете.

Третье письмо с угрозой убийства.

24 августа 73, пятница, Переделкино. Оказывается: когда А. И. и Люша шли вместе на станцию (по ул. Серафимовича, на Мичуринец), им повстречались на дороге Атаров и Катаев. Те стояли. А. И. спросил у Люши.

– Кто это?

Люша ответила. Тогда он:

– Я пройду с опущенными глазами.

Л.:

– Почему? Разве вы перед ними виноваты?

Они пошли. Катаев сказал:

– Здравствуйте, Люша!

Атаров:

– Здравствуйте, Люшенька.

И ни один:

– Здравствуйте, Ал. Ис.

Попомню я это Атарову. Лет 7 назад он как-то сказал мне: «Иду я по Тверской и вдруг вижу: впереди меня идет Солженицын. Он сам. Просто идет передо мной по улице. Идет великий человек, и я его вижу».

Затем он познакомился с Ал. Ис. у нас на 90-летии.

И вот теперь он видит знакомого великого человека и не кланяется.

А с великим человеком худо. Л. очень встревожена самим его визитом – безо всякого дела он не ездит, а тут вдруг приехал.

Ночью «Голос Америки» передал, что Солженицын обратился с гневным письмом в министерство по поводу отказа в прописке. И что друзья говорят: «Он на улице».

Я решила пригласить его к нам. Место, слава богу, есть: чужих нет. Устроимся. Я готова переехать в Пиво-Воды. Он ведь города не переносит – конечно, он будет в городе, потому что Аля на днях родит – но пусть ему будет куда сбегать.

Повредит Музею? Может быть. Но, по крайней мере, это будет славная кончина.

31 августа, пятница, Москва, 6 ч. вечера. Письмо в газете против Солженицына. Подписи: Сафронов, Кешоков, Михалков и проч.; Симонов – не знаю, как его назвать; Катаев – профессиональный злодей, и среди всех новинки: Залыгин и Быков, которых в своем интервью назвал среди серьезных прозаиков А. И.[61]

15 сент., суббота, дача. Но потрясло меня совпадение моих мыслей с классиком. (Уже не впервые.) Вчера я ужаснулась Брандту, а *сегодня* прочла его письмо о Мире и насилии, в котором он высказывает ту же мысль. Это, кажется, уже не первый раз.

21 сентября 73, пятница, дача. Не помню, записала ли я, что приезжал классик – улаживать свой «конфликт» с Л. – и заодно сообщил мне, что «Гнев»[62] теперь после переделок ему нравится…

А я почти ничего после разговора с ним и не меняла вовсе.

Замечательное по силе и краткости выражения письмо Ал. Ис. – Сахарову[63]. Одно неудачное слово: «заверяю» (Мы все время заверяли т. Сталина и пр.).

1 ноября 73, воскресенье. Переделкино. Он прожил у нас $2^1/_2$ дня. Уверена, что ему было *очень* хорошо. Все границы четко оговорены были заранее, и я их не нарушаю. Вообще для меня чуть напряженней: телефон ему слышен (надо удлинить шнур и уносить в ванную); затем боюсь, если кто ко мне придет – будут слышны голоса. Без четверти 2 и без четверти 6 он ест в кухне и слушает, закрыв дверь, радио – я туда в это время не хожу. Привез все свое, сам варит, предлагать ему не следует. Один раз слушали радио вместе: он позвал меня, передавали «Мир и насилие».

Поставил на холодильник мой транзистор и свой. Стоял, держа в руках рукопись и проверяя, что пропустили. Пропустили немногое, и он остался доволен. Интересно было смотреть на него в ту минуту, когда дикторша извинялась перед ним за сокращения. Прямо ему в лицо.

Ведет он себя по утрам, пока я не встану, беззвучно. Сразу ввязался в хозяйство: сам очистил дорогу от снега, починил дверь в котельную, объяснив мне, что дверь непременно должна быть заперта и пр.

Вошел ко мне в комнату с крошечным листком в руках:

– Слышите ли вы, когда я встаю?

– Где у вас стамеска? и т. д.

Очень деловит.

Я так радовалась новому смыслу, который приобрела его присутствием «Митина» комната.

Но кончилось все худо.

Умер его тесть – Давид Константинович – и ему ехать домой. Кроме того, он натер себе ногу (как я потом узнала, мочалкой! у него загадочная кожа и часты язвы). Последний день ходил по дому босой. Вот тебе и богатырь! Больно мне было видеть, как он, натянув на язву башмак, с тяжелым чемоданом, пошел пешком на вокзал.

Похороны сегодня.

Интересное сказал:

– Если бы ко мне ворвались арабы, я с ними не беседовал бы, как А. Д., а стукнул бы табуреткой сначала одного, потом другого[64].

Посетовал о замене на могиле К. И. «Кресты были хороши». – «Да», – сказала я.

Объяснил, почему принял мое приглашение, а не Ростроповича – пожить у него зиму:

«Вы уже перешли черту, а он еще нет».

Я возгордилась.

20 ноября 73, Москва. Ал. Ис. у нас – это радость. Мы не общаемся, но мне радостно знать, что переделкинская тишина используется по назначению. Кроме того, нельзя не любоваться его умением все и всех подчинить своей работе; подчинил и нас с Кларой[65]. Умеет работать; умеет, не тратя времени, слушать радио (готовит себе еду в кухне и слушает); умеет много часов быть на воздухе. А я-то…

5 декабря 73, среда, Переделкино. Единственная радость – наш добрый домовой. Он сегодня с утра звонил отсюда Люше, что

приготовил какую-то лопаточку, чтоб сбивать лед на ограде могилы и что мы поедем вместе (угадал, почуял, что мне с ним там быть радость). И мы опять были там вместе – с горы, двух берез – потом он лопатой, я веником; а потом мы вместе вниз, между высоких снежных шапок на крестах и оградах – к машине.

Затем он мне назначил свидание через $1^1/_2$ часа, а я пошла немного пройтись и встретилась с Кавериными и Ермолинским.

Затем – свидание.

Прочел – чужое – замечательное письмо к Жоресу, о поведении Роя и его в деле Сахарова. Точно, доброжелательно, сурово, лаконично. К сожалению, в Самиздат не дает.

Рассказал о своем давешнем разговоре с Сахаровым, когда тот к нему пришел посоветоваться по какому-то своему делу, конечно, вместе с Люсей[66]; дело было минутное; и $2^1/_2$ ч. он и Аля говорили с ним о его отъезде. Классик говорит (мне): «Я хотел поговорить 1) практически, 2) принципиально. Аля иногда отвлекала Люсю «на себя» – но все равно удалось выговорить все только практическое. Я ему доказывал, что если даже исполнятся $^1/_2$% возможности и его выпустят, то там через 3 дня он станет никем; что его *не* впустят; что надо устраиваться здесь – с квартирой, дачей, лечением и нормальной жизнью. Люся все время кричала, что здесь ее арестуют, а детей сживут со света, из сына сделают тунеядца. Да не арестуют ее, зачем им сотворять из нее мученицу! А сын мог бы стать и монтером… До принципиального же разговора – то есть разговора о России – дело за $1^1/_2$ ч. так и не дошло… Она собирается ложиться в клинику. Верно, она больна, но надо бы переждать неделю, чтоб не сразу из-под допроса, как бы спасаясь, в клинику. И его заставляет тоже ложиться – у него гипертония – это уж она явно устраивает для того, чтобы без нее ему ничего в голову никто не втолкнул… А он в ответ мне все твердит: «Я только детей Люсиных отвезу и мы вернемся». Да кто его пустит туда – и оттуда? А просто его сейчас всюду оклевещут: мол, для того только и боролся за право эмиграции, чтобы уехать самому».

Я, между прочим, вчера или сегодня, не помню, получила письмо – без обратного адреса, но с подписью и по почте! – чтобы я просила А. Д. С<ахарова> не уезжать. Почерк не больно грамотный, голос искренний. Я передам.

Домовой 4 часа в день ходит по участку с дощечкой в руке и дышит, работая. Вот это – воля.

А у меня ее не хватает, чтобы переделать режим сна, жизни.

26 декабря, среда, 73Москва. Классик у нас. Работает! Лыжи! А я.

30 декабря 73, воскр., среда. Гнусный год кончился великим событием: во Франции вышел «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Первые 2 тома. Что бы ни было дальше – великое событие совершилось.

А со мной – мелкое. Меня вызвал Стрехнин[67]. Два письма: одно в город, другое на дачу. Сведения о том, что детская секция уже меня исключила, я получила тоже. Думала, Стрехнин – это уже и будет секретариат, и весь день в Переделкине писала свое выступление. А. И., трогательно нарушая свой режим, мне помогал, т. е. очень мешал, потому что торопил и подбадривал.

Что теперь они сделают с А. И.? Лишат гражданства, вышлют?

А. И. страшно возбужден и счастлив. Ловит все передачи. «Как они хорошо выбрали – главное: у немцев было 80 тысяч преступников и их судили, а русским не дали судить ни одного, хотя их было $^1/_4$ нации».

«Я не мечтал, что «Архипелаг» выйдет при мне. Провал в Ленинграде – это был перст Божий. После этого я и решил его там разрешить печатать».

Бросился домой в Москву – «сопереживать» с Алей.

«А если гибель предстоит?»[67*]

Почетная гибель.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, – будет гранью
Двух разных эпох истории
И радуюсь избранью[68].

31 января 74 г., четверг, Переделкино. А. И. мне не понравился. Т. е. его письмо. Во-первых, нельзя было писать о доме, о Музее К. И. – не поговорив со мной, а во-вторых, не за его жизнь здесь исключили меня из Союза, а за «Гнев народа» и все предыдущее[69].

В наших газетах чудовищная, невиданная, небывалая травля Солженицына за «Архипелаг». «Литературный власовец». Травят его почти *все:* т. е. и Товстоногов, например. Надо вести список

всех, кто поднял руку[70],

но он так длинен, что заставляет серьезно задуматься:

существует ли еще или уже вымерла окончательно русская интеллигенция?

Я как-то сказала А. И. – и он очень это услышал, – что в 20-е и 30-е годы был «подкуп трудом». Теперь, говорит он (и я это говорю уже года 2), теперь уже все всё понимают, и никому никакого оправдания нет.

Я не описала того вторника, когда была на квартире у А. И. – когда Аля мне позвонила, а он был на даче, а я вызвала Володю Корнилова, и мы вместе поехали в мой июньский тупик.

Позвонила мне Аля. (Чего не бывает обычно.) Что не может дозвониться Кларе Израилевне. – «А что у вас?» – спросила я. «А у нас какие-то бандюги звонят без перерыва по телефону с угрозами, а внизу милиция…» Я сказала, что сама попробую дозвониться на дачу. Дозвонилась – повезло – мгновенно: подошел сам. Я ему сказала: позвоните домой. А сама вызвала Володю Корнилова, и он через 7 минут был у меня с такси. Фина вела водителя (непонятные развороты); потом я ее прогнала.

Мы вошли свободно – ни милиции, ни бандитов.

Внутри: Екатерина Фердинандовна в комнате младенца, Ермолай в Димкиных сапогах, из которых он не хочет вылезать и потому все время падает; Игнат, хватающий со стола и запихивающий в рот исключительно негодные предметы вроде скрепок; Аля у телефона; Борька Пастернак[71] и Димка в экстазе ставят какие-то палки… Но главное – телефон и гениальность А. И.: он сказал Але, что не приедет, а чтобы она продолжала держать к телефону подключенным магнитофон и записывать все угрозы и свои ответы.

Она мне прокрутила пленку назад; ее ответы очень находчивы; подлецы звонят под разными масками, напр.:

– Говорит друг А. И., заключенный. Мы, заключенные, им возмущены.

Был даже друг Л. К. Ч., к моему ужасу.

Потом пришли Женя и Алена Пастернак[72].

К телефону решили больше не подходить. Дамы уложили мальчишек спать и позвали нас чай пить.

Оказалось, до нашего с Володей приезда внизу на подоконнике сидели 5 милиционеров. Аля высунулась; они у нее же спросили:

– Не знаете ли, зачем нас сюда прислали на опорный пункт? Кого охранять?

Таким образом, они собирались устроить под окнами настоящий «Гнев народа», а милиция охраняла бы Солженицына… Все в порядке.

Но почему-то отменили. Может быть, поняли, что его нет.

Тут-то Аля и дала мне его письмо в мою защиту… И я огорчилась. Но оно уже ушло.

Теперь все ждут: лишат ли его гражданства и вышлют ли? Гнусные статьи в «Правде», в «Известиях»…[73]

Он уже дважды отвечал.

Из одного разговора с ним – мельком – я поняла, что он к этому *готов*.

«Сам о выезде не попрошу, но если меня лишат гражданства – физически сопротивляться не буду».

«Все так».

Горько.

2 февраля 74, среда, Москва. В газетах продолжается гомерическая травля Ал. Ис.

В газетах против А. И. – Бондарев[74], некогда ходивший в либералах; а также его одноделец, Ефремов, что ли, который сообщает, что А. И. на следствии вел себя очень плохо.

Подлецы. И нет на прорву угомону.

7 февраля 74, четверг, дача. За стеной А. И., и от этого легко на душе.

Вчера, когда я приехала, он был счастлив, утомлен и перевозбужден.

А. И. сказал мне собственный ответ (на новую клевету: своего однодельца, который утверждает, поссорившись с А. И. в 64 г., и откопанный теперь нашими скотами, будто А. И. дурно вел себя на следствии). Затем драгоценности: заявления трех молодых героев в пользу Солженицына. К сожалению, западное радио передало только кусочки, а ведь тут – со стороны незащищенных, неизвестных людей – каждое слово драгоценность.

4 февр., в понедельник, у меня был корреспондент «Фигаро» Леконтр. Вот до чего мы дожили! Я его не пускала неделю, потом справилась у добрых людей, знатоков, – можно. Похож – жестикуляцией – на доброго одесского еврея. Пришел с магнитофоном и в сопровождении переводчицы-стукачки. (Почти так и представил.) Красивая стерва, явно из КГБ, переводит бесстрастно. Я прочла в магнитофон приготовленные куски:

I. Архипелаг.

II. О Солженицыне на даче (несколько глав).

III. О своем исключении и «Советской России» (чуть-чуть).

IV. Свое выступление на Секретариате.

В промежутках он выключал или делал вид, что выключает магнитофон.

Обижался, что его не принимает А. И. и не дает интервью.

«Все Америке, а не Англии, а Франция ничего не знает».

Я не объясняла, но понимаю, что Франция неинтересна потому, что Би-би-си, «Голос» и «Немецкую волну» у нас слушают, а Францию – нет.

Думаю, что об «Архипелаге» в «Фигаро» бесполезно, перевод все испортит; у меня же всё на «предатель» – «предал гласность» – «предают забвению»[75].

8 февраля, пятница, Переделкино. Хотела сегодня сесть за следующую главу книги, очень хорошо подготовленную мною и Финой в городе – ан нет.

С утра Ал. Ис-чу позвонила Аля, что ей пытался вручить повестку на имя Ал. Ис. некий тип – вызов к следователю Балашову в Прокуратуру СССР. Придравшись к отсутствию какого-то номера, она повестки не приняла.

Не успел он сообщить мне эту новость – стук в дверь. На крыльце – четверо мужчин, через окошко не пойму кто. Открываю. Опять пришли измерять дом, потому что папка потерялась. На этот раз катушки и все как следует, и промеряют и диктуют, но все на бегу, спешно. Я совсем запыхалась: лестница, верх. Очень все спешно и небрежно. Командует один – без лица, пустые глаза; двое молчат; один какой-то очень приветливый, говорит о К. И., «Музей», «реставрация» и пр. Я с ними во двор – так же спешно гараж, сторожку. Говорят – будут в этом году. (Что? Ремонтировать? Или выселять меня?) Внизу тоже все обошли; когда мы вошли в комнату А. И., где он сидел за столом, я громко сказала:

– Простите, Ал. Ис., что мы вам мешаем работать.

Во дворе я с ними нарочно дошла до забора, чтобы показать сломанный забор.

У ворот стояли еще двое.

Я спросила Ал. Ис., что он будет делать с прокуратурой, т. е. пойдет ли?

– Нет. Пусть они наденут на меня наручники и поведут. Сам не пойду. Они поставили меня вне закона – и я их закону подчиняться не буду… Пусть меня поведут с милицией – пусть мир узнает, что я арестован.

10 февраля 74, воскр., Москва. Уезжала я с дачи в последний раз со странным чувством. Два раза было, что когда я ехала в субботу или в среду на могилу, то и А. И. со мной. В последнее время – нет. С мгновения известия о повестке из Прокуратуры я так за него боюсь. Если он не едет со мной на могилу, то я обычно в такие дни не захожу к нему прощаться, чтоб не мешать.

А тут, уезжая, я уж села в машину – и думаю: нет, надо проститься. Увидимся ли? Я вышла, вернулась. Он стоял в передней. «Вы забыли что?» – «Нет, я – сказать до свидания».

Мы обнялись, как всегда – если встречаемся или прощаемся. Я вышла, уселась. И он, к машине, уже в своем кожухе. Помахали.

Потом могила. Дивный косогор.

Пока этот человек рядом – счастье.

12 февраля 74, вторник, город. Вот и нет его рядом.

Увели.

Сегодня в 4 ч. я в тревоге звонила туда, узнать о больном Игнаше и о нем. Игнаше лучше, а он передал через Е. Ф. мне, что вечером придет.

Значит, в городе. И придет.

Сегодня у меня впервые пошла книга.

В 6 ч. позвонил Юл. М. Д<аниэль>:

– Знаете ли вы, что с А. И.?

– Да, все хорошо.

– Нет, его увели с милицией в прокуратуру.

Я позвонила Льву[76]. Он уже знал. «Аля вам звонила, у вас, видно, телефон был выключен». Я позвонила Сахарову – он на работе. Я попросила его тещу ему передать, что случилось.

И пошла туда, провожаемая.

Туда, где его уже нет.

В квартире бледная Аля, бодрая Екатерина Фердинандовна, дети, Шафаревич и какие-то бегающие молодые особы – как потом оказалось, Ир. Гинзбург и Н. Горбаневская. Я села одна в комнате и сидела одна, чтоб не мешать, если не помогаю. Довольно долго. Телефоны звонили – Париж, Тобольск. Корры уже были в большом количестве.

Пришли между 5 и 6-ю. Аля не открывала. А. И. сидел с Шафаревичем у себя, вернувшись с прогулки: носил Степушку гулять. Аля спрашивала: кто да кто, да что надо, да ведь он уже ответил следователю письменно в пятницу и пр. Тогда он сам вышел и открыл дверь. Сразу ворвались 8 человек – милиция и в штатском. Начальник операции – Зверев[77] (А. И. большой любитель фамилий). Они были очень грубы. (Кто-то при этом рассказе спросил Ек. Ф.: «Они его тащили?» Димка: «Кого? Дядю Саню? Да он бы их всех убил!») Увели. («Россия без Пушкина».) Двое остались еще минут на 20. Двигаться семье не мешали. Потом ушли.

Пришли Ю<лий> М<аркович>, Алик[78], еще много незнакомых, я пересела на кухню слушать радио. Пришли Сахаровы. Потом Таничка[79]. Би-би-си и «Немецкая волна»

передали про увод в последних известиях. Затем откуда-то позвонили А. Д-чу (видно, дома дали здешний телефон). Он сказал хорошо – по-русски, а Таня записала и перевела на английский. Я сказала: «Давайте, подпишем все». (Теперь очень жалею: спровоцировала тех, кому нельзя! Но кое-кто молчал, каждый называл сам себя: А. Д., я, Т. Л<итвинова>, Ю. Д<аниэль>, Шафаревич, Твердохлебов – и – Алик (не надо бы).)

Потом Алик меня проводил домой – к Люше и Фине.

Самое главное: Аля собиралась в прокуратуру. А часов в 9 позвонили ей оттуда: говорят из прокуратуры. Ваш муж задержан. Справки можете получить завтра по телефону такому-то, у следователя Ал. Ник. Балашова.

Но Аля просила говорить всех не «задержан», а «арестован», потому что это практически одно, а иностранцы будут путать.

Вышлют ли его сразу без семьи за границу? Или на Восток, в лагерь?

Мне кажется, я умерла.

20 февраля 74, среда, Москва. Вчера нам позвонил А. И.[80] Взяла трубку Люша. «А мама дома? Будем говорить втроем». «Я здоров и свободно заговорил по-немецки». «Эмигрантов и корреспондентов шугаю». «А вообще меня встретил весь город как национального героя». Л.: «Утомительно». «Нет, это хорошо». Л.: «А есть ли близкие люди, свои, от которых вы не прячетесь?» – «Конечно, есть… Года через 4 я вернусь к вам». Л. спросила насчет вещей: «Вилы, лыжи и валенки пусть останутся в Музее». (Т. е. у нас, в доме К. И. Валенки – исторические – присланы кем-то из лагеря. Вилы он держал за шкафом, хотел пырнуть, если за ним придут.) Мне: «Я ведь в тот вечер должен был прийти к вам и сговориться (?)». Я: «В тот вечер я сама пришла к вам в 7 ч.». И я рассказала ему, сколько было друзей и сколько писем.

Сейчас главное – отправка Али с семьей. Игнаша болен. Им помогают, но все равно невпроворот. В провоз архива я не верю. Думаю, на таможне все отберут или $^{9}/_{10}$. А какая мука – формальности, овир.

В среду – ту – я вернулась на дачу: его пальто в передней, его часики и цветные карандаши на столе, лыжи, вилы, лопата, его свертки в холодильнике.

Дважды: «светлый день и опустелый дом». О нет, не дважды уже.

Думаю, А. И. устроит там настоящий р<усский> центр. Когда соединится с семьей. По-видимому, сейчас занят

корректурами «Архипелага» – новых частей.

А потом, надеюсь, займется нами, со свойственным ему организаторским гением.

15 марта 1974, воскр., город. Сегодня иду к Але – отнести фотографии нашего дома и сада для Ал. Ис. Нужно ли ему это? Не знаю. Живет ли в нем память о новых (после тюрьмы) людях и местах? Он не лирик. Но о вещах живет: то и дело он звонит из Швейцарии Але, а та – Люше, что Ал. Ис. просит привезти (из дому или от нас) подстаканник, плоскозубец или какие-то наглазники, которые бедная Кларочка не может найти.

Все время – передается по радио – его очередной отказ какой-нибудь стране или организации приехать к ним в гости: он хочет вполне отдаться литературной работе.

Впервые в жизни после тюрьмы у него будет *свой* дом, свое устройство… Город он ненавидит. Борзовку[81] любил, но там с ним жила нелюбимая. Переделкино любил скрепя сердце. Теперь он с любимой женой и в доме, в котором сам себе господин.

23 июня, Москва, воскресенье. Великая книга читается и потрясает. Но многие жаждут избавить себя от благодарности автору и потому сильно злобятся на «Письмо вождям» (с которым я тоже *не везде* согласна – ну и что?).

3 июля, вторник, 74. Москва. Только что слышала голос А. И. – отрывок из его интервью (4-й кусок). Я слышала этот же кусок и более подробно на даче; но только голосом диктора. А тут, сейчас, *его голос.*

Интервью блистательное, разумеется – написанное, и давно писавшееся; множеством мыслей совпадающее с моими; а некоторое – поправки к письму вождям – просто *мое.*

11 июля 74, четверг, Переделкино. Сегодня – очередной посетитель.

Очень похож на моего машиниста.

Думаю, не провокатор. И вот тут самое горькое, самое трудное. 1) Я ничем не могу ему помочь; 2) мы совсем не понимаем друг друга.

Ему 62 года. На вид меньше. С Урала, но украинец. 10 лет лагеря, выпущен в 56-м. Разумеется, хочет телефон Сахарова. А случилось-то, что в разговоре он кому-то при ком-то сказал, что нельзя ругать «Архипелаг», раз книгу не читали. На следующее утро его на машине отвезли в милицию, а оттуда в КГБ. Там полковник. «Тебе что надо? Еще захотел? Ты Яковлева в «Правде»

читал? Ну и все… А книгу Солженицына *никогда* не прочтешь». Затем вопрос: «Как ты считаешь, правильно, что его вытурили, а не посадили». Мой ответил: «Что ж его сажать, ведь он уже сидел». А полковник ему: «Он для нас вошь, мы его раздавим в любом месте… Вот он и сидит у себя в доме, как в крепости».

4 часа с ним говорили, пугали его: «Мы тебе 5 лет за хулиганство в одну минуту дадим».

Приехал он в Москву в поисках А. Д. и меня.

Человек все понимает, и в то же время: «Солженицын не все написал про лагерь. Я был, я видел». – «Да ведь вы не читали!» – «Слышал отрывки по Волне. *И в «Лит. Газете» пересказ.*

Потом:

– Мне терять нечего, мне уже 62, пусть делают что хотят.

– Но вы-то что хотите сделать?

– Хочу проафишировать… Чтоб знали все, как у нас людей душат… Люди-то у нас теперь понимающие, все знают.

6 сентября 74, Переделкино. По радио: грядет книжка А. И. с разоблачениями Шолохова[82]. Какой-то литературовед Д., который умер, произвел сравнение.

Я этой работы не знаю; уверена, что Шолохов не автор «Тихого Дона», но и Крюков (прекрасный человек) в том, что я читала – немощен: очеркист-этнограф.

Поглядим. Но мафия при Шолохове озвереет. Это им хуже, чем «Архипелаг».

Пока идет расправа с Эткиндом. Он хотел уехать через Францию – не дали. Теперь подал унизительные бумаги в овир. Скоро приедет сюда прощаться. Жаль его, но не пронзает. Думаю, там ему будет хорошо: гибок, талантлив, работоспособен, ловок.

28 ноября 74, четверг, Переделкино. Самойлов прочел новую небольшую поэмку – выпад против Ал. Ис.[83] Горько. Я на свете прожила, чтобы дожить до великого «Архипелага» – и вот дожила, мы дожили – а все заняты «Письмом к вождям». Письмо это а) неверное (я против автократии), б) в нем неудачно выражены и те мысли, с которыми я согласна. У Самойлова поэма фантастическая (будто бы о Федоре Кузьмиче), но там явный пересказ «Письма вождям»… Если бы не было посторонних, я ему объяснила бы, что печатать и пробовать печатать это в «Новом Мире» – не следует… Хотя бы по формуле Чернышевского: «Никогда не ругай того, кого, если бы ты захотел похвалить, тебе не позволили бы».

Что-то я все-таки сказала и Д. С. ответил (мне не понравилось):

«Если Л. К. неприятно – я не буду… У нее слабость к этому человеку».

Да, у меня слабость – и пожизненная.

10 декабря 74, понед., Москва. Завтра день рождения А. И. (Год, как он устроил мне сцену за ящик с лошадкой[84].) Посылаем – по отдельности – телеграммы в Цюрих. И я, и Люша, и мн. др.

Думаю о II томе Великой Книги. Почему мне неприятна глава «Замордованной воли»? Вся книга написана «с чужих слов». Но когда он пишет о лагерях и шарашках, чужие слова ложатся на собственный опыт. А воли замордованной он не пережил. Потому и Н. Я. М<андельштам> для него возможна. Потому и судьбы писателей непонятны ему.

28 января 75 г., вторник, Москва. Письмо от Самойлова, извиняющееся по форме и наступательное по содержанию. Хочет продолжать дискуссию[85]. Продолжу, но как мне продолжить братство с ним? Третьего дня он выступал в ЦДЛ (Володя Корнилов не стал бы, даже если б позвали); зал – битком; все в восторге – еще бы! Он читал: «Выйти из дому при ветре.» – но и антисолженицынскую поэму прочел, и «все» были в восторге. Ох уж эти все! Вешаю себе на стены портреты А. И., целых 3, в ответ.

24 февраля 75, понедельник, Москва. Радость: я наконец-то получила длиннейшее письмо от А. И.; из моих писем, по-видимому, получил все, *кроме одного* (именно того, где я беру назад одну свою поправку – ошибку). Просит прочесть сб. «Из-под глыб».

Я его сейчас читаю. Ох, горюшко. Талантливо, умно; есть и молодые таланты; но всё – христианство; всё – православное; и не такое, а вот этакое… Мне же это совсем чуждо, всё, что церковь, – мертво; а Христос для меня воскресает только в стихах Пастернака, Ахматовой, в живописи.

Тут же напечатана статья А. И. «Образованщина» – о нашей интеллигенции, сплошная оплеуха (со ссылкой на меня: «Кого-то пора от интеллигенции отчислить» из «Гнева народа»). Оплеуха заслуженная. Но больно получать и заслуженную оплеуху, а главное – следует ли опять, и опять, и опять зачеркивать категорию людей? (Нация; класс; сословие; интеллигенция.)

Где-то – уж не помню где – кажется, в «Раскаянии и покаянии»[86], что Россия принесла много вреда Польше, но Россия каялась («начиная с Герцена» и пр.), а кто же каялся, кроме Герцена. Аксаков, славянофил, считал его изменником и призывал покаяться. «Вам каяться!» – отвечал Александр

Иванович. Тютчев (славянофил) попрекал в стихах кн. Суворова, который отказался подписать адрес Вешателю… Ничего этого Ал. Ис. не знает, вероятно.

Где-то он пишет о мистическом единении нации… Это не для меня… А между тем свое нежное письмо ко мне он кончает фразой: «Прочтите сборник… Я не хотел бы иметь Вас среди оппонентов».

Нет, оппонентом я не буду: я религиозно очень необразованна. Но *свое* скажу.

А. И. сказал в Стокгольме, что введение демократии приведет к межнациональной резне. Так. Но ковыряние в национальном характере и национальных ви́нах – к чему приведет?

28 февраля 75, Москва, пятница. Вчера по радио «Ответ на ответ» А. И. – Андрею Дмитриевичу. Он прав, что лучше помнили бы «Жить не по лжи», чем «Письмо вождям», и «Письмо» поняли неверно. Это так.

16 апреля 75, среда, Москва. Да, вот еще боль: классик. Все больше и больше его здесь разлюбляют, даже ненавидят. Д. С. был только первой ласточкой. Сейчас центр ненависти, болезненной, его старинный «друг». Я еще не читала животное[87]; уверена, что книга гениальна (потому что класссик – с натуры – гений) – но верю, что там есть нечто недопустимое, о чем уже все и орут. (Гений побоку, промахи – вперед.) Ее, видимо, *еще нельзя было печатать* (как *нельзя* мою Ахматову: люди живы. Нельзя). Кроме того, ведь он полной правды написать не может – ибо те, кто действительно спасал и его, и его книги – хранил, фотографировал, распространял, ежедневно переписывал, – живы…

Надо, конечно, не судя прочесть. Но уже вперед болит сердце, потому что *правды* написать он не может, это я *уже* знаю… Очень меня удивило и его интервью: он сказал, что Белль перевозил рукописи на Запад. Но ведь все точки общения Белля известны – здешние – как же так?

За последние недели я одолела «Глыбы»[88] и «Континент». Конечно, это счастье, что мысль возрождается. Я ему написала огромное письмо, после которого он внутренне, наверное, порвет со мной, – о моем неприятии религиозности и упора на национальный вопрос. Русский и есть русский, как елка и есть елка, и нечего об этом кричать. Превращение русских обратно в евреев я считаю вредным психозом. За это он меня проклянет: он подчеркивает свое уважение именно к уезжающим «на родину»

евреям.

Скорблю, что между ним и А. Д. не только спор, но тень. Говорят, он, в «животном», рассказал о колебаниях А. Д. насчет отъезда… Пересказывать частные разговоры… можно ли?

5 мая 75. Классик в Канаде. Зачем? Еще не понять. Но все дальше от нас.

10 мая 75, суббота, дача. Классик почему-то в Монреале. Не собирается ли переезжать? Он обидел Цюрих, заявив, что там целый клубок шпионов – ГБ. (Таковы слухи; мэр Цюриха спросил будто бы у него, почему он не жаловался ему.)

6 июня 75. Переделкино. Из главнейших событий – мой полуразрыв с А. Д. Быть может, я уже описала его? (Проверить не могу: спровадила тетрадку[89], а памяти нет никакой.) Я тогда только что кончила «Теленка» и жила вся в пожаре этой книги и злобных разговоров о ней с окружающими. При мне Лев еще не осмелился ее поносить, но я знала, что всем он ее поносит, да и не только он. О, какой это ужас, «все»; интеллигентное стадо или неинтеллигентное! Но – стадо. Подарили стаду гения, а оно мерит его *своими* мерками. Пока А. И., напрягая все мускулы души и тела, создавал для них же «Архипелаг», они обсуждали его образ жизни, отношения к друзьям, навестил или не навестил в больнице первую жену, вторую жену – не соображая, что он ничей не муж, а «муж судьбы», «пред кем унизились цари», кто вот-вот исчезнет «как тень зари»[90] – а они к нему с мелочью и ерундой. Он тоже делает иногда мелочь и ерунду, а все-таки он – это Он, а они – это Они. Толстой был так велик, что мог позволить себе писать глупости о Шекспире. Его отличие от нас то же, что было у Пушкина от людей того времени: гениальность и мужество. Он как Шаляпин у Ахматовой: «Наша слава и торжество». Но существуют бабы с их обезьяньим умом… Существуют самолюбия. Существуют и люди, которых он в самом деле несправедливо обидел. (Но разве АА была справедлива *ко мне?)* И Муж Судьбы, поворачивающий историю мира, не всегда прав «пред нашей правдою земною».

23 июля 75, среда, дача. Сердце живят радиосведения об А. И., его речь перед Джексоном и Мини[91]. Господи, какой человек! Форд отказался его принять; потом пригласил – и я уверяла, что А. И. не пойдет. Так и вышло. Не пошел. Умница.

12 сентября 75. Дача. От классика никаких вестей, кроме

радио – громовой речи в Вашингтоне перед профсоюзами. Как я была счастлива и горда, когда он не пошел к Форду – тот колебался, принять ли. «Но не пошла Москва моя»[92]. Я спорила: не пойдет. Не пошел. Не унизил себя и нас.

Люди трудные штуки. Был один хороший вечер – когда за мной заехали Самойловы и увезли к себе и Самойлов читал «Смерть Цыганова». Затем куски прозы – антисолженицынские. Но благопристойные, никаких оскорблений. За ужином я, наверное зря, попрекнула его цензурными исправлениями в стихах.

Он: «Так делали все – и Ахматова, и Пушкин. Я уступаю, когда дело касается не существа».

«Но ведь у вас наши убивают пленного немца, беззащитного, трое на одного – а в печати не так».

– Убивают человека, в этом суть. Я хочу печататься и принимаю правила игры.

Он очень умен, интересен, сух, недобр. А. И. для них всех загадка и заноза – главное в том, что он-то не принял правил игры. (Боюсь, со Львом мне придется поссориться; он всюду оскорбляет А. И. – я Льва люблю и ему обязана многим, но есть предел.)

14 декабря 75, воскресенье, Москва. Самойлов; позвонил; я просила его прийти вечером – нет, он боится темноты (не видит, не знает места) и пришел днем. Принес мне письмо – опять об А. И.[93] Чтоб я спокойно прочла. Я будто бы запрещаю спорить. А я не запрещаю им точить лясы, я только не хочу принимать в этом праздном занятии участия. Да, с мыслями А. И. я во многом не согласна; он считает *национальной* чужеродностью происшедшее, а я не думаю, что дело было в чуждой национальной примеси. Все политические партии России, особенно большевики, как все вообще профессиональные революционеры, чужды *культуре* и рушат ее, не берегут ее. Октябрьская революция была торжеством Нечаевства + Марксизм; черт ли в том, что Зиновьев еврей? Жданов и Попков были русские – от этого не легче. Ну вот, но рассуждать без конца об А. И. я не хочу – я прочла одну его страницу в № 115[94] и за нее отдам всю их болтовню со всеми потрохами. Он – художник, и притом русский художник, т. е. писатель, взыскующий правды.

29 декабря 75 г., понед., Москва. Люблю А. И., хоть он и напрасно раскрывает скобки еврейских фамилий: его национализм простить *ему* можно, но скобки ассоциируются с

подготовкой дела врачей, а это простить труднее, даже нельзя. Напишу ему.

7 марта 76, Москва, воскресенье. Слышала в Переделкине по радио голос А. И. (Интервью в Лондоне[95].) Сказал, как это часто бывает, то, что я все дни думала: почему правительства признают Анголу? Хотя там интервенция и пр.? Он тем же попрекнул Англию. «Безнравственно. Политика должна совпадать с нравственностью. Мы, отличающие добро от зла, убедились в этом».

И опять тот голос знакомый
Точно эхо дальнего грома
Наша слава и торжество…[96]

8 марта 76 г., Москва, понедельник, 20 ч. 30 м. Только что – по Би-би-си – интервью с А. И. После сыграли нечто похоронное – и верно: мрачное, мрачнейшее интервью. Рассказал 3 случая: как молодого человека убили в электричке после посещения им Сахарова; как Ланду арестовали на улице, запихали в машину (не объяснил, что она собиралась ехать на суд к Ковалеву), и психиатрическая лечебница для Игрунова… Голос, голос, мой любимый голос, голос правды… Да, еще об избиении Николая Крюкова у него на квартире – я не знаю, кто это… А вообще больше можно рассказать…[97]

Голос усталый. Предчувствия и о себе, и о нас, и о Западе – мрачнейшие.

Два года назад, по его мнению, еще были надежды, теперь их нет.

Ничего не сказал об отъездах. Между тем отъезды разрушают общество не менее, чем аресты. Личностям лучше в Иерусалиме или в Париже, чем в Потьме, но общество разрушается в одинаковой степени, а уезжающих больше, чем арестованных.

6 апреля 76, Москва, вторник. В эфире – единоборство гения, Солженицына, со всем миром.

9 мая 76. Понедельник. Сейчас я купаюсь в океане благоуханной русской речи: читаю III том [«Архипелага»]. Перед этим все мелко. Это книга книг. «Игру эту боги затеяли»[98]. Тут, в этом жанре («научно-художественном», как говорил и писал когда-то Маршак), он несравним ни с кем и бесспорен, вне зависимости от ошибок мыслей и обобщений. (Завирается насчет XIX века.) Читаю с наслаждением как великое совершенство. В его

языке (когда он работает не по Далю) есть нечто ахматовское, пушкинское – мощь. И какой гениальный путь – путь *гениального* человека, которому всё по плечу: и книга, и жизнь.

Может быть, третий том самый сильный.

…Да, я понимаю, что классик не может не верить в Провидение, судьбу, Бога. Вот изгнали его. И теперь у него под рукой оказался уникальный архив Маклакова, который, вероятно, дает колоссальный материал для Узлов. Здесь бы он его не увидел.

17 мая 76, понедельник, Москва. Светлана Орлова села на шоссе в случайную машину и оказалось – адмиральскую. Зашел разговор о даче К. И. Адмирал сообщил ей, что:

1) Там жил Солженицын и давал оттуда иностранцам пресс-конференции.

2) Теперь там живет эта *Лидия.*

3) Иностранные дипломаты *отремонтировали* ей эту дачу – в благодарность за Солженицына! – построили кирпичный гараж на 2 машины.

4) Массандру (мансарду!), где жил К. И., снесли и никаких вещей К. И. там нет.

5) На даче происходят выпивоны с иностранцами.

Светлана в ответ предложила ему зайти на дачу и поглядеть самому. (Он живет в Переделкине.)

– Ни в коем случае.

24 мая 76, понед., Москва. Очень тянет написать моей нерушимой скале, моей земле – Ал. Ис. (о 3 томе)[99].

10 сентября, пятница, Переделкино. По радио: классик уже месяца полтора не в Цюрихе, а в Америке. Купил там имение. Перевез семью, которая уже с июня в Бостоне. Очевидно, переезд совершался тайком; сначала сообщили, что переезд вынужден преследованиями со стороны КГБ и угрожающими письмами. По-видимому, это так и есть, хотя Белый дом не подтверждает. Но если бы это было не так – зачем бы совершать отбытие потихоньку? Сейчас напирают на сходство природы с русской. Я думаю, причин несколько, но КГБ безусловно. Подождем, пока он скажет сам. Но будет ли он безопасен в Америке? Как мелки и ничтожны все парижские дрязги по сравнению с этой судьбой – дантовской.

1 октября 76, пятница, дача. Прочла 118 № «Вестника». Жаль, дали ненадолго. Богатый номер. Классик во всей славе своего

морального превосходства – поразительна речь его при вручении ему медали от имени общества свободы[100]. Сказав несколько вежливых слов, он сразу берет быка за рога, совершенно неожиданным поворотом: здесь уместно было бы заняться декларацией об ужасах тоталитаризма и преимуществах свободы. Но не лучше ли взглянуть самим в глаза своей свободе? И пошел, пошел, гениально брошенными мазками, живописать тамошнюю свободу… Какое бесстрашие мысли – та истинная «отвага знания», которой требовал от себя Герцен…

В эфире Амальрик. В большинстве случаев – умно, самостоятельно, смело. Только почему его называют изгнанником? Изгнанник у нас один – Ал. Ис., остальные – эмигранты, хотя Амальрик, конечно, не обязан был снова садиться в тюрьму, на гибель. Но все-таки изгнанник у нас один.

6 декабря 76, понедельник, Москва. Лакшин написал ответ на «Теленка». Сначала ему предложило написать КГБ. Отказался. Теперь написал (т. е. принял заказ!) и напечатал у Роя[101]. Прочитавшие говорят, что умно, талантливо и подло. Мерзости об А. С. Берзер[102]. И все под благородным предлогом: защита друга, защита Твардовского… Я читать не стану. Не ему «вести борьбу с самодержавным великаном»[103]. Но дорогой плюралист Лев [Копелев] печатается у Роя. И тот же Лев всем твердит о неблагодарности и неблагородстве классика. Существуют плоды: стихотворение Самойлова в «Дне поэзии».

> …И слушать о себе издевку злобной правды,
> Которая ужасней клеветы[104].

У Солженицына издевки не бывает, он не Синявский. У него негодование, гнев, сострадание. А правда его действительно ужасна, потому что ни один клеветник не изобретет более ужасной правды.

И все это – в год 1976, великий год выхода в свет великого III тома!

Да, слепы люди, низки тучи[105].

5 февраля, суббота, 77, Переделкино. Телефон: арестован Алик[106] и увезен в Калугу.

Я все-таки работала. Потом гуляла с Копелевым. Оказывается, С[ахаро]ву отказали в обмене. Но все уже отступило рядом с этой вестью: Алика арестовали и готовят процесс о валютных операциях, которых не было.

Вечером, по радио, о нем очень много (явно Ал. Ис. нажал все кнопки) с очень ясными, толковыми, длинными объяснениями, что он – представитель Солженицынского фонда, что деньги от Солженицына получал только законно ($^1/_3$ в казну), сколько распределил (оказалось, и советские граждане собрали 70 тысяч – я горжусь), и как, и кому, и что валюта была ему подброшена во время обыска.

Значит, готовится процесс и грязь. Но уж кого-кого, а Гинзбурга ни А. И., ни Аля (это важно) в обиду не дадут. В конце концов выступит и сам А. И., а это – артподготовка из тяжелых орудий.

Но какая же тут теперь брешь, кто же будет это делать, *вместо?* (Он делал *честно,* хотя и неосторожно: у него при обыске взяли, например, все списки и адреса!)

5 марта 77, Переделкино, пятница. В эфире много радостей: Буковский! Буковский мог оказаться пустельгой, а он сверкает умом, находчивостью, правдой. И Ал. Ис. очень энергично выступил в защиту Гинзбурга – оглашено было его письмо к тамошнему знаменитому адвокату (как выражается «Голос», «Солженицын нанял адвоката»). Конечно, никакого адвоката сюда не пустят, но власти постесняются таскать Гинзбурга в карцер и пр., зная, что они подконтрольны… Ал. Ис. всегда делает то, что надо, и так, как надо… Что-то рассказывалось и о причинах его отъезда из Швейцарии (взрывное устройство в доме, кажется так), но я не расслышала.

2 апреля 77, воскресенье, Москва. письмо от классика, доброе, щедрое и – впервые в жизни – жалующееся. Он, воплощение мощи, пишет, что еле собирает силы для работы… Значит, правда, что была у него депрессия.

Там у него враги и поклонники. Здесь были враги и помощники. Неужели до такой беды мы дожили, что в светоносце гаснет свет?

Я написала ему беспомощно, слабо, в суетливые дни, дурным пером…

24 апреля 77, воскр., Москва. На даче заходили Андрей Чернов с приятелем сообщить, что редактор «Комсомольской правды» отверг статью Новеллы Матвеевой о необходимости музея[107], и они теперь несут ее в «Московский комсомолец». Причина: «там жил Солженицын. Не устраивать же нам музея Солженицына». Будете, будете, подлецы, устраивать тут и Музей Солженицына, но еще не сейчас; а если сейчас нет Государственного музея К.

И. – то это превеликое счастье (для меня).

26 *августа 77, пятница, дача.* По радио мне впервые не понравился Амальрик. Он излагает «историю демократического и правозащитного движения». Из чего видно, что история эта уже фальсифицируется. Вольно или невольно? Не знаю. Если невольно, то еще страшнее. Таково сознание хорошего человека не нашего круга и не нашего поколения. Для него все началось с процесса Синявского и Даниэля. Если говорить о судах над писателями – то где же начало начал – дело Бродского и Фридина запись? Это раз. Затем – ни звука о Солженицыне! Не было «Ивана Денисовича» – а ведь это-то и было землетрясение, разбудившее всех, даже спящих глубоко. Если же говорить обо всем, минус художество (что очень глупо), то где же письмо Солженицына съезду писателей? В его поддержку выступили 92 человека. С него началось движение Чехословакии. И о нем – ни звука. Зато о Павлике[108] – пожалуйста, сколько угодно.

Положительно в эмиграции все сходят с ума, Бог с ними.

27 *октября 77, четверг.* При Сталине мы жили в полной безнадежной тьме. Затем забрезжили огни и померещилась возможность слова. Появилась аудитория. Это почуяли все. Взошло солнце: классик. У времени родился звук. На звук откликались десятки, сотни, тысячи людей. Самые скептичные были захвачены и подняли головы. Высшей точкой рассвета был Самиздат. А сейчас волна пошла вспять; отлив; ни огонька, ни звука. Не на что откликаться – ни мне, ни кому другому. Писать открытые письма я более не хочу, меня не тянет к этой форме, как актрису не тянет играть перед пустым залом. В действительности он не пуст, но он ждет кого-то другого и что-то другое. Что? Не знаю.

29 ноября 77, понедельник, Москва. Большое событие: в 122 № «Вестника» объявлено создание Всероссийской Мемуарной Библиотеки – т. е. *архива* во главе с А. И. С., архива для воспоминаний и писем, который будет классифицироваться, собираться и потом, при перемене обстоятельств, будет доставлен в Россию («мною или моим сыном»). Призыв посылать любые воспоминания и письма на любом уровне грамотности… Это мудрая затея (сливающаяся со здешней! уже осуществляемой!), но вот вопрос: хотя там указан адрес, но *как* «простые» люди будут туда посылать?

9 декабря 77, дача, пятница. Общество распадается на глазах.

Трудно жить в ощущении распада. Конечно, классик делает самое нужное: собирает архив для восстановления украденной истории. Он всегда в жилу, в точку, где бы ни был.

Именно это и надо делать: собирать след разбитого вдребезги. Но как, чем объединить, восстановить разбитое? Опускаются руки, а этого нельзя, и, кроме того, мне уже трудно понять, *моя* ли это старость, болезнь, бессонница – или – общественная? Где-то чую новые силы, но где они?

7 января 78, Москва, суббота. Думаю о том, какой странный подбор людей меня *жалел*. То есть какие разные это были люди. И жалел не за то (старая, больная), а понял мою суть: нелепость, незащищенность, беспомощность.

Тамара Григорьевна, Сарра Эммануиловна[109], Ал. Ис.

Поразителен в этом смысле Ал. Ис. Едва соприкоснувшись с нашей семьей, он мигом понял «расстановку сил». И главное чувство Ал. Ис. ко мне всегда (т. е. с той поры, как он в меня вгляделся и перестал подозревать, что я ему «соперница», т. е. обижена напечатаньем «Одного дня» и непечатаньем «Софьи») была именно жалость. «Софья» ему не понравилась; «Спуск» он не прочел; «Шолохов» на 3 +; в восторге был от «Не казнь, но мысль.» (редактировал; распространял: «тут новизна. Это я буду распространять, как свое») и «Гнев народа» ценил.

Но главным было: жалость.

17 марта 78, пятница. Переделкино. Умерла Маруся[110]. Да, наша Маруся. Она не знала, кто такой А. И., называла его: «кто всегда торопится», «кто всегда бежит». Почему-то имя-отчество путала. Но потом как-то до нее дошли слухи, что он и есть главный предатель (дочь объяснила). Вот Маруся мне рассказывает:

– Неправда, Зинка, это врут на него, он хороший.

Лишен гражданства Григоренко. Его рыдающая речь по радио меня потрясла. Слышна чистая, цельная, истинно народная душа. Когда хоронили Марусю, Люша была на похоронах. Наталья Степановна причитала: «Не увидим мы с тобою нашей деревни… Не пойдем мы с тобой на могилки». А он рыдал: «Не увижу я больше Андрея Дмитриевича и его семью… Не увижу я у дверей закрытого суда Великанову» и т. д. Ничего двойного: рыдание, гнев, боль, *народный* ужас перед несправедливостью и изумление. Его обманули: обещали вернуть, если он там будет молчать. Он – молчал. А они – обманули.

Как он мог верить – после всего?

Как смеет мир заключить с нами после всего! – соглашение в

Хельсинки теперь, после Белграда, еще надеяться на встречу в Мадриде?

На днях лишили советского гражданства Ростроповича и Вишневскую. Вчера передавали их возмущения, но нельзя было расслышать ни единого слова. Они, как и Григоренко, требуют суда. Как будто у нас есть суд? (Их обвиняют в том, что они давали деньги каким-то белогвардейцам.)

Если бы сейчас я не чувствовала себя больной, если бы все близкие не были «давно в разброде»[111], я предложила бы такой текст:

«Ввиду позорных решений Верховного Совета СССР, роняющего престиж нашей страны в глазах всего мира, – решений о лишении гражданства – от имени миллионов почитателей, – объявляем Солженицына, Наталью Солженицыну, Мстислава Ростроповича, Галину Вишневскую и П. Григоренко почетными гражданами нашей страны».

Но, увы! все близкие в разброде и в упадке.

24 марта 78, пятница, Переделкино. Разговор по телефону с соседкой, из которого выяснилось, что Л. З. [Копелев] прочел ей свой новый опус, в котором опять поносит А. И., и что между ними вышла ссора, чуть не до разрыва. У соседки трезвый, добрый и музыкальный ум (не в смысле искусства, а в смысле *такта);* ничего вульгарнее и бестактнее сейчас, чем ненавидеть А. И. (и писать возражения на «Круг») – нет. А он, видите ли, разоблачает Ветрова и кроме того, что с помощью его *изобретенья* обнаружили *действительного* шпиона. Насчет Ветрова я подозреваю, что это поклеп на себя А. И. (чтоб иметь право корить других); а уж насчет изобретенья! То тут уж, даже если и поймали одного шпиона (в чем сомневаюсь), все равно загубили этим открытием миллионы невинных.

18/IV субб., Москва. В эфире – голос Али Солженицыной, защищающей в Западной Европе Алика Гинзбурга. К счастью, в последних ее заявлениях появились и Орлов и Щаранский, а то было неприлично. Все интервью умны и толковы; о работе А. И. и о его образе жизни говорит почти слово в слово то, что написано у меня в «Ключе»[112]. Голос сухой и точный и сдержанный.

12 мая, пятница, 1978. Переделкино. Событие – уже неделю как читаю и перечитываю письмо от А. И. Да, да! От него сила, горечь, горе, счастье. От одного почерка. Длинное, щедрое. «Процесс жизни превратился в процесс работы». Просит

прощения, что долго не писал, милый, милый, пусть никогда не пишет, я знаю, что меня он любит почти так, как я его. Мне, будто ребенку: «Помните, в день, когда меня взяли, я обещал прийти вечером к Вам, и не пришел. Значит, приду».

Накануне ночью он мне приснился. А написано его письмо мне – в день пожара, 27/III[113].

Дети учатся английскому. Вот и напрасно так волновались здешние умники.

Я ему 2 здешние дня писала письмо. О пожаре. Обо всем. Он в письме беспокоился, что ремонт – ловушка… Ну, вот и не предстоит ловушка. Я его утешила.

Интересны были Сахаровы, не литературно, а психологически. Он и она пришли в 8 ч. вечера в пасхальную субботу, принесли 2 крашеных яйца: она Люше, он – мне. Очень все приветливо и ласково. Л. устроила хороший стол, все были добры друг к другу. Он не сказал, но мне было понятно, что книга им обоим не понравилась[114]. Несколько дельных фактический замечаний (не Ковалев арестован после взлома в нашей квартире, а Твердохлебов). Но интересно было: А. Д. о себе. Т. к. я о нем написала неудачно, то он понял, будто я его сопоставляю с А. И. или противопоставляю ему. (У меня и в мыслях не было: они и не сопоставляемы и не противопоставляемы; они – «в огороде бузина, а в Киеве дядька».) Но вот в чем суть:

«Вы пишете, что Солженицын взял на себя миссию, задал себе урок, вериги и пр. Я знаю, он считает, что не он взял, а на него Бог возложил. Я же ничего на себя не взял и на меня никто ничего не возложил. У меня судьба особенная, а не миссия. Мною двигали обстоятельства, а не долг. Сначала моя судьба была работать на объекте и делать эту проклятую бомбу. Потом моя судьба – бороться за права. Это обстоятельства так меня поворачивали… Он говорил: «Я на время лютый». А я его транжирю как попало, потому что у меня нет миссии… Ужасная у него фраза, что пусть его сына убьет – он будет продолжать свое дело. Это ужасно. Я никогда бы ни о ком не мог так сказать. Ужасен призыв жить не по лжи. Для меня главное, чтобы люди были живы… Вот Джемилеву дают прописку в Ташкенте, а он рвется в Крым. Значит, опять тюрьма, голодовка и смерть. Я уговариваю Твердохлебова уехать, они ведь его не прописывают даже в Петушках. Он не хочет… Вы совершенно неправы насчет отъездов. Пусть люди едут. Культура явление более сложное, она пересекается».

Такова была суть самой длинной речи А. Д., которую я слышала.

Должна признаться, что речь А. Д. меня удивила. Ведь он знает, что за него, из-за того, что он выполняет *свою* миссию, гибнут люди. Гибнут ходоки. (В окно из поезда.) Идут в тюрьмы и ссылки друзья (Твердохлебов, Ковалев и мн. др.). Он никого не зовет прямо, не зовет «жить не по лжи», и он не заявляет: «убейте моих внуков, я не умолкну». Но я помню позапрошлое(?) лето, когда Мотя корчился в судорогах у него на руках, умирал, его еле спасли, и все кругом, и А. Д., были уверены, что Моте ГБ сделало укол, чтоб он умер или был искалечен. А. Д. терзался, но не *молчал,* – какая же разница в этом смысле между ним и А. И.? Никакой. Ведь А. Д. уже знает, что он «неприкасаем», а все кругом – весьма, но продолжает… А. И. проповедует мысли, быть может, и ложные, но он на них настаивает, он за них в изгнание попал (а перед этим здесь терпел муки); у него есть мысль, религия, идея – он проповедник – пророк – художник – подвижник – гений, обуреваемый мыслями. Какая мысль у А. Д. (кроме будущего устройства планеты Земля и других планет, то есть некие мечтания о «космических садах и огородах») – я уловить не могу. Люся произнесла весьма остроумно: «Мы только и делаем, что разлагаем демократическое движение изнутри. Мы всех отговариваем». Это правда: А. Д. милосердно отговаривает, а потом милосерднейше пытается спасти. Но ведь бедствия и бедные люди в стране зависят ни от чьей ни от проповеди, люди пробуждаются сами, и нам следует не только беречь их, оберегать, отговаривать, защищать, но и духовно питать. За духовной пищей они идут и к А. Д., а не только за защитой. И очень жаль, что ему нечего сказать им.

24 июля, день, Переделкино. Прочла 124 № «Вестника»… Очень интересный. Вообще, конечно, из потусторонних журналов это лучший – если пропускать Бердяева, Леонтьева, святых и пр., то все же остается нечто ценное. В этом № – Николай II Солженицына. Многие говорят: скучно. А мне никогда Солженицын не бывает скучен. Скучен царь – амеба, одноклеточное. Написано все как внутренний монолог одноклеточного существа. Впервые мы читаем о 9 января, об императрице – с той стороны, из беспомощной души амебы… Ненависть к образованным, кажущаяся любовь к народу. Назревание Распутина: амеба ждет народного гласа, человека из народа. Но проза (как всегда у него в беллетристике) не безупречна. Он не знает языка того времени; пишет «исключительно»; или «У России свои проблемы» (совсем уж «Голос Америки»); «получилось»!; и мн. др. Напишу ему это.

И замечательно подобраны в этом № материалы о Гинзбурге

и о двух фондах, которые слились – Солженицынский для политзаключенных и их семей и Е. Г. Б<оннэр> – для детей. Я рада, что в печати нет между Е. Г. Б. и А. И. розни (после «Теленка»). Очень хорошее письмо А. Д. об Алике, доброе.

…А заболела я из-за Льва. Я не видела его месяца $1^1/_2$, он раза 2 звонил, все было мирно и счастливо. Вчера вдруг позвонил и пришел. Оказывается, – я этого не знала, – наша гэбэшная мразь, исследуя материал, который им дала m-me Решетовская, сочинила книгу «Спираль измен Солженицына»; он предавал бендеровцев, доносил на кого-то в лагере – потому, мол, и спасся, и мн. др. на том же уровне. Книжечку выпустило издательство «Прогресс». Ну вот, и там ссылочки на Копелева и Гнедина. Отлично! О, того, что им там приписано, они не говорили. Нет, нет, я верю. Но мерзости, которые говорил об А. И. Лев, я слыхала не один раз; и Сарра и Люша предупреждали его, что докатятся его сплетни до подлых ушей, – так и вышло.

Вообще же мы оба очень старались не потерять друг друга – посмеивались, пошучивали, заговаривали о другом – но я его потеряла давно, а теперь потеряю окончательно. И не только из-за А. И., а из-за того, что он не литератор и решительно ничего ни в чем не понимает. Вообще он мне не по остаткам моих сил.

Он не понимает, что Ал. Ис. вернул мне Митину могилу. Что я вообще восприимчива к художеству, а не к политике. Что в мыслях А. И. о Западе много верного. Что он имеет право на православие – хотя я православия, религии и церкви не люблю.

Еще думаю: Копелев постоянно укоряет меня в фанатизме и недостатке «плюрализма». Может быть. Но ведь меня-то фанатизм не доводил до злодейств: до раскулачивания, до писания доносов. Это *его* биография, *не моя.* Меня фанатизм довел до хранения «Реквиема», до «Записок об А. А.», до устройства музея в доме К. И., до «Памяти моего отца», до – крова Солженицыну, до защиты «Архипелага». У меня фанатизм любви к литературе и отстранения от пошлости. Отстранюсь. Я ненавижу Синявского, а он с ним сотрудничает. Но я же не говорю, что Синявского надо убить или выгнать из Сорбонны. Я только отказалась работать в «Континенте», когда «Континент» защищал книгу о Пушкине…[115] *Мой* фанатизм не кровавый. А вот копелевский… Он при мне (и чужих людях!) кричал об Ал. Ис.: «Я хочу, чтоб он сдох…» Теперь отрицает. «Я сказал: я мог бы его застрелить…» Что ж! Я застрелить Синявского *не хотела бы.*

Пусть живет – но без меня.

Пусть все они живут – без меня.

Вот *мой* фанатизм. Сон; работа; деревья; работа; деревья; «Евгений Онегин» и Блок.

И, если надо, Орлов[116].
И благодарность создателю «Архипелага».

21 августа, воскрес., Москва, утро. Я не вижу вокруг ни одной плодотворной идеи. «Терпимость, – говорит Над. Як. [Мандельштам]. – Без терпимости ничего невозможно». Это так, да ведь терпимость-то должна быть к идеям, к мыслям, а их нет. В 60-е годы (56–65?) общество было окрыленное, потому Самиздат, потому Солженицын. Существовал общественный пафос – пафос разоблачения сталинских зверств, проповедь человечности. Работали одновременно сначала два, потом три гения, обещавшие нам великое будущее (все трое – память о злодействах, плач, воля к человечности) – Пастернак, Ахматова и, наконец, Солженицын. Создавался «Архипелаг». Откапывались старые клады.

И что сейчас? И где все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето
Был мимолетным гостем он![117]

Пастернак и Ахматова в могиле, Солженицын в разлуке. Пафос общества угас. Совершается доброе дело – великое доброе дело: А. Д. помогает политзаключенным и говорит о них миру. Но в прежние годы он был мыслителем, а сейчас мысли нет, т. е. и у него – нет.

– Конвергенция, – ответил мне на это Евг. Ал. [Гнедин].

Тут я сказала, что поздно, и пора домой… Конвергенция чего с чем? Нашего бюрократизма с их хищничеством? Лесючевского с Профферами?[118]

Конечно, Запад я знаю очень поверхностно – по радиопередачам, по газетам – это уровень низкий. И там, наверное, на поверхности – Юрии Жуковы[119]. А в глубине и интеллигенция существует. Но отсюда ее решительно не видать. Русские же, оказавшись на Западе, либо превращаются в сплошной срам, либо спиваются, либо сходят с ума (и спиваются?) как Толя…[120] Один и остался там в полном своем величии – Ал. Ис. Я не знаю, верна ли его мысль, но он *мыслит.* И при том не «плюралистически», а избирательно. Ведь главная его мысль – нравственность, а в нравственности какая же плюралистичность?

21 августа, воскрес., Москва, утро. Надежда Марковна [Гнедина] обуяна, разумеется, ненавистью к Солженицыну, но по хорошему своему воспитанию со мною старается не спорить и на

эту тему молчать. Я нарочно прочла:

Уж эти мне ошибки гения.[121]

– Это о Солженицыне? – спросила она.

– Да, – сказала я. – О Солженицыне, о Достоевском, о Толстом, о Блоке… Ошибки Достоевского: 1) церковность и антисемитство; 2) ошибки Толстого – толстовство и «Крейцерова соната»; 3) ошибка Блока – «12».

8 сентября 78, суббота, утро, Москва. И наконец, третьего дня – тяжкий вечер объяснения с Р. Д. [Орловой]о Л. З. [Копелеве]. Я подготовилась. Она пришла элегантная, моложавая, умная, добрая, милая. Я объяснила, что я и Л. З. – люди во всем разные; что мы сблизились в пору общественного подъема, а сейчас, в пору распада, нет между нами ничего общего; что его ненависть к классику мне ненавистна, и я с ней мириться не стану; что его невольное участие в «Спирали.» (т. е. ссылки на него) – несчастье и позор, от которого никакими не отмоешься опровержениями; что незачем ему было печататься в «Синтаксисе», еще не зная, что это будет за журнал, и зная только, что Синявский – враг Солженицына № 1; что и я, и многие предупреждали Л. З. – не трепать языком при чужих – вот и вышла беда; что я фанатик, потому что каждый писатель фанатик своей мысли, своего труда, а если нет – он не писатель; что все прекрасное на свете есть плод фанатизма (даже младенец), а «плюрализм и толерантность» ни к чему не ведут, они всего лишь основа, способ, обязательное условие, но не цель… Она все это слушала с достоинством и спокойствием, хотя ей было трудно. И даже кое с чем и со многим согласилась. И все-таки наш разговор кончился несчастьем и для меня кое-каким *концом.* Она меня попрекнула, что я, мол, употребила слово «репортерская шваль», а сама… а они себя приносят в жертву для меня.

27 октября [ноября] 78, Москва, понедельник. Письмо от классика (не мне). Он собирается отвечать на «Спираль.». Он уязвлен. Какая это гнусность – терзать его сейчас, когда он в работе, в своем «Колесе» – наконец.

Ко мне несколько строк, небрежных и мимоходных. Меня это не ранит, потому что ведь никаких «отношений» у нас в действительности не было, он просто испытывает ко мне благодарность и жалость. А сказать ему мне нечего. Зато мне – есть что.

10 декабря 78 г., воскресенье, Москва. Все это время было

отравлено заглазной распрей с Л. З. Потому с утра до вечера болит сердце – чего уже давно не бывало – и тяжелая голова.

13 декабря 78, среда, Переделкино. Промучившись дней 5 желанием идти 11 декабря праздновать день рождения А. И. и нежеланием идти туда, потому что хозяин дома взял для чтения и воспоминания Льва – я твердо решила все-таки идти. К счастью, с невралгией и сердцем (т. е. сном) справилась; с работой кое-как справлялась; подготовиться кое-как успела. В понедельник в час мне позвонили, хочу ли? (Так было условлено.) И за мной заехали двое.

Читаю главу[122]. Лупа и свет не совсем согласованы, запинаюсь.

Прочитав, отсаживаюсь на диван.

И вот тут начинается нечто комическое: я не хотела идти сюда из-за того, что сунулся Лев, а прочли его воспоминания только благодаря мне: хозяин не хотел читать их, а слушатели слушать. То ли хозяин за эти дни прознал как-то о нашей вражде и понял свою бестактность, то ли люди действительно устали, но слушать они не хотели. Хозяин за решением вопроса все время обращался ко мне, а я настаивала: читайте! Иначе ни Лев, ни Р. Д. никогда не поверили бы в мою неповинность. Конечно, не приди я со своим чтением, они, вероятно, слушали бы Льва, так что я действительно помешала; но, помешав, я заставила прочесть Льва – притом до конца.

Но сначала слушали самого А. И. – американскую речь.

Потом, в одно мгновение, очень организованно, поставили столы (составили) с вином, чаем, печеньем, тортами. Все приблизились: от стенки за стол. Мне задавали вопросы: а правда ли, что К. И. сказал: если исключат А. И. – я положу билет?; а правда ли, что «Тараканище» – о Сталине; спросили и о «Чукоккале», и о Собр. Соч., и о переизданиях. Об А. И. спрашивали, как приходили за ним на дачу… Нет, вопросы были, но общения все-таки не было.

Затем меня увезли. Что же это было – кто эти люди – нужна ли я им и зачем? – я так и не поняла.

Меня доставили домой в начале 12-го. Включаю «Голос Америки» – и там сообщение о том, что писательница Л. Ч. избрана членом французской секции pen club. За что же? Назвали две повести, упомянуто исключение из СП. Всё.

Так кончился день А. И. С. Начался же он хорошо: к Люше пришел Можаев. Она его любит, и я тоже: талантлив, артистичен поражающе; конечно – хитер, жох-мужчина; но – талант в каждой жилочке играет. Припомнил он – да и мы, – как Дед его слушал,

как смеялся. «У меня никогда такого слушателя не было». Вспомнили мы и именинника; Можаев много с ним ездил, глубоко дружил; и вспомнилось нам всем троим радостно – то, другое, доправославное время, когда А. И. был нам ближе. (Хоть Можаев, я думаю, верующий.) Вообще, милы Люше – и недаром! – друзья А. И. *предпоследнего* призыва. Ну, конечно, я и тем была подкуплена, что Можаев мне с порога сказал: «Ваши Записки об А. А. шедевр» – и еще тем, что и он, как и я, не любит Распутина, находит «Живи и помни» фальшивым, а «Матеру» не мог читать… Исаича же показывал очень смешно, любовно и точно: его спешку, его любовь к своим старым изношенным вещам, любовь к деревне и пр.

Да, 10 лет прошло с 50-летия А. И. Приходил к нам тогда Борис Андреевич, такой же хитрющий, живой, талантливый – и – молодой. А сейчас наклонился поцеловать мне руку – и вижу: голова седая.

18 декабря 78, понедельник, Москва. Вчера у меня была Р. Д. Никчемные наши встречи. «Враги Огарева не могут быть моими друзьями», – писал Герцен. Враги А. И. – моими друзьями тоже не могут быть; она, положим, не Л. З., она не враг. Но она (как и почти весь Аэропорт) – друзья и поклонники Синявского. Какие они мне друзья. «Нужно быть шире!» (общий глас во главе с Л. З.). «Нужно быть глубже!» – мой ответ.

Мы поговорили о № 2 «Синтаксиса». Ей, конечно, нравится, хотя она и согласилась со мной, что в *своем* журнале печатать статьи *о себе* не принято. Отношения искусства с жизнью сложны. Но интересно то, что художник, служа искусству, всегда воображает, будто служит жизни – и тогда являются чудеса искусства.

> Недаром славит каждый род
> *Смертельно оскорбленный* гений[123], —

от оскорбленности он хватается за перо, и только тогда рождается искусство. (Т. е. и тогда оно может не родиться, но уж если без этого – оно не родится наверняка. Не об искусстве думали Достоевский, Толстой и автор «Ивана Денисовича», когда писали лучшие вещи.)

7 февраля 79, Переделкино, среда, вечер. Читаю № 126 «Вестника». Ал. Ис. скучен, как-то совсем неудачен[124]. Но это не заноза – что ж! «Красное Колесо» уж, наверное, окажется произведением пестрым; вершина Солженицына – «Архипелаг»…

Он не беллетрист, он прозаик.

15 февраля 79, четверг, Переделкино, вечер, пятница. В среду днем, когда я встала (в 5 ч. дня), меня насмерть испугал Володин[125] звонок. Он слушал во вторник вечером выступление А. И. (по случаю 5-летия со дня изгнания), и тот будто бы говорил ужасные вещи об интеллигенции, сказал будто бы: «интеллигентская либеральная сволочь».

– Ваш отец этого не принял бы, – сказал Володя.

– И я никогда не приму, – ответила я.

В среду вечером слушала интервью – я. ВВС[126], 12 ч. 45, т. е. фактически в 8 ч. 40 м. Когда оно кончилось, мне позвонила С. Э.: «Ну, получили удовольствие?» – «Относительное», – сказала я.

Конечно, счастье – снова услышать этот голос, голос правды, мужества, прямоты. Голос «Архипелага». И многое сказано было прекрасно. Например, что от нас посылают на Запад вертухаев (литературных), а там – слушают их, записывают, учатся у них. Это верно.

Но: все остальное не без *но.* Я с горечью вспомнила наш с ним разговор давешний. Говорили мы об эмигрантах, о том, что они, уехав, непременно перестают понимать здешнее. «И я на Западе перестал бы?» – спросил он. «И вы. Хотя и поздней других». – «Почему перестал бы?» – «Потому что здесь появлялись бы новые люди, новые ситуации, здесь всё менялось бы непрерывно. Вы же знали бы только тех, кого раньше знали».

Так оно и вышло. Он, конечно, не стоит на месте, движется. Но:

1) Объявил замечательными, лучшими, здешних писателей «деревенщиков». Шестерых. А из них замечательны, видимо, двое (Белов, Можаев). Ему и Распутин нравится – здесь я ему показала бы свои выписки чудовищной распутинской безграмотности, фальши. А там – кто ему покажет? Там возле него интеллигентных литераторов нет.

2) Укорил, что американцы, ничего не понимающие в русской литературе, когда была здесь ярмарка, устроили обед, но не позвали вот тех «лучших». Да, американцы ни черта не понимают (без знания языка – что поймешь?), но ведь все это шестеро «лучших» – ни один из них не пошел бы на этот обед! Ведь за это их перестали бы печатать здесь, а они этого терять ни за что не желают.

3) Объяснил, что, мол, эти лучшие хорошо пишут о крестьянстве (даже *лучше,* чем Толстой и Бунин и Тургенев *потому,* что сами крестьяне). Конечно, хорошо писать можно, лишь зная вглубь всем естеством. Но – где у него Чехов? (Для

него, боюсь, вообще Чехова нет.) И вообще: знать, увы, недостаточно. А его-то тянет найти лучшими деревенщиков, потому что, кроме крестьян, он никого в России не любит.

4) Сатира не нужна, – сказал он. Это, наверное, из-за Зиновьева, который действительно гадок. Ну а Войнович? Как вообще можно отменить какой-нибудь жанр? До того, как он написал «Теленка», он считал, что мемуары не нужны.

Иногда слышала я в этой беседе свои мысли, свои слова. Лень перечислять. Ну, например, что литература рождается *болью.*

Много говорил о Февральской революции, которую сейчас изучает по архивам. Слов, услышанных Володей, он не произносил – никакой либеральной сволочи (Володя по телефону уже признал, что ослышался). Но концепция такая: все загубила не Октябрьская революция, а Февральская. С этим я никогда не соглашусь. То есть: монархию надо было свергнуть, это свержение было органическим и потому совершилось легко и *празднично* (помню). Долой монархию – понимает ли он это? Не знаю. А вот что Временное правительство было слабо и сдалось даже без штурма – в этом он, наверное, прав. Прямо он насчет монархии не сказал, но понять можно его позицию и монархически. Жаль.

15 февраля 79, четверг, Переделкино, вечер. И я подумала о невосстановимости традиций – в искусстве, в гуманитарных науках. И похолодела. В искусстве ведь все уникально. Каждый человек – единственен; а художник? Не было бы, скажем, в России Жуковского – Господи! Не было бы Шиллера, Гёте, «Одиссеи» – да и Пушкину насколько труднее было бы пробиваться! А ведь Жуковский всего лишь счастливая случайность: один человек. И Солженицын – один. И каждый художник – один, и в нем нация теряет – сразу, в одном – целые слои культуры. В нем одном миллионы жизней. *Один* Блок – это целый мир, а потом смерть мира.

18 февраля 1979 г., Москва, воскресенье. А. И. (я слушала конец его интервью – большого – было очень плохо слышно) – А. И. заявил, что если мы будем воевать с Китаем, то миллиардный Китай нас уничтожит…

Прочла А. И. – гарвардскую речь[127]. Вот где гениальная проза – не менее гениальная, чем герценовская. Именно *проза* – в беллетристике он куда слабее. Что касается правильных или неправильных мыслей, то чувство правды – т. е. ощущение *его* правды – покидает меня, чуть он говорит о Средних веках и Возрождении, или – что Израиль хорошее государство, потому что религиозное. (Именно потому оно невыносимо.)

Сильно подозреваю: насчет Запада и его слабости он прав. Вообще для меня он прав, пока я его читаю – во всем (его прозу), потому что не бывают правы или неправы стихи. А мысли… Вот, например, он утверждает, будто Февральская революция была не нужна. Она была *слаба, оказалась слаба,* но падение самодержавия (охранки, черты оседлости, мещанства, поповщины, Распутина и распутинщины, *бездарности)* было – *счастьем.*

Он уже явился с нелюбовью к интеллигенции (уже в «Иване Денисовиче»), а потом она окрепла. (Нелюбовь.) Еще бы! Он ведь не понял ни АА, ни К. И. – в их очаровании – а остальное было шваль, партийная и беспартийная сволочь; вершина – Твардовский, да и тот не выпутался из Лакшина и Воронкова. Каверин? Порядочность, но не очарование.

Сколько я ему ни объясняла – я, в отличие от него пережившая 37–38, что в эти годы *не только* партийцев сажали, но и наилучшую интеллигенцию, – он не верил. А я же в очередях видела, как мало там было жен обкома – мало по сравнению с нами.

Нелюбовь к интеллигенции – это у него собственное, исконное, посконное.

Да, изгнание, разлука – тяжелая вещь. Вспомнила мой разговор с А. И. незадолго: «И я, если окажусь там, переменюсь?» – «И вы». И так и случилось. Потому что *здесь* он все же хоть изредка слышал что-нибудь поперечное себе (от друзей), а там уже ничего. Интервью же начинается прямо обращением к нашему тогдашнему разговору: «Я не переменился, я такой же»… Нет, милый и любимый, переменился.

Очень мне родное в «Гарвардской речи»: что нельзя человеческую душу все время снабжать потоком информации, рекламы и пр. Я тоже это очень болезненно ощущаю: когда работу души перебивают чужие рукописи, сообщения, голоса, сплетни и пр. Может быть, существуют нерабочие души? Как у Копелева? Им надо. А мне – нет.

28 февраля 79, среда, дача. И еще я об одном: какой у А. И. *русский* путь: от художества к нравственности. Гоголь. Толстой. Достоевский. Герцен (каждый по-своему, но – непременно). Пастернак… АА говорила: «Пастернак поставил себя *над* искусством». Удержалась, кажется, только она.

17 января 80, четверг, Переделкино. Прочла в № 127 «Вестника» интервью А. И. – Сапиэту[128].

Прозрения гениальные (напр., Афганистан им напророчен);

многое замечательно по уму и силе, но… он разоблачает Февраль. Так. Вероятно, февральская власть действительно была слаба и потому пришел Ленин, и она виновата. Но ведь Февральская революция свергла самодержавие – об этом он молчит. Самодержавие в это время было уже величайшей пошлостью. Свергнуть его надо было; Ал<ександра> и Н<иколай> – бездарности и пошляки. Их лучшесть сравнительно со Сталиным и пр. в том, что самодержавие не всюду лезло, и куда не лезло, там цвело, а куда лезло – там начинался смрад. Охранка – меньше охватом, чем ГПУ и ГУЛАГ, но охранка есть охранка. Сторонник ли он самодержавия – он молчит. Это дурно. Кроме того, он пишет, что

Февраль был делом всего двух столиц, а не страны. Ну, эти 2 столицы, быть может, стоили не меньше, чем страна. Он ненавидит Петра, Петербург, Ленина, Ленинград. А как же Пушкин, Ахматова, Блок – без Петербурга и Ленинграда? Затем хвалит «деревенскую» литературу. Там действительно удачи: Белов, Можаев. Ну а поэзия? А Войнович? Корнилов?

Ух, дорого обходится ему православие.

29 января 80, среда, Переделкино. Жена Владимова[129] – бедствие. Со мной она пыталась задираться и меня поучать, но я «держала себя с руками».

– Почему у вас в книге ничего не говорится о Слуцком?

– Да ведь я не даю стенограммы исключения Пастернака, к тому же Слуцкий 2 года в больнице. (Этого они не знали.)

– А каких поэтов вы любите? Тарковского, конечно, я надеюсь.

Я перечисляю аккуратно всех, кого люблю. Она:

– Самойлова не люблю. Прозаичен.

Я все радовалась, что А. И. она не трогала, но нет. Вот мы в передней, гости уходят. Он – с доброй улыбкой:

– В последнее время А. И. жил тут недалеко, правда? Он прислал мне приглашение на нобелевское торжество – 9 апреля, – и там был вычерчен план так аккуратно.

– Это, наверное, не сам он чертил.

Муж:

– Почему же не он? Артиллерийский офицер умеет чертить точно.

Я молчу. Она мне:

– Вы, наверное, считаете его сверхчеловеком.

– Я никого не считаю сверхчеловеком. Но у него есть чему поучиться.

– Он думает всегда только о себе.

– И поэтому он написал «Архипелаг»? – спросила я, учтиво открывая перед нею дверь и выходя вслед, чтоб вызвать лифт.

– Пример надо брать не с него, а с А. Д., – сказала она.

– Ну и берите. – Мы вышли на площадку.

– А об Ал. Ис. мы с вами еще поговорим, – сказала она.

– Нет, со мной об А. И. вам поговорить не удастся, – ответила я, улыбаясь, и помахала рукой – они уже оба были в лифте.

Да, она все время повторяла: «Я нервничаю… За Жорой машины хвостом». Я ей хотела сказать: «Примите валерьянки». Еще бы за Жорой не ездили – он подписал протест против вторжения в Афганистан…

14 февраля 80, четверг, Переделкино. А. И. выступил наконец против захвата Афганистана. Я все время ждала этого. И очень умно: что захват совершен не теперь, когда все завопили, а еще два года назад – о чем он и говорил в Гарварде.

13 марта 80, среда, Москва. Очень жалею, что нет выступления А. И. об А. Д.[130] Конечно, Горький не Колыма, но любое насилие над Сахаровым ощущается – увы! или ура! – больнее, чем над безвестными верующими. И ведь написал же А. И.: «Таким чудом был Сахаров». Был и остался. Но у него иерархия ценностей сместилась с тех пор – тогда тоже были ростки антиинтеллигенции, а теперь уж для него только и люди, что Огурцов[131] да Гинзбург. Я ему давно не пишу – отвечу, конечно, если напишет – и люблю и почитаю его по-прежнему. Великий человек, великий художник.

16 марта 80, воскрес., Москва. А. И. по-прежнему молчит об А. Д. и этим очень меня огорчает. Прочла в «Русской мысли» его статью о коммунизме, о том, что коммунизм останавливается, только наткнувшись на стену, о флотилиях камбоджийских беженцев, о безнравственности вооружения Китая[132]. Думаю, что он, увы! прав, но что, увы! ни на Западе, ни здесь его никто не услышит и не поймет. Факты неопровержимы, – где коммунизм – там уничтожение – но нет. Неохота никому в это верить. (Не говорю уж о старых большевиках: Гнедине, Копелевых, Лерт… Те всё будут каяться, а понять – ни за что.) Я же понимаю так, что коммунизм смертелен, как всякое рационалистическое, схематическое насилие над жизнью. Как всякий изм. Меньшевизм был бы так же смертелен, как большевизм. Жизнь должна развиваться изнутри, как развивается искусство. Христианизм также смертелен, потому что он есть теория, нахлобучиваемая на жизнь. А Бетховен или Блок или Ахматова – они жизненны; где

поэзия, там и жизнь, а где теория – там постановление 46 года.

28 марта 80, пятница, Переделкино. По радио – голос А. И. о священниках Дудко и Якунине. И голос – любимый, и сказано с полнотой совершенства – его совершенства! – но горько мне, что об А. Д. ни слова. Ход его мыслей мне понятен: те в тюрьме, этот в комфорте; те – священники, этот – ученый; понятен, да невнятен душе. Неужели Бог только в церкви, а Сахаров не служит Богу? Неужели ученый, которому не дают плодоносить, не та же разрушаемая церковь?

11 апреля, пятница, Переделкино, 1980. По радио – ужасы. Иран, Афганистан. Сбываются мрачнейшие пророчества А. И.: о непрочности разрядки, о гибельности коммунизма, о том, какие тяжкие испытания предстоят Америке, – но странная вещь: чем явственнее, тютелька в тютельку, сбываются его пророчества, – тем меньше верят ему люди, на чьих глазах все сбывается, и тем острее его ненавидят – и здесь и там.

А вчера я получила письмо от классика. Как всегда, первое чувство – счастье. А потом – нет. Есть какая-то натяжка в его письмах ко мне, слишком многое разъединяет, соединяет только его благодарность к нашему дому – ну, может быть, любовь к России. «У нас одна любовь, но не одинакая». О «Процессе» – мельком и формально. О пропаже 2-го тома – взволнованно и душевно – да он не очень-то осведомлен[133]. Но самое горькое – это его жалобы на эмиграцию. Да, жалобы.

Здесь он жил – что бы с ним ни было – никогда не жаловался. А тут поток жалоб – на всех. И большое для меня неудобство – жалуется на грубое, лживое выступление Эткинда. Как же мне быть – не могу я быть заодно с его врагами.

Пишет, что всем исподтишка дирижирует Синявский. Но вот какая странность в его жалобах: он пишет об Эткинде (как писал о Льве), что ничем его не задел, а тот кинулся. Конечно, у тех есть против него и личная обида, но ведь и политические разногласия в самом деле существуют. Ведь не говорит он впрямую, что разумеет под «выздоровлением России», а не впрямую, чужими устами, хвалит царизм, который многим (и мне) ненавистен, и церковь, к которой многие (и я) равнодушны. Он утверждает: все их обвинения против него – передержки и ложь.

Я, как всегда, ему верю…

19 июля 80 г., суббота, Москва, 3 ч. 30 м. Прочла в 23 № «Континента» рецензию Горбаневской на «Процесс» (никакую) и Буковского статью: «Почему русские спорят». Буковский очень

умен. В частности, умно упрекает и Чалидзе и А. И., что они отделяют правозащитное движение от темы свободы – а ведь второе входит в первое. Вообще он не очень защищает А. И. и не очень треплет Чалидзе, но сразу видно, что он живой и талантливый, а Чалидзе – мертвоват. Буковский чудно называет Медведевых «братаны».

13 декабря, суббота, 80, Москва. Еще события: письмо от классика. Длинное, доброе, грустное. Пишет, что вот мы не виделись уже 7 лет, он никогда о таких сроках не думал. Для меня этих семи лет как не бывало; то ли я уже умерла, то ли время остановилось – как я сама, – но я их не чувствую.

Буду ему отвечать – и вот это трудно.

11 января 81, воскресенье, Москва. С. Э. принесла мне известие, что Копелевы получили приветливое письмо от классика. Великодушен этот великий человек. Окажутся ли они достойны этого великодушия?

26 апреля 81, суббота, Москва. Читаю Белого о Блоке – тягомотина, а прочесть надо. Чтение прервалось «Вестником». Там мудрейшая статья А. И.; отрывок из Узла XVI (ни плохой, ни хороший: попытка влезть в шкуру императрицы Александры Федоровны).

16 мая 81, суббота, Москва. Сегодня я довольна – я уверяла С. Э., что классик непременно поздравит А. Д. с 60-летием. Мне никто не верил. И вот сегодня ночью я услышала по радио его поздравление. Сжато, умно, благородно, точно. Это А. И.134

14 июня 81, воскрес., Москва. От классика разоблачительное письмо об Америке и нужен «третий путь». А как же искать его без свободы речи и мысли? Вот и упираемся в А. Д.

Говорят, 21 мая у памятника Пушкину была демонстрация в его честь. Неизвестно, так ли.

В письме классика есть одна нота: мол, не огорчайтесь здешней критикой, она на самом низшем уровне. Не значит ли это, что была где-нибудь ругательная статья о 2-м томе – а я просто не знаю? Я вообще ни одной статьи о нем не знаю.

Люся[135] недовольна телеграммой А. И. – А. Д. Она все равно, конечно, была бы недовольна, что бы он ни прислал, но тут есть некая неточность в выражении у А. И., к которой она и прицепилась. «Ваш путь от избытка к.» Она говорит, что избытком он никогда не пользовался. Это уж дело характера – врожденный

неинтерес к материальным ценностям – но он до своих трактатов принадлежал к привилегированному классу (как, например, с известного времени Дед, или Дау[136]) – что ж тут говорить. А шагнул к угнетенным.

17 июля, суббота, Москва. Бедный Ал. Ис. обрек себя на разоблачение Февральской революции – а до того ли нам теперь?

29 ноября 81, понедельник, Москва. Письмо от А. И. В другое время оно сделало бы меня счастливой: он хвалит 2-й том, он послал мне лекарство… Но дальше об А. Д. Я ему писала, что А. Д. в ссылке погибнет – раз; и что меня огорчает его холодность к А. Д. – два. Он по этому поводу пишет, что он-то всегда был почтителен к А. Д., а тот «начал первый»; о Чалидзе, который его, А. И., оскорбил, а Сахаров согласился с Чалидзе; что Сахаров первый сказал: «идеология Солженицына опасна» и пр. Горько все это читать, хоть, может быть, он излагает отношения с А. Д. – правдиво. Его же идеология опасна тем, что он ее до конца не выговаривает и дает повод для самых различных толкований.

Дальше он защищает от моих нападок охранку: надо же было защищать государство! Нет, защищать государство Николая II совсем не надо было.

16 мая 82, воскрес., Москва. Думала о Сахарове и Солженицыне. Очень странные у нас представители нации. Сахаров объявляет себя западником. Между тем по характеру он – русский Иванушка Дурачок. Иван Царевич. Одно благородство, одни несчастья и абсолютная неспособность чего-нибудь добиться, при изумительной правоте. (Добился Лизиного отъезда; но это будем считать Люсиным достижением.) Наш Иванушка Дурачок – западник (это весьма по-русски, между прочим). Солженицын – наш славянофил. Между тем он с головы до ног – немец; он Штольц среди Обломовых. Точность распорядка по минутам; работа, работа, работа; цель, цель, цель; расчет, расчет, расчет – во всем этом ничего русского, напротив: он славянофил. А на самом деле все его славянофильство – любовь художника к своему художническому материалу, т. е. к языку. (В этом смысле и я славянофил.)

Все это славянофильство и западничество – «одно недоразумение»… это еще Достоевский сказал в речи о Пушкине. Насчет недоразумения – это и Герцен почувствовал. «У нас была одна любовь, но не одинакая». В искренность православия А. И. я не верю, т. е. он, конечно, не лжет, ему *кажется,* что он верит, а на самом деле в его целенапрвленном уме это грядущие доты и

дзоты. Вокруг церкви действительно можно объединить народ – всякий, на всех уровнях, – а движение за права человека никогда у нас не будет массовым, потому что у нас люди бывают возмущены неравенством пайков и жилья, но не более того. Общее сознание – не социалистическое, не буржуазное, а феодальное: ограбить сюзерена им хотелось бы, но необходимость сюзеренства они вполне признают. Никакого чувства чести и чувства собственного достоинства.

Солженицын пишет с раздражением о наших эмигрантах: все «я», «я», «я»; все заняты самоутверждением; и результат оказывается тот же: «никакого чувства собственного достоинства».

19 июня 82, суббота, Москва. Л. З. [Копелев]поносит А. И. Он, дескать, достоин жалости, ибо и писать стал плохо, и окружен плохо… Может быть и так, а все-таки даже если роман окажется неудачей (была же у Достоевского «Неточка Незванова», у Герцена «Кто виноват?» и хуже – «Сорока-воровка»), он все равно останется великим человеком и великим писателем. Окружение же всегда ничтожно у всех знаменитых людей.

24 июня 82, четверг, Москва. Кончаю радостью: коротенькое письмецо от классика. Как я люблю его почерк!

5 июля 82, воскресенье, Москва. Держу в руках № журнала «Life». Держать в руках этот глянец, эту смесь, эти фотографии белых и черных красоток – какое-то постельное пушечное мясо – очень противно. Однако тут же серия фотографий А. И., его жилье, его лес, его жена, дети, репортаж о его жизни. Лес и снег совсем русские, дом, видно, умен, удобен, прекрасен. Сам он живет в отдельном флигеле, а семья в доме. Работает по 12 часов. Хорошая фотография: он с тремя сыновьями; один – вылитый Митя, Алин сын, – будто время остановилось и я вижу того же Митю, который приходил к нам с конспиративными записочками.

И еще – А. И. мельком комментирует радио и говорит репортеру: «Сахаров заставил весь мир сосредоточиться на Алексеевой, и это дало Советскому правительству возможность расправиться с Польшей». Никто более меня не орал на Люсю за эту безобразную, потребительную и общественно-бестактную голодовку – но Польша тут ни при чем, а кроме того, выступать сейчас против А. Д. еще бестактнее, чем Сахарову было голодать за Лизу. А. И. сейчас благополучен, А. Д. в беде.

О Господи, за что нам это наказание: чтоб А. Д. и А. И. оказались не в ладу?

Много ли у нас таких, как они оба? Двое. И – в раздоре.

29 августа, воскресенье, 82. Москва. По радио – интервью с Никитой Струве. Голос самоуверенный. Грассирует по-дворянски. Интересно об А. И.: в 1983-м выйдет 2-томный «Август», где будет убийство Столыпина, в 1984-м – «Октябрь 16-го». Сообщает: литературное событие 83 г. будет «Август 14-го», а 84-го – «Октябрь 16-го»… Для меня – да, но вообще так не говорят: что именно будет литературным событием. Это надо предоставить критикам и читателям.

19 сентября 82, воскресенье, Москва. Ал. Ис. поддержал кандидатуру Леха Валенсы на премию Мира (Нобеля)[137]. Умница.

Киссинджер превознес Ал. Ис. Тоже умница. Рассказал, как давал «Архипелаг ГУЛАГ» Картеру, настаивая, чтоб тот прочел. Да, без этой книги ничего у нас не понять, а интересно, в каком десятилетии поймут эту книгу как художественный шедевр.

14 февраля 83, Москва, понедельник. [На дне рождения Елены Георгиевны Боннэр].

Заговорили о письме Солженицына – президенту (по случаю отказа Ал. Ис. приехать в Белый дом на завтрак) и об ответе на это письмо – со стороны Кронида Любарского[138]. В конце концов Лариса Даниэль прочла оба документа вслух.

Разумеется, письмо А. И. восхитительно. Уже одно то, что слышишь неиспорченный русский язык (как у Ахматовой) меня всегда пленяет. И уж конечно *не* ехать, чтоб не смешиваться с подлым Синявским, деревянным Чалидзе, и с другими – которые все, хорошие и дурные, ненавидят его – это его святое право. Полемизировать с ними в присутствии Президента? Зачем?.. Ну, потом Любарский. Нельзя сказать, чтоб неграмотно. Поначалу – мелкие шпильки, дальше серьезнее. Думаю, всем присутствующим Кронид ближе, чем А. И. Ну и бог с ними. Они делают *свое* дело, он – *свое.*

4 марта 83, Переделкино, пятница. Для 3 т., для одного разговора с АА, пришлось перечесть «Матренин двор» (она хвалила) и «Случай на станции Кречетовка» – она очень бранила: таких, мол, не бывает, как тамошний герой. (Таких были миллионы; это просто моя «Софья» в брюках.) Да, я перечла с восторгом – *как* это написано! Какая плотность, предметность, вещность! И, читая, думала: «Нет, А. И. человек не религиозный, он слишком вещен для религии, ни в чем никакой тайны, все деловито, сухо, точно»… А третьего дня вечером услыхала по

радио: ему присуждена в Лондоне какая-то премия за содействие религиозному возрождению в России…[139] Горько! Какой радостью для всех нас, каким торжеством была *та* его премия, за литературу! А здесь… Я не верю в его веру – раз; затем – Христос проповедовал бедность, а не премии; затем – на эти деньги он непременно построит церковь… Мечтал когда-то (мне говорил) «построить церковь, где будут выгравированы имена всех погибших в лагере и на войне». Теперь будет что-то другое.

8 апреля 83, пятница, Москва. Арестован Сережа Ходорович. Это – фонд А. И. Человек прекрасный, работающий, умный, твердый. С ним не будет, как с Репиным[140]. Не добьются.

21 мая 83, суббота, Москва. Сереже Ходоровичу предъявлена статья 190 (это лучше, чем 70), и он в Бутырках… О нем, я рада, много говорил А. И.

Объявлен новый распорядитель фонда: Андрей Кистяковский. Значит, нашелся еще один человек, добровольно идущий на гибель.

14 октября 83, пятница, Переделкино. А я совершенно загубила свои драгоценные переделкинские дни – сама. Я взяла читать «Наши плюралисты» А. И.[141] Все, что он пишет, для меня всегда важно, а тут еще – смешное совпадение! – в двух письмах недавно написала друзьям («туда») о плюрализме. Теперь они будут думать, что мы сговорились… Даже одно слово совпадает: «культуртрегерство»… Ну вот. Шрифт еле виден и потому глазоломен.

Ал. Ис., как всегда, *упоителен* – вдруг окунаешься в океан родного языка, в меткости, в гармонию *склада* и *лада.* Конечно, его доводы против плюрализма не совпадают с моими, конечно, многое несправедливо, многое вызвано его нелюбовью к интеллигенции – но в общем он прав… Наши с ним ненависти совпадают: Синявский. И его поношения Западу мне родные (по Герцену). Многое… От расового подхода, от антисемитизма и от других вин, на него возводимых, он решительно открещивается. Но за ним остается главная вина: он недоговаривает, чего он хочет от России в будущем, какого *строя,* и потому дает повод для кривотолков (решительно открещивается от «теократии»); и еще одна – его друзья дают *повод,* да и он *сам,* думать о нем дурно. Например, если он действительно признает за нацией, за чувством нации, лишь чувство преданности отцовским заветам, а не *кровь,* зачем он сообщил о Ленине, сколько в нем % еврейской крови?

11 февраля, суббота, Москва. Завтра – 10 лет со дня ареста Ал. Ис. По этому случаю я внезапно услышала – на даче, где меньше глушат, – по радио свое имя. «Лидия Корнеевна пошла»… «Л. К. сказала…» Это «Свобода» передавала «Теленка», да еще в каком-то новом варианте… Я вслушивалась, ловя новые фразы, но меня перебил телефон. Это было то место из «Теленка», где он описывает приход за ним в Переделкино. Я подумала: «Вот ведь красная тряпка для Союза накануне нашего суда»[142].

Жаль, что за 10 лет так разлюбили здесь многие – А. И. Собственно, любят его без оговорок только специфически православные круги. Разлюбили – в ответ на его нелюбовь к интеллигенции, на размолвку с А. Д., за нелюбовь к Февралю, за недоговаривание… А я разлюбить не могу, как не могу разлюбить Толстого за ненависть к врачам, нелюбовь к Шекспиру, непонимание стихов и мн. др.

28 августа 84, вторник. В ГДР наши выпустили огромным тиражом книгу «Мошенник» (об А. И.!), где фигурирует и Люша – и наврано, будто *она* ввела его в дом Чуковского. Это совершенная ложь: К. И. был первым, кто написал, по просьбе Твардовского, рецензию на «Ивана Денисовича» (с ним и С. Я. [Маршак][143]) и *сам* пригласил А. И. к себе на дачу…

5 июля 85, среда, Москва. Мельком по радио о болезни Ал. Ис. Дескать жена его, Нат. Дм., уже дала присягу и получила, с тремя детьми, гражданство в США, а присяга А. И. отложена из-за его болезни. И кольнуло в сердце. Тут все больно: и гражданство его в США – этого великого сына России, – и болезнь его, и мой разрыв с ним… Боже, сколько было вложено нашей общей и моей любви в этого человека! Какое было для меня счастье – шаги его за дверью, его шапка на вешалке, его редкая мне похвала. Кажется, никого, в кого я была влюблена, я не любила так сильно, как его. И море его, океан его русского слова в каждой его вещи. Кем было для всех нас чудо, счастье его слова. Я и сейчас люблю и его, и слово его (верное или неверное) и никогда не перестану любить.

Нравственность. Из чего она растет? А. И. объяснял мне, что без религии нравственность построить нельзя. Нет, из религии она не выводима, не построяема.

Искусство? Искусство также не учит нравственности, как и религия. *Талант* и *гений* соединимы с любым злобным действием,

бесчестным поступком, бесчеловечьем.

26 декабря 85, четверг, Переделкино. Читаю урывками – но с восхищением! – Дедову книгу о Некрасове (20-е годы). Сразу попадаешь в мир русского, еще не изгаженного ни канцеляритом, ни наукоподобием языка. Между К. И. и А. И. никакого нету сходства, но, еще не успевая понять, что и о чем они пишут – испытываешь радость погружения в родной язык. «И слушала язык родной. / И дикой свежестью и силой / Мне счастье веяло в лицо…»[144].

6 марта 87, Переделкино, пятница. На днях Би-би-си объявило, что Залыгин в Копенгагене объявил, что «Новый Мир» собирается печатать «Раковый корпус»… Ох, как это было бы умно – напечатать именно *эту* вещь сейчас! Объявил он, что вскорости и «Архипелаг» напечатают… Затем было объявлено – ТАСС, кажется: какой-то греческий корреспондент напутал, Солженицына печатать не станут.

14 марта 1987, Москва, суббота. Вчера (?) по радио интервью с Залыгиным по поводу слухов, что он будто бы сказал, что «Новый Мир» собирается печатать «Раковый корпус» и что будто бы ТАСС это опровергло. Теперь все прояснилось (из весьма политичного и тактичного интервью, которое дал Залыгин). Он сообщил, *будто бы* таково было его *личное* намерение; что 13 лет назад «Раковый корпус» чуть-чуть не был напечатан; что он считает Солженицына выдающимся писателем, хотя и не со всеми его политическими мнениями согласен. Мельком сказано: «нельзя же печатать без согласия автора». Итак, это был крючок, попытка нашей власти сговориться как-то с А. И. Не знаю, прав ли он, что *не* разрешил печатать, *если* от него не требуют за это каких-нибудь словес и признаний. Пусть напечатали бы. Но, наверное, взамен на какие-нибудь сожаления и надежды. А этого он, конечно, объявить не может.

8 августа 87, Москва, суббота. Большое огорчение: слушала по радио (по «Голосу», что ли?) главу Войновича о Солженицыне[145]. Лучше бы мне этого не слышать! Мелко, бестактно, даже не талантливо и, «против добрых литературных нравов», как сказала бы АА – со вторжением в домашнюю жизнь… Сатира, превращающаяся – быть может, против воли автора? – в пасквиль. «Читающая Россия» – вся, кроме интеллигентной интеллигенции, – *еще не прочитала сердцем* своим «Архипелаг» (т. 3! Сынки с автоматами!), «Правую кисть» – необходимейшие

вещи, – а ей уже преподносят сатиру на великого автора, который слишком о себе возомнил, собирается въехать в Россию на белом коне, а пока что избивает слугу розгами за потерянную слугою рукопись… Войновичу ли не знать, что такое *здесь отсюда* посланная и потерянная рукопись?.. Он не согласен с религиозными и политическими воззрениями автора? Я тоже. Вот с идеями-то и надо спорить (я спорила, пока могла, в письмах), а не оглашать на весь мир некий пасквиль, да к тому же еще с непонятным миру подтекстом… Жаль! Войновича жаль!.. Сейчас мне как раз надо написать ему письмо о мюнхенских делах, поблагодарить за заботу, за поздравление к 80-летию – а мне *переступить* через это его выступление – тяжко… И вызвано-то оно чувством мелким: личной обидой. Ал. Ис. его *обидел.* А т. к. чувство самолюбивое – мелко, а т. к. художественное произведение очень зависит от *толчка,* его породившего, *то* – неудача. Этическая и художническая. *Эмигрантская.* (Т. е. с утратой ощущения родины, масштаба людей, слов, событий, общественного такта.)

20 августа 87, Переделкино, четверг. Снова слушала Войновича об Ал. Ис. Нет, и этот – т. е. Вл. Войнович – на чужой стороне утратил такт, музыкальность. Не только никакого сходства с Ал. Ис. (я не догадалась бы, кто герой, если б мне не сказали) – но остроумие натужное, повороты сюжета не то чтоб прихотливые, но *произвольные.* Жаль – ведь Вл. Войнович всегда попадал в точку, брал нужную ноту. А тут – все мимо. Вот это и есть эмиграция.

6 февраля, суббота, 88, Москва. Иностранное радио сообщило – к Залыгину ежечасно приходят интуристы за № 1 «Нового мира», где «Доктор Живаго». Спрашивают его, будет ли напечатан «Раковый корпус» Солженицына. Он отвечает неопределенно. Зато директор Гослита на вопрос корреспондента – за границей! – будут ли печатать «Раковый корпус», ответил: «Ни в коем случае. Солженицын – Хомейни (привет Эткинду![146]) и собирается въехать на белом коне» (привет Войновичу).

8 августа 88, понедельник, Москва. Купаюсь в лучах Люшиной славы – в «Книжном обозрении» вышла ее статья «Вернуть Солженицыну гражданство СССР»[147] – и с тех пор звонки без конца. А перед тем (в пятницу?) был шквал звонков из редакции. Статью не пропустил Лит., но редакция напечатала на свой риск, за что и получила взбучку от т. Мамлеева, зам. главы Госкомиздата и мужа Клары Лучко. А я эти 2 дня живу в буре

телефонных звонков, восхищающихся Л. статьей.

29 августа 88, Москва, понедельник. «Книжное обозрение» перестало печатать отклики на Л. статью (жаль!), но зато напечатало переписку Солженицына с Шаламовым[148]. Значит, имя А. И. не запрещено?.. Руководящая пресса молчит.

А Солженицын, говорят, прислал письмо Залыгину… И, говорят, – получил наконец «Книжное обозрение» с Л. статьей и с откликами.

15 октября 88, суббота, Москва. Около 4/X, чуть раньше, Л. получила открытку от А. И. По-видимому, он прочитал ее статью и одобрил. Открытка не по почте.

Между тем здесь сейчас идет страстная борьба за напечатание «Архипелага» – борьба, в которую Л. погружена с головой, а я участвую так себе, косвенно.

Самые напряженные дни были у Л. совсем недавно. Срочная отправка писем в ЦК и лично Мих. Серг. по поводу запрета печатать главы из «Архипелага». (А. И. прислал в «Новый мир» Залыгину список глав. Залыгин приготовился дать анонс, уже отпечатана была обложка с анонсом… но недаром «верх» молчал, недаром центральная пресса не поддержала «Люшин зачин». Залыгин сказал Борисову[149], что анонс потребовали снять – и, кажется, с половины тиража его уже сняли… (Пишу это в воскресенье 16/X в Москве.) Ну вот. Составлялись письма в поддержку «Нового Мира» и «Архипелага». (А. И., естественно, хочет *сперва* его, как я хотела *сперва* «Софью».) Какое-то письмо «сахаровское» от Мемориала (туда меня не позвали), а какое-то – от Шафаревича и разных академиков. Туда меня незнакомый мне Шафаревич – позвал, позвонил лично в Переделкино. Голос не то чтобы молодой, а мальчишеский, а т. к. я никогда голоса его не слышала (один раз видела Шафаревича у Али, после ареста А. И.; они сидели и переписывались молча; я услышала только «Здр.» и ушла в другую комнату), и т. к. он в начале разговора не назвал себя – я долго думала, что тут какая-то провокация, и отбивалась…) Но, поняв, что и кто – сказала: подпишу. Письмо М. С. Горбачеву, составленное академиками. Подписей было много: трое академиков Владимиров, Федосеев (?), Голицын, один член-корр (Шафаревич), несколько писателей, скульптор, доктора наук, Целиковская, Л. Н. Гумилев (!) и, о ужас! Глазунов… Тут же Кома Иванов, Распутин (увы!), Жженов, Манин(?), Абрикосов – а потом прибавился и наш Недоступ[150].

…Вспоминаю: Крупин, Клыков, Мищенко, Абрикосов, Жженов, Манин.

17 октября 88, понедельник. К Люше (т. е. в ее комнату-шкаф и на кухню с тараканами) пришел Дима Борисов. Последние известия об «Архипелаге» очень дурны, хотя Дима говорит, что Залыгин ведет себя очень мужественно, пытается лично идти наверх и пр. С «Архипелагом» так: были пройдены все стадии разрешения, решительно всё, и разрешил уже Лит. и № 10 печатался (там анонс на обложке: в № 1 – «Архипелаг» Солженицына), как сверху позвонили в типографию и приказали опустошить обложку… Так. Слухи: часть была разослана уже (например, в Киев), а $^3/_4$ – нет и обложку срывают и вклеивают новую, без анонса.

30 октября 88, воскресенье, Москва. Вчера в 10 ч. утра в каком-то огромном зале состоялось *первое* учредительное официальное открытие Мемориала… АД – почетный председатель, перед ним цветы. В Президиуме разные лица – от бывших заключенных до всякой чертовщины-мертвечины – т. е. официальных чиновников. Зал – с амфитеатром – *полон.* Люша в публике на амфитеатре.

Выступает какой-то необычайный воркутянин с необычной биографией.

Ну, и всякие. Идет разговор о необходимости потребовать в резолюции возвращения Солженицыну гражданства и напечатания его книг.

Встает Изюмов[151] – сонный сытый чиновник, зам. подлейшего Чаковского – и говорит, что принимать такую резолюцию *не* следует, т. к. у них в «Лит. газете» лежат документы, показывающие, что А. И. С. в лагере был стукачом… Подлинники его доносов.

Люша закричала со своего места: «Вон из президиума! Ложь! Вон!»

Но зал огромен, ее не слышат.

Она сбежала с верхотуры вниз, домчалась до микрофонов, стоявших *перед* столом Президиума, схватила сразу 3 и прокричала в зал: «Позор! Вон из президиума, вон!» И ему в лицо прямо: «Как вам не стыдно!»

Скандал загасили умельцы. Л. села на свое место и умолкла. Устроители *извинились перед Изюмовым* (!!!). Воркутянин в поддержку Л. сказал: «Мы знаем, кто такой Солженицын, и плевать нам на ваши фальшивки». Ну и потом говорили о других предметах – каждый свое. Лариса Богораз, Лев Тимофеев (или до!).

Поставили на голосование резолюцию – и в ней, в частности,

говорится о необходимости вернуть А. И. С. гражданство и напечатать его книги в России.

Все голосовали *за* – даже Изюмов.

16 ноября 88, среда, Переделкино. В Киевской газете напечатано – проскочило! – «Жить не по лжи» Солженицына. Проскочило как-то; вообще же Л. сообщила мне, что никакого «Архипелага» и вообще Солженицына печатать *не* будут.

13 декабря 88, среда, Переделкино. Два или три поколения *не* читали книг Солженицына… А вот ведь – жаждут. Хотелось бы понять, в чем механизм славы – подспудной и вдруг извергающейся наружу, как вулкан?

Во вторник, за 2 дня до дня рождения, я послала А. И. С. телеграмму, весьма сухую и бездарную. Не знаю, дойдет ли?

19 января 89, четверг, дача. Ал. Ис. пишет (Люше), что он не мог бы приехать домой туристом, а если приедет – то навсегда, умирать. Это мне понятнее.

15 марта, среда, 1989, Переделкино. Радость: *доброе* письмо от А. И., до которого дошла кинолента, сделанная на вечере в Доме архитектора, и ему будто бы понравились мои слова о его феноменальной работоспособности, о том, как он с утра до ночи писал «Архипелаг»… Почерк его, любимый язык его, всегда меня ударяет по сердцу.

7 июня 89, среда, Переделкино. Звонил мне Бен Сарнов, специально, чтоб сказать, как он восхищен книгой «Памяти детства».

Однако я с неприязнью прочла его вступление к «Матренину двору», напечатанному, против воли автора (А. И. хочет начать с «Архипелага» и он прав), с предисловием Сарнова[152]. Хвалит – но в одном абзаце дает понять, что напрасно автора сравнивают – из-за поднятого вокруг шума – с Толстым и Достоевским, что этот избыток славы и несчастий поставил его вне критики и пр. Слово «шумиха» не употреблено, но подразумевается. И напрасно. Солженицын не Толстой и не Достоевский; он – Солженицын. Он русский классик. И не из-за шумихи, а потому, что «Матрена» – гениальная вещь. (Как, например 3-й том «ГУЛАГа» или «Правая кисть».)

12 июня 89, Москва, понед. Л. и Дима Борисов пишут какой-то протест в «Книжное обозрение» о мошенничестве «Огонька»[153]: там обещали извиниться перед А. И. за незаконное печатание

«Матрениного двора» – и не извинились.

30 июня 89, пятница, дача. Вчера позвонил вечером Дима Борисов и сообщил, что Залыгина вызывал Медведев[154] и велел *не* печатать «Архипелаг» в «Новом Мире». «Выпустим где-нибудь в Прибалтике». Залыгин апеллировал к кому-то выше (?), и там сказали: «Пусть писатели решают сами». По этому случаю сегодня срочно собран в 12 ч. Секретариат СССР СП, и там будут решать. Дима – полномочный представитель А. И. – там, но вестей еще нет.

24 октября 89, вторник, Москва (еще!). Вчера вечером – к Л. надолго, ко мне на 10 м. – Дима Борисов. Он пробыл в Вермонте неделю, а потом сколько-то в Париже, где жене его делали операцию на сердце. Положение хуже, чем ждали. Он едет за ней.

Вермонт – холмы и клены на холмах. (Участок «небольшой» – вдвое больше нашего.) Два дома, очень простые. Он работает в отдельном. Три этажа, балкон. Внизу архив. Во втором – библиотека. (Так ли?) Наверху несколько столов; на каждом – бумаги, он трудится с 5 ч. утра и до 9—10 вечера. Летом его чуть не съели волки – он летом работал в каком-то летнем домишке. Оглянулся – за плечом волк. Стая пробежала, уцелел. Очень отъединен от всего.

Самойлов прислал мне «Даугаву» со своими стихами («Пора!» – про архивы) и с переводами из Чака… Пора! – и в самом деле, пора ему «определиться» во времени (Самойлову)… Да, так в «Даугаве» главы из «Архипелага» – те, которых нет в «Новом Мире». Сразу берет за горло и влечет. Но как все великое – несправедливо! Почему такая лютая ненависть к «потоку 37-го?» 58-я – в 37-м – «политическая шпана»? Да если не считать меньшевиков, эсеров, троцкистов – 37 г. – это просто *людь,* и не политическая и не шпана… Прохожие. Пассажиры трамвая № 9. Они не заметили коллективизации? Да, не заметили. А мужички и бабы что, кроме коллективизации, заметили? «Слопали интеллигенцию, как чушка своего поросенка»…[155] «Они были грамотные, – укоряет А. И. С., – и много о себе писали – те, кто выжил – а мужики неграмотные и о себе не написали». Так. Я скажу: хорошо, что хоть грамотные-то написали. (Например, он и помогавшие ему интеллигенты…) Глава о «Благомыслах», впрочем, блистательная.

16 мая 1990, среда, Переделкино. Прочла «Новомирский дневник» ныне покойного Кондратовича. О Солженицыне умно, высоко – и в бешенстве на его неблагодарность… В общем,

Дневник достоверный и в сущности совпадает с «Теленком», только «точка зрения» другая. Гнев на А. И. естественен, потому что А. Т. [Твардовский] не понял тогда, что А. И. – не его поля ягода, что он давно уж выпал из системы и путь его высок – под куполом – а он, А. Т., и его журнал – всего лишь некоторое отклонение от норм советской печати и «Страны Муравии»… В общем – жаль А. Т.

16 августа 90, среда, дача. Сегодня объявлен указ о возвращении гражданства всем – т. е. и Солженицыну, и Войновичу, и Копелеву, и Владимову и т. д.

Это 1) запоздало, 2) совершенно справедливо, ура! 3) проку – *ноль.* Будут ездить взад-вперед, *мешать* работающим, давать интервью, *жить* своими наездами за границей. Главный же пафос сегодняшней жизни – *жить и работать здесь.* Это – шанс спасения страны! Ездить туда на отдых. Изредка.

19 августа 90, воскресенье, город. Аля Солженицына – «пресс-атташе» А. И. с негодованием ответила на Указ нашего правительства о возвращении А. И. гражданства – по его поручению, конечно, – что раньше, чем с него не снимут обвинения в измене родине (ст. 64) он никакого гражданства не примет… Все, конечно, продиктовано им самим, но… забыли они оба, что кроме правительства у нас существует сейчас «читающая Россия» – и что она ждет *его голоса,* без пресс-атташе, и что она заслужила это (добилась печатанья). И вообще высокомерие – не украшает. Конечно, ехать сюда ему сейчас не следует, *но* говорить с нами следует.

25 августа, суббота, Тверская. А. И. выступил сам. Слава богу. Но сквозь зубы. Поблагодарил Силаева[156]. Так. Заявил, что в гости и туристом не поедет, а приедет жить и умирать в Россию. Так.

Заявил, что книги его в России издаются мало, плохо, что их можно достать только в «Березке» для иностранцев… Вот это – дурные слова. Книги его издаются в изобилии.

Город, 16/IX 90, воскресенье. Ал. Ис. прислал с Екатериной Фердинандовной Диме статью. Из-за нее драка. Она пойдет в «Комсомольской правде» и в «Лит. газете»[157]. Мне сказал об этом Дима, звонивший Люше (а ее дома не было). Я говорю: «Он там отмежевался от «Памяти»?» – «О да, с первых же строк…» – «А как у него насчет Литвы и Кавказа?» – «Конечно отпустить…» Я: «А я вот насчет Украины и Белоруссии – мне хотелось бы, чтобы они

вместе с нами…» – «Да, он пишет о том же – то же… Но еще он многое пишет такое, чем будут недовольны все…» Гм. Жду.

19 сентября 90 г., среда, дача. Сижу и весь день читаю в «Лит. газете» статью – трактат – диссертацию Солженицына. Наконец-то! Поразительные совпадения мыслей – иногда даже и в способе выражения – всю первую половину: о необходимости дать мгновенную волю всем республикам; о том, что хорошо бы, если бы Украина и Белоруссия остались с нами; о школе, об учителях; об избыточности телевидения, журналов и газет. Но далее – когда начинается земство и вообще преобразования – тут уверенность покидает меня… Что касается создаваемых им архаических слов, то, конечно, радостно читать текст без непрерывных «проблем», «ситуаций», «аспектов», «задействовано» и пр., но не всегда и он удачно сочиняет. Напр., «избранцы» вместо «избранники». Он произносит это новое слово без оттенка пренебрежительности, между тем им же созданное «образованцы» – словцо презрительное, как и голодранцы, оборванцы, самозванцы… Правда, существуют и новобранцы – без этого оттенка. И иностранцы.

16/IX понедельник, 91. Оглушительная новость: Солженицын возвращается сюда. Сделал такое заявление! Я испугалась. Я никого из уезжавших навсегда или из изгнанных навсегда – не хотела бы видеть снова. См. элегию Ахматовой «Есть три эпохи у воспоминаний».

1 января 92, среда. После работы, в промежутке между работой и сном, хоть и болят уже глаза – но читаю. Вышел последний том Собр. Соч. А. И. С.[158] – «Раковый корпус» – я открыла посередине и начала читать – и не могу оторваться. Засасывает эта книга, несмотря на многие страницы чисто схематичные, нарочные, на которых он беллетризует искусственно свои мысли. Искусственно, но не искусно, а просто, чтобы *весь* свой нажитый в тюрьме взгляд *изложить,* и все взгляды – на предательство, на стойкость, на смерть, на любовь. Часто, чаще всего, это доведено и до *искусства* – и тогда прекрасно.

11 февраля 92, вторник. Читаю «Раковый корпус». Какой у Солженицына меткий глаз на *предметы* и на *поступки.* И характеры вырисованы четко. Но все его любимые врачи – Донцова, Гангарт – неинтеллигентны. Изо всех искусств если и знают, то только музыку (которую знает Решетовская). Он –

материален до корня ногтей – сам – и как это сочетается с религиозностью – не знаю. Он антимистичен по природе.

7 марта 92. Третьего дня (?) разразился скандал в «Новом Мире» – уже давно назревавший – в «солженицынском центре». Требовалось достать какое-нибудь помещение для солженицынских дел – куда люди письма пишут (отзывы на его книги), где заключаются договоры на книги А. И. С. и т. д. Тут снова включилась Л., раздобыла временную какую-то комнатушку в Доме Цветаевой, которым заведует теперь ее приятельница Эсфирь Семеновна[159].

15 сентября 93. Вчера помянуты по радио первые выступления А. И. в Европе, во Франции. Увы, всего лишь пересказ.

Говорит, что у нас еще много осталось от коммунистической власти и мышления, а что форма начального капитализма – безобразная. Прав.

5 марта 94. Кругом пошлейшие разговоры о Солженицыне. Конечно, не совсем близ меня, но где-то в окружности. (Знаю от Л. по Представительству.) «Все» интересуются, будет ли он президентом… «Все», даже Инайка[160], опасаются, не свернет ли он «направо» и не поведет ли какую-нибудь «правую» пропаганду. Никто не читает «Красное колесо» и вообще не читает Солженицына – ни старого, ни нового… Вчера по «Радио Свобода» была сказана о нем крупная гадость – о его возвращении в Россию (он произнес в Кавендише какую-то прощальную благодарственную речь Америке[161]). Так вот «Свобода» нашла противоречие между его словами в этом интервью о том, что в России он политикой заниматься не намерен, – а в другом интервью им было сказано: «я надеюсь еще быть полезным России». Как будто полезен человек может быть только *политически*… И напоследок: «По-видимому, Солженицын намерен придать человеческое лицо правым силам».

А я думаю о том, что жить им здесь негде: в городе он не хочет, дача безнадежна. Собираются жить в своем гараже… И это награда за все его подвиги, за «Архипелаг», за всё, за всё…

«Осень» Баратынского.

5 июня 94, воскресенье. А. И. С. вернулся в Россию, но не в Москву, а во Владивосток. Оттуда поехал в Хабаровск. По последним сведениям, уехал из Хабаровска – на 2 дня в Китай. С ним вся семья – кроме Ек. Ферд., которую привезут позднее, уже в

Москву или Подмосковье. Его поездку снимает Би-би-си. Я его видела один раз по телевидению. Опущены плечи, борода, ходит как-то в развалку – старик. 75 лет – не 50. Молодость и сила возвращаются, когда говорит. Тогда я узнаю его – по силе голоса: он – могучее создание природы, памяти и человеческой воли, перед которым я склоняюсь, как когда-то перед Ахматовой, *несмотря ни на что.*

Самое интересное – для меня – в этом его возвращении: буря открытой и ползучей ненависти – среди интеллигенции – которую он вызывает. Во всяком случае, не среди швали и пр., а среди моих друзей и знакомых. У каждого своя претензия. Зачем не с Москвы начал. Зачем продал фильм Би-би-си. Зачем его сыновья не в армии. Зачем его жена покупает все вещи (лампы, мебель, дверные ручки) не в России, а за границей. Зачем он предлагает всем свое спасение России? (Не сверху, а снизу?) Зачем не восторгается Горбачевым, который дал нам гласность? (Которая себя показала, скажу я от себя.) Кто ругает? NN, какие-то иногда звонящие мне иностранцы.

А я знаю только, как сожмется мое сердце и задрожат колени – оттого, что остановится лифт в нашем этаже и настанет звонок в дверь.

И это потому, что хорош ли этот человек или плох, он – Гулливер среди лилипутов – и, главное, потому, что вложено было в него мною слишком много страхов за него и из-за него: Люша на краю гибели несколько лет и гибель дачи

К. И., нашего музея, памяти о К. И., которого я любила восторженной любовью с 2-летнего возраста и люблю по сей день. Все это – А. И. С.

Самое потрясающая из прочтенного мною, увы! не литература… Евг. Бор.[162] доставил ксерокс из журнала «Источник»… Донесения Андропова в ЦК о Солженицыне, обо мне, отчасти о Люше, бегло о Саре, о Самойлове… Смрад[163]. «Так и пахнуло на меня тем временем» (Ахматова). Да. За нами следили ежеминутно и при этом низкие шпики *лгали* высшему начальству с перепугу.

За бракоразводным процессом А. И. следили так же пристально те же Демичев и Суслов. Подлая Решетовская не давала ему развода ни за что, когда у него уже была вторая семья, уже родился Игнат.

Чепуха о моем участии в сб. «Август 14-го читают на родине»[164], в котором я не участвовала – я о нем даже не знала.

Л. рассказала мне, как ее вызывали в КГБ; она не являлась, и ее грозили убить на улице.

Из доклада видно, что возле нас было много доносчиков, в

квартире была техника и что квартиру обыскивали без нас (об этом мы догадывались).

6 июня 94. Понедельник. Вечером звонок от Нат. Солженицыной, которая вернулась в Москву несколько часов назад. Бодрый добрый голос. Множество приветствий от А. И. С. и просьба «непременно его дождаться». Т. е. не помереть. Не знаю, искренни ли они со мною теперь, или это только благородная память о прошлом? Мне все равно; А. И. С. для меня всегда останется тем, кем был.

Наташа говорит, что поездка проходит очень радостно, что там, в Приморье, телевидение все показывает, а у нас – крохи… В самом деле, наши станции почти не передают его слов, а все больше как он не умеет мыться под рукомойником, а Ермолай плещется в океане… Ночью случайно я поймала «Немецкую волну» и услышала его речь – значительную и крупную и критическую относительно правительства… Я очень ему благодарна, что всюду он посещает кладбища погибших. (Если бы я – Левашово![165]) Резанула фраза: «Россия должна стать великой христианской державой». Вряд ли Христос желал какой-нибудь державы, а духовенство наше всегда вело себя позорно (см. похороны Лермонтова, например).

9 июля 94, суббота. Ал. Ис. продолжает свое путешествие, и наши газеты замалчивают его выступления или обливают его помоями… Ну черт с ними, с газетами, но ведь его дружно ненавидят все писатели наши, бывшие эмигранты. (Кажется, кроме Владимова.) И я поняла, почему. И Войнович, и Аксенов, и Копелев, и Коржавин (не знаю, может быть, он и ценит А. И. С.) – ну все перечисленные, возвращаясь сюда, бывали встречаемы восторженно. Цветы, аплодисменты, просьбы выступить еще и еще. Но вот вернулся в Россию он… и все их успехи померкли. *Так* их не встречали никогда и нигде. *Так* – только его… Они все – талантливы (Копелев тоже, хотя и не в литературе). И Войнович талантлив и Аксенов (даже). И все они – настоящие литераторы и мастера (в лучших своих вещах). Но никто из них не обладает масштабом Солженицына… Он – огромный человек, ставящий всегда перед собой *огромные* задачи. Всегда. Дело другое, всегда ли ему удается решать их… Аксенов недавно высказался об А. И. С. так: «зачем он поднимает столько шума вокруг переезда из одной дачи в другую». Это – наглость. Какой же переезд с дачи на дачу – через всю Россию? Опять его огромность, его масштаб – а у Аксенова «Метрополь». Цель – уехать из страны с политическим капиталом, с ореолом, а ведь «Метрополь» – это такая

ничтожность – в исполнении и в замысле. А у А. И. С. замысел, замах, всегда огромен.

26 июля 94 г. Понедельник. Сижу и жду А. И. С. Он должен придти с Люшей, Наташей и Би-би-си через 45 минут.

Было так. В день его приезда звонил Залыгин и предложил Люше ехать с ним на вокзал в его машине. Лил дождь, но гордая Л. отказалась. Поехала на метро, потом вся вымокла, вернулась раздраженная. Его видела и слышала издали. Море голов, зонтов, милиция, Омон, – толпа мерзавцев, орущих, что он агент ЦРУ, и часть толпы, кричавшая ему «ура». Тут же члены правительства: Лужков и еще кто-то.

И в тот же день, чего я совсем не ждала, он позвонил – сам – говорил с Люшей – и со *мной!*

Голос мне показался чуть *выше,* чем прежде. Может быть, он надорвал связки.

Разговор *краткий.* Вопрос о Люше – как добралась? Промокла ли? «Мне сказали, что она была в толпе». «А у вас, Л. К., голос совсем молодой, прежний. Я к вам приду завтра. В половине шестого». (Значит, в субботу?)

Всё. Я еле опомнилась от счастья.

Да, я не написала, что накануне я позвонила Сарнову и высказала ему со всею резкостью все, что думаю о его статье и о книге Войновича «2042»… И после звонка А. И. была счастлива, что уже высказала Сарнову *всё,* перед звонком ко мне А. И.

Дальше. С утра он позвонил Люше и просил 1000 извинений: в субботу (?) он не придет, а если можно в понедельник в 6.

Значит, через 30 м.

Потом мне под вечер позвонила Наташа и сказала, что вот, мол, они придут «на $2^1/_2$ минуты» *вместе* с Би-би-си. Чтобы фотографировать. Сначала я возопила в отчаянии. Значит, я должна буду *играть* нашу встречу после 20 лет разлуки! Я ей вопила в трубку. Потом согласилась: «Ну раз надо, значит, надо!»

А теперь рада. Потому что во вчерашних и сегодняшних газетах опять то же хамство: «Сим Симыч» и пр. Приличны только «Известия» и… коммунистические газеты… Они хотя бы точно передают его выступления, его слова. А не издеваются.

А я за это время *трижды* слушала (и слегка подглядывала[166], *с болью* в глазу) его выступления.

Они замечательны. И он сам – могуч. (Вижу, когда крупным планом.)

«Могучая евангельская старость.»[167]

Осталось 15 минут…

31 шюля 94, воскресенье. Я слушала на днях передачу интервью А. И. С. – о земельном законе, о земле. Не все мне понятно, это вне сферы моего зрения. Кроме того, у него под спудом – любовь к крестьянину, а во мне этой *особой любви* вовсе нет. Моя привычная любовь – интеллигенция. Но он сам каждый раз – мощь, красота мощи. Прав ли он в своих земельных предложениях – не знаю.

Да, ведь я не записала вовремя его приход к нам. Да, целый вечер пробыл у нас А. И. С. А я не записала ничего. Пишу обрывки. Наташа накануне обещала, что придут из Би-би-си всего на $2^1/_2$ минуты. Так и было. Ал. Ис. преподнес мне розы, и мы обнялись. Я сказала: «Верила всегда, что вы вернетесь в Россию, но не верила, что я доживу». Он ответил: «Я тоже сомневался, что доживу». Двое парней из Би-би-си снимали и записывали. Потом мы пошли в мою комнату, и они за нами. Снимали меня на моем рабочем диване… И ушли – в самом деле через $2^1/_2$ минуты. Они ушли совсем, а Л. и Наташа сидели около часа у Л. в комнате.

Что я запомнила?

«Они понимают по-русски, но ничего не поняли вокруг. Им все равно, Африка или Россия… Всю дорогу пили водку. Мне радушно поднесут – вообще я не пью – но, чтобы не обидеть хозяев, выпивал рюмочку. А они всю дорогу хлестали водку… По контракту я должен дать им еще неделю в Москве. Они сделали 250 снимков, но что сделают, что отберут, что выйдет – не знаю…» Я спросила: «Как же он виделся с людьми и говорил с ними *при* таких посторонних, да еще иностранцах? Люди бывают искренни только один на один».

Он ответил: «По контракту я имел право разговаривать один на один и этим правом пользовался».

(Умные о нем слова в статье Лурье[168] в «Невском времени» – приветственной – что прочла и полюбила Солженицына – интеллигенция, но, увы! без взаимности.)

Да, за ужином я имела бестактность сказать, что у Астафьева в статье два отвратных выпада против А. Д. и против людей 37 года. Они промолчали… Ведь А. И. – оппонент А. Д., а с Астафьевым может быть и друг, и людей 37 г. он тоже не чтит.

15 сентября 94 г. Л. принесла мне драгоценный дар от А. И.: «Архипелаг» с его надписью[169].

Мне и стыдно (выпросила) и радостно.

9 октября 94, воскресенье. Читала напролет перед сном № 6 «Звезды», весь посвященный А. И. С. Прочла как заново забытые мною его публицистические статьи. С «Покаянием и

самоограничением» не согласна совсем. Публичное покаяние не стоит ломаного гроша. (См. у Достоевского: Раскольников кается на Сенной площади – ему никто не верит.) Единственная форма покаяния – перед самим собой (т. е. *совесть).* Самоограничение – дело темное, потому что где граница неизвестно. А уж публичных покаяний мы слышали сколько! (См. Рекемчук, члены партии – и пр.)

Зато другие речи очень замечательны. Иногда вздрагиваю: откуда он знает мои мысли? Например, об одиночестве стариков.

28 октября 94 г., пятница. День исторического заседания Думы – выступал Солженицын. Я не знаю, в чем он прав, в чем не прав, но видеть великого человека в один из мигов его великой жизни – большое счастье.

Во время речи изредка раздавались легкие аплодисменты. Никто его не прерывал, и никто не мешал ему говорить. Но когда он кончил и сошел с трибуны – не раздалось ни единого хлопка. Жаль, из-за своей слепоты я хоть и ясно видела его – крупным планом, – но редко видела лица слушающих. Иногда вдруг мелькало передо мной чье-то серьезное, думающее (на то и Дума!) женское лицо.

Прав он, конечно, в том, что нам следует убираться с Кавказа и убрать свои войска из Узбекистана, Туркестана, Таджикистана и пр. мусульманских республик.

А вот насчет Казахстана мне неясно. Да, русских, живущих там (25 миллионов), надо, конечно, превратить в население России. Граница проведена Лениным была неверно. Надо исправить границу. Но почему нам нужно сближение с Назарбаевым, то есть с казахами (кроме украинцев и белорусов – с этими понятно), – я не знаю.

Он надеется на народ – т. е. проповедует местное самоуправление при сильной центральной власти. (Столыпин, земство.) Но – два вопроса: откуда должна взяться «сильная центральная власть?» И второй: способен ли сейчас наш народ к *самоуправлению?*

Однако прав ли он или не прав в своих предложениях и надеждах – обаяние его личности, воздействие его речи (без «рейтинга», «эскалации» и пр.), искренность, воля и темперамент – прелесть языка, мощь! – покоряют.

23 февраля 95 г., день Красной армии. Несколько дней тому назад отправили в Ленинград корректуру. Это было – чтение корректуры – как дурной и непрерывный сон, от которого никак не очнешься[170].

У меня был на другой день после получения корректуры Ал. Ис. Я, отложив чтение своей книги на день, прочла его 5 рассказов – более 100 стр. Большая честь для меня, что он дал мне читать и пришел слушать. (Наличие своей корректуры я скрыла.) Он был живой, подвижный, радостный – совсем молодой. Из его 5-ти рассказов 3 очень хороши: «Молодь», «Эго» и «Жуков». А два – плохи. Плохи потому, что они – один об учительнице («Настенька»), другой о писателе («Абрикосовое варенье») – а Солженицын *не может* писать об интеллигенции *изнутри,* не понимает ее величия и трагичности ее пути, хотя и пробует понять. Он (в этом сходство со мной) способен изобразить только «с натуры» (как я – Софью или Нину Сергеевну) – т. е. способен изобразить Ивана Денисовича или Ерку Жукова, или Твардовского (огромный литературный талант, но понятный А. И. С. потому что это талант *«из народа»),* а вот когда пробует изображать учительницу или писателя (Ал. Толстого), все становится приблизительным.

Я делала и мелкие замечания. Он слушал очень внимательно, по-доброму, и кое-что записывал. Не знаю, было ли ему интересно в самом деле… Потом, минут 20 (минуты были рассчитаны) пили чай с поданными Люшей любимыми А. И. С. пирожками.

После этого я один раз видела А. И. по телевизору – конечно, «видела» это условность – в беседе с Святославом Николаевичем Федоровым. Оба развивали свои теории – А. И. С. о земстве, а Св. Ник. о зарплате, о зависимости труда от зарплаты и пр. свое обычное. И тут мне впервые за все время, что я знаю А. И. С., бросилось в глаза его возбужденность и его измученность. Он махал руками, повышал голос – а Святослав Николаевич был совершенно ровен. К сожалению, Ал. Ис. о Чечне сказал совершенно мельком и не сердечно. «Большой дом» – т. е. Россия! – горит, страна погибает, и по сравнению с разрушением большого дома ужас в маленьком (т. е. в Чечне) не так важен. Он не прав. Россия, огромная Россия, уничтожает маленькую Чечню, и это позор, это напоминает позорную Финскую войну и тяжело скажется на *нравственности* русского народа. Грозный уже сметен с лица земли и многие села. Ельцин, Грачев, Степанков торжествуют и делают Ковалева и Юшенкова изменниками родины. Этим сильно понижается нравственный дух народа, об очищении и подъеме которого так заботятся А. И. С., Струве и пр., и пр… На каком уровне – насильников и злодеев! – вернутся оттуда наши юноши. Что будет с *их* нравственностью?.. Я не знаю, бандит ли Дудаев, но вокруг него сплотился весь чеченский народ, обороняющийся от чужеземцев… И все это из-за

газопровода, о котором можно было договориться без всякой войны.

22/IV 95, суббота.

Попытка что-то выудить
Из прорвы прожитой[171].

Начинаю с конца. В Чечне бойня продолжается… А. И. продолжает молчать. Из современных событий занят только земством и недостатками нашей системы выборов. А что бойня в Чечне есть не возвышение, а унижение русского духа, об этом не говорит. (По телевизору он выступает раз в 2 недели.)

А. И. через Люшу просил у меня почитать Корнилова и пришел в восхищение. Собирается писать ему письмо. Боюсь, В. Корнилов примет это за мои интриги. А я давно уже не пытаюсь давать ему никаких советов, – если он не спрашивает. Он живет в другом кругу – Наташа, православные, всякие ходоки из деревень – Струве, Алик Гинзбург – не знаю, еще кто… Теперь, со свойственной ему добросовестностью пытается наверстывать то, что упустил за 20 лет отсутствия. Берет у Л. и у меня книги – брал Самойлова, теперь взял Корнилова.

8 мая 95, понедельник. Ал. Ис. уехал праздновать День победы в Орел – он там воевал. Поехал в *общем* вагоне в сопровождении своего однополчанина.

А здесь на днях Наташа устроила в Представительстве (Козицкий) прием для женщин, побывавших на войне, а потом в лагере. Для 23 женщин-москвичек… Н. позвала Л.; Л. сначала не хотела идти, а потом все-таки пошла, нехотя.

А вернулась и рассказала, что все было замечательно уместно и хорошо. Большой, уставленный вкусностями стол. Приборы, и возле каждого – пакет с подарком. Женщины в опрятных платьях и с орденами вели себя очень достойно. Каждая рассказывала о себе – т. е. о войне и о лагере. Одна поведала: вернувшись с войны, рассказала, беседуя с друзьями где-то в гостях, что вот, мол, в Германии крыши черепичные, а у нас – соломенные. Кто-то донес. Тюрьма, лагерь. У нее был десятимесячный сын – его вырвали у нее из рук при аресте… Мужа выгнали с работы.

Все рассказы были в этом роде. Кроме того, все, почти поголовно, стремились возвратиться – после освобождения из лагеря – в партию. (Ушли на фронт в 16–17 лет комсомолками.) Все поголовно были потрясены XX съездом, потому что все «верили в Сталина» (это после пережитого ими!).

Рассказы страшнейшие. Одна женщина не могла говорить, а все время рыдала.

Плакала и Екат. Ферд., мать Нат. Дм. Стояла у двери. Оказывается, она разбирает ящики писем, получаемых Ал. Ис-чем. И в каждом – жалоба, рыдания.

12 мая 95. Выходка Ольги Георг. Чайковской против А. И. С. Она как-то звонила мне с вопросом: куда адресовать ему письмо? Хочет написать ему письмо о Чечне – так куда, и дойдет ли? Я сказала: пишите в Представительство и непременно дойдет. Потом наш разговор пошел совсем в другую сторону – о Ел. Серг. Грековой, о здоровье, о сборнике 500 русских писателей и пр. Адреса почтового на Козицком я не знала – она утром позвонила, чтоб узнать адрес – Люше. Л. ей приветливо сообщила.

И вдруг по «Свободе» – ее рассказ об ужасах в Чечне, творимых там нашими войсками и ОМОНом. И все это почему-то адресовано Солженицыну! Как будто он этого не знает, и как будто он причастен к творимым там ужасам!

Это письмо следовало адресовать Грачеву и Ерину. А при чем тут Солженицын? Она ставит ему в пример Короленко. Но, при полном уважении к Короленко, Солженицын никогда не притворялся в уважении к *советской* интеллигенции. Еще в ту пору, когда вся интеллигенция повально была влюблена в А. И. С. – Паустовский подметил его антиинтеллигентскую суть. Солженицын любит крестьян, верует в *их* красоту и силу, проповедует земство… Это *его* вера и *его* право – заниматься тем, чем *ему* (а не О. Г.) *хочется* и непременно тем, чего требует от него (сам помалкивая) аэропортовский дом. Л. в бешенстве повторяет: наше общество – общество взаимного неуважения. Почему, в самом деле, требовать единомыслия? Ведь не требует же А. И. С., чтобы О. Г. Чайковская писала непременно о земстве. А я не требую, чтобы она писала о Левашовской пустоши.

Солженицын раньше, чем она, написал о тогдашнем ОМОНе: «Сынки с автоматами». *Тогда* О. Г. Чайковская об этом молчала. А теперь он занят *другим делом.* (Он решает свои задачи *по очереди.* Как *сам* считает нужным. Ему 76 лет – его поздно учить.)

8 ноября 1995, вторник. С Ал. Ис. у меня никаких отношений нет, как никогда их не было. У меня – восторг перед ним, который не убывает. Великий писатель, великий *человек.* К. Кедров сообщил в «Известиях», будто Солженицын переживает «духовный кризис». Это после солженицынского «Все равно» в «Лит. газете» и «Молодь» и «Эго» в «Новом Мире»… Вскоре после этой и других статей – А. И. С. был грубо лишен телевидения. (Это ему на

пользу: сидеть дома и писать… Люблю его.)

Недавно критики: Сарнов, Лазарев, Рассадин и еще кто-то – выпустили общую статью, где расставили прозаиков и поэтов по рангам в соответствии с их вкусом. Там глупо все насквозь. А начало такое: 1) Владимов, 2) Солженицын… Какая чушь! Владимов – лучший ученик Солженицына. Оттого, что был и жив Солженицын, Владимов создал свой прекрасный, подражающий Солженицыну роман – «Генерал и его армия».

Читаю 1-й том публицистики Солженицына. «Жить не по лжи» удивительно, хотя и безумно. Каждое слово – драгоценный камень. Но напрасно он думает, что это нечто малое, нетрудное, всего лишь требуется не лгать. Да это то же, что броситься со всей семьей под трамвай – при советской-то власти! Можно было требовать тогда «всего лишь» не доносить, любить друзей, быть хорошим товарищем, не предавать дружбу. А *не* лгать!

Помню случай со мною. Я написала книгу «Декабристы – исследователи Сибири». Мне показалось это существенным открытием. Доказать, что они были не только политическими повстанцами, но *интеллигенцией* того времени, открывателями. Редакции книга нравилась. Но у меня требовали вставить – т. е. согласиться на фразу, ими вставленную: там, где я говорю о мечтании кого-то из декабристов – что вот, мол, какой может стать Сибирь, если разрабатывать ее богатейшие недра! – вставить фразу: «В наше время Сибирь и стала такою». И далее о подъеме при советской власти, о высокой добыче угля и пр. в наши дни. А я уже знала тогда, что вся Сибирь – сплошной концлагерь, что добывают там уголь и пр. богатства земли и строят дороги – заключенные. Но – сдалась. Мне было очень стыдно. Но я дорожила своим открытием – да и деньги нужны были. Сдалась, поправила фразы только «стилистически». Книга вышла. Ее хвалили – в печати Азадовский, в письме ко мне Оксман. (Ему особо понравилась одна фраза о суде над декабристами: «Началась трагедия следствия и комедия суда».) Однако книгу я считала загубленной и потом охотно переиздавала только главу о Николае Бестужеве: «Н. Бестужев, исследователь Бурятии».

Так вот А. И. С. требует: «всего лишь».

Вообще к интеллигенции он жесток, а главное – он не понимает ее. Образованщина! И все тут. «Интеллигенция перестала быть интеллигенцией, когда не заступилась за крестьян во время коллективизации». (А перечел бы «Мужиков», «В овраге» и «Новую дачу» Чехова.) – Когда крестьяне заступались за интеллигенцию – даже за земцев, врачей и учителей? Гениальной

литературы русской и живописи они и совсем не знали, не подозревали о том, что у них есть Пушкин и Блок. Не из крестьян ли выходили городовые, погромщики, а потом и следователи КГБ и охранники? Крестьян было миллионы, интеллигентов – сотни, ну может быть тысячи. Ну, вот теперь их совсем не осталось – почти. Конечно, среди интеллигентов много сволочи, и при царе было, и при советской власти, и теперь. Тем ценнее каждое интеллигентное лицо, которое не сволочь. Ценнее для всего народа.

Солженицын говорит мельком о том, что до Нобелевской его поддержала «тоненькая пленка». Я не знаю всего состава этой пленки, но те, кого я знаю, – сплошь интеллигенты… И сейчас, когда его отлучили от телевидения, протестовали, насколько мне известно, только интеллигенты. (Останки!)

У такой огромины, как он, и заблуждения огромны. Огромный человек, талант огромный. Для того чтобы стать гением, ему не хватает только интеллигентности!

13/X1 95, понедельник. Читаю публицистику Солженицына. Удивительная книга! Столько ума, пророчеств, и столько безумия и злости не по адресу. Написано все насквозь превосходно, дивишься языку, синтаксису, емкости слов – и привкусу безвкусицы и безумия. Ну почему, например, А. И. утверждает, будто русский и украинский народы понесли наибольшие потери в войне против фашизма? А Белоруссия – не понесла? Ведь на нее первую накинулись гитлеровские войска. И таких «почему» очень много, хотя много и ошеломительных правд.

И настойчивые призывы к «национальному сознанию», «национальному возрождению» – рядом с проклятиями – заслуженным и незаслуженным – по адресу интеллигенции. Как будто без интеллигенции возможно какое бы то ни было *сознание.* Интеллигенция и есть сознание. В древние века в России грамотность принадлежала только духовенству и древняя литература – вся рукописная! – принадлежала духовенству. Но что такое Россия и русское национальное самосознание без Державина, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Баратынского, Тютчева, Фета, без Достоевского и Чехова, Герцена, без Блока, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака? И можно ли отрицать наличие *советской культуры* – т. е. вычеркнуть все 60–70 лет русской истории? Разве Зощенко, Маяковский, Маршак, Замятин, Мейерхольд, Булгаков, Чуковский, Житков – это не «русская национальная культура»? То же и в драматургии, и в живописи, и графике, и в кино, и в балете? Куда же деть Уланову?.. И разве у великого Пастернака, у великого Мандельштама не было стихов –

к Сталину?

«Образованщина» – «образованщиной», но интеллигенция и самого Солженицына вынесла, выпестовала, подвергая себя смертельной опасности – и самого Солженицына. *Человек* он благодарный и благородный – воспел своих спасителей в дополнениях к «Теленку», – но мыслитель? А что был Самиздат – разве не национальное самосознание России? – интеллигентной России – и Сахаров? при всех его *политических* неточностях? Я не знаю, был ли Сахаров верующим и православным (сомневаюсь!), но человеком великой нравственности был он, а не Шафаревич. И почему, в чем русский народ показал себя *истинным* христианином? Только *в идеале, в поговорках,* в любви некоторой его части к церквам? А как же католики – итальянцы, французы, – они разве *не христиане* – потому что не православные?

Да ведь и читает-то Солженицына *только* интеллигенция.

Отлученная от интеллигенции неинтеллигентная Россия вся – по предсказанию объехавшего всю Россию А. И. – будет голосовать сплошь за коммунистов. А ненавидимая и презираемая им интеллигенция снова будет вымирать, погибать или продаваться.

Прочла Шаламова «Записи». Выпады против Солженицына мелкие, самолюбивые и прямо завистливые. Между тем «Архипелаг» – великая проза, новая не только новым материалом, но и новым художеством. Оттого читаешь. «Колымские рассказы» Шаламова нельзя читать. Это нагромождение ужасов – еще один, еще один. Ценнейший вклад в наши познания о сталинских лагерях. Реликвия. И *только.*

Упрекает Солженицына в деловитости. Да. А. И. деловит. Но в чем? В своем труде. (10 ч. в день.) И в распоряжении деньгами: отдавать политическим заключенным. Сейчас он мучается безнадежной болезнью друга: Можаева. Из записей Шаламова не видать, чтоб он за кого-нибудь (кроме себя) мучился. Жесток. Иногда весьма проницателен и умен.

21 ноября 95, вторник. Продолжаю минут 15–20 в день читать Солженицына.

17/XI прошла «презентация» 1-го тома солженицынской публицистики. Ал. Ис. туда не пришел. Он вернулся из Рязани, Орла (?) и Пензы и теперь засел на даче. Иногда говорит с Л. по телефону. Читает с восхищением (и каким опозданием!) Лидию Гинзбург… В разговоре со мною он упомянул как-то, что все 20 лет в Вермонте ни одной советской книги не прочел. (Теперь

наверстывает – но как-то остается *вне* современной русской литературы, точнее – литераторов.) Я прочла в «Русской мысли» его интервью в Пензе. Хорошее. Толковое.

Воспоминания

Предсмертие
О Марине Цветаевой

1

На телеграфном бланке, протянутом мне моей собеседницей, было крупно выведено:

«Асеев и Тренев отказали в прописке».

– Нет, такую телеграмму посылать нельзя, – сказала я. – Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии. Да и подумаешь – высшая инстанция: Тренев и Асеев! Да и подумаешь, столица – Чистополь! Здесь прописывают литераторов всех без изъятия. Были бы невоеннообязанные.

– А вы с Треневым или Асеевым знакомы? Беретесь уговорить? Без них нельзя. В Чистополе они представляют Президиум Союза писателей.

– Здесь я почти ни с кем не знакома. Я ведь ленинградка, не москвичка… К тому же я не член Союза и не член Совета эвакуированных. С чего Асееву или Треневу меня слушать?.. А скажите, пожалуйста, вам понятно, какого черта они не желают прописывать Цветаеву?

– Как! – Моя собеседница сделала большие глаза и перешла на шепот. – Вам разве неизвестно, кто она?

– Известно: Цветаева – поэт, очень своеобразный и сильный. Одно время была в эмиграции. Потом вернулась по собственной воле на родину. Ее муж и дочь арестованы. Она осталась одна с сыном. Ну и что?

– Тссс! – снова встревожилась моя собеседница. – Не говорите так громко. Мы не одни.

Мы и в самом деле далеко не одни. Тесное, душное помещение почти полным-полно.

Место действия – Чистополь. Небольшой городок на левом берегу Камы. Один из районных центров Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Центр не особенно центральный: 142 километра до Казани, 90 до ближайшей станции железной дороги. Время действия: конец августа 41-го года. Конец второго месяца войны.

Моя случайная собеседница, Флора Моисеевна Лейтес, женщина с ярко-черными волосами и в ярко-пестром платье, стоит в очереди к окошку, где принимают телеграммы, я же – к окну «до востребования».

Я прихожу сюда каждый день, но напрасно: ни от кого ничего.

Никакого ответа на мои непрерывные письма.

С Флорой Моисеевной Лейтес я еле знакома. В Чистополь московский Литфонд эвакуировал писательский детский дом, писателей-стариков, писателей-инвалидов, писательские семьи. Семьям ленинградских литераторов положено было вместе находиться под Ярославлем, в Гавриловом-Яме. Я же попала в Чистополь, а не под Ярославль потому, что война застигла меня не в родном моем Ленинграде, а в Москве, где я перенесла тяжелую медицинскую операцию. С первого же часа войны мною овладела неодолимая жажда вернуться домой, в Ленинград, но в июле 41-го с незарубцевавшейся раной, с постоянными болями в сердце пробираться в Ленинград – на буфере, на крыше вагона! – нечего было и думать. (Тем более что дорога Москва – Ленинград уже подвергалась налетам.) Когда мне стало чуточку лучше, меня, мою десятилетнюю дочь Люшу и четырехлетнего племянника Женю – всех нас троих под присмотром няни Иды отправили из Москвы с другими семьями московских писателей в Чистополь.

Во второй половине июля немцы в своем рывке на Москву уже захватили Смоленск, Ельню, Рославль. Двигались они и к Ленинграду. В начале августа до нас доползли слухи, что они уже на подступах к Киеву. Москву начали бомбить еще при мне, Внуковский аэродром (в нескольких километрах от Переделкина) – тоже. «Последние известия», объявляемые в газетах и по радио, не всегда бывали истинно последними: власти с нарочитой замедленностью объявляли гражданам о сдаче очередных городов, и граждане, как это повелось издавна, питались преимущественно слухами. К тому же радиотарелки вещали только в некоторых учреждениях, только на главных улицах или площадях. Да и газеты опаздывали.

Основное мое занятие в Чистополе: кроме очередей за керосином или селедкой стоять в очередях за вестями – за письмами. В очередях все больше женщины, вестей они ожидают все больше из армии. Я хочу знать и не знаю, где сейчас оба мои брата: оба на фронте, но где? и живы ли? Уехали ли из Москвы мои родители – и куда? и не разбомбили ли их квартиру в Москве или эшелон по дороге? Где все мои друзья – ленинградцы? Эвакуированы или остались, и в каком вообще положении Ленинград? Бомбят ли его? Обстреливают?..

В Чистополе, кроме меня, ленинградцев нет, расспрашивать некого. А почта в параличе. Каждый день я волочу сюда ноги по черной грязи, липкой даже в жару. Плетусь, одолевая одышку, и считаю свои шаги или, для разнообразия, окна домишек – чет или нечет? будет письмо или нет? Какое-нибудь от кого-нибудь? А вдруг из Ленинграда?

Сегодня мой последний шаг был четный. Значит – будет.

Флора Моисеевна задает мне свои вопросы о телеграмме Цветаевой в самую неподходящую минуту: от меня до почтового окошка всего три человека. Я отвечаю ей, думая совсем о другом.

– Так что же, по-вашему, делать? – теребит меня Лейтес. – Телеграмму ей посылать, по-вашему, не следует, а делать-то что?

– Настаивать! Хлопотать!.. Елабуга небось такая же дыра, как и Чистополь. Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывать здесь?

Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла. Наш пароход отплыл из Москвы 28 июля, прибыли мы в Чистополь, с пересадкой в Нижнем, 6 августа, а дней через десять все уже были прописаны.

Сначала меня с семьей, как и всех новоприбывших, поместили в здании педагогического училища, превращенном в общежитие. Потом я сняла комнату неподалеку от Камы на деревенской улице, носящей громкое, но малоподходящее для русско-татарско-чувашского городка название: улица имени Розы Люксембург. Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренева и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она безусловно не слыхала никогда ни единой. О Цветаевой она так же не слыхивала никогда ничего, как о любом другом литераторе, будь то Гладков, Чуковский, Лейтес или Александр Твардовский.

Нет, четное число шагов от избы до почты обмануло меня и на этот раз. Писем опять нет. Я отхожу от окна.

– А с Ляшко вы можете поговорить?

– С Ляшко? А он кто такой? Я никогда и в глаза его не видывала и не читала ни единой строчки.

Однако фамилия Ляшко – быть может, по совпадению окончаний? – напомнила мне о Квитко, о моем хорошем знакомом, поэте Льве Квитко, приехавшем в Чистополь на несколько дней навестить семью. Перед отъездом он обещал зайти ко мне. Поговорить о Цветаевой с Квитко – это разумная мысль. Он из тех, кто безусловно имеет вес в Союзе.

– Я попрошу Квитко, – говорю я, – а вы, очень советую вам, не посылайте пока телеграмму.

Флора Моисеевна пожимает плечами и кладет телеграмму себе в сумочку. Мы вместе выходим на улицу. Прощаемся: нам в разные стороны.

Итак, вестей нет, нет и нет. Нету писем. Вести же, сообщаемые нам в последние дни газетами и радио, таковы:

«Правда», 18 августа, понедельник

«От Советского информбюро. Вечернее сообщение.

В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские верфи взорваны».

19 августа, вторник

«После упорных боев наши войска оставили город Кингисепп».

21 августа

«Ко всем трудящимся города Ленина.

Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!

Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду.

…Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам! Победа будет за нами!»

Хотела бы я расшифровать строку: «Враг пытается проникнуть к Ленинграду». Проникнуть *к* нельзя. Проникнуть можно только *в*. В Ленинград? Значит, немцы уже вблизи, возле, вплотную? В Стрельне? В Колпине?

26 августа. Вечернее сообщение

«В течение 25 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили Новгород».

Оставили, оставили, оставили…

…что́? народу-то!
Что народу-то! с камнем в воду-то!

Приходит ко мне Квитко. Мне хочется разузнать у него, какие

вести, помимо газетных, из Киева – он сам с Украины, с Уманьщины родом, и Киев для него, верно, такая же боль, как для меня Ленинград. Квитко я знаю ближе, чем остальных здешних москвичей: он друг моего отца. Корней Иванович одним из первых заметил и полюбил стихи Квитко для детей, добился перевода их с идиш на русский язык, и Лев Моисеевич Квитко, после большого успеха своих стихов в русской поэзии, незадолго до войны перебрался в Москву. Теперь два-три дня пробыл в Чистополе: здесь жена его и дочь. Ко мне пришел накануне отъезда, расспросить поподробнее, что передать от меня отцу, если они где-нибудь встретятся.

Что передать? Чистополь – это настоящий капкан. Обрести здесь хоть какой-нибудь заработок безнадежно. Снабжение убогое, цены на рынке растут, а где работа? В Ленинграде я уже работала стенографисткой; писала кое-какие статьи; была редактором; могу быть корректором, но в Чистополе нет учреждений, нуждающихся в стенографистках, и уж конечно никаких издательств. Я могу преподавать русский язык и литературу, но в здешних школах все места заняты здешними учителями. Семейству моему денег, лекарств и продуктов, взятых с собою из Москвы, хватит, по моим расчетам, месяца на полтора. А дальше? А дальше наступит зима, Кама на зиму станет, навигации конец, железной дороги нет, и из капкана не вырваться.

Письма ни от меня, ни ко мне не доходят, я не знаю, где кто; я просила Квитко во что бы то ни стало разыскать Корнея Ивановича, все рассказать ему, а потом сообщить мне телеграфно, где мои родители, живы ли братья?

Квитко вглядывался в детей и в меня, в нашу комнату, расспрашивал о здоровье. О Киеве я заговорить не решилась. Неужели – оставят? Оставят Киев?.. Я очень этот город любила, жил он в моем сердце, пожалуй, на втором месте после Ленинграда. Да и не только город: там отец, и мать, и брат моего покойного мужа. Успели ли выехать?.. Да нет, быть того не может, чтобы наши отдали Киев! Этого имени я в разговоре с Квитко не произнесла. Но о Цветаевой, о безобразии, творимом Литфондом, заговорила. Ведь не ссыльная же она, сказала я, а такая же эвакуированная, как все мы, – почему же ей не разрешают жить, где ей хочется? Ведь не прикреплена она к месту. Квитко потемнел. Этот человек редкостного душевного равновесия не любил сталкиваться с несправедливостью. Она мешала его открытому и веселому нраву, воистину детскому – тому, который так счастливо слышен в его стихах. Она становилась поперек его вере. Он всегда внушал себе и другим,

что все будет хорошо, он любил в это верить, он этою верою жил… Лев Моисеевич обещал мне увидаться сегодня же с Асеевым, выяснить, в чем, собственно, дело, да и прямо от своего имени поговорить с Тверяковой. (Он был не только член партии, но и писатель-орденоносец – редкость по тем временам.) «Все будет хорошо! – повторил он несколько раз на прощанье. – Сейчас самое главное – каждый человек должен накрепко помнить: все кончится хорошо». Относилось это заклинание и к моим родным, и к войне, и к Ленинграду, и к Киеву, и к Цветаевой – и к самой жизни… Глядя на его сильные плечи, на крупные черты лица, чем-то, быть может, смуглотой, а быть может, щедростью улыбки, напоминавшие Пастернака, слушая его звучный голос, я на минуту поверила, что и впрямь все кончится хорошо.

(Лев Моисеевич Квитко был арестован в разгар «борьбы с космополитизмом», в 49-м году, и, после жестоких истязаний, расстрелян в 52-м. Думаю, он расстался с верой, что «все кончится хорошо», лишь в минуту расставания с жизнью.)

Я проводила его до ворот. Он обещал мне раздобыть все сведения о Корнее Ивановиче, увидать его или написать ему и непременно телеграфировать мне. Что же касается Цветаевой, он прямо от меня отправился к Асееву.

На следующий день я пошла искать аптеку: у Жени повысилась температура, глотать ему больно – по-видимому, ангина. Отправилась я добывать компрессную бумагу. Если не окажется в аптеке, зайду в писательское общежитие, там уж у кого-нибудь найдется. Там у меня завелось много новых знакомых, полузнакомых, четвертьзнакомых – недавних спутников по общему плаванию.

В этот день – думаю, было это 26 августа – и встретилась я впервые с Мариной Ивановной Цветаевой.

2

Было в Чистополе место, где неизбежно встречались все вновь прибывшие и прибывшие ранее: площадь перед горсоветом. Куда бы ни шел, а ее не минуешь. Иногда и нарочно завернешь туда. Там уж какую-нибудь новость и ухватишь: кого куда переселили из общежития; когда наконец выдадут керосин – а то здешние хозяева берегут дрова на зиму, своих русских печей не топят, а у нас у всех керосинки; и главное, главное – какие новости с фронта? Что означает: «враг проник *к* Ленинграду»? Немцы в Царском? В Стрельне? Немцы уже ходят по Невскому? Черная радиотарелка вещала на той же площади горсовета: она часто портилась, но кто-нибудь уж наверняка слышал последние

известия.

Из общежития, где мне подарили компрессную бумагу, шла я назад через эту всезнающую площадь. Пусто. И тарелка молчит. Как вдруг кто-то меня окликнул.

Это была та же Флора Моисеевна Лейтес. Она шла об руку с худощавой женщиной в сером. Серый берет, серое, словно из мешковины, пальто и в руках какой-то странный мешочек.

– Познакомьтесь: Марина Ивановна Цветаева.

Женщина в сером поглядела на меня снизу, слегка наклонив голову вбок. Лицо того же цвета, что берет: серое. Тонкое лицо, но словно припухшее. Щеки впалые, а глаза желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий.

– Как я рада, что вы здесь, – сказала она, протягивая мне руку. – Мне много говорила о вас сестра моего мужа, Елизавета Яковлевна Эфрон. Вот перееду в Чистополь, и будем дружить.

Эти приветливые слова не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой – ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонации. Я ответила, что тоже очень, очень… пожала ей руку и заспешила на почту.

Всю дорогу, шагая мимо шатких дощатых заборов, вспоминала я этот желто-зеленый взгляд и размышляла над этими неподходящими словами: «Будем дружить!» Разве мы девочки-школьницы, чтобы, увидавшись впервые, уславливаться: вот сядем за одну парту и будем дружить? А самое странное – я бы даже сказала, смешное! – это упоминание о Елизавете Яковлевне. Что могла Елизавета Яковлевна Эфрон обо мне рассказывать, да еще «много рассказывать», если встреча у нас с ней произошла одна-единственная и, мягко выражаясь, в высшей степени неудачная? Встретились мы в санатории Академии наук «Узкое», под Москвой. Я приехала вечером и оказалась за одним столиком с незнакомой дамой; завтра с утра ей уезжать. Полная дама, гораздо старше меня, лет пятидесяти, – и тем не менее настоящая красавица. Глубокие, темные глаза, ровные белые зубы и какая-то особая прелесть в мягком голосе, в мягких движениях, в серьезном внимании к собеседнику. Мы сказали друг другу «Добрый вечер!» и, не называя своих имен, за ужином разговорились. Разговор сначала был самый пустой, незначительный – о здешних врачах, о погоде, о режиме, но, не помню почему, речь зашла о «художественном чтении» – о недавнем приезде какого-то чтеца, что ли. Я, с детства наслушавшаяся, как читают поэты, высказала нечто нелестное об актерском исполнения стихов. Я слышала Антона Шварца,

Качалова, Яхонтова – и все они мне не нравились. «Они не доверяют стиху, – говорила я, – они думают, что к стиху надо еще что-то прибавить от себя: голосом, интонацией, жестом. А стих не нуждается в этом. Его надо только огласить, произнести, изо всех сил совершая вычитание себя, – вот как читал Блок, например. Он как бы перечислял слова – и только, с точнейшим соблюдением ритмического рисунка, разумеется… К тому же, – добавила я, – все это «художественное чтение» развращает слушателя, преподнося ему стихи в качестве некоего аттракциона, а на самом деле стих для поэта – плод глубочайшего сосредоточения, вслушивания – и восприятие должно быть результатом сосредоточенности». Моя vis-a-vis смотрела на меня молча, внимательно, даже как-то задумчиво, положив щеку на руку, словно посылая мне навстречу через стол очарование своих внимательных глаз. А наутро, когда она уже уехала, мне, в ответ на мои расспросы, объяснили, что это была наставница всех лучших актеров-чтецов, обучавшая их художественному чтению, режиссер, знаменитый педагог Елизавета Яковлевна Эфрон.

Помню, я тогда пришла в отчаянье от своей бестактности, резкости; я испугалась, что она приняла мою болтовню за преднамеренную грубость или за попытку учить ее уму-разуму.

И вот теперь от Цветаевой: «Я рада, что вы здесь, будем дружить, мне много рассказывала о вас Елизавета Яковлевна». Быть может, Марина Ивановна и сама не одобряет «художественное чтение» и по рассказу Елизаветы Яковлевны поняла, что я люблю стихи?

Писем не было. Зато из разговора в очереди на почте я узнала, что «после упорных боев наши войска оставили город Днепропетровск». Кто-то где-то слышал по радио.

На следующее утро, когда я, со стаканчиком меда в руке, возвращалась с рынка, на улице ко мне подбежала встревоженная девушка – совсем молоденькая, одна из чьих-то писательских дочерей (фамилии не помню) – и, подбежав, оглушила вопросом:

– Вы – член Совета эвакуированных? Совета Литфонда?

– Да нет же! Я вообще никто. Даже не член групкома. Я отправлена сюда потому, что я «член семьи писателя Чуковского».

– Господи, как не везет… Я думала, вы хоть член Союза. Тут нужен человек с именем. Но все равно. Идите. В помещении парткабинета заседает сейчас Совет Литфонда. Туда вызвали Цветаеву и там решают, пропишут ли ее в Чистополе. Она в отчаянии. Бегите скорей.

Чужая тревога повелительна. Я не стала объяснять, что и Цветаеву-то видела всего раз в жизни и для нее никто. Держа стаканчик перед собой, я заспешила в парткабинет. Не могу

сейчас вспомнить с уверенностью, но, кажется мне, помещался он в том же здании горсовета и был для меня местом известным: туда, хоть и с опозданием, доставлялись газеты, и даже нас, беспартийных, пускали читать.

Я старалась идти быстро. Кроме сильно колотившегося сердца, очень мешал стаканчик: нельзя было уронить ни капли.

По дороге пыталась я придумать, что же все-таки произнесу, если меня, паче чаяния, на заседание литфондовского Совета пустят? Ничего, кроме мысли, уже высказанной мною Льву Моисеевичу: «Она ведь эвакуированная, а не ссыльная и не лишена права передвигаться», – не лезло мне в голову. Но то, что я могла с глазу на глаз выговорить Льву Моисеевичу, стоило ли произносить публично? Упоминание о ссыльных или о правах только раздразнит начальство. Ах, доказательнее всего прочесть бы им вслух какое-нибудь из любимых моих цветаевских стихотворений (я знала тогда и любила немногое: сборник «Версты»). Неужели человек, создавший, написавший своею рукой такую мученическую и мучительную мольбу, такой упрек, такое воззвание к Господу Богу:

> …Чем прогневили тебя эти серые хаты, —
> Господи! – и для чего стольким простреливать грудь?
> Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
> И запылил, запылил отступающий путь…
>
> Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше.
> Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
> О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же
> Нынче солдаты! О Господи Боже ты мой! —

неужели поэт, *прорыдавший* эти слова, не прописал себя на веки веков в великой русской литературе, а значит, и в любой точке российской земли? Ведь это то же, что хоть и шепотом, но с тою же силою проговорила тогда же Ахматова:

> Закрыв лицо, я умоляла Бога
> До первой битвы умертвить меня.

(Вот ведь несхожие, чуждые друг другу поэты, а стряслась с Россией беда, и два голоса одарили нас одной и той же молитвой. Вопль: «Нет, умереть!» Шепот: «До первой битвы умертвить меня».)

…Лестница. Крутые ступени. Длинный коридор с длинными,

чисто выметенными досками пола, пустая раздевалка за перекладиной, в коридор выходят двери – и на одной дощечка: «Парткабинет». Оттуда – смутный гул голосов. Дверь закрыта.

Прямо напротив, прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая, – Марина Ивановна.

– Вы?! – так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. – Не уходите! Побудьте со мной!

Может быть, мне следовало все-таки постучаться в парткабинет? Но я не могла оставить Марину Ивановну.

Пристроив стаканчик на полу, я нырнула под перегородку вешалки и вытащила оттуда единственный стул. Марина Ивановна села. Я снова взяла стаканчик. Марина Ивановна подвинулась и потянула меня за свободную руку: сесть. Я села на краешек.

– Сейчас решается моя судьба, – проговорила она. – Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в Каму.

Я ее стала уверять, что не откажут, а если и откажут, то можно ведь и продолжать хлопоты. Над местным начальством существует ведь еще и московское. («А кто его, впрочем, знает, – думала я, – где оно сейчас, это московское начальство?») Повторяла я ей всякие пустые утешения. Бывают в жизни тупики, говорила я, которые только кажутся тупиками, а вдруг да и расступятся. Она меня не слушала – она была занята тем, что деятельно смотрела на дверь. Не поворачивала ко мне головы, не спускала глаз с двери даже тогда, когда сама говорила со мной.

– Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там – сплошь деревня.

Я напомнила ей, что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.

– Но тут есть люди, – непонятно и раздраженно повторяла она. – А в Елабуге я боюсь.

В эту минуту дверь парткабинета отворилась, и в коридор вышла Вера Васильевна Смирнова, жена моего приятеля

Вани Халтурина. С Верой Васильевной знакома я еле-еле, а с Ваней дружила издавна, еще в Ленинграде, еще чуть не со школьных своих времен. Ваня переехал в Москву и женился на Вере Смирновой. Теперь он в армии, а Вера Васильевна здесь, живет неподалеку от меня, и я, бывает, забегаю к ней наведаться: нет ли письма от Вани.

Цветаева поднялась навстречу Вере Васильевне резким и быстрым движением. И взглянула ей в лицо с тем же упорством, с

каким только что смотрела на дверь. Словно стояла перед ней не просто литературная дама – детская писательница, критик, – а сама судьба.

Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости, и в то же время не без смущения. То и дело мокрым крошечным комочком носового платка отирала со лба пот. Споры, верно, были бурные, да и жара.

– Ваше дело решено благоприятно, – объявила она. – Это было не совсем легко, потому что Тренев категорически против. Асеев не пришел, он болен, но прислал письмо *за.* («Вот и разговор с Квитко», – подумала я.) В конце концов Совет постановил вынести решение простым большинством голосов, а большинство – *за,* и бумага, адресованная Тверяковой от имени Союза, уже составлена и подписана. В горсовет мы передадим ее сами, а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете – сообщите Тверяковой адрес – и все.

Затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова – там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала:

– Что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской столовой, то заявлений очень много, а место одно. Сделаем все возможное, чтобы оно было предоставлено вам. Надеюсь – удастся.

Вера Васильевна простилась и ушла в парткабинет заседать. А мы по лестнице вниз.

Я ничего ни от кого не слыхала ранее ни о грядущей столовой (какое счастье! керосин придется добывать только для лампы!), ни о месте судомойки, на которое притязает Цветаева. О, конечно, конечно, всякий труд почетен! И дай ей Бог! Но неужели никому не будет стыдно: я, скажем, сижу за столом, хлебаю затируху, жую морковные котлеты, а после меня тарелки, ложки, вилки моет не кто-нибудь, а Марина Цветаева? Если Цветаеву можно определить в судомойки, то почему бы Ахматову не в поломойки, а жив был бы Александр Блок – его бы при столовой в истопники. Истинно писательская столовая.

– Ну вот видите, все хорошо, – сказала я, когда мы спустились на площадь. – Теперь идите искать на Бутлерову, а потом к Тверяковой.

И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.

– А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.

– Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.

– Все равно. Если и найду комнату, мне не дадут работы. Мне

не на что будет жить.

Я стала ей говорить, что в Совете эвакуированных немало людей, знающих и любящих ее стихи, и они сделают все, что могут, а если она получит место судомойки, – то и она и сын будут сыты.

– Хорошо, – согласилась Марина Ивановна, – я, пожалуй, пойду поищу.

– Желаю вам успеха, – сказала я, освобождая свою руку из-под ее руки.

– Нет, нет! – закричала Марина Ивановна. – Одна я не могу. Я совсем не понимаю, где что. Я не разбираюсь в пространстве.

Я попыталась объяснить ей, что мне непременно надо побывать дома. Что у меня хворает Женя. Что вообще я должна побыть с детьми. Что должна донести до дому мед – он детям обещан, и они ждут его.

– Хорошо, – согласилась Марина Ивановна с внезапной кротостью. – Я пойду вместе с вами, подожду, пока вы будете там возиться, а потом мы вместе пойдем на Бутлерову.

Мы шли по улице Льва Толстого. Я вела под руку Марину Ивановну, а в другой руке держала стаканчик.

– Я знаю вас всего пять минут, – сказала Марина Ивановна после недолгого молчания, – но чувствую себя с вами свободно. Когда я уезжала из Москвы, я ничего с собой не взяла. Понимала ясно, что моя жизнь окончена. Я даже письма Бореньки Пастернака не захватила с собою… Скажите, пожалуйста, – тут она приостановилась, остановив и меня. – Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?

– Сто́ит – не сто́ит – об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит, и уж во всяком случае все равно – как и где. Но у меня дочка.

– Да разве вы не понимаете, что все кончено! И для вас, и для вашей дочери, и вообще.

Мы свернули в мою улицу.

– Что – всё? – спросила я.

– Вообще – всё! – Она описала в воздухе широкий круг своим странным, на руку надетым мешочком. – Ну, например, Россия!

– Немцы?

– Да, и немцы.

– Не знаю. Я не знаю, захватят ли немцы Россию, а если захватят, надолго ли. Я и об этом размышляю мало. Я ведь мобилизована. Мобилизованным рассуждать не положено. Сейчас на моем попечении двое детей, и я за них в ответе. За их жизнь,

здоровье, покой, обучение, веселье.

Я рассказала ей, как, когда пароход наш еще совсем недалеко отплыл от Москвы и качался, весь темный, в черной тьме, неподалеку от какой-то ТЭЦ, – немцы налетели на ТЭЦ и начали бомбить. Бомбили они не пароход, не нас, а ТЭЦ, но бомба легко могла угодить и в нас. При каждом взрыве пароход вздрагивал – весь, от носа до кормы – весь вместе с нами. Я держала Женю на коленях, а Люшу за руку. Сказать по правде, боялась я отчаянно. Жила от вздрога до вздрога. Вспоминались слова Хемингуэя из романа «Прощай, оружие!»: «Сиди и жди, когда тебя убьют…» Сидела и ждала. «Насколько легче бойцам в окопах, – думала я тогда. – У них в руках винтовки, а не детские руки». Дети же не боялись, потому что привыкли верить, что если Ида и я рядом, то ничего худого случиться с ними не может. В темноте я читала им на память пушкинского «Гусара». Собственно, читала я для Люши – это ведь совсем не для четырехлетних! – но Женя заливался хохотом, хохотал до слез, я еле удерживала его у себя на коленях, хохотал так буйно, так безудержно, что даже взрослые, совсем не расположенные смеяться, – и те в промежутках между разрывами смеялись (не над «Гусаром», – над Женей). Сейчас и он и Люша знают уже всего «Гусара» наизусть. Четырехлетний Женя, ростом прекрохотный, с полуторагодовалого, а говорит длинными, законченными фразами, десятилетнему впору. В Чистополе хозяйские мальчишки (двенадцати и четырнадцати лет) смотрят на него как на дрессированного лилипута, ходят за ним по пятам, а он читает им:

Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгнул ухват, за ним лохань.
И оба в печь. Я вижу: худо!

Гляжу: под лавкой дремлет кот;
И на него я брызнул склянкой —
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.

Я ну кропить во все углы
Сплеча, во что уж ни попало:
И всё: горшки, скамьи, столы.
Марш! марш! – всё в печку поскакало…

– «Понюхал: кисло! что за дрянь!» – это стало теперь поговоркой у Люши и Жени, – сказала я Марине Ивановне.

Она слушала меня безо всякого интереса. Так подошли мы к моей избе. Я предложила ей зайти, взглянуть на детей, но она сказала: «Нет, я лучше покурю на завалинке» – и села у наших ворот курить.

Стакан с медом встречен был ликованием. Оказалось, Ида выстояла в очереди керосин, и дети были накормлены настоящим обедом: щи и макароны. Ида попробовала накормить и меня, но от усталости я совсем не хотела есть: проклятая базедова и после операции давала себя знать слабостью, сердцебиениями. Прилечь бы! Я высунулась в окно и предложила Марине Ивановне пообедать.

– Нет, нет, – сказала она, пахнув на меня папиросным дымом. – А вы будете заниматься своими детьми еще не очень долго?

Я переменила Жене компресс, измерила ему температуру. Слава богу, почти нормальная. Наскоро спросила у Люши английские слова, которые были заданы ей по книге «Through the Looking-glass» – эту книгу (продолжение «Алисы в стране чудес» Carroll'a) сунул мне на прощанье в чемодан Корней Иванович. Все это я делала дурно, торопливо, наспех – меня подстегивало нетерпение Цветаевой.

Под укоризненным Люшиным взглядом я вышла на улицу. Марина Ивановна сидела, прислонившись к стене, а рядом с нею разложены клубки шерсти: белый, голубой, желтый. Я никогда таких не видывала. Словно это не шерсть, а нежный склубившийся дым – клубки, пушистые, мягкие, так и просились в руки, их так и хотелось гладить, будто цыплят, котят. Марина Ивановна вскочила, бросила папиросу в сторону, клубки засунула в свой мешочек и снова взяла меня под руку.

Я повела ее на улицу Бутлерова. (Великий русский химик родился в Чистополе.)

– Дети, дети, жить для детей, – заговорила Марина Ивановна. – Если бы вы знали, какой у меня сын, какой он способный, одаренный юноша! Но я ничем не могу ему помочь. Со мною ему только хуже. Я еще беспомощнее, чем он. Денег у меня осталось – предпоследняя сотня. Да еще если б продать эту шерсть… Если бы меня приняли в судомойки, было бы чудесно. Мыть посуду – это я еще могу. Учить детей не могу, не умею, работать в колхозе не умею, ничего не умею. Вы не можете себе представить, до какой степени я беспомощна. Я раньше умела писать стихи, но теперь разучилась.

(«Разучилась писать стихи, – подумала я, – это, наверное, ей только кажется. Но все равно – дело плохо. Так было с Блоком… незадолго до смерти».)

3

Мы шли по набережной Камы. Набережная – это просто болото, с перекинутыми кое-где через грязь деревянными досками. Мы то и дело отцеплялись друг от друга и шли порознь – я впереди, она за мною. Но в одном месте доски сдвоены, и мы снова оказались почти рядом. Слова Марины Ивановны напомнили мне о беспомощности Анны Андреевны – в последние годы я близко наблюдала ее быт в Ленинграде. Где-то она теперь, Анна Андреевна? Что с ней? Что с Ленинградом? Мне бы Люшу и Женю доставить своим родителям, а самой туда – там мое место. Уехала ли из Ленинграда Ахматова? Кто сейчас возле нее? Увидимся ли мы когда-нибудь?

(Откуда мне было знать: и двух месяцев не минует, как Анна Андреевна приедет сюда, в Чистополь, поселится у меня, и я поведу ее этой же дорогой, по этим же доскам, и скажу: «Вот здесь я шла с Мариной Ивановной». И умолкну, вспомнив продолжение.)

– Одному я рада, – сказала я, приостанавливаясь, – Ахматова сейчас не в Чистополе. Надеюсь, ей выпала другая карта. Здесь она непременно погибла бы.

– По-че-му? – раздельно и отчетливо выговорила Марина Ивановна.

– Потому, что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не может. Даже и в городском быту, даже и в мирное время.

Я увидела, как исказилось серое лицо у меня за плечом.

– А вы думаете, *я* – могу? – бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. – Ахматова не может, а *я,* по-вашему, могу?

Я вовсе не думала, что она может. Я просто выговорила вслух – весьма некстати! – постоянную свою тревогу.

Я и сама не могла бы – не будь со мною Иды, ее крестьянской выносливости, ее крестьянских умений (Ида была раскулаченная финка из-под Ленинграда). Не будь у меня денег Корнея Ивановича и прочной надежды, что он вытащит нас отсюда раньше, чем Кама станет, – вызовет куда-нибудь, где найдется для меня самостоятельный заработок.

Полминуты простояли мы молча – Марина Ивановна тяжело дышала после крика, – потом двинулись дальше. Мне было стыдно: она так нуждалась в полноте участия! а я, своей мыслью *не о ней,* причинила ей боль. Мы свернули с набережной в узкую улицу. Нравилось мне это место более других: чище.

– Вот и Бутлерова, – сказала я.

– Какая ужасная улица, – сразу отозвалась Марина

Ивановна. – Я не могу тут жить. Страшная улица.

– Хорошо, поищем другую. Но сейчас зайдем на минутку к моим знакомым, Шнейдерам. Посоветуемся. Вам они будут рады, за это ручаюсь. Они уже огляделись вокруг – посоветуют, где искать.

Ручалась я за Шнейдеров – Михаила Яковлевича и жену его, Татьяну Алексеевну Арбузову, с полной ответственностью, хотя знала их мало или, точнее, недолго. С Михаилом Яковлевичем познакомилась я в 1939 году в Крыму, в одном из туберкулезных санаториев, где умирал – и вскоре умер – мой молодой друг, поэт и критик, Мирон Левин. Там лечился тогда и тяжко больной Михаил Яковлевич. (Специалист по кинодраматургии.) Он был чуть не вдвое старше Мирона, а потому и туберкулезный процесс развивался у него медленнее. Там, в уходе за Мироном, мы и подружились. Потом я уехала в Ленинград, и встретились мы снова уже во время войны, 28 июля 41 года, на пароходе. Здесь он познакомил меня со своей женой, Татьяной Алексеевной (в прошлом женой Арбузова, в будущем – Паустовского). И Михаил Яковлевич и Татьяна Алексеевна в трудном нашем пути поразили меня своей сердечностью, а Татьяна Алексеевна к тому же – энергией, спокойствием и физической силой. По правде сказать, если б не она – вряд ли благополучно завершилось бы наше путешествие. В Нижнем, при пересадке на другой пароход, оказалось, что даже с помощью Иды – она тащила на спине и в руках все наши вещи, да и Люша несла один чемодан – ни я, ни дети не в силах выбраться вместе с толпой и сквозь толпу с парохода на берег. Два потока – выходивших и валом валивших навстречу – крутили нас, толкали, швыряли. Я беспомощно моталась на нетвердых ногах, прижимая к себе Женю и держа за руку Люшу. (Сколько я видела потом в Ташкенте детей, потерявшихся при таких пересадках! Не под бомбами даже, а попросту в дороге! Станция, вокзал, пристань… Детей, разлученных с матерями на годы, а порой навсегда.) Вот тут и пришла мне на выручку большая, сильная, добрая Татьяна Алексеевна. Хотя она ничего не давала нести своему больному мужу, хотя сама волокла на плечах тяжелый тюк, – она вырвала у меня из рук Женю, вышла на берег, передала его Иде и еще раз успела возвратиться на наш пароход и вывести за собой сквозь толпу на берег меня и Люшу. А ведь суда – как эшелоны – двигались в ту пору без расписания, и каждая лишняя минута могла обернуться для нее разлукой с мужем.

И в Чистополе, в заботах о больном, харкающем кровью Михаиле Яковлевиче, она находила время и силы, чтобы забежать к нам и преподнести то мыло, то коробок спичек, то леденцы.

Жили Шнейдеры бедно и трудно, надеяться тут на какую-нибудь работу и им было нечего, но я ни разу не слыхала от них ни единого жалкого слова.

Итак, я твердо знала, что веду Марину Ивановну к людям сердечным и деятельным, но и я не ждала такого приема, какой они оказали ей. Татьяна Алексеевна сразу и не без торжественности поблагодарила меня за то, что я привела к ней столь дорогую гостью. «Всю жизнь мечтала познакомиться с Мариной Цветаевой», – сказала она и точно пароль прочитала строку: «У меня в Москве купола горят»… Освободив Цветаеву от пальто и мешочка и усадив ее за стол, Татьяна Алексеевна спросила:

– Скажите, Марина Ивановна, как вы могли в 16-м году провидеть близкую смерть Блока?

Думали – человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек.
– Плачьте о мертвом ангеле!

Откуда взялось у вас такое предчувствие?

– Из его стихов, конечно, – ответила Марина Ивановна. – Там все написано.

Через десять минут на столе, застланном ослепительно белой наволочкой (в комнате все сверкало, как в хорошей больничной палате: Татьяна Алексеевна, добиваясь антисептики, мыла пол и окна ежедневно), на столе стояли: кипящий чайник, аккуратными ломтями нарезанный черный хлеб и, вместо сахара, – леденцы. Марина Ивановна пила большими глотками чай, отложив папиросу, а Михаил Яковлевич, умоляюще глядя на нее блестящими больными глазами, просил ее курить, не стесняясь его непрерывного кашля. Спокойно, весело, плавно двигалась по комнате полная, светловолосая Татьяна Алексеевна, расставляя раскладушку и расправляя простыни. «Ни в какое общежитие мы вас больше не пустим, – говорила она. – Там грязно и тесно. Вы будете у нас читать стихи, потом обедать, потом спать. Утром пойду с вами вместе искать комнату – поближе к нам, – у меня на примете их несколько. Я здесь уже всех хозяев изучила… Стихи будете нам читать о Блоке, это мои любимые, а потом какие хотите… А найдем комнату – пропишетесь и съездите в Елабугу за сыном».

Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращалось в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо,

с интересом вглядывалась в новые лица. Я же, глядя на нее, старалась сообразить, сколько ей может быть лет. С каждой минутой она становилась моложе.

– Вы встретили меня с таким благородным радушием, – сказала Марина Ивановна, обращаясь к хозяевам дома, – что я чувствую себя обязанной рассказать вам свою историю.

«Начало неудачное, – подумала я. – Они – как и я – отлично знают, что Цветаева – зачумленная. И не по неведению встретили ее столь радушно».

Новыми для меня в ее истории были: отчетливость в произнесении слов, соответствующая отчетливой несгибаемости прямого стана; отчетливая резкость внезапных движений, да еще та отчетливость мысли, с какой она, судя по ее рассказу, понимала, как жестоко заблуждаются муж и дети, жаждущие возвратиться на родину. *Там* понимала, каково *здесь*.

– Сергей Яковлевич принес однажды домой газету – просоветскую, разумеется, – где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями, приборы сверкают; посреди каждого стола – горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках – что? А в головах – что?

Спрашивала она уже не у Сергея Яковлевича, а, скорее, у нас, и эти настойчивые «что?», нарушая мерность речи, выскакивали из ее уст с оглушительной внезапностью, как из бутылок пробки.

– А в будущем – что?

Она досказала свою историю до дня ареста дочери, а затем мужа, то есть до осени 1939 года. Произнесла последнюю фразу скороговоркой и умолкла. И, когда она умолкла, ни один из нас не решился просить о продолжении. Жестокостью было бы заставить ее договаривать.

– Прочитайте стихи к Блоку, – попросила Татьяна Алексеевна.

– Старье. Не хочу. Я вам прочитаю «Тоску по родине». Я смотрела не на нее, а в окно. Не видя, лучше слышишь.

Тоска по родине!
Давно Разоблаченная морока!
Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди
Лиц – ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной – непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться – мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично – на каком
Непонимаемой быть встречным!

Тут она замолчала. Это «Мне безразлично – на каком» произнесено было с великолепным презрением. Вызывающе. Со страстной надменностью. Стихотворение оборвала внезапно, словно недокуренный окурок отбросила.

– Не хочу. Простите меня. Я вам вечером почитаю что-нибудь другое, например, «Поэму Воздуха». Вы, верно, совсем не знаете моих поэм?

Нет, мы не знали. Что поэмы! В то время мы не знали девяти десятых Цветаевой. Не знали «Стола». Не знали «Куста». Не знали «Попытки ревности». Не знали – совсем не знали! – ее гениальной прозы. Все это, украденное у нас, хранившееся за тридевять земель, на протяжении десятилетий доходило только до редких избранных, а в Самиздат и в печать начало пробиваться украдкой, урывками лишь во второй половине пятидесятых годов.

И только тогда, в пятидесятые, услышала я конец «Тоски по родине» и поняла, почему в отчаянье, в Чистополе, она не пожелала прочитать нам дальнейшие четверостишия. Ведь там, после всех неистовых отречений, после всех *не,* содержится в последнем четверостишии как бы некое *да,* утверждение, признание в любви.

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина… —

если встает на пути рябиновый куст, то вместе с ним, вопреки всему выкрикнутому выше, встает и тоска по родине, – та самая,

которую она столь энергично и презрительно только что объявила «разоблаченной морокой».

Пока Цветаева читала, я пыталась понять, чье чтение вспоминается мне сквозь ее интонации. Вызов, властность – и какое-то воинствующее одиночество. Читая, щетинится пленным царственным зверем, презирающим клетку и зрителей.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне без-раз-лич-но – на каком
Непонимаемой быть встречным!

Вспомнила! Маяковский. Когда-то, в детстве, в Куоккале, я слышала Маяковского. Он читал моему отцу «Облако в штанах». И так же щетинился пленным зверем – диким, неусмиренным, среди ручных.

Она обещала почитать еще – не сейчас, а попозже. Условились мы так: сейчас я пойду на телеграф и дам телеграмму в Елабугу ее сыну. Она продиктовала мне адрес и текст: «Ищу комнату, скоро приеду». Потом я зайду в общежитие, разыщу там некую Валерию Владимировну (Марина Ивановна ночевала в одной комнате с ней) и предупрежу ее, что сегодня Цветаева ночевать не придет. Пока Марина Ивановна будет отдыхать на раскладушке у Шнейдеров, Татьяна Алексеевна наведается неподалеку к знакомой хозяйке узнать о комнате. А в 8 часов вечера снова приду я – и тогда Марина Ивановна прочтет нам «Поэму Воздуха». Я же прочту последние из мне известных стихов Пастернака. (В Переделкине Борис Леонидович подарил Корнею Ивановичу «Иней», «Сосны», «Опять весна». Я тогда же переписала их в свою тетрадь и, уезжая, взяла с собою.)

На почте телеграмму я отправила быстро, а вот в очереди «до востребования» простояла долго. На моих глазах редкие, редчайшие счастливицы получали треугольник или квадратик, а большинству – и мне – ничего, ни от кого, ниоткуда. Это безвестие, это молчание – оно было красноречивее любой сводки. Ведь не могли же все умереть сразу или все забыть меня сразу! Молчание означало: всюду на нашей земле несмолкаемый грохот. Бомбы, пули, гранаты, орудия, танки.

4

Я вышла с почты, оглушенная неудачей. Я так ждала тогда вестей, а их не было. Я еще не понимала в ту пору, что безвестие

– великое благо. Когда я выбралась наконец из Чистополя и вести градом посыпались на меня, они были такие: мой младший брат, Женин отец, убит под Москвой. Мой первый муж, Люшин отец, погиб в Ленинграде. Мои киевские родные, спасаясь от немцев, выехали из Киева с последним эшелоном – иначе погибнуть бы им в Бабьем Яру! – но гибель в виде тифа настигла их в пути: старики умерли на вокзальном полу маленькой железнодорожной станции. Мой Ленинград – обстреливаемый, взрываемый – вымерзал, вымирал, превращался в город-морг.

…Покинув почту, я с трудом припомнила, куда собиралась. Да, Марина Ивановна просила зайти в общежитие и там предупредить, что ночевать она останется у Шнейдеров. Но в общежитие мне идти не понадобилось: у дверей почты я встретила Валерию Владимировну и передала ей поручение. Она же в ответ сообщила приятную новость: Зинаида Николаевна Пастернак намерена приобрести у Марины Ивановны за 200 рублей клубки шерсти[21].

Я поплелась домой. Признаюсь, меня туда не тянуло. В Чистополе меня удручала грязь. Нашу комнату мы кое-как обороняли, но двор, но кухня, но хозяйская половина избы! На потрескавшихся от зноя досках забора всегда сидят, лениво перелетая с места на место, жирные зеленые мухи. Ими, словно гнойниками, усеян забор. Во дворе грязь по колено: спасают досточки. Хлев сотрясается: это несчастная грязная корова чешет себе спину о стенки, будто не корова она, а свинья. Хозяйка надаивает молоко в грязный подойник. В кухне висят полотенца – и не какие-нибудь, а вышитые, – но хозяйские сыновья отирают о них не только руки, но, случается, прибегая со двора, и ноги. Обижаться грех: хозяева дружат с Идой, ласковы с детьми, мальчики угощают Женю и Люшу то морковкой, то репой прямо с огорода, но грязь, грязь наводит на душу тоску и уныние.

Стыдись: ведь это не кровь, а всего только грязь! Черная липкая грязь, а не кровь, уходящая в землю или лужами стынущая на камнях и асфальте.

Возвращаясь домой, я на набережной увидала старуху. Она стояла крестясь. Я посмотрела кругом: нет, церкви тут нет. Старуха молилась почтовому ящику. Упала перед ним на колени. (Он приколочен к прогнившему столбу.) Сыновья? Четверо сыновей под пулями неведомо где или один-единственный? Она хваталась руками за столб, пытаясь встать. Я помогла ей подняться. Провалившиеся глаза с черными обводинами – глаза, обезумевшие от ожидания. Похожи на те – в тюремных очередях.

Дома – благополучие. Я проглотила холодные макароны. Ида играет с хозяйкой в карты, и Женя, в шерстяных носках и с

компрессом на шее, крутится возле. Люша занята штопкой: натянула чулок на большую деревянную ложку – хозяйкин подарок. Мы уселись с ней рядом на лавочку. Но пробыли одни мы недолго: Люша издали увидела шагающего к нам Петра Андреевича Семынина.

– Он двухголовый! Мама, смотри! – у него две головы!

По нашей улице, к нашей избе, шел мой приятель, поэт Петр

Андреевич Семынин, не взятый ни в армию, ни в ополчение из-за болезни глаз. Он нес на плечах своего маленького сына. Опустив Сашу на землю, сел рядом со мною. Кто-то сказал ему, что я повела Цветаеву искать комнату, и он зашел спросить, отыскалось ли что-нибудь. Я рассказала, как обстоят дела.

– Знаете, на кого вы похожи? – сказала я. – Небритый, загорелый дочерна, да еще в черной рубахе с закатанными рукавами? Вы, когда несете вашего златокудрого красавца, похожи на ворюгу-цыгана, укравшего господского мальчика. Уж очень красив. Маленький лорд Фаунтлерой – не иначе. Только вот кружевного воротника не хватает и бархатной курточки.

Саша, молча выпросив у Люши деревянную ложку, молча колотил ею по скамье. Красивее ребенка я не видывала. Золотые кудри. Белое нежное лицо. Черные глаза, черные брови под золотыми кудрями и черные ресницы в пол-лица.

Петр Андреевич не улыбнулся в ответ.

– Что, сводка опять плохая? – спросила я.

Он кивнул.

– Такая, как вчера?

– Хуже.

Потом он рассказал мне о заседании Совета эвакуированных – он, оказывается, член Совета и был там. Сначала вызвали Марину Ивановну – она была приглашена заранее – и попросили объяснить, почему она хочет переселиться из Елабуги в Чистополь? Семынин считал этот вопрос бесстыдным, издевательским.

– Ведь мы не следственные органы, не милиция, ведь это уже не вопрос, а допрос! – повторял он мне. – Какое кому дело, почему и где она хочет жить? Марина Ивановна отвечала механическим голосом, твердила одни и те же заученные наизусть слова: «В Елабуге есть только спирто-водочный завод. А я хочу, чтобы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. Я прошу, чтобы мне предоставили место судомойки…» Она ушла, и мы приступили к обсуждению. Прочли вслух письмо Асеева: поддерживает просьбу Цветаевой. Потом самым мерзким образом выступил Тренев. Сообщил, что у Цветаевой и в Москве были, видите ли, «иждивенческие

настроения»… Да ведь она не покладая рук переводила! Потом счел нужным напомнить товарищам, что время, видите ли, военное, а муж Цветаевой, видите ли, арестован и дочь – тоже; и опять – время военное, бдительность надо удвоить, все они недавние эмигранты, муж Цветаевой в прошлом белый офицер. Если правительство сочло нужным отправить Цветаеву в Елабугу, то пусть она там и живет, а мы не должны вмешиваться в распоряжения правительства… Омерзительная демагогия. Меня тошнит до сих пор. При чем тут правительство? При чем – военное время? Это просто Литфонд решил, что Чистополь переполнен, и начал заселять литераторами следующий город… Очень толково возражали Треневу Абрам Борисович Дерман, Вера Смирнова, ну и я сказал несколько слов… Потом проголосовали. Тренев остался в ничтожном меньшинстве, почти все голосовали *за.*

Петр Андреевич встал и снова поднял Сашу на плечи. Маленький лорд Фаунтлерой ни за что не хотел отдавать Люше ложку – молча, но неколебимо.

Отдал наконец.

Мы с Люшей проводили обоих до угла.

– Хорошо, что вы были там, – сказала я Петру Андреевичу на прощание. – Помогли управиться с Треневым.

– Все равно тошнит, – ответил Семынин.

Посидев еще немного с Люшей, я прихватила стихи Пастернака и отправилась к Шнейдерам. Кроме стихов я несла

Марине Ивановне добрую весть: найдена покупательница на ее клубки. Но у Шнейдеров, куда я пришла ровно в 8, ждал меня, к моему удивлению, неприятный сюрприз: Марины Ивановны там не оказалось. После моего дневного ухода она полежала там, отдохнула, пообедала, а потом заявила вдруг, что ей надо с кем-то срочно повидаться в гостинице. Татьяна Алексеевна ее проводила. К 8 часам Марина Ивановна обещала вернуться и заночевать. «Не заблудилась ли на обратном пути?» – спросила я. «Нет, она сказала, ее проводят».

Ждали мы до половины одиннадцатого. Михаил Яковлевич в пижаме лежал на своей коечке. Температура выше 38. Татьяна Алексеевна раза два выходила навстречу. Я видела, что Михаилу Яковлевичу невмоготу: красными пятнами жара пылало изможденное лицо. Мне было пора. После десяти в Чистополе глубокая ночь. Мы условились так: сейчас я уйду, а утром сбегаю в общежитие и узнаю: все ли благополучно, воротилась ли туда ночевать Марина Ивановна? И извещу Шнейдеров.

Утром я отправилась рано. На пороге общежития встретила меня та же Валерия Владимировна. Встретила словами:

– А я к вам.

Марина Ивановна ночевала в общежитии. Утром уехала срочно в Елабугу. Решила так: перевезти сына в Чистополь, комнату искать вместе и, найдя, окончить дело с Тверяковой.

«Что ж, это разумно, – писала я Татьяне Алексеевне, посылая к ней Люшу. – Сын лучше, чем мы, поймет, какая комната им нужна».

…Насколько я могу рассчитать, уехала Цветаева из Чистополя в Елабугу 28 августа. А через несколько дней все на той же почте, в очереди к тому же окошечку, услышала я страшную новость: приехал из Елабуги сын Марины Ивановны, Мур, явился к Асееву с письмом и сказал:

– Мама повесилась.

5

Марина Цветаева покончила с собой, как известно, 31 августа 41 года.

Я сделала свою запись о встрече с ней уже после известия о гибели, 4 сентября. И четыре десятилетия в ту свою тетрадь не заглядывала. Так, иногда, если заходил при мне разговор о Цветаевой, рассказывала, что вспоминалось. Очень запомнила я мешочек у нее на руке. Я только потом поняла – он был каренинский. Из «Анны Карениной». Анна Аркадьевна, когда шли и шли мимо нее вагоны, сняла со своей руки красный мешочек. У Цветаевой он был не красный, бесцветный, потертый, поношенный, но похожий. Чем-то – не знаю, чем – похожий. В Чистопольской моей тетради, после известия о самоубийстве, так и написано: «Я увидела женщину с каренинским мешочком в руках».

Перечитать старую тетрадь и вспомнить все досконально и по порядку побудили меня два документа. Один напечатанный, другой нет.

Начну с напечатанного.

Попалась мне в руки книга, выпущенная в Париже, под редакцией Г. Струве и Н. Струве в издательстве YMCA-Press: «М. Цветаева. Неизданные письма». Привожу отрывки из «Записной книжки» Марины Ивановны со страниц 629–631.

«Возобновляю эту записную книжку 5 сент. 1940 г. в Москве…

О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего – себя, своей головы, если эта голова – так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк…»

Тут остановимся. Повторим: «…я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк…»

Запись сделана 5 сентября 1940 года. Что же такое – год назад? 27 августа предыдущего года была арестована дочь Цветаевой, Ариадна, Аля, а 10 октября – муж, Сергей Яковлевич Эфрон. Вот с какого времени она начала искать глазами крюк. Со времени этих двух разлучений. Увели дочь – в тюрьму, в лагерь, в ссылку. Увели мужа – на казнь.

Читаем дальше:

«Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить – мерзость, прыгнуть – враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже – посмертно – боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна… но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать – дожевывать. Горькую полынь».

Прочитав эти слова, «как я ничего не могу», я отложила книгу и прислушалась. Из дальней дали донесся до меня тот, прозвучавший на Каме, сорокалетней давности, крик:

– А вы думаете, *я* – могу?

Какая она была мужественная и как много она могла – не требуется доказывать: перед нами ее могущественная поэзия, ее проза, вся ее мученическая, мужественная жизнь.

Но и богатырским силам приходит конец. В эмиграции она была бедна и одинока, но ее хоть печатали. Дома же, кроме переводов, не напечатали после ее возвращения почти ничего. А конец – конец силам наступил, я думаю, осенью 1939 года, и мои скудные воспоминания следовало бы озаглавить не «Предсмертие», но «После конца».

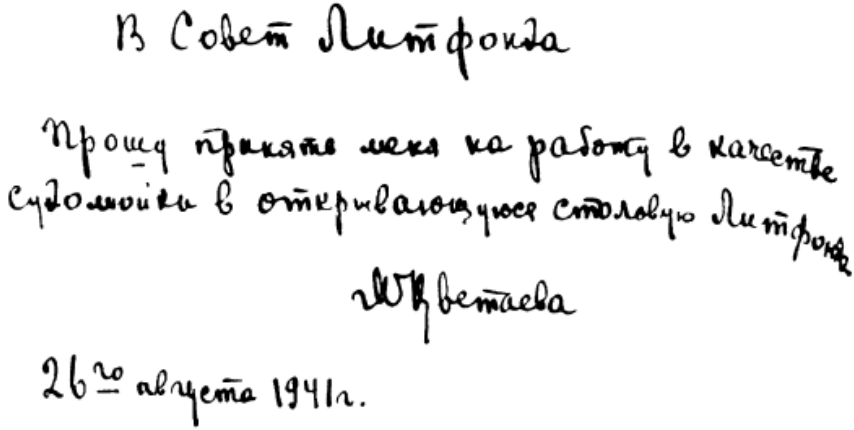
После ареста Али, после гибели мужа силам уже пришел конец, а тут после конца – война, эвакуация, безысходная нищета, новые унижения, Елабуга, Чистополь…

«Почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?»

«Нет будущего. Нет России».

«Я когда-то умела писать стихи, теперь разучилась…» «Какая страшная улица…» «Я ничего не могу…» «Мыть посуду я еще могу».

…Второй документ не напечатан. По цепочке смертей и неожиданных наследований лег на мою ладонь листок. Легонький листок бумаги – даже не листок – половинка листка, вырванного из школьной тетради. Резким, отчетливым, размеренным, твердым почерком, словно попирающим ничтожную бумажонку, выведено на листке:


В Совет Литфонда

Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда

МЦветаева

26го августа 1941 г.

Столовая открылась в ноябре. Меня в это время в Чистополе уже не было. Кто получил место судомойки, на которое притязала Цветаева, мне неизвестно.

Октябрь – декабрь 1981 г.

Переделкино

Памяти Фриды

1. Уносят

Не плакать мне помогала Саша[1]. Еще в самую счастливую пору, когда Фрида была жива, здорова, весела, Саша, входя в комнату к матери после получасового отсутствия, бросалась ей на шею, словно после долгой разлуки: «Мамочка!» Наверное для Саши Фрида всегда оставалась, как для грудного младенца, целым миром, воздухом, всем на свете. Разлука, даже коротенькая, была противоестественна: «Мама! Ты здесь?»

И вот теперь Фрида – здесь! – лежит в гробу, а Саша, разлученная с ней навсегда, глядит в ее лицо и не плачет.

Самые близкие не плакали – Галя и Саша, мать и брат – как же было плакать мне?

И еще меня удерживало от слез сознание, что предстоит говорить, а если я заплачу, то не в силах буду сказать ни слова. Это было бы предательством – мне промолчать над Фридиным гробом. Нельзя. И я не плакала. Это давалось мне даже без больших усилий.

Назвали мое имя, люди расступились, и я прошла, как по тропочке, к Фридиному изголовью. Я заговорила и с облегчением услышала, что голос мой звучит спокойно. Опять, как с начала этого дня, я благословила свою близорукость – я не видела Фридиного лба, только груду цветов над бортом гроба, не видела со своего нового места ни Саши, ни Гали, ни Люши, ни друзей, ни матери, ни брата. Как всегда в минуты нервного напряжения, я почти утратила способность видеть. Хотя люстры горели, толпа стояла и дышала, я оказалась в темноте, пустоте и беззвучии, как бы один на один с Фридиной смертью. Я слышала, что у меня в голосе нету слез, – и их в самом деле не было: ни на глазах, ни в груди.

Но вот панихида окончилась. Все отговорили. Начали разбирать цветы, венки. Я все не плакала. Вышла в той же темноте, словно на ощупь, в вестибюль. Ко мне подошел Евгений Александрович Гнедин, и, чтобы двигаться увереннее, я схватила его за руку. Постепенно зрение стало возвращаться ко мне – в той мере, в какой оно вообще может еще возвращаться. И тут я увидала, что мимо нас несут гроб. Я разглядела опустившееся плечо и склоненную голову Володи Корнилова. И меня вдруг пронзила мысль: уносят Фриду.

– Что же это такое? – сказала я Евгению Александровичу. –

Вы видите? Они ее уносят!

И вот в эту минуту все плотины во мне прорвались, и я заплакала, вольно и бесстыдно, уже не сдерживаясь, – и плакала на улице, в машине, на кладбище, плакала, не сдерживаясь и не получая облегчения.

Плакала я не о ней. (Может быть, потому и не сдерживалась.) Плакала о себе.

Пока Фрида была жива – и больна – всем нам было не до своего горя. Думалось в те месяцы не о себе, а о ней, о жестокой казни, на которую невесть за что и невесть кем обречена она. Фрида в опасности. Фрида мучается. Фрида умирает. С каждым часом меркнут веселые, добрые, сияющие, какие-то даже удалые в своем веселом сиянии глаза. Из них теперь глядит беспомощность, одинокость, недоверие. Они теперь не яркие, а тусклые. «И ты не поможешь мне» – вот что тускленько, слабенько мерцает из-под трудно поднимающихся век. Да, и я не помогу. Никто из нас тебе не поможет, – тебе, которая помогала нам всем, помогала с таким постоянством, что мы сложили шутливую поговорку: «Если не Бог – так Фрида».

Унесли гроб, унесли Фриду. О ее муках плакать уже было нечего, она не мучилась больше и ничего от нас не ждала. И я заплакала о нас – о тех, кто ее потерял, и о тех, кто ее никогда не узнает, не увидит живой. У людей отняли Фриду. Я плакала о девочках, о друзьях, о ближайших из близких, о матери, и брате, о себе.

Горше всех, пуще всех, конечно, о себе. Это были эгоистические, себялюбивые слезы – о себе самой.

Каждый из нас знает, чем и кем была в его жизни Фрида. Что ушло из его жизни вместе с нею. Я постараюсь объяснить, что ушло из моей. Быть может, это окажется хотя бы отдаленно верным еще для кого-нибудь.

2. «У Чарльза Диккенса спросите»…

С гибелью Фриды из моей жизни ушла надежда. «Всё будет хорошо», «всё кончится хорошо» – такой надежды у меня больше нет.

Что, собственно, «всё»?

А вот то, что со мной случилось, что терзает меня. То, от чего я не сплю. О чем хочу и не могу написать. Горе моей жизни.

К каждому человеку когда-нибудь приходит беда. К каждому – пора одиночества. К каждому сознание непоправимой ошибки, неудачи, а иногда – надвигающейся гибели. Так вот, существование Фриды на земле для меня было залогом, что

ошибка моя поправима, горестная неудача еще может обернуться радостью, и от болезни можно выздороветь, и от гибели спастись и спасти. Меня успокаивал и обнадеживал самый звук ее имени. Если я и погибну, то Фрида не даст погибнуть тому, что гораздо больше я, чем я сама – исписанным мною листкам. Пока рядом была Фрида, которая плакала и смеялась, радовалась и печалилась вместе с нами – «Стоило жить и работать стоило!»

Потому что – раз она здесь – «всё еще может быть хорошо».

Стоило задумывать. Стоило осуществлять задуманное. Стоило пытаться, пробовать. Стоило поступать. Стоило искать слово для того, что таится в памяти под спудом. Она была необыкновенно благодарной слушательницей; уже то, как она слушала, – исцеляло. «Покажу Фриде», «расскажу Фриде», «спрошу у Фриды»… Да и просто так, когда не в чем было исповедоваться и не о чем просить или спрашивать, – легче становилось на душе от ее кроткого, доверчивого, бережного к твоей раненности присутствия.

Р. З. однажды назвала Фриду диккенсовской девочкой, весело творящей добро. Это сказано метко. В книгах Диккенса встречаются героини, например, Флоренса из «Домби и сына» или Эстер из «Холодного дома», радующиеся тому, что они могут доставлять радость другим, живущие чужой радостью или чужим горем, как своим собственным, облегчающие чужую боль самоотверженно, умело и скромно. В самом деле, Фрида была им сродни. В ней была их милая непритязательность, их доброта, грация и тишина. Их уютность. Их домашность. Когда Фрида в зелененьких шерстяных носках, в пестреньком фартуке разливала на кухне чай или делала внезапно пришедшему гостю яичницу, вперед радуясь тому, что вот сейчас усталый, голодный и озябший человек поест и отогреется, а потом, на сладкое, она покажет ему Наталью; или когда она в своей большой, обдуманно-нарядной, уставленной цветами, книгами и игрушками комнате, поливала цветы, а Наталья путалась у нее в коленях, вцепившись ей в юбку; или когда в гостях, съев с удовольствием и очень быстро стаканчик мороженого, она запрокидывала голову и, облизываясь, выговаривала сквозь смех: «Это было прекра-асно!» и округлым движением потирала маленькие сильные руки, словно собиралась проглотить еще десять таких стаканчиков; или когда она, смущаясь, каким-то детски-неловким движением протягивала в подарок какой-нибудь полюбившийся вам пустяк – записную книжку или сумочку – она впрямь могла сойти за маленькую добрую фею домашнего очага, весело и деятельно распространяющую вокруг тепло и свет. Можно сказать также, что Фрида была сродни не только

диккенсовским героиням, но и самому Диккенсу: в жизни она творила то, что Диккенс придумывал в своих повестях, – превращала чужую беду в сказку с хорошим концом.

…Жила-была в Туле одна пианистка, вела в музыкальном училище преподавание по классу рояля. Она была одержима музыкой, проповедовала музыку, открывала музыку ученикам, а потому ее служебная жизнь сложилась так, как и складывается обычно у тех, кто одержим своим делом: ученики полюбили ее, а начальство возненавидело. К чему эти излишние страсти: Скрябин, Рахманинов, поездки, концерты, экскурсии? Отбарабанила свои часы и ладно. Воспользовавшись доносом одного негодяя, ее сначала довели до попытки покончить с собой, а потом решили уволить. Несчастная женщина, никогда не видавшая Фриду, но читавшая ее статьи и книги, кинулась к ней за помощью, как кидались десятки оскорбленных людей. И Фрида принялась спасать эту жизнь, поколебленную, еле устоявшую, едва не оборвавшуюся в смерть. Она поехала в Тулу. Она пришла на заседание месткома, где разбиралось дело учительницы, – явилась перед лицо этих одичалых мещан, на эту рассвирепевшую коммунальную кухню, где единственным интеллигентным человеком была подсудимая. «Личная жизнь» учительницы взасос и взахлеб обсуждалась всей кухней. Молча, положив перед собой блокнот, Фрида от слова до слова записывала их чавкающие, хрюкающие выступления. «Подробности, мне бы подробности, – томно повизгивала кассирша, – позвать бы сюда молодого человека да и расспросить».

– Товарищи, опомнитесь! – тихим голосом с краешка стола воззвала к ним Фрида. Но где там! Деятелей тульской музыкальной культуры не оторвать было от вкусного пойла. Нахлебавшись смачного навара из сплетен, они постановили: учительницу уволить. И уволили. А чтобы она не могла устроиться на другую работу, снабдили ее при увольнении позорной характеристикой.

Опасаясь новой попытки самоубийства, Фрида увезла женщину с собой в Москву. И поселила ее у себя дома. И неделями выхаживала ее, как больную. И написала статью в «Литературную газету». Статья была напечатана, и с помощью газеты Фрида добилась отмены позорной характеристики. И через некоторое время устроила учительницу на новую работу – в город Серпухов.

Женщина была спасена. Но всего только спасена – это еще недостаточно хороший конец, недостаточно ярко-счастливый, утоляющий горе с избытком – недостаточно хороший для диккенсовской повести, которую в жизни творила Фрида. В этом

конце не хватает изобилия, праздника счастья. И, пожалуй, диккенсовской щедрости в переплетении судеб.

…Жила-была в деревне Данки, под Серпуховом, в инвалидном доме, шестнадцатилетняя девушка Светлана Семенова, больная, полупарализованная, заброшенная. Однажды она написала письмо К. И. Чуковскому. Вот его суть:

– Помогите сделать так, чтобы мне разрешили ухаживать за моим другом Мишей. Он не только парализован, он почти ослеп. Я хочу читать ему книги и во всем помогать. Но мужские комнаты помещаются на втором этаже, а женские в первом. Носить меня на носилках некому, сама подниматься по лестнице я не могу, а поселить меня и Мишу вместе не разрешает директор.

Корней Иванович стал посылать Светлане деньги и книги, русские и английские (она мечтала научиться английскому языку), пригласил ее к себе погостить – и она приехала к нему на дачу в инвалидной машине вместе со своей подругой, такой же полупарализованной девушкой, как она сама; обратился в Институт Гельмгольца по поводу очков для Миши; написал директору инвалидного дома, поддерживая мольбу Светланы поселить их вместе. Однако письмо его не имело успеха. Тогда он рассказал историю Светланы Фриде. И Фрида начала свое обычное дело: добиваться от горестной жизни, чтобы она обернулась повестью Диккенса, пусть хоть и горестной повестью, но с хорошим концом.

Фрида поехала в Данки. Познакомилась там со Светланой и Мишей, подружилась с ними. Одна из Фридиных приятельниц, по ее просьбе, стала ездить в Данки и принимать у Светланы зачеты по английскому языку. И тут учительница музыки, живущая уже не в Туле, а в Серпухове, поняла, что ей представляется необыкновенный случай сделать подарок Фриде, отблагодарить Фриду: она тоже может заботиться о Светлане и Мише, она может осветить музыкой их однообразное, тусклое житье… И она стала ездить в Данки и играть для больных на рояле и рассказывать им о Рахманинове и Стравинском.

Фрида с помощью газеты добилась, чтобы в инвалидном доме произвели ремонт. А когда туда на место прежнего пришел новый директор, она упросила его поселить Светлану и Мишу вместе, в одной комнате. Так исполнилась мечта Светланы: теперь она превратилась в Мишины руки, в Мишины глаза, у Миши и у нее началась новая жизнь. Вместе они занимались английским. Целые дни она читала ему вслух, и вместе каждую неделю они ждали из Серпухова учительницу музыки, которая играла им Шопена и Моцарта.

Но добрые силы, вызванные Фридой из жизненных недр, на

этом еще не исчерпали себя. И праздничный, счастливый конец истории оскорбленной учительницы еще впереди.

…Жили-были в Тбилиси, в собственном доме, старики-пенсионеры, потерявшие на войне дочь. Они прочитали в газете Фридину статью, статья тронула их, они послали в газету письмо на Фридино имя, в котором приглашали учительницу к себе – вместо дочери – пожить, отдохнуть, поесть винограда, отогреться. И в первый же отпуск учительница поехала туда, и поселилась у стариков, и прожила там месяц, и прислала оттуда две корзины благоуханных яблок: одну Фриде, другую Светлане и Мише.

Это ли не счастливый конец? Но по законам диккенсовской повести в нем не хватало свадьбы. И вот в учительницу бурно влюбляется молодой инженер, уезжающий на Север, и она едет к нему, и выходит за него замуж, и через год Фрида протягивает мне фотографию младенца в нарядных пеленках и произносит гордым и даже каким-то задорным голосом, словно этот младенец появился на свет по мановению ее волшебства:

– Смотрите – какой! А зовут очень странно – Ювеналием. По дедушке.

(Но ведь и в самом деле она причастна к появлению этого младенца на свет. Ведь без ее спасательных усилий учительница давно покончила бы с собой.)

Да, и Диккенс и Фрида знали толк в хороших концах… И разве каждый из нас не может припомнить десятки страшных сказок, обернувшихся хорошим концом благодаря тому, что Фрида своей стремительной, упорной, изобретательной добротой пробуждала в людском общежитии действие «круговой поруки добра» – той самой круговой поруки, могущественной, животворящей, о которой говорится в безымянных стихах:

> Человечество живо одною
> Круговою порукой добра[2].

Да, Фрида была работником добра и всех вокруг делала своими – и добра! – сотрудниками. Ступив в поле ее излучения[22], каждый незаметно и естественно становился звеном в создаваемой ею цепи.

Сколько мы помним рукописей, которые превратились в книги благодаря ее редакторской работе, или ее рецензии, или ее добрым интригам внутри издательства.

Сколько мы знаем случаев, когда она выручала людей деньгами, хотя сама зарабатывала деньги трудом тяжелым и постоянным, и никаких денежных запасов у нее не было. Она отдавала свои – или собирала среди друзей – или даже втайне

брала в долг под проценты. Но никогда не отказывалась выручить человека из петли безденежья в роковую минуту.

Сколько мы знаем больных, в чье выздоровление Фрида внесла свою долю заботы, устроив дежурства у этой постели и дежуря чаще всех, шедрее всех, легко, умело, точно, весело.

Сколько мы знаем людей, положенных жизнью на обе лопатки и поднявшихся благодаря ее энергии, ее заботе, выпрямившихся, нашедших для себя профессию, призвание, заработок, путь.

Сколько мы знаем людей, убереженных ею от одиночества.

Сколько сделала она не для других – для меня. Сколько я помню ее целительных слов, прозвучавших издали, из телефонной трубки, или вблизи, при свете ее глаз; сколько я помню ее слов, необходимых, болеутоляющих, своевременных, как скорая помощь, написанных на почтовом листке Фридиным крупным, твердым и веселым почерком; сколько я знаю ее поступков, совершенных для меня, без меня, потихоньку, в мою защиту или в мое утешение; сколько раз стучала она в мою дверь – и всегда этот стук означал, что явилась подмога, пришел совет, в дом вошла улыбка; сколько я помню блага, подаренного мне Фридой, внедрившегося мне в душу так глубоко и прочно, что оно давно уже стало не памятью о Фридином даре, а мною самой.

…Уносят Фриду. Плечи опущены под тяжестью гроба и горя. У меня нет больше Фриды. Нет надежды, что темный лес, в который меня загнала жизнь, расступится, и я выйду на залитую солнцем поляну.

– Прощай, моя скатерть-самобранка, мое наливное яблочко на серебряном блюдечке… Прощай!

3. Мысль мыслей

На протяжении нашей двадцатитрехлетней дружбы нам, конечно, случалось спорить, расходиться во мнениях. Расскажу об одном споре, постоянно возобновлявшемся, в котором, мне кажется, отчетливо проступает основная Фридина мысль. Ее мысль мыслей.

Я люблю Фридины повести, особенно «Черниговку», «Семейное счастье», «Любимую улицу». Я воспринимаю все Фридины книги – в том числе и те, которые не названы здесь, – как ее требование к нам, читателям: обороняйте людей, люди стоят защиты, а уж дети! берегите детство, щадите, уважайте детство, любуйтесь им, учитесь у него и спасайте детей: они беззащитны.

Таков для меня общий смысл, и даже не смысл, а больше:

пронзительный звук Фридиных повестей. Звук ее голоса, в котором тонут голоса героев. В первых повестях голос ее звучит наивно, порою даже до сентиментальности; с годами он делается чище и тверже, мужает.

Высоко ценю я и Фридины статьи, всегда вглубь, всегда наперекор официальному слюнявому ханжеству, изнанка у которого одна: казарменная жестокость.

Но выше всего, сделанного Фридой, ценю я и люблю ее «Дневник» и оба ее блокнота: журналистский и депутатский. «Единственное, что в нашей власти, это суметь не заглушить голоса жизни, звучащего в нас», – писал о литературном творчестве Борис Пастернак. Полнее, чем где-нибудь, Фридин голос сливался с голосом жизни именно в ее дневниках и блокнотах. Тот тончайший, редчайший слух, тот замечательный художественный дар, которым ее наделила природа, именно здесь, в этих беглых, непритязательных и как бы случайных записях яснее, чем где-нибудь, являл свою силу. При всей своей беглости каждая запись в «Дневнике» – это крошечная новелла, художественно вполне завершенная; при всей своей интимности этот «Дневник» имеет интерес объективный и будет когда-нибудь читаться тысячами людей, как любимая книга: герои «Дневника», маленькие и большие, будут любимы читателями не менее, чем герои «Тома Сойера», или «Алисы в стране чудес», или «Хижины дяди Тома». Из этого «Дневника» глядит лицо автора, проглядывает на отдельных страницах и лицо времени. Фридины же блокноты – это драгоценнейшие художественные документы эпохи: каждая запись – монолог или диалог из какого-то трагического фарса, идущего на сцене нашей действительности; монолог или диалог, подтверждающий гениальные прозрения Зощенко. (Я горжусь и никогда не перестану гордиться тем, что это я заставила Фриду серьезно, как к художественным, а не только интимным, семейным документам отнестись к своим дневникам и блокнотам, горжусь тем, что она садилась иногда рядом со мною за письменный стол, чтобы, читая вслух реплики героев, вместе проверять внятность, отчетливость интонации.)

И вот из-за этого моего пристрастия к Фридиным блокнотам и рождался обыкновенно наш спор.

Во Фридиной журналистской практике случалось, и нередко, что какой-нибудь диалог из блокнота перекочевывал в статью. Такое кочевье было, разумеется, совершенно естественно: ведь и делались-то эти записи чаще всего как основа для будущей статьи. Но за редчайшими исключениями, попадая на газетную полосу, диалог мгновенно линял, его слепящая яркость меркла, тускнела; редакторы, замредакторы, правщики, дежурные по

номеру кидались на эту искру подлинной жизни и гасили ее с такой энергией, словно это была искра пожара. Недоглядишь – вспыхнет.

Меня уничтожение слова, полного жизни, верного жизни каждый раз приводило в уныние и ярость.

– Как вы могли согласиться? – накидывалась я на Фриду, и без того измученную обороной своей статьи… Фрида, принципиальнейшая из всех журналистов, каждый раз, как статью ее ставили в номер, чуть ли не поселялась в редакции, ходила следом за гранками с этажа на этаж, из кабинета в кабинет, ни за что не позволяя уродовать, опошлять, искажать мысль и факты. – Как вы могли согласиться? Ведь я наизусть помню: в подлиннике этот диалог у вас гораздо сильнее! И томное мурлыканье кассирши, требующей «подробностей», и дремучая глупость этого дубины, физкультурника, который сам себя именует «товарищ» – «я здесь новый товарищ» – всё это померкло, прилизано, причесано. Как вы могли согласиться?

– Но что же мне было делать? – устало спрашивала Фрида. – Им это не по нутру. Как раз то, что дорого нам с вами.

– Что делать? – переспрашивала я. – Немедленно брать статью обратно. Уносить домой и класть в ящик. Вот что делать! Ведь это вредительство: найти слово – всё равно где, в собственном воображении, в памяти или в чужой речи, – найти точное слово и допустить, чтобы на ваших глазах сделали его приблизительным!

– Но человек-то важнее слова, – говорила мне Фрида. – Ведь статью-то я написала в защиту учительницы. Ну, унесла бы я статью домой – ну и выгнали бы учительницу с волчьим паспортом… Чтобы выручить человека из беды, стоит поступиться словечком.

Логика несокрушимая, и я соглашалась. Я соглашалась, но как-то всего лишь умом, а не сердцем. Новая Фридина статья, новое умерщвление жизни хотя бы в одной строке – и опять между нами тот же спор.

Фрида очень любила Цветаеву. Вымаливала, а иногда прямо-таки требовала у счастливых владельцев – стихи и прозу Цветаевой, и переписывала, и хранила, и знала наизусть… Однажды я отдала перепечатать на машинке и подарила ей «Искусство при свете совести» – статью, которую, на мой взгляд, необходимо пережить каждому, кто работает в литературе. Фридочка долго не выпускала ее из рук, читала без конца себе и другим, восхищалась, сама переписала ее на машинке и раздарила экземпляры друзьям; но однажды сказала мне:

– Выводы из этой статьи для меня неприемлемы. И это

вполне естественно: ведь Цветаева – поэт и притом великий поэт, а я всего лишь учительница, журналистка. Там, в конце, помните? – она пишет, что перед судом человеческой совести врач, учитель, священник – выше поэта. Выше, потому что нужнее. И что перед этим судом – судом совести – она грешна. И только перед одним судилищем она может оказаться правой: если существует Верховный Суд Слова. Помните?

Я помнила очень хорошо, но Фрида достала статью из ящика и прочитала последнюю главку вслух.

«Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы… За исключением дармоедов, во всех их разновидностях, – все важнее нас.

И зная это, в полном разуме и твердой памяти расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердой утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная большее, творю меньшее, посему мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном Суде совести и спросится. Но если есть Страшный Суд слова – на нем я чиста».

– А я не знаю, что меньше, что больше и что важнее, – говорила мне Фрида. – Но для себя я выбираю ту должность, которую Цветаева называет человеческой: врач, учитель. Пусть я окажусь грешницей перед Страшным Судом Слова. Лишь бы не согрешить перед человеком и собственной совестью.

Я пыталась объяснить ей, что противоречие это мнимое, вымышленное, что где-то долг учителя, врача и долг поэта совпадают, что искусство равновелико строительству жизни. Но объяснения мои были лишены вразумительности, потому что я и сама до конца не понимаю свою мысль. Не только другим, но и себе самой я не в силах ее объяснить. И всегда, пытаясь додумать ее до конца, я, как на стену, натыкаюсь на твердую формулу Блока: «Искусства с жизнью помирить нельзя».

Спор этот – и даже не спор, не разномыслие, а скорее некоторое разночувствие, вызываемое разницей в нашем воспитании (я выросла среди людей, главной, а может быть, и единственной ценностью жизни считавших искусство, и с детства приняла эту мысль, не задумываясь, как аксиому), – спор этот длился между нами почти что до самого Фридиного смертного часа.

(С некоторых пор, подсказанный ей мужанием ее таланта, ее писательской зрелостью, спор этот возник и длился внутри ее собственной души, вступая в противоречие с ее отзывчивостью, с ее добротой, и приблизив, по моему глубокому убеждению, ее преждевременный смертный час…)

Как это ни странно, угадывался он где-то под спудом и в наших постоянных разговорах о «деле Бродского», – деле, которому было отдано Фридой столько сил, и в котором ее друзья, и я в том числе, принимали в течение полутора лет ежедневное участие. Борьба за Бродского заставляла нас всех жить будто на качелях: вверх-вниз, снова вверх и снова вниз. Мы постоянно находились между надеждой и отчаянием: то нам объявляли, что Бродский будет свободен в ближайшие дни (и мы имели наивность верить и даже сообщать об этом Бродскому), то в городе становились известны слова, произнесенные главой правительства: «Бродский наказан слишком мягко, ему следовало бы дать не 5 лет ссылки, а 10 лет тюрьмы». Для Фриды эти воздушные ямы были особенно тяжелы: она всегда начинала любить тех, за кого боролась, а Бродского, без его просьбы и ведома, попросту усыновила, раз и навсегда приняла к себе в сердце, и я даже знаю миг, когда это усыновление совершилось: на первом суде. Сообщая мне – 22 февраля 1964 года, из Малеевки – о своем обращении к генеральному прокурору СССР, Фрида писала:

«Что то теперь будет?

Но что бы там ни было, что бы ни было, а я никогда не забуду, как он стоял в этом деревянном загоне под стражей. И может быть всё будет хорошо, и он выйдет на дорогу и станет большим поэтом, а я всё равно не забуду, как он смотрел – беспомощно, с изумлением, с насмешкой, с вызовом – всё разом.

А скорее всего никем он не успеет стать, его сломают. Поэту нужны нервы толстые, как канаты. Несокрушимое здоровье. А он болен. Ему не совладать с тем, что на него кинулось.

Зачем я пишу вам всё это? Мне бы сказать вам что-нибудь хорошее[23], а я опять за свое».

Да, она опять за свое, опять и опять за свое. Боль, испытываемая Бродским, сделалась для Фриды живою, собственной болью, ни днем, ни ночью не покидавшей ее. Бессознательно и постоянно она требовала от каждого из нас – не словами и не слезами, а чем-то более властным, как может требовать поющая в оркестре скрипка – чтобы и мы, не отвлекаясь и не уставая, испытывали сосредоточенную и неутолимую боль. Оттуда же, из Малеевки, она писала мне, что поехала она туда напрасно, что ей и лыжи не в лыжи, и работа не в работу, и тишина и лес ни к чему, что всюду перед ней этот деревянный загон, этот беспомощный и сильный человек, эта стража… Сейчас я говорю не о сути дела, а о тех мелочах, в которых проявлялось личное отношение Фриды к Иосифу, мне они кажутся более существенными для понимания ее душевного облика, чем даже та

звонкая, смелая борьба за него, которую она с таким упорством вела.

Она собирала его стихи, переводы, вчитывалась, вдумывалась в них, раздобыла где-то его портрет. Расспрашивая о нем друзей, она радовалась благородным чертам в характере своего подзащитного. Кто-то рассказал ей, что Бродского незадолго до ареста вызвали в райком комсомола и пытались «воспитывать». «Кто ваши любимые поэты?» – спросила у него дама-секретарь. «Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак», – ответил Иосиф. «А ведь ему легко было ответить: Маяковский, Твардовский, – говорила мне Фрида. – И не придерешься. И дело с концом… А он ответил правду. Почему эти воспитатели не ценят такую редкую черту: правдивость?» Когда совершился второй суд, когда чудовищно несправедливый приговор был приведен в исполнение, и Бродский по этапу выслан в Коношу, – все мы, желая утешить и ободрить его, отправляли туда телеграммы. Фрида, отправив свою, спросила меня, что думаю телеграфировать я. «Пришлите список книг»… – сказала я неуверенно. – Ведь ему зимовать там»… – «Ну, что вы! – огорчилась Фрида. – Получив такую телеграмму, он подумает, что вы с его изгнанием примирились. Что ему теперь остается только книги читать, а нам – только посылать ему книги». Я обещала придумать другую телеграмму. И когда я прочитала Фриде новый текст, что-то вроде: «никогда не перестану опровергать клевету», Фридочка так прыгала вокруг меня, так радовалась и так дивилась этому нехитрому тексту, словно я у нее на глазах создала новый сонет Шекспира. «Мне бы так никогда не придумать, – наивно повторяла она, – какая вы умница, как я вас люблю. Интересно бы знать, сколько часов идет туда телеграмма? Получил он уже вашу или нет?» Узнав, что у Бродского нету пишущей машинки, она с нарочным послала в Коношу свою, уверив меня, будто у нее есть другая. И только после Фридиной кончины Галя рассказала мне, что никакой другой машинки у Фриды не было, эта была единственная, и подарили ее ей девочки, Галя и Саша, ко дню рождения на свой первый заработок…

Видя, как Фрида мается, как страдает от неудачи всех наших попыток, я пробовала утешать ее, в сотый раз перечисляла все добрые предзнаменования, а потом говорила:

– Фридочка, будет ли Иосиф свободен или нет, вы, своей записью, именно вы и именно этой записью, этим замечательным художественным документом, сделали неизмеримо много[3]. Не только для него, для его освобождения. Вы первая из наших писателей докричались до мира, и ваш голос услышали все, кто

жив еще. «Зову живых!» Сами вы рассказываете, как незнакомые люди на улицах пожимают вам руку. Запись, сделанная вами, благодаря художественной силе своей, заставляет каждого пережить этот суд, как оскорбление, лично ему нанесенное, и сделаться вашим союзником.

И вот тут-то снова поднимал голову наш постоянный спор.

– А мне этого и не надо, – сердито, упрямо, а иногда и со слезами в голосе повторяла Фрида. – Никакого этого значения в литературе или общественной жизни. Мне надо одно: чтобы мальчик был дома. И раз я этого не добилась, я испытываю только неловкость, когда люди невесть за что с благодарностью пожимают мне руку. Этой записью я надеялась спасти его. И не спасла.

Я повторяла ей опять и опять, что если Бродский будет спасен, то именно благодаря ее записи, что кроме четырех-пяти людей в Ленинграде, кинувшихся ему на выручку с самого начала травли, да четырех-пяти в Москве, которые тоже начали действовать сразу после гнусной статьи в газете – все остальные, а их десятки, мобилизованы именно ее записью. Я пыталась объяснить ей, что запись – литературный шедевр, что она так же отличается от стенограммы, как живопись мастера от плохой фотографии; это портрет каждого свидетеля – отчетливый, незабываемый, резко очерченный; портрет судьи, общественного обвинителя; и, наконец, больше: это портрет самого неправосудия. Я делала опыты: показывала запись тем, кто сам присутствовал на суде, кому все было известно и без нее. Они читают и видят пережитое по-новому, и плачут и гневаются, как не плакали тогда. Такова власть искусства: воспитательная, познавательная, несокрушимая.

Фрида слушала меня неохотно, хмуро, без интереса. О, конечно, она – учительница, она – журналистка, гораздо лучше меня понимала, что такое воспитание в самом широком, истинно общественном смысле. Но при этом от каждой своей статьи в газете, от каждой судебной или иной записи она привыкла требовать прежде всего результата совершенно прямого, конкретного: чтоб выпустили человека из тюрьмы; чтоб дали человеку комнату; чтоб восстановили человека на работе… Прямого результата запись суда над Бродским, несмотря на все наши усилия, не давала, – а воспитательный смысл? а художественная ценность? – Бог с ними, печально говорила Фрида.

В последние недели Фридиной жизни, или, точнее: в последние недели Фридиного умирания, когда она уходила от нас, покидала нас, или еще точнее: когда она покидала себя, лежа

неподвижно на тахте в своей милой комнате, меня преследовал один и тот же сон… Возвращается Бродский. Я – во сне – набираю номер: АД 142-97. И говорю: «Сашенька, Иосиф вернулся, скажи маме… Сашенька, скажи маме…» И во сне думаю: как хорошо, что она успела узнать. Что я успела подать ей весть туда, на тахту, которая из веселой, мягкой обыкновенной тахты превратилась в два твердые, как камни, непостижимые слова: смертный одр.

Сон этот осуществился наяву, но, к великому нашему горю, неполностью. Бродский был освобожден через полтора месяца после Фридиной смерти. Он пришел ко мне. Мы вместе позвонили в Ленинград Анне Андреевне и его родным. Потом я сняла трубку и набрала номер: АД 142-97.

– Сашенька, Иосиф вернулся, – сказала я Саше, когда та отозвалась. Мы обе замолчали. Продолжения не было. Из горла ничего не шло на губы, с губ ничего в трубку. Я видела Сашу так же ясно, как если бы это был не телефон, а телевизор. Ресницы, волосы. Я видела пустую тахту. Я подумала: пойти, разве, на могилу, прошептать эти слова земле: Фридочка, Иосиф вернулся…

В двадцатых числах июля, дней за десять до конца, Фрида в последний раз спросила меня о Бродском. И странно, мне показалось потом, когда я перебирала в памяти мои последние к ней приходы, что этот разговор был тенью нашего старого разномыслия: «Бог с ней, с литературой, был бы цел человек…» Когда я вошла, Фрида лежала спиною ко мне и лицом к стенке, и когда я села в кресло рядом с тахтой – не повернула ко мне головы, не подняла глаз, и поздоровалась со мной только морщинкой: это от усилия улыбнуться морщинка перерезала лоб.

– Ну как наш рыжий мальчик? – спросила Фрида медленно, словно бы по складам, «рыжий мальчик».

Дело стояло тогда на точке совершенно загадочной. Оно находилось у председателя Верховного Суда РСФСР Л. Н. Смирнова, и в течение трех месяцев нам по телефону и лично отвечали на спрос, что решаться оно будет «через три-четыре дня». На письма же и телеграммы ответа вообще не было. Но все-таки у меня для Фриды была припасена хорошая новость: Евтушенко, сказала я, вернувшись из Италии, представил в ЦК, как водится, записку о своей поездке, и там, излагая содержание своих бесед с представителями итальянской интеллигенции, заявил, что «дело Бродского» наносит престижу нашей страны огромный ущерб, что Бродского необходимо выпустить и, главное, как можно скорее издать книгу его стихов – потолще той, какая издана на Западе. Там же он писал, что берется сам составить книгу и приготовить предисловие к ней.

– Книга Бродского! Вот бы хорошо! – сказала я.

Фридочка показала мне рукой, чтобы я с кресла пересела на тот угол тахты, с которого она могла видеть меня, не поворачиваясь. И подняла веки.

– Не до предисловия тут, не до книги, – сказала она легко, быстро, внятно. И затем снова с трудом, по складам: – Вы-пусти-ли бы маль-чи-ка на во-лю. Книга – это по-том.

И закрыла глаза.

Книга – потом. На первом месте – человек.

Мысль мыслей.

4. Грозные очи

Да, конечно, во Фридиной душе жили и Джо, и Флоренса, и все светлые диккенсовские героини, самоотверженные, трогательные, умевшие и любившие любить. Но была в этой душе и другая струна, чуждая диккенсовским героиням, на которую я набрела не сразу и которую не могу назвать иначе, как струною суровости.

Фрида умела не только пожалеть человека, но и дать отпор, постоять за другого – и за себя. «Как хорошо, что вы обороноспособны», – сказала я ей однажды. Вот эта ее «обороноспособность» и явилась для меня неожиданностью. Сочетание доброты и силы почти никогда не было видано мною – разве что в характере Тамары Григорьевны. Я привыкла к тому, что если человек добр, мягок, чист душевно, стало быть, он слаб, беспомощен, и все по нему ходят ногами. Фрида беспомощной не была. Ни в какой степени. И обидеть не позволяла – ни другого, ни себя самое.

Один раз я попросила ее зайти ко мне, чтобы посоветоваться о каком-то моем издательском деле. Не помню теперь ни дела, ни ситуации, ни рукописи, ни издательства, о котором шла речь. Помню, что я была раздражена, утомлена и предлагала какие-то резкости и крайние меры. Фрида же, со свойственной ей трезвостью и ясностью взгляда, советовала мне не торопиться, кого-то подождать из отпуска, с кем-то еще поговорить.

– Вечно у вас какие-то подходы! – сказала я Фриде, раздражаясь.

Фрида ничего мне не ответила и скоро, сославшись на срочное дело, ушла. Было это вечером. А утром я обнаружила у себя в почтовом ящике письмо. Пришло оно не по почте и, к моему удивлению, было от Фриды. «Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль». Холодно, сухо, колко и очень сурово Фрида спрашивала меня, что означала моя фраза: «вечно у

вас какие-то подходы», и зачем же нам, собственно, общаться, если я думаю о ней с неуважением? Тогда только я поняла, сколько серьезности вкладывает Фрида в свои отношения с людьми, и какие это для нее ответственные слова: друг, дружба. Я схватила перо и от всей души попросила у нее прощения, объяснив, что дурацкие мои слова отражают только меру моей усталости в ту минуту, а вовсе не мою задушевную мысль о ней, – о ней, моем любимом друге, который давно уже стал для меня образцом прямодушия и чести.

В человеческих отношениях, в отношениях между друзьями, Фрида не терпела никакого лицемерия, двуличия, того легкого, мелкого предательства, которое почти общепринято. И хотя она была человеком великого, можно сказать, музыкального такта, и вовсе не имела обыкновения каждую минуту и по каждому поводу, не щадя чужих нервов и самолюбий, резать правду-матку в глаза, – она была правдива в каждом своем слове, и ни на какое двуличие и ни на какое светское лицемерие неспособна: я бы сказала, в ней не было ни грана предательства. В словах, обращенных к друзьям, она всегда искала точного выражения своих мыслей и чувств. И той же чистоты требовала она от других. Приведу случай, поразивший меня своей неожиданностью. Однажды по просьбе знакомых Фрида занялась устройством судьбы одной молодой женщины – назовем ее Соней – в самом деле бедствующей и в самом деле достойной всякой заботы, хотя бы по количеству свалившихся на нее несчастий: отец ее погиб в ополчении, отчим погибал в лагере, мать погибла, попав под трамвай. Сама она неудачно вышла замуж и, родив ребенка, рассталась с мужем. Литературно одаренная, образованная, хорошо окончившая университет, она тщетно пыталась поступить на службу: время – начало пятидесятых годов, происхождение – еврейка. Словом, случай этот был совершенно для Фриды – человек за бортом, человек в беде! Фрида вплотную занялась Сониной судьбой, достала для нее на дом какую-то литературную работу, сделала попытку помирить ее с мужем, навещала ее, брала с собой в концерты, баловала девочку игрушками и сластями. Диккенсовская героиня в действии, добрая фея Фрида в своем репертуаре… И вдруг позвонила мне и попросила разрешения срочно зайти – в рабочее время, среди дня – «на 10 минут, по важному делу».

Пришла. И произнесла краткую речь.

– Лидия Корнеевна, я вас очень прошу, я вас познакомлю с Соней. Смените меня, пожалуйста, на этом посту. Оставить ее одну нельзя – пропадет, нужен возле взрослый человек, а я с ней больше не желаю общаться.

Сказано это было с непреклонной решимостью.

– Что же она такое натворила? Ваша милая Соня?

– Ничего она не натворила… Вы знаете, я редко отказываюсь от людей, а от нее отказываюсь, начисто и навсегда. Не хочу ее видеть: она дурно отзывается о наших общих друзьях, даже о тех, кого любит. Этого я допустить не могу. А у вас с ней общих знакомых нет, вам будет легче… Терпеть не могу неуважительных слов за глаза. Да еще о близких.

И под каким-то предлогом привела Соню ко мне, и больше никогда с ней не встречалась, и слушала меня сухо и хмуро, когда я рассказывала ей о своих попытках устроить Соню на работу.

– Не выношу этой черты – смеяться за глаза над теми, с кем дружишь. Через это я переступить не могу.

Ее оскорбляла даже тень двуличия и двоедушия, нечистота, непрямота отношений, неполнота доверия или самоотдачи. Заступаясь за кого-нибудь, хлопоча о ком-нибудь, она была с этим человеком вполне, всей душой, всей мерой честности и веры. Я замечала не раз, что, оказавшись у нее в комнате, я мгновенно успокаивалась после любой передряги, словно самый воздух был там целителен, обращен ко мне, повернут ко мне, как обращена и повернута ко мне была вся полнота Фридиного внимания. Оставаясь всегда независимой в мыслях, поступках и чувствах, Фрида умела в то же время повернуться к человеку вполне, словно наклониться над его особенной болью. Воздух ее комнаты был чист от заноз и осколков стекла. Но этой чистоты, цельности чувств и, если можно так выразиться, честности их, естественно, ожидала Фрида и от других. Не только ожидала – требовала. Вспоминаю, как однажды, получив из Ленинграда известие о тяжелой болезни сына одного из друзей, она бегала целый день по Москве, во всех буфетах покупая апельсины: мальчику разрешено было питаться одним лишь апельсиновым соком, а в Ленинграде фруктов вообще в эти дни не было. По телефону она условилась с ленинградцами, что апельсины доставит в Ленинград проводник «Стрелы». Отвезти корзинку на вокзал еще днем вызвалась Саша. Вечером я была у Фриды в гостях. Саша собиралась на вокзал неохотно, медленно, без конца искала под зеркалом шапочку, потом перчатки; потом, уже одетая, села в кресло с корзиночкой на коленях, раскинув руки. Ей, бедняге, сильно хотелось спать.

Фрида посмотрела-посмотрела на Сашу, и вдруг ее ласковые карие очи засверкали прямо-таки грозно. Голос зазвучал металлически. Я увидела ее учительницей в классе, пионервожатой перед строем, а может быть, и прокурором в зале суда.

– Раздевайся, – сказала она. – И ложись спать. На вокзал я поеду сама. Посмотри на себя в зеркало: с таким лицом не делают добрых дел!

Ей мало было того, чтобы Саша исполнила взятое на себя поручение и вовремя отвезла на вокзал апельсины. Ей надо было, чтобы Саша была счастлива представившейся возможностью помочь друзьям. От доброго поступка Фрида требовала полноты, щедрости, – того, что делает поступок не только правильным, но и красивым. Она сильно чувствовала эстетику добра. Ей хотелось полюбоваться Сашиной радостью: «везу больному апельсины!»; увидев на лице у Саши недовольство и скуку, она оскорбилась. И хотя Саша после ее слов мгновенно полетела на вокзал, Фрида весь вечер не могла успокоиться.

Такой же взрыв негодования, такие же грозные очи я видела еще всего один раз. На этот раз Фрида была оскорблена неполнотой дружеского доверия. Это было уже совсем, совсем в другие времена – болезнь, больница… За несколько месяцев до болезни, когда Фрида еще была, или, во всяком случае, казалась и считалась здоровой, Руня в один из своих приездов в Москву обиделась на нее, упрекнула ее в невнимании. Поссорилась с ней и уехала из ее дома, не помирившись. Обе они от этой ссоры глубоко страдали. Галя рассказывала мне, что, когда Руня ушла, так и не приняв Фридиных объяснений, – Фрида, оставшись одна у себя в комнате, громко зарыдала, а когда домашние вошли к ней, вскрикнула, не помня себя: «Уйдите все! Я потеряла Руню!»

Фрида не была истеричной, рыдания и крики были у нее не в обычае. И потому Фридин крик сильно поразил близких. Говоря об этой ссоре со мной уже вполне спокойно и даже холодно, она объяснила:

– Конечно, я мучаюсь от того, что у меня больше нет Руни. Но это не главное, главное вот что: если такой близкий человек, она ведь сестра мне, могла так мне не поверить, могла так поступить со мной, – значит на свете все возможно.

Ссора с Руней подрывала ее веру в людей, в дружбу, в надежность и неколебимость человеческих чувств – ту веру, которой бессознательно она жила всегда.

– Ведь Руня меня знает, – говорила она с печальным недоумением. – И она могла мне не поверить! Что же это творится на свете?

К этому времени Фрида, пятидесятилетняя женщина, уже хорошо, казалось бы, знала, что бывает на свете. И все-таки дивилась Руниному поступку и не могла надивиться.

Видя ее мучения, я от души желала, чтобы они помирились. Хотела этого, конечно, и она сама, но – но вот тут-то я и увидала

опять сверкнувшие на этот раз с больничной подушки Фридины негодующие глаза.

…Фрида лежала в больнице. О, какое это было страшное время – для всех нас! «После отчаяния наступает покой, – сказала мне как-то Анна Андреевна Ахматова, – а от надежды люди сходят с ума». Вот мы и сходили с ума… Для Фриды это время было сравнительно радостное: операция осталась позади, желтуха проходила, она с каждым днем чувствовала, как к ней возвращаются силы. Училась помаленьку сидеть, ходить, есть. Читала, начинала писать. Ей сказали, что у нее воспаление поджелудочной железы, от которого ее будут лечить вливанием в вену какого-то заграничного лекарства. Она лечилась доверчиво и старательно. А мы знали, что

Виноградов, вскрыв брюшину, до опухоли не дотронулся и близким сказал: «Рак неоперабельный, случай безнадежный». А мы знали, что он добавил: «Попробуйте «5-фторурацил», быть может…» Вот этим «быть может» мы и жили. Это и была та тень надежды, которая сводит с ума. Мне казалось, сама я живу какой-то призрачной, двойной, недостоверной жизнью. «Фрида погибает и погибнет» – с этой мыслью я ложилась и вставала. «Фрида выздоравливает, и с каждым днем ей все лучше» – это было то, что видели мои глаза. «Попробуйте… быть может», – сказал, слегка пожав плечами, Виноградов. Что если это «быть может» превратится в действительность?..

В эту пору сама я много болела и бывала в больнице у Фриды гораздо реже, чем мне хотелось. (Хотелось быть безотрывно, все время.) В дни, когда мне становилось лучше, я вставала и, сговорившись с Сашей по телефону, мчалась к Фриде. В мыслях моих она была погибающей, умирающей, и я мчалась на помощь. А примчавшись, видела обыкновенную Фриду, пожалуй, чуть-чуть похудевшую, веселую, радостную, выздоравливающую. Ее живой, милый голос, смеющиеся глаза, ее расспросы обо всех моих делах, о друзьях – подтверждали, что она здесь, с нами, Фрида, такая же, как всегда. Возле нее я мгновенно успокаивалась. И мы болтали, как прежде, то наедине, то вместе с Изей или Еленой Сергеевной.

В ту пору (по-видимому, это был февраль 1965 года) Фрида иногда из пустого врачебного кабинета звонила мне по телефону. Все интонации – твердые, ясные, звучные – были мне привычны, знакомы; все ее словечки, обороты речи: «да, это действительно я!» (в ответ на мой возглас: Фрида!) или: «это мне, как говорится, уже не любопытно!» – в виде укора кому-то; или осуждающе: «это мне уже ску-ушно слу-ушать» (длинное «у»). Я спрашивала, что принести ей в больницу. Она отвечала, подумав, и с полной

серьезностью: «Лучше всего, пожалуй, калачик». «И вареную рыбку». В ее произношении слово «калачик» звучало вкусно, аппетитно, чувствовалось, что ей его действительно хочется. Но и этот простой ответ, и обыкновенное слово «калачик» звучали для меня, будто откуда-то из потустороннего мира. «Говорит Фрида». «Говорит звезда». «Говорит тот свет».

«Рак неоперабельный, случай безнадежный», а Фрида веселым голосом просит меня с того света, чтобы я принесла ей калачик… Было от чего сойти с ума. И вот я бегу, задыхаясь, по больничной лестнице, сердце стучит в ушах, в горле, в животе – бегу Фриде на помощь, словно от моей поспешности действительно зависит ее спасение; третий этаж, коридор и еще коридор… сердце стучит так громко, что я не сразу сквозь этот стук научаюсь слышать Фридин голос. Фрида лежит в постели приветливая, улыбающаяся, правда, более слабая, чем в прошлый раз («это заморское лекарство прямо-таки сбивает с ног», – объясняет она), слабая, но веселая, обо всем и обо всех расспрашивающая, рассказывающая о больных и врачах, – словом, через минуту я вижу прежнюю, нашу обычную Фриду. И калачик ей хочется поскорее съесть. Сама она взять его сегодня не может: у постели длинная колба с прозрачною жидкостью, откуда в вену Фридиной руки беззвучно течет «5-фторурацил».

– Это заморское лекарство, – объясняет мне Фрида, не подозревая, что я-то знаю об этой жидкости больше, гораздо больше, чем она. – Не обращайте внимания: оно пусть каплет, а мы будем разговаривать. Совсем не больно. Разрежьте калачик и намажьте его маслом, пожалуйста. Нож в тумбочке, а масло на окне.

Левой рукой она берет у меня калачик, весело жует, весело задает вопросы. Я стараюсь не смотреть на страшный бесцветный яд, колеблющийся в колбе – словно моя ложь, стоящая между нами – стараюсь не видеть капельку крови на ватке, прилипшей к Фридиной руке. Она не знает, а я знаю, какими мучениями грозит ей этот бесцветный яд, эта отрава, эта наша последняя сумасшедшая надежда на ее жизнь. Поверх одеяла у стенки стопочка писем.

– Видите, сколько много? – говорит Фрида. – Слышали, как дети говорят: сколько много!

Она протягивает мне пачку конвертов. Я с удовольствием рассматриваю конверты, только чтобы не глядеть на отраву. На одном вижу обратный адрес: Р. Зернова.

– От Руни? – говорю я. – Получили?

– Да, – говорит Фрида. – И от Руни.

– Значит, вы помирились? – вскрикиваю я. – Вот чудесно!

И вдруг с подушки, из этих глаз, только что струивших приветливость, покой, ласку, – мгновенная молния гнева.

– Ничего чудесного нет! Не могу же я каждый раз ложиться под нож, чтобы Руня снова начинала мне верить!

Она нежно любила Руню и от души желала помириться с ней. Но в приступе миролюбия, внезапно охватившего

Руню, она чуяла натяжку, нарочность, вызванную ее, Фридиной, тяжелой болезнью. А Фрида не хотела скидки на болезнь. Это ее обижало.

Ей-то было хорошо известно, по опыту собственной души, что такое полнота доверия. И она ждала ее и требовала от тех, кого любила… Ничто не могло ее ранить больнее, чем недоверие.

К счастью для них обоих, за месяц до Фридиной смерти полнота доверия была восстановлена: они помирились.

Но молния гнева, сверкнувшая мне когда-то с больничной подушки, много объяснила мне во Фридиной сути.

5. «Зубами»

Да, Фрида по природе своей, не в пример милым и трогательным героиням Диккенса, была вполне обороноспособна. К тому же, она включала это качество в проповедуемый ею кодекс морали и чести.

Однажды, – это было очень давно, по-видимому, в начале пятидесятых, когда Фрида жила еще на Ермолаевском и работала над первыми частями трилогии, – я зашла к ней, чтобы поговорить о ее рукописи. Между нами возник спор по поводу одной главы. Там рассказывалось о драке детдомовских ребят – Мити Королева и Коли Катаева – с бандитами. Ребята ехали в поезде и приметили, как двое здоровенных парней, перемигнувшись, вышли на площадку следом за молоденькой девушкой. Митя и Коля бросились туда и поспели как раз вовремя: парни срывали с руки девушки часы.

Митя схватился с одним, Коля с другим. Один бандит вышвырнул Колю из поезда, так, что тот сломал себе руку, другой ударил Митю кастетом по лицу и повредил ему глаз… К счастью, на помощь подоспел проводник. Ему удалось задержать бандитов. Устами своего главного героя, Калабалина, Фрида сурово осуждала тех педагогов, которые, наперекор Калабалину, полагали, что мальчикам не следовало ввязываться в эту драку: слишком уж неравны были силы.

– Я тоже не очень уверена, – сказала я осторожно, еще не понимая, куда ведет меня моя мысль, – не очень уверена, что детей следует обучать ввязываться во всякую драку.

Фрида взглянула на меня с интересом. Поджав ноги, она уютно сидела на тахте и толстыми шерстяными нитками штопала дыру в Сашином джемпере. Было тихо и тесно. Кто бывал у Фриды на Ермолаевском, тот помнит эти две крохотные, узенькие комнатушки, из которых в одну можно было попасть сквозь тесноту другой, где даже самые необходимые вещи казались излишними; комнатушки, из которых в коридор потихоньку выносили один-два стула, чтобы гость мог беспрепятственно войти в дверь. Как размещались там, жили, обедали, спали, работали пять человек, для меня всегда оставалось тайной – особенно трудно было вообразить себе, как могли там писать свои книги двое профессиональных литераторов. А ведь иногда, и даже очень часто, там жили еще и приезжие гости… Правда, Фрида толковала мне, что по ночам двери не очень-то нужны – на ночь приставляется к дверям койка, – вот и еще одно спальное место, и даже чертила на бумаге план, но мне ситуация все равно не становилась яснее.

На этот раз тут было на удивление тихо. Кроме Сашеньки и нас, дома никого, а Сашенька – черные косы и белые банты – смирно сидит за маленьким столом у окна в проходной комнате и делает уроки. В другой мы с Фридой, положив рукопись на тахту, рассуждаем о повести.

– Стоит ли учить детей ввязываться во всякую драку? – повторила я.

– Во всякую, конечно, нет, – ответила мне Фрида. – Но ведь тут ясно, на чьей стороне правда. Здоровенные бандиты отнимают часы у девушки.

Я ответила ей, что уголовный мир весьма организован, что когда двое отнимают часы, на стреме стоит третий, что у нас существуют целые улицы, а говорят, и целые города, взятые бандитами под контроль, и хотя ясно, кто тут прав, кто виноват, но учить детей – детей, подростков! – с голыми руками кидаться на вооруженных ворюг – преступление. «Погибнут лучшие, вот и всё, – сказала я. – Бандиты останутся невредимы. Следует ли посылать подростков на смерть или увечье? Спасенные часы стоят ли Колиной руки, Митиного глаза?»

– Дело тут не в часах, – ответила Фрида. – На человека напали бандиты. Оставить его без помощи, один на один с бедой?

В эту минуту в комнату ворвалась Сашка. Давно уже, приоткрывая дверь, она заглядывала к нам, стараясь сообразить, попадет ей, если она помешает, или нет? Убедившись, что мы не работаем, то есть не перелистываем рукопись и не пишем, а просто-напросто разговариваем, она решилась. Вбежала в комнату и кинулась на маленькую Фриду, – толстая,

круглоглазая, большеногая, животастая, – именно кинулась: обнимать, целовать, тормошить. За тем и пришла.

Сначала она столкнула на пол рукопись, потом рабочую корзиночку с нитками и клубками; сев на пол, чтобы подобрать листки и нитки, толкнула столик, стоявший возле тахты, и с лампы слетел абажур. Всплеснув руками, она надела абажур на лампу, в отчаянии поцеловала Фриду еще раз и выбежала вон.

– До чего неуклюжа и огромна, – сказала Фрида сквозь смех. – Не по нашей жилплощади.

– Вот что, – сказала я. – Вот, например, ваша Сашка. Представьте себе, что она едет в трамвае, почти пустом… Ей сколько? 14? 15? Рядом с ней еще какая-то девочка. С этой девочки бандиты срывают часы. Должна ли Саша ввязываться?

– Непременно, – ответила Фрида, продолжая штопать. – Конечно, должна. А что же вы думаете, она должна как ни в чем ни бывало катить дальше?

– Но с чем же она на них бросится? У мальчишек хоть кулаки есть… А она чем будет драться? Косами?

Фрида подняла голову, сверкнули глаза.

– Зубами! – ответила она мне с сердцем.

Белые крепкие крупные зубы разом перекусили нитку.

И я сразу вспомнила любимейший мой рассказ Пантелеева «Маринка». В начале войны, когда Маринка, маленькая героиня рассказа, была еще румяная, веселая, сильная, толстая, она со смехом грозилась, если немец посмеет войти к ней в комнату, она его зонтиком, она его лампой, она его калошей. В блокадную страшную зиму автор, живущий по-соседству с Маринкой, зашел навестить ее. Маринка изнурена голодом, холодом, жизнь ее еле теплится под грудой одеял на кровати. И когда автор, продолжая старую игру, задает ей прежний вопрос: что бы ты сделала, если бы сюда ворвался немец? – она молчит, молча оглядывает комнату, как бы примеряясь, прикидывая…

«Казалось, она трезво рассчитывает свои силы: стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всем доме днем с огнем не найдешь.

Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки.

– Что? – переспросил я.

– Я его укушу, – сказала Маринка, и зубы ее еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому фашисту, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату».

Фрида, по-видимому, тоже вспомнила этот рассказ.

– Зубами, – повторила она. – Чем хочет. Но не сметь оставить

человека в беде.

Я не думаю, что Саша Москвина, героиня «Любимой улицы» и «Семейного счастья», это Фридин автопортрет. Но не сомневаюсь: многие черты своего характера, и при том основные, Фрида подарила героине этих книг. Ключ к характеру Саши Москвиной, то есть к характерам их обеих, Саши Москвиной и Фриды Вигдоровой – дан в разговоре между Сашей и доктором Королевым.

Дмитрий Иванович Королев – хирург, она – медицинская сестра в хирургическом. Они хорошо сработались и относятся друг к другу с высоким уважением. И вот однажды, когда они вместе идут после тяжелого операционного дня до метро, Саша Москвина спрашивает у Дмитрия Ивановича, почему это ему вздумалось пригласить ее на работу к себе в больницу? Прежде она работала в детской консультации и, в качестве патронажной сестры, навещала маленького Юру в той квартире, где жил Королев. Однако знакомы они не были, он никогда даже не видал ее. И вдруг Дмитрий Иванович подошел к ней в коридоре, представился и предложил перейти на работу в больницу, к нему в хирургическое, где освободилось место медицинской сестры… Теперь, когда они подружились, Саша Москвина решается спросить у доктора, чем было вызвано это приглашение?

Ответ Дмитрия Ивановича весьма примечателен. До приглашения он Сашу и в глаза не видал, но много слышал о ней от соседей по квартире, и все только хорошее: больная бабушка твердила, что Саша лечит лучше всякого доктора, а соседка Тоня – та прямо-таки повторяла каждое Сашино слово Королеву в назидание. Какое бы несчастье ни случилось с человеком (Королев недавно потерял жену), «нельзя глохнуть, если несчастье, умирай, погибай, а душа пускай будет жива», – повторяла ему Тоня Сашины слова.

Разговор между Дмитрием Ивановичем и Сашей Москвиной, идущими по улице, далее развивается так:

«– По-моему, это все не про меня, – сказала Саша. – Какой-то рождественский рассказ.

– Да, как в хрестоматии.

– И вы оценили меня за мои хрестоматийные достоинства?

– Вот тут-то и закавыка, Саша. Я вас терпеть не мог. Я думал: ну что она все время лезет не в свое дело, проповедует, поучает, пропагандирует. Занималась бы своим делом, что ли. Ведь она патронажная сестра, а не Франциск Ассизский. И вот: прихожу раз и вижу: во дворе ребята собрались и галдят. Что, спрашиваю, у вас такое? Они отвечают: патронажная сестра дала Гошке по морде. Какая патронажная сестра? Ну, та, которая из детской

консультации ходит к Юрке Киселеву. За что, спрашиваю? И выясняется, что Гошка дразнил малыша, кричал ему: полтинник, полтинник! Так, кажется, дразнят безотцовских? А вы подошли и дали тому самому Гошке по физиономии. Было дело?

– Было.

– Ну, а тут как раз ушла из нашего отделения сестра… Рискну, позову эту самую Сашу, которую не знаю и даже никогда не видел. Вдруг повезет? После операции человека надо беречь, как… как хрустальную вазу, что ли… Ему надо сказать – дорогой. Или там – голубчик, или еще какое-нибудь петушиное слово. Доктору – не обязательно. А сестре, которая выхаживает, – непременно.

– Значит, пока я выхаживала Юру и бабушку, вы меня терпеть не могли, а когда съездила человека по физиономии, вы меня оценили и поняли, что я умею говорить петушиные слова?»

Да, Фрида умела говорить петушиные слова, умела беречь человека, словно хрустальную вазу. Повторяю: даже воздух в ее комнате был особенный, проникнутый радостным вниманием к гостю. Для меня ее комната всегда была тем блаженным островом, где я могла дышать и двигаться, не опасаясь наступить на стекло или проглотить кусочек острого металла. Общение с Фридой как будто накладывало перевязку на больные места. Сколько петушиных слов сказано мне ею по телефону, с глазу на глаз, в письмах, слов, которых я никогда не забуду. Утоляющих боль.

Но я думаю часто: быть может, потому слова эти, нежные и простые, имели врачующую власть, что они были «обеспечены всем золотым запасом республики», как написано на деньгах, всем запасом Фридиного мужества, Фридиной способности, подобно Саше Москвиной, ответить на оскорбление человека – ударом; потому она умела исцелять, что нежность ее была сродни той, о которой сказано в стихах Александра Гитовича: «Ты, – говорит Гитович, обращаясь к великому художнику и его полотну, —

> Научил нас, что сила становится доброй
> И что нежность становится сильной[4].

6. «Гюгополис»

Но Саша Москвина, при всем своем сходстве с Фридой, все-таки беднее, чем ее создательница. У Фриды была еще одна черта, которую она, хоть и подарила своей героине, но все-таки, на мой взгляд, недостаточно в ней культивировала: юмор. Именно эти сочетания – силы с нежностью, доброты с суровостью и серьезного, высокого, ответственного отношения к жизни с богатым и разнообразным чувством юмора – именно эти редкостные сочетания, причудливо совмещающиеся во Фридином характере, и делали ее такой пленительной.

Как она любила смеяться, как радовалась шуточной песне, пародии, эпиграмме! Она была первой ценительницей шуток, эпиграмм, смешных словечек работы таких мастеров, как Раскин, Паперный, Наталия Ильина, Казакевич, Светлов. Книги ее, особенно последние повести, проникнуты юмором насквозь, мы читаем их, улыбаясь, – над одной страницей улыбаемся светло, над другой насмешливо, над третьей со злостью. Катя и Аня, маленькие героини последних повестей, созданы не только страстной наблюдательностью талантливого педагога, для которого воспитывать было все равно, что дышать, не только материнской любовью, но и способностью автора взглянуть на любимейших своих героев со стороны и ласково посмеяться над ними. «Дай хлебушка белого!» – на всякий случай говорит Катя, иногда в самых патетических местах, и мы смеемся. А для того, чтобы создать Прохорову, медицинскую сестру Прохорову, злую тупицу в туго накрахмаленном халате, бессердечную, бесчеловечную, с восторгом клевещущую на доктора Королева по первому сигналу свыше, необходима была уже не насмешливость, а настоящая злость. Помните Прохорову? Ее «нельзя было ничем удивить, ничем растрогать или порадовать, ей нельзя было рассказать ничего интересного: она все знала наперед. И ответ у нее был один:

– Какие все ученые стали!

И еще она говорила:

– Я никогда ни у кого не занимаю, вот и у меня не просят.

И еще она говорила:

– Жить надо по средствам.

И еще:

– Не вижу я радости от замужества. Много радости – стирать мужские портки.

И еще:

– А зачем мне дети? Вырастут хулиганами. Или пьяницами».

Для того, чтобы создать портрет этой бюрократки от медицины, этой мастерицы бесчеловечья в самой человечной из профессий, надо было обладать юмором уже не веселым, а суровым, угрожающим.

«– Доктор велел, чтобы Петров чаще отхаркивал, – говорит Саша Прохоровой, сдавая дежурство.

– Знаем.

– Не то придется делать трахеотомию.

– Слышали.

– Дмитрий Иванович велел позвонить ему в девять и сообщить, какая температура у Волковой.

– Это у бабушки с тромбозом, что ли?

– Да.

– Королев всегда что-нибудь придумает. Какая у Волковой может быть температура. Ей восемьдесят восемь лет».

«Услышав стон, сестра Прохорова встанет, отложит вышивание и войдет в палату.

– Чего вам, больной?

– Пить!

– Вам нельзя пить.

– Пить!

– Не капризничайте, больной».

Нет, от нее не дождешься петушиного – человеческого! – слова, ей никто не интересен и не жалок, никого она не бережет и не любит, она «исполняет свои обязанности».

Двойник Прохоровой – та особа в кудельках и кружевах, с розовыми ноготками на толстых пальцах, которая приходит в дом к Поливановым тоже для того, чтобы «исполнить свои обязанности», чтобы научить Сашу подать кляузу на мужа. Это уж бюрократка не от медицины, а от так называемой общественности. В наши дни бюрократ и мещанин – понятия однозначные, и обе они, – медицинская сестра и общественница – прежде всего мещанки. Мелкое ненавистничество Прохоровой прикрыто исполнительностью и туго накрахмаленным халатом; страстная жажда сплетен у ее духовной сестры – модной кофточкой и борьбой за здоровую советскую семью. Помните? Сыпет, сыпет словами. Находит, что в комнате у Саши очень уютненько. Сетует, что из магазинов исчезло ленинградское мулине. Советует Саше поставить на полочку бархатные розы. Потом советует обратиться к общественности: «Напишите нам кратенькое заявление». Получив кратенькое заявление, гадина начнет лечить административными мерами Сашину душевную рану… Эта представительница общественности смешна и страшна; и – свойство настоящей сатиры – более страшна, чем

смешна. Никогда не забуду, как Анна Андреевна Ахматова, прочитав Фридину запись заседания месткома в тульском музыкальном училище, сказала мне: «Это самое страшное, что я когда-либо в жизни читала». (Фридину запись суда над Бродским она прочитать не пожелала.) Многие записи в блокноте журналиста и блокноте депутата, сделанные как бы по случайному поводу, такие, как «За смертью Носова» или «Я член партии» – нельзя читать без смеха, и смех этот, как плуг, поднимает глубокие пласты современной жизни и заставляет глянуть глаза в глаза ужасу. Смеешься, читая блокнот, а захлопываешь его, содрогаясь от боли. «Ребеночек народился! Мальчик!» – кричит человек, которому некуда привезти этого ребеночка вместе с матерью из родильного дома. Смешно объясняется с ним председатель, смешны первая, вторая и третья речь управдома. Фрида обладала чутким слухом к современной речи со всеми ее канцеляритами и мещанизмами, и слух к уродствам речи вел ее с поверхности явления вглубь.

«Остановлюсь на первом пункте, о количестве квартир, включившихся в соревнование за социалистический быт… Они выполняют пункты, чтоб сберегать спецфонд и соблюдать взаимоотношения.

Есть четыре семьи в хороших взаимных отношениях, люди стали более общаться, и мы должны афишировать, когда работает клуб и кинопередвижка, а то афиши нет, и люди не знают…

Нам некоторые говорят разные нарекания, и, конечно, извините за грубость, мы, конечно, много набракоделили. Но есть такие, что зря злорадствуют, и, если по-ихнему не вышло, то делают улыбочку. Вот Пахомова из дома шесть по Неждановой – она бегает в единственном числе и смотрит, что не так».

Смешно? Пожалуй. И невинно. Благодушно. А на следующей странице нас подстерегает ужас. Во Фридиных блокнотах сырой жизненный материал, схваченный на лету, записанный на слух, превращался в мощную сатиру:

«– Мы хоть и говорим о квартирах социалистического быта, но я должен сказать о подвале в доме шесть по улице Огарева. Этот подвал не сегодня-завтра обрушится. Будут жертвы. Людей надо немедленно переселять.

– Переселять некуда.

– А что мне людям говорить?

– Разъяснять надо. Агитировать и пропагандировать.

– Плохо!

– Что, то есть, плохо? Вы из какого государства приехали? Про что вы это говорите «плохо»?

……..

Внезапно дверь открывается, и в комнату вваливается пьяный:

– Нас каждую осень затопляет дерьмом! И дождем! И если нас затопит и убьет – вы все, все будете виноваты!»

И в писаниях и в жизни Фриде присущ был именно юмор, разнообразный и глубокий, – острословие не было ей свойственно. В беседах с друзьями острила Фрида редко, а может быть, и никогда. Я помню ее, пересказывающей чужие остроты, но собственных ее острот не припомню. У нее были свои излюбленные выражения, которые она часто употребляла, и среди них я не помню ни одного каламбура. Речь ее была проста. «Ну, это еще надо, как говорится, поварить в голове», – говорила она, задумавшись над каким-нибудь делом. В конце высказанных кем-нибудь и ею самой соображений, предположений, она спрашивала, чтобы подвести итог: «как же мы будем поступать?» Строго, деловито, рассчитанно. В ее речи сказывался навык журналиста, депутата, привыкшего обдумывать, и, обдумав, действовать… «Как же мы будем поступать?» Но с каким очаровательным юмором пела Фрида песни – Галича, или лагерные, тюремные! С каким юмором писала письма!

Вот одно из них, от 1 ноября 1964 года, полное грусти и юмора:

«Живу я в сутолоке и неразберихе. Мою двоюродную сестру Веру (дочку нашей тети Фани[24]) оставил муж. Тетя Фаня не ходила целую неделю. А мы тем временем опускались на дно: никто не готовил обеда, никто не покупал масла и сахара, некому было гулять с Наташей. Александр Борисович, похлебав нашего с Галей неквалифицированного супа, сказал:

– Если так будет продолжаться, я буду вынужден настаивать, чтобы Сеня[25] вернулся в семью.

И, кажется, так оно и будет.

Когда он ушел, Верочка сказала: – Я брошусь с пятого этажа.

Он ответил: – Ну и бросайся!

Она: – Я умру, если ты уйдешь! Он: – Ну и умирай! Тогда Вера сказала: – Я пойду в твою парторганизацию! И он вернулся!..

Александр Борисович очень доволен. Мои девочки в смятении: зачем ей муж, вернувшийся под конвоем?

А я почем знаю? Мне жалко ее было, а теперь – нет… К чему я все это рассказываю? К тому, что тетя Фаня, видимо, с завтрашнего дня снова начнет ходить. И мы сможем уехать в Переделкино…

Меня мучает и угнетает, что нет никакого ответа на наше письмо. Оно получено, но ничего не сдвинулось[26].

Я думаю: а вдруг моя подпись испортила дело?[27] Вот тогда я

тоже: с пятого этажа и прочее».

Письмо это сильно напоминает страницу из какой-нибудь Фридиной повести: та же легкость рассказа, свойственная Фриде, как прирожденной беллетристке, та же легкость переходов, тот же юмор, то веселый, то горестный.

Писала она, случалось, письма и совершенно юмористические: письма-шутки, письма-пародии. Привожу одно – к Корнею Ивановичу. В статье об искусстве художественного перевода, напечатанной в «Литературной газете», он по ошибке выдал работу одной переводчицы за работу другой. Об этом его решила известить Фрида. А так как в своей статье он говорил о необходимости для переводчика изучать богатство родного языка и широко пользоваться синонимами, то она написала свое извещение так:

«Дорогой (высокочтимый, бесценный, неоценимый, безмерно высокий) Корней Иванович!

Мы с восторгом (наслаждением, упоением, без передыху, взахлеб) прочитали (усвоили, заглотали, втемяшили себе в башку) Вашу превосходную (блистательную, на большой палец, великолепную, мировецкую, отменную, лихую) статью, но хотели бы (жаждали, мечтали, имели такую думку, желали бы), чтобы Вы учли (взяли на земетку, благоволили заметить, зарубили себе на носу, намотали на ус), что наша обожаемая (любимая, дражайшая, милая нашему сердцу) Мария Федоровна Лорие никогда (во веки веков, отродясь, с младых ногтей) не переводила (не перелагала, не перевыражала, не перепирала) на язык родных осин (дубов, берез, кленов, развесистой клюквы) ни строчки Олдриджа. Это не мешает (не препятствует, не прекословит, не противуборствует) нашему высокому уважению (культу) Вашей особы (персоны, личности, божьего подобия, образины).

Всегда Ваши, любящие Вас, читатели, почитатели, уважатели, любители, смакователи, заушатели».

Всю жизнь, до своей последней роковой болезни, Фрида отличалась изобилием физических и душевных сил. Они были отпущены ей не в обрез, а с избытком. Эта избыточность сил роднила ее с детьми и с людьми совсем юными.

Она любила веселье шумное, молодое, с танцами, лыжными вылазками, вином: веселиться так веселиться! Однажды зимою, лет десять тому назад, мы вместе оказались в Малеевке. С раннего утра до обеда Фрида работала, потом в большой компании бегала на лыжах, а вечером танцевала в гостиной – не пропуская ни одного танца – до той самой минуты, пока старшая сестра не приходила гасить свет. А сколько, несмотря на даль, к ней приезжало из города друзей, сколько дней рождений своих

старых и новых знакомых она успела за этот месяц отпраздновать! Когда она уезжала, я вышла проводить ее к машине: оказалось – провожает ее половина санатория: писатели, медицинские сестры, врачи, даже сам шеф-повар. «Постареет теперь наш дом, – сказал мне незнакомый человек, стоявший рядом со мной на крыльце, – уехала Фрида Абрамовна». И в самом деле, дом после ее отъезда потускнел, поскучнел, словно лишился ключа молодости, хотя в доме оставались женщины гораздо моложе, наряднее и элегантнее Фриды. Очарование ее было в непосредственной радости жизни; люди могли еще совсем не знать ее, но их влекала к себе эта круглоглазая, белозубая, чуть курносая улыбка, в которой светилось горячее оживление, – то самое, которое так мило нам в детях: хорошо, что сегодня мороз! хорошо, что лыжи скрипят! хорошо, что музыка играет и можно танцевать вальс! – вот что говорила эта улыбка, и каждый чувствовал: а ведь в самом деле – хорошо! Избыток жизненных сил побуждал Фриду культивировать празднества, на которых можно было дать волю гнездившемуся в ней веселью: дни рождения, встречи Нового Года, елку, с приездами ленинградских друзей, с маскарадом и лотереей и, уж конечно, с экстренным выпуском домашней стенной газеты, полной карикатур и всяческих пародийных причуд. Шутка, пародия, неудержимо влекли ее к себе. При этом она, такая строгая ко всякому обидному, царапающему слову, обращенному к ней самой или к кому-нибудь в ее присутствии, обожала – я не могу подобрать другого выражения, – обожала, когда предметом вышучивания или пародии становилась она сама: ее повести, статьи или образ жизни. На последнем праздновании дня Фридиного рождения, 16 марта 1965 года в Переделкине, Саша за именинным столом исполнила песенку, сочиненную Еленой Сергеевной, где издевательски, на уличном блатном языке было изложено содержание Фридиных повестей. Громче всех, счастливее всех смеялась Фрида, закидывая голову, блестя глазами и сверкая зубами…

Вот как изложен был в песне трудный любовный конфликт в семье Поливановых:

И собрала тут Саша чемоданы,
«В деревню еду, ты меня не жди!»
А обе дочки – Катенька и Аня —
Стоят и плачут у мамы на груди!
Тут етот Митька сразу оклемался:
«Мол, не езжай, один я не могу!»
А Сашка, стерьва, бровью не поводит,

На поезд села и больше ни гу-гу.

Фрида нисколько не оскорблена была грубостью, с какой в этой песне изображены были сложные, тонкие психологические перипетии. Ее веселил этот неожиданный угол зрения:

Еще тут Репин зачем-то ошивался.
В чем было дело – сам я не видал.
Но говорили добрые соседи,
Что он в деревне к ней в окно сигал.

Фрида веселилась, и праздник ее был весел, хотя двойное чувство: радости и страха, наверное, томило в этот день не одну меня. Фрида в эту пору с каждым часом становилась видимо бодрее. Конечно, о танцах или лыжных вылазках не могло быть и речи, но вместе с пастерначатами она пускала кораблики в канавах и лужах, каждый день работала над своей повестью («Учитель»), с восхищением слушала стихи Тарковского, радовалась изречениям Натальи, ходила гулять с Сашей, Галей, Копелевыми, поднималась даже на могилу Пастернака – словом, выздоравливала. Иногда ходила она на прогулку и со мной: маленькая, в чужих громоздких валенках и сползающей на затылок шапке. Та же милая полуседая прядь на лбу, которую она все время пробовала пристроить под шапку… Она легко – гораздо легче меня – делала «большой круг» (улица Серафимовича, улица Горького, улица Серафимовича) и потом обычно заходила ко мне погреться. Скинув валенки, забиралась с ногами в плетеное кресло и натягивала на колени полосатую юбочку. Мы болтали, пили горячий чай из термоса, и я смотрела на нее во все глаза, проверяя, сомневаясь, радуясь, не веря себе. Такая ли она, как всегда? Совсем такая или не совсем? Кажется, совсем: темноглазая и белозубая, а сейчас еще и розовая с мороза. А что, если Виноградов ошибся, и опухоль не злокачественная, и Фрида останется с нами? Немножко похудела, пожалуй, и кисти рук будто бы стали длиннее, затылок уже, плечи – тоньше, но ведь это бывает и после любой операции. Не может сама достать с высокой вешалки шапку: «тянет шов». Ну, и это бывает после любой операции, и это скоро пройдет… Зато гемоглобин, по последнему анализу, стои́т высоко (нас всех сильно утешал гемоглобин), и доктор в последний раз нашел, что в животе «ничего не прощупывается», «печень в границах».

– Я только теперь понимаю, – часто говорила в эту пору Фрида, – как здорово меня девчонки из болезни вытаскивали.

И день ее рождения в этом году был словно днем победы. Фрида, нарядная, хорошенькая, сидела рядом с Александром Борисовичем во главе стола. Съехались друзья, навезли подарков. С утра пришел Корней Иванович и поднес Фриде куплет:

От Москвы и до Аляски
Мне один соперник – Раскин.

За столом я сидела от Фриды по левую руку, и между нами не колебалась в колбе таинственная бесцветная ядовитая жидкость, а стояли обыкновеннейшие бутылки с вином. На полу и на подоконниках корзины с пышными цветами – вот эти корзины были, пожалуй, чем-то смутно неприятны, словно они напоминали о будущем, об ином – неизбежном – торжестве… Сергей Львович Львов (никто еще не знал, что через полгода он будет именоваться секретарем комиссии по литературному наследию Ф. Вигдоровой), Сергей Львович Львов исполнил рассказ о том, как, начитавшись Фридиных книг и статей, он дал себе слово никогда больше не проходить равнодушно мимо чужой беды – и какие смешные, неуместные и вредные последствия имело это решение. Все смеялись и Фрида больше всех.

…У Люши в магнитофоне живет Фридин голос. Сначала песни, потом письмо… Это письмо Оттена к Фриде (не настоящее, а сочиненное Сашей и ею самой) есть, в сущности, веселая издевка не только над деловитым Оттеном, дающим Фриде разнообразнейшие и по большей части неисполнимые поручения, но и над нею же, над ее собственными постоянным хлопотами: добиться, чтобы Надежда Яковлевна Мандельштам была прописана наконец в Москве; чтобы одна переводчица была принята в жилищный кооператив; чтобы в плане издательства «Советский писатель» была восстановлена книга одного уважаемого литератора, чьими-то интригами из плана вытесненная; поддержать своей рецензией молодого поэта; достать «Братья Маугли» для внука Бориса Леонидовича и т. д. и т. п. до бесконечности…

Вот что в виде оттеновского письма читает нам Фридин голос:

«Дорогая Фрида!

Должен Вам сообщить, что Вы меня удивили, и неприятно удивили. То я звоню, у Вас ячмень, то лихорадка… Этак у Вас завтра вскочит на левой пятке чирей, а из-за этого дела будут стоять: Манолис Глезос до сих пор в заключении. В артиллерийском училище в городе Калинине (Тверь) теорию воздушной стрельбы преподают невежды, которые не читали даже

Кафки.

Затем, Фрида, ведь я не раз напоминал Вам, что Гюго хотел, чтобы после его смерти Париж переименовали в Гюго-полис. Почему это еще не сделано? Это небрежность и непростительная. Этого надо было добиться хотя бы ради памяти старика. Париж в трансе.

……

Теперь, Фрида. Надо обеспечить 2 тонны бронзы скульптору Неизвестному. Давно уже не был за границей Евтушенко. По моим наблюдениям ему нужно проветриться. Но с этим я Вас не тороплю. Можете заняться этим после Нового года.

Достаньте последний сборник стихов Рильке и пошлите его младшему дворнику дома № 17 по Пролетарской улице в Тюмени.

Не забыли ли вы, что пора выдать замуж секретаршу Эренбурга от первого брака?

С уважением Ваш

Н. Оттен

P. S. Только что Елена мне сообщила, что Манолис Глезос вышел из заключения.

Благодарю Вас. Ваш *Н. Оттен».*

7. Граница боя

Нет, в освобождении знаменитого грека Фрида не принимала участия.

Но она принимала самое деятельное участие в освобождении десятков людей. Многие обязаны ей свободой или облегчением участи.

Я помню – и никогда не забуду – ее поездку за сотни километров в лагерь к мальчику-девятикласснику, уличенному в воровстве; ее тамошний разговор с ним; ее переписку с ним; ее статью о нем в газете; и свет ее глаз в тот день, когда его освободили. Помню и хлопоты об Ивинской (единственные, которых я не одобряла). И о Серманах. И о юношах-моряках, которых травил антисемит-капитан. И о многих других.

Осенью 1964 года в Комарове я разговорилась по душам с одной пожилой дамой, писательницей. На прогулке она рассказывала мне о всяких гнусностях, творящихся в Ленинграде, и закончила свой рассказ так:

– А знаете, в Москве образовался настоящий пункт по спасению людей. Это Фрида Вигдорова. Нечто вроде спасательной станции для утопающих…

(Говоря об этом со мною, она не знала, конечно, что я давно уже дала Фриде прозвище: «Двенадцать подвигов Геракла» – по имени одной книжки для юношества… «Фридочка, – говорила я, узнав об очередной операции спасения, – разве вы человек? Вы просто «Двенадцать подвигов»».)

– По-видимому, Вигдорова занимает у нас место Короленко, – продолжала старая дама. – В другое время, в других условиях… Ну, конечно, статьи ее не могут обладать тою же силой: хотя бы потому, что цензура теперь более строгая. Но дело она делает то же самое – дело русской интеллигенции, главное изо всех возможных дел: вытаскивать тех, кто попал под колеса.

(Слушая ее, могла ли я думать, что через год это же сопоставление имен – Фрида и Короленко – я услышу еще раз, но Фрида его никогда не услышит. Эти имена произнесла во время гражданской панихиды Раиса Давыдовна над Фридиным мертвым лицом, над ее закрытыми глазами.)

Фридина гражданственность была самой высокой пробы: естественная, органическая. Вряд ли ей даже было ведомо, что ее ежедневные заступничества перед мелкой или крупной властью за людей, попавших под колеса, носят это традиционное высокое название. Короленко? Она удивилась бы, услышав, что она его дочь, дух от духа его, что она, Фрида, своею неустанною деятельностью исполняет ту миссию, какую взял на себя когда-то, в иные времена, защитник мультанских язычников[5], что она подняла затоптанную традицию русской интеллигенции, к которой принадлежала всем духом своим, всей своей сутью. Эти слова, традиция и миссия, показались бы ей, наверное, неуместно высокими, а быть может, рядом с ее именем, и смешными. Однако это она сама, Фрида, двадцатилетней девушкой придя в газету, попросилась работать «по справедливым делам»; это ее собственное определение своего места в жизни, – и так, работником справедливости, энергичным, изобретательным, веселым, смелым, не осведомляясь, *какой* справедливости – большой или малой, социалистической или буржуазной – лишь бы справедливости! (которая столь же не нуждается ни в эпитете, ни в определении, как слово «правда») – проработала до самого своего смертного часа. Ее гражданственность была традиционна и в то же время ни у кого не заимствована, ни из какой книги не вычитана (хотя в последние годы она пристально читала сочинения Герцена), была так же органична и естественна, как чувство юмора или собственного достоинства. Фридины мужественные поступки проистекали не из книг, а из любви: из того же источника, что и удар по лицу, нанесенный Гошке Сашей Москвиной – не столько из ненависти к хулигану (ненависть – на

это Фрида не тратила силы), сколько из любви к Юрке Киселеву, которого она считала себя обязанной защищать. Обязанной: Фрида была неспособна к предательству… И заступаясь, и защищая, она неизбежно, безо всякого умысла и замысла, одной лишь неумолимой логикой обстоятельств приведена была к острому столкновению с начальством.

Осенью 1964 года начальство Союза Писателей собралось исключить Фриду из Союза (и мы до сих пор не знаем, что, собственно, остановило этих высокопринципиальных товарищей, с такой энергией борющихся за чистоту писательских рядов); а летом 1965-го – дня за три, за четыре до конца, когда Фрида неподвижно и уже почти безмолвно лежала на своих высоких подушках, словно поднятая на крест, словно распинаемая болезнью, и вся горечь испытываемого ею страдания сосредоточилась в неузнаваемом, запавшем, синем, будто брезгливостью искривленном рте – дня за три или четыре до конца, в тишине ее умирания, прозвучал голос одного из крупнейших деятелей КГБ, знаменитейшего гонителя Пастернака. О Фриде он с негодованием сказал: «Вигдорова распространила по всей стране и за рубежом запись суда над Бродским…» И со свойственной ему меткостью литературных определений упомянул ее имя в числе писателей, которые *развращают* молодежь.

Фрида приближающейся смертью ограждена была от угроз и преследований. Но если бы она и была в эту минуту здорова, видела и слышала всё, она не испугалась бы, и пункт по спасению людей, спасательная станция «Фрида Вигдорова», бесстрашно продолжала бы свою работу. Когда сделалось известным, что в Союзе начальство готовится ее исключать и уже подбирает для публичного шельмования кадры, один из Фридиных доброжелателей посоветовал ей на время уехать из города, взять какую-нибудь дальнюю и долгую командировку и уехать.

– Я не заяц, я не побегу! – кратко и быстро ответила Фрида.

Я в то время находилась в Комарове. Узнав о готовящемся исключении, я уже заказала билет в Москву, но была остановлена успокоительной телеграммой от Фриды и Копелевых. Вслед за телеграммой пришло Фридино письмо, подтверждающее, что затея руководителей Союза увяла, не успев расцвести. Фридочка рассказывала:

«…я хочу, чтобы Вы поняли: я не волновалась. Не горевала. Не чувствовала ничего похожего на страх. Я только рада была, что у меня будет хоть минутная возможность сказать все, что я о них думаю. Кажется, не будет у меня такой возможности. Затихло. Ну и слава Богу – скажу я, любя и жалея своих друзей. И бедного

Александра Борисовича».

…В моей жизни нередко наступали полосы долгого физического и душевного упадка, когда со мною случалось именно то, что Саша Москвина считала самым дурным: глохла и слепла душа, уходя куда-то в себя или под землю, стараясь ничего не видеть и не слышать вокруг, и хотя бы этим временным отсутствием, глухотой, слепотой сохранить последние силы. Это была усталость, это был результат пережитой нами эпохи. Наглое, открытое, не стыдящееся себя самовластие, под которым мы жили в тридцатые и сороковые годы, учило одиночеству всех нас, в том числе и меня, вырабатывало навыки молчания и невмешательства. Множество людей, и среди них литераторы, жили по такому кодексу морали: зачем вмешиваться кому бы то ни было во что бы то ни было, «Когда по нашему не будет?»

Не лучше ли сидеть дома и тихо работать? По крайней мере напишешь хоть и не вполне правдивую, но полуправдивую или четверть-правдивую книжку и заработаешь относительно честным трудом для себя и для своих близких мало-мало денег… А откроешь рот – и гибель неминуема, – зряшная, пустая гибель. Это рассуждение имело некоторый смысл во времена Сталина, когда «гибель выла у дверей»[6], когда общество было напугано до состояния обморока, да и не было, в сущности, общества, а были разрозненные, одинокие, утратившие понимание люди, пребывавшие в обмороке каждый в своей норе, пытавшиеся сохранить жизнь себе и близким… Но это же рассуждение – о молчании, о невмешательстве – сделалось совершенно неверным в пятидесятые годы, когда внезапный стук в дверь перестал обозначать: за тобою пришли, а значил: к жизни вернулся друг; когда люди начали между собой общаться, когда в стране, после прекращения сталинских зверств, начало робко, ощупью складываться общественное мнение, когда всякое произнесенное вслух открытое слово долетало до жадных слушателей, когда ненапечатанные рукописи начали распространяться по городу с такой скоростью, словно они в самом деле обладали ногами или колесами, когда с быстротой, какая может быть присуща только великой стране и великому народу, начала расти и набираться ума новая демократическая интеллигенция, создавая новую литературу и откапывая клады прошлого, зарытые глубоко в земле.

Все мало-помалу выходит из гроба,
Из тысячи тысяч гробов,
Поэмы и судьбы, —

писала я в эти годы[28]. На наших глазах мученичество, еще недавно глухое, бессмысленное, переставало быть бесплодным и глухим; оно облекалось в слово и уже одним этим приобретало жизненный и исторический смысл. Слово более не пропадало в пустоте – никакое, ни устное, ни письменное. Один раз, беседуя с Анной Андреевной Ахматовой в середине пятидесятых, я упомянула о том, что Борис Леонидович, на мой взгляд, сильно тяготится вынужденным своим молчанием: его не печатают, не дают выступать с эстрады. «Борис – чудак, – сказала Анна Андреевна. – Он не заметил, как переменилось время. Печататься, выступать… Какое значение имеет сейчас – печатают, не печатают? Стоит дать последнее стихотворение *одному* человеку – и на другой же день оно разойдется по городу в десятках экземпляров, и его прочитают все. И, напротив, почти все напечатанное скомпрометировано уже самим фактом своего напечатания».

Так обстояло дело со словом письменным. Устное тоже разносилось далеко даже с невысокой и заляпанной грязью трибуны Союза Писателей.

Именно в это время я заново и как-то гораздо теснее прежнего сблизилась с Фридой. Она первая из моих друзей почувствовала и осознала совершившуюся перемену. Именно она, Фрида, никогда, ни в какие времена, не предававшаяся безучастию, выводила меня в сороковые из свойственного мне сосредоточенного оцепенения, а уж в пятидесятые постоянно побуждала о чем-то громко заявлять, за кого-то заступаться, чего-то требовать. Побуждала собственным деятельным вниманием к окружающей жизни. Следя за происходящими в Союзе словесными битвами, она постоянно держала друзей, и меня в том числе, в курсе писательских выступлений и дискуссий на улице Воровского, в курсе всех чужих речей – реакционных и передовых, подлых, изворачивающихся, хитрых, прямодушных и гневных, доносительских и разоблачающих… Прослушав чье-нибудь выступление, я навсегда – или очень надолго – сохраняю в памяти этическую его направленность, его эмоциональную окраску; я убеждена, что нигде человек, со всеми своими задними мыслями, с фальшью или искренностью, не виден и не слышен столь ослепительно ясно, сколь на трибуне; там, вопреки его воле, становится прозрачным насквозь его двойное или тройное дно. Однако моя память, легко схватывающая знаки человеческой подлости или чистоты, быстро утрачивает фактическую сторону дела: что было раньше, что после, конкретное содержание каждой речи я забываю мгновенно. Фрида же, кроме памяти на душевные качества, обладала еще великолепной и журналистски

натренированной памятью на всякий *факт,* на конкретные обстоятельства.

Ей была свойственна везде и всегда редкостная толковость. К тому же, догадавшись раньше многих о большом общественном значении публичных боев в Союзе Писателей, она взяла себе за правило записывать все выступления и постоянно прочитывала свои записи друзьям, на ходу комментируя записанное, разъясняя нам, где проходила в тот день подвижная, змеящаяся граница боя, с которой она никогда не спускала глаз.

23 октября 1956 года состоялось обсуждение книги Дудинцева «Не хлебом единым». Когда оно было назначено, я собиралась в Малеевку. Фрида хотела, чтобы я непременно приехала оттуда на это обсуждение, я же сказала ей, что не приеду – не очень-то нравится мне этот роман. «Дело не в том, хорош ли, плох роман, – вздохнула Фрида. – Он – как лакмусовая бумажка; те, кто его бранит – они в жизни по одну сторону, кто хвалит – по другую».

Дня через два после обсуждения – бурного, прошедшего при огромном стечении народа в ЦДЛ и на улице вокруг, Фрида прислала мне в Малеевку полный, подробный отчет. Не машинопись – оригинал. Помню большие листы, исписанные ее твердым, уверенным почерком. Помню в ее записи речь Паустовского – грозную речь прокурора, изобличающую злодейства и ложь бюрократии, страшный счет, впервые громко, вслух, предъявленный интеллигенцией сталинскому режиму. Речь эта, с оказией присланная в Малеевку Фридой, ошеломила меня[7]. Читая ее, я впервые подумала, что интеллигенция, как и литература, это прежде всего живая память народа; это – Нестор-летописец, запечатлевающий события и судьбы. Утрачивая интеллигенцию, страна тем самым утрачивает летопись, и власть получает возможность сочинять любые побасенки, выдавая их за историю. Радио и пресса вдолбят эти нравоучительные выдумки в головы взрослых; школа заставит выучить наизусть детей. И хотя от языка и стиля этих казенных, нравоучительных, сочиненных в канцеляриях и редакциях легенд за три версты несет ложью, как изо рта пьяного – водочным перегаром, на какое-то время эти сочиненные газетчиками и бюрократами умильные побасенки займут место истории, ибо Нестор отсутствует: он запуган, сбит с толку и не только не пишет летопись дальше, но и старые листки растерял… Паустовский говорил не о вымышленной, вызубренной, сдаваемой на всех экзаменах истории, а о настоящей истории народа (ибо гибель писателей, актеров, художников – это страница из истории народа). Помню слова, написанные Фридиным почерком, таким родным мне, будто это я

сама написала: «Они убили Бабеля. Они убили Мейерхольда».

Фрида ценила мои выступления и делала все от нее зависящее, чтобы я выступала почаще. В те годы я была членом Бюро Детской секции – деятельность глубоко бессмысленная, потому что в Бюро у меня не было ни одного друга, и окружающие каждое мое слово встречали настороженно, со скрытой или явной насмешкой: «мели, мели, все равно мы по-нашему сделаем, не по-твоему». Председатель, Мусатов, человек бездарный, некультурный и грубый, еле со мной здоровался. Сменивший его Кассиль был неизменно любезен, но толку от этого любезного спортсмена было так же мало, как от грубого дворника. В конце концов я перестала бывать на заседаниях, не желая потешать собою тамошнюю шваль. Но Фрида все равно находила мне в Союзе работу. Нередко в своем почтовом ящике я обнаруживала какую-нибудь книгу и коротенькую поспешную записочку от Фриды приблизительно такого содержания:

«Дорогой друг! (иногда она писала «Дружище!») Не можете ли Вы очень быстро прочитать эту книжку и, если она Вам придется по душе, придти послезавтра на Президиум? Я просила придти еще Z и X. Автор книги когда-то резко высказался против Суркова, и теперь его не принимают в четвертый раз, хотя человек он талантливый и (подчеркнуто) *очень хороший.* Если его и сейчас не примут – ему погибать: он живет всей семьей, впятером, в одной комнате, а квартиру ему не дают: «не член Союза». Я уже говорила о нем с таким-то и таким-то».

Жаль, что эти записочки у меня не сохранились. Но я хорошо их помню. Причины, почему не принимают того или другого Фридиного подопечного, часто менялись («еврейская фамилия»; или «он переводчик, а у нас стараются не принимать переводчиков»; или «поссорился с Соболевым»); беды – тоже («если не примут – им конец, потому что там бабушка больная, и поликлиника хорошая необходима»); менялись причины, беды, характеристики, но сущность Фридиной просьбы была всегда одна: вступитесь, помогите, позаботьтесь о человеке, которому худо, к которому несправедливы; вглядитесь в эту судьбу, прочитайте книгу… Я прочитывала, убеждалась во Фридиной правоте, шла на Президиум (однажды мне довелось поспорить там с самым главным антисемитом приемной комиссии, Алексеем Марковым[8]) – и иногда, после выступлений всех мобилизованных Фридой друзей, Президиум объявлял человека принятым – к великой радости Фриды!

Почти каждое мое выступление в эти годы в Союзе было возбуждено, подготовлено, вынянчено ею.

Обе мы были участницами альманахов «Литературная

Москва». Там, во втором томе, Казакевич напечатал мою статью, отвергнутую всеми журналами: «Рабочий разговор»; в третьем – впоследствии несостоявшемся! – томе должна была напечататься прелестная Фридина вещица, «Катя и Аня», которую, по просьбе Казакевича и Фриды, готовила к печати я. Обе мы сочувствовали этой смелой редакции; к тому времени Фрида была дружна с Казакевичем. В марте 1957 года, прочитав в газете подлую и грубую статью Еремина о «Литературной Москве», мы решили непременно идти на пленум и непременно отвечать Еремину. Будущий автор «Перевертышей»[9], выполнял свою обычную миссию: перевирая цитаты, искажая мысли, делал прямой политический донос на редакторов и авторов, при этом донос совершенно особенный: не начальству, которое само дало ему приказ донести и потому ни в каких доказательствах нужды не имело, а читателю, темной части читательской массы, в глазах которой следовало обосновать уже предрешенный всеми инстанциями конец альманаха.

На утреннем заседании мы сидели с Фридой рядом недалеко от трибуны. Не помню, выступала ли она утром или уже после перерыва, но во всяком случае раньше, чем я. Помню, что как и на всех, кто поднимался на трибуну, я и на нее, такую для меня уже знакомую и привычную, взглянула тогда «свежими глазами», как бы впервые, и опять увидала ее такою, какой увидела и в самом деле в первый раз, в Ташкенте, в 1942 – и то же было сейчас, как и тогда, бьющее в глаза впечатление от ее голоса, лица, улыбки, – чистоты, сдержанности, даже застенчивости и вместе с тем – силы. Да, Фрида выглядела на трибуне по-детски застенчивой, даже смущенной, словно ученица, впервые выступающая на школьном концерте, не знающая, куда руки девать под обращенными на нее взглядами – и в то же время, как всегда, исполнена чувством собственного достоинства и решимости.

Сейчас на трибуне высказалась она очень коротко, определенно и ясно. В ответ на обвинение в том, будто авторы «Литературной Москвы» занимаются очернением нашей действительности, что хорошие стороны будто бы не показаны ими, а дурные подчеркнуты, Фрида сказала: «Неужели каждый раз, когда говоришь о каком-нибудь черном пятне, нужно непременно указывать, что рядом все остальное – сверкающе белое? Если человек видит на улице Горького дым и пламя и кричит «пожар!», неужели прежде, чем закричать, он обязан перечислить те улицы и те дома, где все благополучно, и пожара нет? К примеру так: на улице Станкевича не горит, на улице Герцена не горит, на улице Чехова не горит, на Пушкинской и на Садовой не горит (в зале рассмеялись), а вот на улице Горького

пожар! Если мы станем поступать так, то т. Еремин будет, по-видимому, вполне доволен, но я боюсь, что дом на улице Горького успеет сгореть».

Зал или, точнее, та часть зала, ради которой стоило подниматься на трибуну, – проводила Фриду дружескими и благодарными аплодисментами. Ее любили.

Фриде очень хотелось, чтобы говорила и я. Мне тоже хотелось, но чувствовала я себя в этот день плохо, шарахалась от света и звука, и не была уверена в своих силах. Я сказала ей: в перерыве пойду домой, полежу, а там что Бог даст. Но Фридочке не хотелось меня отпускать. Она пошла вместе со мной; мы шли пешком, бульварами, присаживаясь на каждую скамью; и здесь на скамеечках Фрида выспрашивала меня и на ходу редактировала мою будущую речь. Она проводила меня до самых ворот, а через 2 часа заехала за мной в такси.

Мое самое сильное впечатление от собственной речи – люстра, свободно плавающая под потолком. Всё плыло и колебалось в духоте, превращаясь где-то внутри, как всегда у меня, в гулкий, ухающий стук сердца; оно стучало в ушах, в горле, в животе и стуком своим заслоняло все звуки и даже мой собственный голос. Однако одобрительный отклик зала я чувствовала непрерывно – не ухом, не глазом, а кожей – какую-то нашу с ним общую теснящую и радующую тревогу. Когда зрение секундами прояснялось, я видела Фридину черную – тогда еще черную! – голову, склоненную над бумагой: она записывала.

Я прочитала вслух стихи Ю. Нейман и Я. Акима, злостно перевранные Ереминым, – прочитала их целиком, восстановив перед слушателями в истинном виде; спросила у Еремина, кто он такой, чтобы похлопывать по плечу Заболоцкого («Стихи Заболоцкого имеют право на существование», – снисходительно писал Еремин), предсказала Рябову (этот издевался над Цветаевой в «Крокодиле») и Еремину, что Заболоцкий и Цветаева войдут в историю как замечательные поэты, а имена Еремина и Рябова люди будут помнить только как имена гонителей: «хоть бы о своем будущем подумали, – сказала я, – где-нибудь в собрании сочинений Цветаевой в примечаниях мелким шрифтом будет упомянут с нелестным эпитетом Рябов».

В ту минуту, когда я, совсем задохнувшись, на ощупь наливала себе воду в стакан, мне из президиума подали записку. Нечего было даже и думать читать: я не видела уже ничего, даже люстры.

Выговорив все, что мы приготовили вместе с Фридой, я сошла с трибуны. (Навстречу мне шел выступать Каверин), напялила пальто и выбежала на улицу. Фрида осталась в зале на своем

посту: записывать. Я села на первую тумбу. Дышала, ловила ртом дождинки или хлопья – шел мокрый снег. Когда мне стало полегче, я, под фонарем, развернула записку.

«Я вас люблю. Ф.» написано было крупным милым почерком.

Помню, я громко рассмеялась, сидя одна на тумбе.

Фрида была довольна моим выступлением. Запомнив мои слова о будущем Еремина и Рябова, она часто потом повторяла:

– Подонки тем и отличаются от людей, что они никогда не думают о будущем, даже собственном: только о выгоде для себя и притом сейчасной, сегодняшней.

И в обсуждении в Союзе моей книги «В лаборатории редактора» (1960) Фрида принимала самое сердечное участие, хотя и не выступала. Защищать меня не было нужды: обсуждение шло благосклонно. Однако, тихонько сидя в пятом-шестом ряду с блокнотом на коленях и записывая все выступления, Фрида в уме готовила мой ответ, мое заключительное слово. И каждые 10 минут я на трибуне получала от нее записочку приблизительно такого содержания:

«Отвечая Z, не горячитесь, не стоит: конечно, он несет чепуху, но безвредную. Ее можете пропустить мимо ушей; а человек он хороший».

Или иначе:

«Известно, что Y, который сейчас так горячо соглашается с Вашими нападками на самоуправство редакторов, сам, когда был редактором, совершенно испохабил рукопись нашего друга X».

У Фриды в мозгу была устроена словно особая картотека: она отлично помнила, кто, как, когда и где выступал, кто и при каких обстоятельствах и в каком духе и даже какими словами высказывался. Да, она, кроме всего прочего, была на редкость толкова. На перевыборах я всегда садилась рядом с нею; она производила работу вычеркивания спокойно, уверенно, с большим удовольствием и ни у кого не справляясь; я же каждую минуту теребила ее. «Фридочка, а кто это Балашов? Что мне с ним делать?» Фрида мгновенно и безо всякого усилия обращалась к своей невидимой картотеке. «Балашов, – терпеливым шепотом объясняла она, – неужели вы не помните? Это тот подонок, который, когда Николаева давала отвод Грибачеву, крикнул: …» Я вычеркивала Балашова. И, погрузившись в список, наталкивалась на очередного незнакомца, и снова осведомлялась у Фриды, и незримая картотека снова в одно мгновение выдавала мне нужную справку. «Нет, этого оставьте, – шептала мне Фрида. – Разве вы не помните? Когда началась травля «Тарусских страниц», он…» Я оставляла. Мы тихо сидели в углу и вместе делали свою работу.

Однажды случилось так, что я была очень занята и на какое-то предвыборное собрание не явилась. Фрида выговаривала мне: на этом собрании какой-то из крупнейших наших гангстеров прошел в правление большинством всего в один голос. «Вот видите, – корила меня Фрида, – если бы вы пришли, вы бы наверное его вычеркнули, и этого бы не случилось».

Зато как ликовала она, когда мне (сказать по правде, совершенно случайно) удалось на перевыборном собрании весною 1962 года добавить к списку восемь человек – и, таким образом, восемь человек из официального списка, восемь самых что ни на есть махровых подонков провалились, к великому негодованию начальства.

Для Фриды – как, впрочем, и для меня самой – это было сюрпризом. По каким-то обстоятельствам мы не виделись с нею в дни, предшествовавшие собранию. На самое собрание я опоздала, и хотя Сара Эммануиловна Бабенышева сразу через весь зал проводила меня к Фриде, которая по обычаю заняла для меня место рядом с собою, – мы не успели с ней обменяться и словом; председательствующий уже окончил читать список, составленный партийной организацией, и для порядка осведомился, нет ли у кого добавлений; человека три выкрикнули по одному имени; тут и я попросила слова и предложила восемь имен, которые и были внесены в список – ко всеобщему и моему в том числе, – удивлению.

Минутная удача (за которую впоследствии московской организации писателей пришлось тяжело расплачиваться) привела Фриду в восторг, она рассказывала друзьям, как я встала и что я сказала, множество раз – до меня отовсюду доходили эти ее ликующие сообщения – и один раз она просвещала несведущих даже при мне.

– Список уже оглашен… – Фрида таинственно понизила голос, как будто пересказывала «Пещеру Лейхтвейса». – И вдруг встает Лидия Корнеевна, очень благонравно просит у председателя слово, вынимает из сумочки какую-то бумагу и опять очень тихо и вежливо просит разрешения добавить к списку несколько имен. (Фрида выдержала паузу.) Председатель от этой тихости и вежливости совершенно растерялся и – разрешил. (Пауза.) И тут Лидия Корнеевна называет, уже очень громко, целых восемь фамилий! Воробьев, Турков, Огнев – всё порядочные люди. Их, некуда деться, включают в список, и… (радостный смех, круглые глаза) восемь подонков проваливаются! Такое (она жмурит глаза, словно вкушает мороженое) – такое увидишь только в счастливом сне…

8. Тринадцатый подвиг Геракла

Тринадцатым подвигом Геракла, вершиной Фридиной спасательной деятельности, ее мультанским процессом было безусловно дело Бродского[10].

По ее просьбе я познакомилась с хулиганской статьей о поэте в «Вечернем Ленинграде»; по ее просьбе вместе с нею написала письмо в ЦК партии. По ее совету – письмо к одному из деятелей аппарата ЦК, которое она приняла как предисловие к своей записи.

Это дело войдет не только в биографию поэта, не только во Фридину доблестную биографию; оно войдет в историю общественной жизни нашей страны.

И не потому, что кто-нибудь его раздул, искусственно придал ему несоответствующее значение. Нет. И не потому даже, что в толстых пыльных папках сияют лучезарные имена Ахматовой и Шостаковича, что листы судебного дела украшены именами Чуковского, Маршака, знаменитых иностранцев. Не потому, как думали некоторые, что группа литераторов – Н. Грудинина, Н. Долинина, Е. Эткинд, В. Адмони в Ленинграде, Ф. Вигдорова, Е. Гнедин, Р. Орлова, Л. Копелев, я в Москве боролись за освобождение Бродского каждый день, не давая никому остывать, отступать, забывать. Его и без нас не забывали; недаром за него вступились более пятидесяти молодых ленинградских литераторов; и целая группа геологов; и деньги для него собирала интеллигенция обоих городов; и ездили его навещать в Коношу не только близкие друзья, но и люди, никогда его в глаза не видавшие. Не мы, так называемые «защитники Бродского», своими хлопотами раздули это дело и придали ему такое значение; сама жизнь подняла и развернула над нашими головами, как знамя, требование освободить поэта.

Старики, пережившие царское время, увидели в деле Бродского пакостную отрыжку антисемитизма. Фрида просила меня рассказать обо всем Самуилу Яковлевичу; когда я пришла к нему, он лежал в постели, укрытый, после очередной медицинской процедуры. «Дело Дрейфуса и Бейлиса вместе – вот что такое дело Бродского, – сказал он мне, прочитав статью в «Вечернем Ленинграде» и выслушав мой рассказ о лернеровских подлогах. – Когда я начинал жить – кругом была эта мерзость, и вот теперь, когда я уже старик, опять». Он завернулся в одеяло, сел, спустив с кровати ноги, снял очки и заплакал.

Людям среднего возраста, остро пережившим сталинские времена, дело Бродского напомнило судьбы раздавленных государством поэтов. В его лице мы защищали тех, кого когда-то

задушили на наших глазах.

Молодежь, в особенности ленинградская, которая уже твердила наизусть стихи Иосифа Бродского, уже хмелела от его чтения, восприняла неправый суд как личное оскорбление – молодые ленинградцы говорили о суде над Бродским такими голосами, словно у каждого вырезали из груди живой кусок мяса.

Не было интеллигентного человека, которому дело это не наступило бы на какую-нибудь из любимых мозолей.

И всех вместе, людей любого возраста, присутствовавших на суде или только прочитавших Фридину запись, приводило в неистовство явное, наглое, демонстративное нарушение закона.

В деле Бродского, как гной в нарыве, собралась вся испорченная вонючая кровь общественного организма: полицейщина, ненависть бюрократов-мещан к интеллигентам (в особенности евреям), исконное неуважение к литературе. Недаром столь типичны, типичны, можно сказать, до махровости, все гонители Бродского: заведующий административным отделом ЦК т. Миронов, объяснявший К. И. Чуковскому, что Бродский хуже Ионесяна: «тот *только* разбивал людям топором головы, а Бродский вливает в головы вредные мысли»; первый секретарь ленинградского Обкома т. Толстиков, не удостоивший ответить писателям и ученым ни на одну телеграмму, ни на одно письмо в защиту Бродского, но зато нашедший время и средства сначала поощрить беззаконный процесс, а потом полтора года, проявляя неусыпную бдительность, деятельно мешать пересмотру беззаконного приговора; опытный мастер подлога и сыска, битый шпик, гепеушник Лернер; повелитель ленинградского Союза Писателей, бывший поэт Прокофьев, ненавидящий молодых поэтов за то, что они, не в пример ему, молоды и голосисты, да еще осмеливаются петь не по придворным нотам; писатель-приключенец Воеводин, состряпавший подложную справку, и отличающийся от шпика Лернера разве что беспробудным пьянством; судьиха Савельева, во время судебного разбирательства свободно и уверенно щеголявшая своим антисемитизмом, своим невежеством и, главное, сознанием полной своей безнаказанности… Тут каждая фигура из Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Зощенко. Жизнь – великий художник, но и ей редко удается создать явление такой выразительности, такой безупречной законченности, как дело Бродского. Тут не суррогат жизни, а ее концентрат, сгусток; на этом суде столкнулись две силы, извечно противопоставленные друг другу: интеллигенция и бюрократия. О, насколько бюрократы вооруженнее интеллигентов: у них в руках пресса, то есть беспрепятственная возможность лгать, сбивать с толку обездоленных,

необразованных, натравливать их на интеллигентов; в их руках – суд, они заранее приготовили приговор; у интеллигенции одно оружие: слово свидетеля, который не желает стать лжесвидетелем, и чью речь никто не услышит за пределами зала – если – если не Фрида. Если не ее школьная тетрадка и мужественное перо.

Главные герои этого спектакля, поставленного жизнью, Савельева – с одной стороны, и Бродский – с другой. Я давно уже думаю, что поэзия, истинная поэзия, сама по себе, по природе своей, даже вне зависимости от так называемого содержания, – есть самое антиполицейское, антифашистское, антинасильническое вещество, которое когда-либо и где-либо создавалось людьми. Произведение искусства уже само по себе есть торжество свободы. Бюрократия смутно чувствует это: Жданов воображал, что он не любит Ахматову – в действительности он ненавидел тот способ мышления, противоположный его собственному, который воплощен в любой настоящей поэзии, в том числе в великой поэзии Анны Ахматовой. «Зачем говорить обиняками?» – вот что смутно чувствует всякий бюрократ, пробуя слушать стихи. За поэтическим словом ему чудится что-то, какой-то второй смысл – и недаром. Этот смысл есть утверждение свободы. Поэзию он ненавидит смутно, как во сне; поэтов – совершенно отчетливо: за то, что они тоже власть. Какое же государство допустит, чтобы рядом с его властью существовала другая? Чем мощней, упорядоченней, централизований государство, тем неистовей ненавидят государственные деятели своих соперников – поэтов. Тут ревность.

Бродскому на этом суде выпала почетная роль: представлять русскую поэзию. Жребий этот был вытянут им более или менее случайно; на его месте мог оказаться любой из талантливых молодых поэтов, которых в эту пору оказалось в России немало. Но надо отдать справедливость Иосифу Бродскому: вытянув этот ответственный жребий, он, человек с больными нервами, больным сердцем, только что перенесший тюрьму и психиатрическую больницу, провел свою роль на суде безукоризненно, с большим чувством достоинства, без вызова и задора, спокойно, понимая, какой державой он послан. Своими ответами он вызвал глубокое уважение к себе не только со стороны друзей, но и тех, кто раньше относился к нему с равнодушием или даже враждебностью. Помните этот диалог, мастерски запечатленный во Фридиной записи, диалог между обвинителями и Бродским, бесконечно повторяющийся и на первом и втором суде, пронизывающий, словно красная нитка,

весь процесс?

– Отвечайте, почему вы не работали?

– Я работал. Я писал стихи.

И опять:

– Объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились?

– Я работал. Я писал стихи.

– Но это же не мешало вам трудиться?

– А я трудился. Я писал стихи.

В глазах мещан, бюрократов, газетных писак – словом, черни – это, конечно, не работа: писать стихи! Это ведь не то, что состоять на государственной службе – как они, например. Добро бы еще он в Союзе состоял, – члены Союза Писателей приравнены к служащим, у некоторых и командировки, и машины, как у замов и завов; добро бы еще он умел стишками деньгу выколачивать – а то брюки мятые, сапоги рваные! Какой же он может быть поэт, когда он нигде не числится? И сам т. Прокофьев его терпеть не может? Небось т. Прокофьев хорошо разбирается кто – кто: с ним сам т. Толстиков любит выпивать и закусывать.

Судья. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский. Никто… А кто причислил меня к роду человеческому?

– А вы учились этому?

– Чему?

– Чтоб быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят. Где учат.

– Я не думал… Не думал… Что это дается образованием.

– А чем же по-вашему?

– Я думаю, что это… *(потерянно)* от Бога.

Савельева не унималась. Начальство приказало выслать Бродского из города как тунеядца. Законных оснований для высылки не было: во-первых, никакими нетрудовыми доходами он не пользовался, и, во-вторых, переводы Бродского появлялись в печати; но Савельева и помимо распоряжений начальства, сама от себя, ненавидела его с полною искренностью; в этом человеке, который имеет наглость нигде не состоять, она чувствовала какую-то силу, какую-то тайную власть: Маршак и Чуковский телеграфируют, Адмони и Эткинд произносят защитные речи, а у дверей суда, и это самое главное – толпятся девчонки и мальчишки и требуют, чтобы их впустили.

– А что вы сделали полезного для родины?

– Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден… я верю в то, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но

и будущим поколениям.

– Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

– А почему вы говорите про стихи «так называемые»?

– Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, – с гордостью отвечает Савельева, – что иного понятия о них у нас нет.

(Какие же это стихи, если за них денег не платят? Какая же польза родине, если мальчишка не умеет позаботиться о собственной пользе?)

Сорокин. Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?

Бродский. Можно. Находясь в тюрьме, я каждый вечер расписывался в том, что на меня израсходовано 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день.

– Но надо же обуваться, одеваться.

– У меня один костюм – старый, но уж какой есть.

Перечитывая эти простые слова, я всегда вспоминаю солдатскую койку, на которой спала в Комарове Ахматова, дырявое одеяло, которым она укрывалась в своем Фонтанном дворце, поношенные брюки Мандельштама, мешковину на плечах у Цветаевой… Словно все они стояли у него за плечами, когда он отвечал суду… А может быть, они и в самом деле стояли там, осеняя его своими крыльями? Кто знает?

Фридина запись запечатлела еще одну сцену, поставленную жизнью не в зале суда, а в коридоре, в день первого судилища. Накричав на Бродского, Савельева отправила его на медицинскую экспертизу в психиатрическую лечебницу с тем, чтобы выяснить, как написано было в постановлении, «страдает ли Бродский каким-нибудь психическим заболеванием, и препятствует ли это заболевание направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда». В самом этом вопросе уже содержался ответ и приговор, вынесенный еще до разбирательства… Победоносную Савельеву поразило, что в коридоре ее встретили встревоженные лица. (В день первого разбирательства у дверей суда собралась толпою молодая интеллигенция Ленинграда; десятки прорвались в коридор.)

– Сколько народу! – громко и вызывающе сказала Савельева. – Я не думала, что соберется столько народу!

– Не каждый день судят поэта! – серьезно ответил ей чей-то голос.

– А нам все равно, поэт или не поэт!!

Я думаю, Савельева и тут говорила неправду. Ей было совсем не все равно, – ей доставляло удовольствие лишний раз, с разрешения начальства, плюнуть в лицо интеллигенции –

отправить поэта, о чьем даровании свидетельствовали на суде видные специалисты, о котором хлопочут Ахматова, Шостакович, Чуковский, Маршак, – отправить поэта на физическую работу: таскать камни и возить навоз. Савельевой было не все равно: она испытывала от мысли об этой перспективе большое удовольствие, наверное, не меньшее, чем Жданов, пытавшийся унизить Ахматову.

Количество интеллигентных лиц у дверей и в коридорах, явное сочувствие подсудимому пришлись не по душе организаторам процесса. В зал суда при продолжении разбирательства были заботливо свезены на специальных автобусах строительные рабочие – те полуграмотные, обездоленные люди, которым легко внушить, будто в их бедности при тяжком труде повинны вот такие молодчики, как Бродский, бездельник и к тому же еврей… Интеллигенты, друзья Бродского, молодые и старые, тоже присутствовали, но в меньшинстве.

Среди этого меньшинства была и Фрида.

Наталья Григорьевна Долинина рассказывала мне впоследствии, что когда читался приговор, бесчеловечный, беззаконный, невежественный, – Фрида стояла рядом с нею. По-видимому, такого приговора она все-таки не ждала и до последней минуты надеялась на освобождение. Она держала Наталью Григорьевну за руку и с каждым словом приговора все сильнее и сильнее стискивала эту дружескую руку.

Фрида только что совершила свой очередной подвиг. Все время, пока длился процесс, не отрываясь и не уставая, в маленьких школьных тетрадках она записывала всё, что происходило вокруг: речи, вопросы, ответы, возгласы в зале. Одна из этих тетрадок сохранилась – я с благоговением храню ее у себя и надеюсь когда-нибудь передать в музей… Маленькая тетрадка, такая, какие школьники покупают для «слов», исписанная Фридиным почерком. Почерк на удивление спокойный, а ведь на этом суде Фрида, быть может, впервые в жизни была вполне беззащитна. До сих пор в каких бы она ни оказывалась трудных, ответственных, рискованных командировках, ей служил надежной охраной корреспондентский билет. Командировки же на процесс Бродского ей не дали ни «Литературная газета», ни «Известия». Она явилась в зал суда не как представитель печати, а как случайная посетительница, обыкновенная гражданка, то есть бесправное существо, не охраняемое никем и ничем от любого произвола. В этом же положении были все сидевшие вокруг, но Фрида в отличие от них – сражалась. Она исполняла свой долг – записывала! – под ненавистническим взглядом судьи, под злобными взглядами соседей. Помните вы это место Фридиной

записи, где изображено, как толпа пытается заставить ее бросить перо? Незадолго до этой минуты из зала вывели ее друга, Евгения Александровича Гнедина, тоже приехавшего из Москвы ради Бродского и сидевшего рядом с ней. Он осмелился вслух возмутиться тем, что общественный обвинитель с грубой бранью отозвался о защитниках Бродского. Дружинники приказали ему удалиться из зала и препроводили в милицейскую машину, дежурившую у входа. Фрида продолжала писать. Затем был выведен дружинниками еще один Фридин знакомый за то, как сказано было в протоколе милиции, «что он чиханием пытался сорвать судебное разбирательство». Фрида продолжала писать. «Писатели! Всех бы вас из Ленинграда, все вы тут заодно!» – кричали ей соседи. Фрида продолжала писать. Она продолжала писать и после свирепого окрика Савельевой, обращенного к ней. Толпу бесило, что она молча и спокойно продолжает свое дело. Были в толпе и друзья, но чем здесь, в переполненном, взвинченном зале, под ненавидящими взглядами дружинников, специально подобранных Лернером, они могли бы помочь ей?

– Отнять у нее записи! – закричали из толпы, когда суд удалился на совещание.

Я так и вижу Фриду, маленькую, в толстом сером пальто и детской вязаной шапочке, – вижу ее в ту минуту, когда толпа хочет отнять у нее тетради. Вот она сидит среди зала, крепко сжимая тетради и ручку, – школьные тетради, запись – драгоценный трофей, драгоценное оружие, – слово, силой которого будет спасен человек.

Помните эту сцену?

– А вот вы, вы, которая записывали… Зачем вы это записывали?

– Я журналистка, – миролюбиво отвечает Фрида. – Я пишу о воспитании, хочу и об этом написать.

– А что об этом писать? Все ясно. Вот отнять бы у вас записи!

– Попробуйте! – грозно отвечает Фрида.

– А что тогда будет?

– А вы попробуйте отнять, тогда и увидите.

– Ага, угрожает! Эй, дружинник, вот тут угрожают!

– Он ведь дружинник, а не полицейский, чтобы хватать за каждое слово!

– Эй, дружинник! Тут вас называют полицейскими!

В эту минуту раздалось:

– Прошу встать! Суд идет! – и нападение прекратилось.

…Свои записи Фрида приводила в порядок в Ленинграде – в тихой квартире нашего с ней общего друга, Александры Иосифовны Любарской; в Москве – первоначально у себя дома,

потом у меня за столом, вместе со мной. Чем больше я вчитывалась в этот документ, тем выше ценила его мощь. Казалось, нет на свете человека, даже если он бюрократ, – Руденко, или Миронов, или Смирнов, – который, прочитав эту запись, не понял бы, какая произошла вопиющая несправедливость. Покажи это Аджубею, и он совершит чудеса… [11] Читая и перечитывая запись, Фрида вновь переживала случившееся.

– Как бы я сейчас себя чувствовала, если бы я не поехала, что бы мы теперь были! – повторяла Фрида – с радостью, с горечью, с гордостью.

Восклицание это относилось к крохотной заминке, происшедшей накануне ее вторичной поездки. Узнав от кого-то из друзей, позвонивших в Малеевку, что второй суд назначен на завтра, Фрида срочно выехала в Москву. Ей нездоровилось; заметив это, родные отговаривали ее от поездки, ссылаясь на безнадежность дела, на бессмысленность ее присутствия на суде. Мне позвонила Саша, потом Фрида сама. Фрида говорила со мной каким-то странным, не своим голосом, будто повторяя заученные слова. «Мне нездоровится, – сказала она, – но суть не в этом. Ведь ехать незачем: приговор предрешен, что я буду там делать?» – «Записывать! – сказала я. – Если вам нездоровится – ехать, конечно, не следует; ложитесь и вызывайте врача, но не говорите, что ехать незачем… Есть зачем: кроме вас так никто не запишет. Были бы у меня глаза – записала бы я».

Фрида поехала, записала и теперь радовалась своим листкам так, будто это была не запись судебного процесса, а решение об отмене приговора. Она чуть не гладила их, чуть не целовала.

– А что бы вы сделали, – спросила я, дочитав до того места, где рассказывается, как от нее требуют, чтобы она перестала записывать, – что бы вы сделали, если бы они в самом деле попробовали эти тетрадки отнять?

Фрида ясно на меня поглядела. Она вернулась из Ленинграда потрясенная, измученная, а сейчас была уже такой, как всегда, спокойной и деятельной: работа над записью, поддержка друзей, планы спасения Бродского вернули ей силы. Снова из ее темных глаз лился яркий свет – недаром одна приятельница говорила о ее глазах: «Фрида подняла на меня свои фары».

– Что бы я сделала? – повторила она мой вопрос. – Если бы они попробовали отнять тетрадки? Не отдала бы! И все. Не знаю как, но не отдала бы!

– Зубами? – спросила я.

9. «Как сумасшедший с бритвою в руке…»

Когда говорят или пишут о Фриде, о ее повестях и статьях, о ее характере, часто встречается слово: «жизнеутверждающий». Оно у нас вообще в ходу, общепринято. И, может быть, именно поэтому вызывает во мне сопротивление. «Жизнеутверждающая философия»… «Жизнеутверждающий талант»…

Мне это слово, признаюсь, непонятно. Что, собственно, утверждается этой философией, этим талантом? Жизнь? Какая жизнь – любая, всякая? А разве человеку нужна эта любая жизнь – лишь бы жить? И разве не назначен человек для того, чтобы выбирать, отбирать, чтобы только человеческую жизнь удостаивать своим благословением? «Утверждение жизни»… Да и нуждается ли жизнь в том, чтобы мы ее утверждали? Жизнь, – она небось посильнее нас с вами, она сама напирает, теснит, как жандарм лошадиным задом, без смысла и жалости, топчет копытами. Где нам ее утверждать! Были бы кости целы…

«Жизнеутверждающее искусство»… Вернее было бы сказать: жизнеоскорбляющее. Помню, в Ленинграде во время финской войны, зимою, люди долго не могли привыкнуть передвигаться по обледенелым улицам в тусклом, мертвенно-синем свете. Старались ходить вдвоем, втроем, держась друг за друга. Страшно было идти, скользя, в ледяной темноте; да и бандиты работали – ножами, бритвами. Я шла одна по короткому глухому переулку. Не видно ни зги и скользишь. На углу заливается веселой опереточной музыкой радиорупор: над людьми, ломающими в темноте руки и ноги, над людьми, которых только что полоснули бритвой, над людьми, которые вынуждены идти на эту неправую войну, в этот неправый бой – на эту верную и зряшную смерть. Звенит, заливается над несчастным переулком оперное колоратурное сопрано: оно утверждает жизнь.

Помню первые дни большой – на этот раз правой – войны, океаны разлуки, моря сиротства. Стон стоял над страной; немота 37-го кончилась, вдовы и сироты обрели право плакать вслух. Стон был явственно слышен каждому, имеющему уши, но его прерывали, а в первые, самые черные дни покрывали и осиливали звеневшие из всех рупоров победоносные военные марши и веселенькие, легонькие маршики из оперетт. Это было еще одно дополнительное унижение и оскорбление. Так и звучат у меня в памяти первые дни и недели войны опереточным – жизнеутверждающим! – маршем над вдовьим воем. Так и осталось с тех пор у меня в сознании, что жизнеутверждающий марш – это ложь, ликующее, сверкающее и ухающее трубами издевательство над гибнущей человеческой жизнью.

Фрида? О, да, Фрида любила жизнь. Еще как! Эта любовь сияла в ее улыбке, влекла к ней ребятишек и взрослых, внушала

друзьям счастливую бодрость.

Мне кажется, более всего на свете она любила маленьких детей. Она знала их во множестве, собирала и как превеликую радость показывала друзьям их фотографии – грудных и постарше – записывала детские слова, монологи и диалоги; дружила с детьми – ответственно и строго, по-учительски, и в то же время талантливо, весело, так что и со стороны было весело видеть ее вместе с детьми. Кажется, нельзя было доставить ей большего удовольствия, чем познакомить ее еще с одним младенцем или рассказать еще об одном. Да, Фрида любила детей, музыку, речку, лес, мороженое, лыжи; любила обновы (скорее по-детски, чем по-дамски), любила дружбу, любовь. Но я не хочу обозначать ее повести, статьи и ее деятельную доброту пошлым словом «жизнеутверждающие». Оно от того в ходу, что, собственно, лишено точного смысла. О Фридином способе любить жизнь я скажу иначе. Дивное стихотворение Тарковского «Первые свидания», где мир поет и благоухает навстречу любви, кончается такими строчками:

Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

Слыша эти стихи из уст автора, я запомнила их неверно. Я запомнила так:

А жизнь по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

Поэтически это гораздо слабее, но мне недаром запомнилось так: мне так понятнее. Тому, вероятно, виною моя биография и биография моего поколения. Что бы мы ни делали, какому бы ни отдавались самоотверженному чувству или бескорыстному труду, всегда за каждым из нас порознь и за всеми вместе гналась эта жестокая бессмыслица – действительность, среди которой мы живем – жизнь! – как сумасшедший с бритвою в руке… Арсений Александрович Тарковский при мне читал это стихотворение Фриде и нашим общим друзьям (это было в Переделкине, на даче) – и, быть может, потому, что оно впервые было услышано мною в Фридином присутствии, оно тесно сплетено у меня в памяти с нею, с ее слушающими глазами, и, мне кажется, точнее определить ее, Фридино, призвание в мире – нельзя: она спасала людей от бритвы, которую с неизбежностью заносил над шеей каждого этот страшный сумасшедший – жизнь. Обороняла от

новых ран. Заживляла старые, нанесенные раньше. Помогала человеку осуществить себя – ускользая от бритвы, вопреки бритве.

Фрида не только испытывала боль от чужой боли; она по натуре – и по убеждениям! – была осуществительницей, совершительницей, и чувствовала себя уязвленной, если видела, что пропало даром, не воплотилось, предано забвению, утрачено сделанное человеком благородное усилие, потерялся след человеческой судьбы или поступка, будь то произведение искусства, дерево или письмо. Фрида недаром была настоящей представительницей интеллигенции: она чувствовала, что культура – это связь между людьми, бережная охрана содеянного ими, всего, на чем остался след судьбы человеческой, поступка человеческого. Она была воплощенной памятью и потому могла стать – и стала! – воплощенной честью. Фрида никогда не была коллекционером, собирателем, но она сама говорила мне, что не в силах уничтожить письмо, стих, фотографию – почерк человеческий, лицо человеческое. Она умела и любила охранять, оберегать чужое благородное усилие. Сколько чужих архивов хранилось в ее папках, в ящиках специального шкафа – след чьего-то пути, чьего-то несчастья, счастья. Однажды я показала ей лежащее у меня в столе много лет письмо одного из моих ленинградских друзей, биолога, до войны сидевшего в тюрьме, а во время войны, после бегства из немецкого плена (куда он попал тяжело раненный) угодившего в наш лагерь, в Сибирь. Этот молодой человек, талантливый ученый и поэт, полный необыкновенной энергии, бежал, как я после узнала, и из нашего лагеря; а накануне побега, окончившегося, по-видимому, расстрелом, прислал мне переписанные мельчайшим почерком свои стихи, – чтобы они не погибли с ним вместе.

Когда я показала их Фриде, они пролежали у меня в столе уже лет пятнадцать – на сгибах бумага пожелтела и протерлась. Помню, с какою бережностью прикасались Фридины руки к этим листкам! Она нахмурилась, увидев изъяны, нанесенные временем, и была недовольна моей нерадивостью.

Она унесла письмо и стихи к себе, переложила каждый листок папиросной бумагой, сделала для них особую папочку и, кроме того, переписала стихи и письмо на машинке. «Вот теперь не пропадет» – сказала она мне деловито и радостно, возвращая оригинал и машинопись.

Если нельзя спасти человека, надо сберечь на земле его след – так она чувствовала наш, человеческий, долг… В ней не было ни грана предательства!

Фрида любила стихи и хорошо понимала их. Она говорила

мне, что к искусству пришла с опозданием, и к музыке раньше, потом – к живописи и лишь позднее – к стихам. Но в последние десять-пятнадцать лет она уже разбиралась в стихах тонко и точно, как настоящий знаток и ценитель. Перепечатывала, берегла, радовалась, дарила: Мандельштама и Цветаеву, Ахматову, Тарковского, Самойлова, Бродского, Корнилова, Новеллу Матвееву. Никогда не забуду, как в последний раз – это было за семнадцать дней до конца – обрадовалась она новым стихам. Фрида лежала в жару, температура с утра была 39°. Мы зашли к ней вместе с Раисой Давыдовной, – собственно не к ней, потому что ей было уже очень худо, а к девочкам, чтобы разузнать у них, как прошла ночь, и взглянуть в их измученные, твердые лица. Но когда Галя сказала Фриде, что мы тут, она попросила нас зайти к ней – «по очереди, на минуточку». Я вошла первая. Фрида лежала на спине, с закрытыми глазами, с уже необратимо, непоправимо измененным лицом. Она лежала высоко на подушках и так неподвижно, что когда под одеялом переместилась нога, я поймала себя на удивлении: двигается! Я села возле тахты на маленькую скамеечку и взяла ее за руку. Горячая рука. Фрида открыла глаза, дрогнули губы, пытаясь улыбнуться, и снова закрылись глаза. Вот так, не открывая глаз и еле шевеля губами, она спросила меня о Бродском. Я ответила «ничего нового!», потом положила тихонько ее руку на одеяло и вышла. Постояла одна в темной передней, боясь, что когда войду к Гале в комнату, дрогнет голос. Там были Раиса Давыдовна, Саша и Галя. Раиса Давыдовна пошла взглянуть на Фриду.

– Как хорошо, что вы приходите сюда и не плачете, – сказала мне Саша. – А то все возле мамы сдерживаются, не плачут, а здесь, у нас, сразу в слезы. Разве так можно?

– Нельзя, – сказала я, чувствуя, что сейчас зареву.

В эту минуту в комнату вбежала Раиса Давыдовна, схватила свою сумку и снова побежала к Фриде.

– Я сказала ей, что у меня с собою новые стихи Самойлова, – объяснила она на бегу, – и Фридочка просит прочесть…

Фридочка просит прочесть! Это было еще удивительнее, чем движение под одеялом.

Фрида любила стихи, литературу, но и в них всегда, бессознательно – я замечала это много раз – искала отпечатка человеческой судьбы, следа подвижничества, которому она могла бы сочувствовать. Помню: она всю жизнь, как и я, мало знала и совсем не любила Алексея Ремизова. Но в начале шестидесятых годов, в Париже, где умер Ремизов, вышла книга его приятельницы Кодрянской с отрывками из его дневника, с описанием последних лет его жизни, слепоты, смерти. Прочитав

книгу Кодрянской, Фрида долго не могла выпустить ее из рук и, читая мне отрывки вслух, объясняла:

– Вы понимаете, что она сделала? Спасла для нас его дневник – записи последних лет. Да и его самого много лет спасала, слепого – читала ему, устроила у его постели дежурства… Без нее он погиб бы лет на пять раньше. И какой трогательный дневник!

Так и в литературе она искала – разыскивала бессознательно – след доблестного человеческого пути и материнского подвига.

10. «Так и бывает»

В своей лютой болезни Фрида почти до самого конца – до бессознания – оставалась собой. Менялись, худея, руки, тяжелели очертания лба, увядал и синел рот, но очертания души и характера оставались все те же – и даже до мельчайших подробностей.

Долго сохранялась, например, деловитость, толковость, свойственная Фриде всю жизнь. Так, недели за две до конца, Галюша сказала мне:

– Представьте, мама помнит номера телефонов. Если она видит, что я перелистываю книжку, ищу – она спрашивает у меня фамилию и сейчас же говорит номер наизусть. Без ошибки.

Таким же безошибочным долго оставалось у больной ощущение времени. Летом Елена Сергеевна на месяц уехала в Комарово. Но не выдержала – вернулась в Москву раньше срока. Увидев ее у своей постели, Фрида, к этому дню уже с трудом выговаривавшая слова, не только обрадовалась, но и удивилась: она мгновенно поняла, что двадцать шесть дней пройти не могли еще.

– Вы здесь? Уже? – произнесла она.

Болезнеустойчивой, нерастворимой в жару оказалась

и Фридина памятливая, деятельная доброта. Память сердца.

Для моей работы над книжкой о Герцене, для того, чтобы справиться, не запутавшись, с огромным количеством выписок, завалившим мой стол, мне понадобились резинки – какими в аптеках перевязывают коробочки с пилюлями, и множество пестрых картонок – таких, какие обычно рассылает Союз в виде приглашений или поздравлений. Давно уже я просила Фриду собирать для меня резинки и картонки. Фрида копила их очень усердно и, случалось, протягивала мне свою добычу с ликующим возгласом:

– Целый ворох! Всех писателей обобрала!

К моему удивлению – и умилению! – не забыла она об этой моей давней просьбе и в больнице. Когда мы увиделись с ней

впервые после ее операции (недели через две), она, еще не ответив на мои вопросы о здоровье, пошарила под подушкой и протянула мне большой конверт: там лежали пестрые картонки и тонкие резиночки…

Болея, смертельно болея, Фрида оставалась верна каждой принятой на себя заботе и каждой своей присяге, малой или большой – все равно. Накануне операции она дала мне опустить в ящик с десяток деловых писем: она продолжала хлопоты о своих избирателях.

Весь ее внутренний мир оставался неразрушимым, сохранным. Фрида умирала и умерла, оставаясь собой.

…В июле 55 года утонул Вова Смирнов, девятнадцатилетний мальчик, прелестный, талантливый, умный, добрый, сын наших с Фридой общих друзей – Веры Васильевны Смирновой и Ивана Игнатьевича Халтурина. Случилось это в Дубултах, где Вера Васильевна жила в Доме Писателей с Вовой, а Фридочка – с Сашей и Галей. Однажды днем, после обеда, Галя разбудила Фриду словами:

– Мама, Володя утонул! – и я знаю, какою тяжестью легла Фриде на сердце эта утрата, как чувствовала она и понимала сиротство родителей.

18 июля 65 года исполнялось десятилетие со дня Володиной гибели. 17-го я навещала Фриду. Было известно, что ей худо, очень худо, и, собираясь к ней, я, разумеется, и не думала напоминать ей о завтрашней горестной дате. Напоминать не пришлось.

Когда я вошла, Фридочка лежала на боку, свесив руки почти что до полу, покачивая ими и чуть слышно постанывая в такт этому качанию.

– Я буду мяукать, а вы не слушайте, хорошо? – сказала она, когда я уселась возле. – Мяукаешь, и почему-то легче. Нет, мне не больно, а просто жар, муть… Возьмите, пожалуйста, бумагу и карандаш, я вам продиктую телеграмму… Ведь завтра десять лет…

Она каждый год посылала в этот день телеграмму в Дубулты – послала и на этот раз.

У Пастернака написано:

> И нужно ни единой долькой
> Не отклоняться от лица,
> И быть живым, живым и только,
> Живым и только – до конца…[12]

Глядя на Фридино умирание, я поняла, что это значит: быть

живым до конца…

Поразил меня – и не одну меня, конечно! – поступок Фриды с доктором Орлом.

Начиная со второй половины пятидесятых годов Фрида сделалась одной из самых неутомимых и умелых собирателей нашей передовой литературы. Собранным она, разумеется, делилась с другими, иначе она не была бы Фридой. Книги, журналы, рукописи, напечатанные и ненапечатанные стихи всегда отягощали ее вместительную хозяйственную сумку. Я уж и припомнить не могу числа и названий тех повестей, рассказов и поэм, которые я прочитала благодаря Фридиной заботе. «Я – книгоноша», – говорила она, вынимая из сумки то стихи Корнилова, только что напечатанные в «Новом Мире», то повесть Гинзбург, еще не напечатанную нигде. И этому своему призванию она не изменила до конца. Наш общий друг, доктор Эммануил Владимирович Орел, перед отъездом в отпуск, летом 1965 года, зашел навестить Фриду. Тогда она чувствовала себя еще сравнительно бодрой, была на ногах и собиралась на дачу. В разговоре Фрида процитировала стихи Мандельштама. Эммануил Владимирович признался, что этого поэта знает мало. Фридочка произнесла несколько горячих слов о Мандельштаме и обещала познакомить Эммануила Владимировича с его поэзией. Прошел месяц. Эммануил Владимирович вернулся в Москву и снова навестил Фриду. Это были уже ее предсмертные дни. Говорить она уже не могла. Эммануил Владимирович сел возле тахты и оба они молчали. Потом Фрида движением головы указала ему на свой письменный стол; он поднялся и подошел к столу – там лежала папка со стихами Мандельштама.

Была просветительницей, книгоношей, и осталась ею «до самого крайнего края»… Лежа в больнице, Фрида постоянно просила близких принести ей то книгу, то рукопись, чтобы ее любимые вещи прочитали новые друзья: врачи, сестры, больные из других палат. За неделю до смерти она попросила меня подарить экземпляр «Софьи Петровны» учительнице Анне Ивановне – ее любимой старой учительнице. Она осталась верна и своей любви к моей повести, и своей любви к старой своей воспитательнице. И своему обыкновению дружить между собой людей и книги.

Признаюсь, Фридина верность своим прежним обычаям и привычкам не только восхищала, но и страшила меня. У нас с ней было обыкновение ничего друг от друга не прятать. Что же будет теперь? Я боялась, она задаст мне прямой вопрос о своей болезни. Сколько раз, бывало, на протяжении более чем двух десятилетий нашей дружбы, она приносила мне какую-нибудь горькую весть –

о себе, обо мне, о ком-нибудь или о чем-нибудь близком, начиная словами: «ведь у нас с вами не принято ничего друг от друга таить… Мы, как говорится, ничего не таскаем за пазухой… И я хочу вам сказать…» И вот в этой же комнате, когда она была еще на ногах и собиралась ехать на снятую Раисой Ефимовной и Сашенькой дачу, она, как-то среди совсем постороннего разговора о «Новом Мире», сидя в кресле, в розовом теплом халатике, вдруг сказала мне, прервав себя: «А хорошо так дружить, как мы с вами дружим… Надежно!» «Надежно!..» А я ей все лгала и лгала и со страхом и малодушием ожидала минуты, когда она, прощаясь, потребует от меня правды. Или выговорит ее сама.

Что она скажет мне? Когда? Как? Окруженная заботливой, обдуманной, изобретательной ложью близких, имени своей болезни она не знала. Но чуяла силу ее. Что же скажет мне Фрида на прощание и что я скажу ей в ответ?

В марте 1960 года скончалась от рака Тамара Григорьевна Габбе. Мы были дружны с ней 35 лет – вместе учились в Институте, вместе работали в редакции у Самуила Яковлевича. Хотя она была старше меня всего на пять лет, ко мне она относилась по-матерински. Детей у нее не было, а человеком она была материнского склада и лет с тринадцати умудрялась относиться по-матерински даже к собственной матери. Фрида от души привязалась к ней. К Тамаре Григорьевне вполне применимы слова Толстого: «этого человека могли не любить только очень глупые или очень злые люди»… Блистательное и глубокое литературное дарование; ум, выработанный, образованный, сильный, я бы сказала – мужской; и талантливая, как все в ней – доброта… Когда Тамара Григорьевна скончалась, я переписала в отдельную тетрадь те страницы своего дневника, где рассказывалось о ее болезни и смерти, и подарила Фриде. А там у меня такая страничка:

«28. II.60

Она сидит, я пою ее чаем с ложечки. Слабенькая, еле держит голову. Я одной рукой пою, а другой поддерживаю спину.

Проглотила две ложечки, взглянула на меня:

– Вот так, Лидочка, и бывает. Так и бывает…

И махнула рукой».

Когда я, в 1960 году, записывала эти Тусины слова, я не думала, что услышу их в другой раз – из других уст, в другой комнате, через несколько лет…

Это случилось 27 июня 1965 года. У Фриды болела нога – «тромб» говорили ей, надо полежать – она слегла, а еще через несколько времени начались рвота и жар. Дача отдалялась.

Несмотря на жар и тошноту, и муть, у нее еще хватало сил работать: она срочно подготовляла для нового издания свою трилогию. Это было еще только начало конца, но начало крутое, обрыв в новую и страшную стадию болезни, и она это почувствовала… Когда я вошла к ней в этот день, она попросила Галю придвинуть к ее тахте кресло, подождала, пока Галя уйдет, подождала, пока я усядусь, и вдруг подняла на меня глаза:

– Вот так и бывает, – выговорила она громко, свободно, отчетливо, даже с вызовом, – вот так, Лидочка, и бывает…

И ударила меня глазами: не лги.

Себя я в это время не чувствовала, не слышала, не видела, – меня попросту не было на свете! и из своего небытия я слышала только эти ее слова, видела этот ее требовательный сердитый взгляд. Я так до сих пор и не знаю, что я ответила ей и ответила ли вообще что-нибудь.

На другой день Фридочке стало полегче, температура упала, несколько часов не было тошноты – она приободрилась и, желая ободрить и утешить меня, жалея, видно, о вчерашнем жестоком прощании, – сама, чего уже давно не бывало – позвонила мне по телефону и целых пять минут говорила со мною веселым, ясным голосом – про то, что сильно сокращает свою трилогию.

– Болтливая книга! – сказала она. – Надо писать короче. И как это мне друзья не говорили, что это растянуто? Правда, упрекаю друзей. Да, и вас. Вот увидите, новую я напишу по-другому: жестче, короче, без воды…

Она мечтала окончить свою новую книгу – «Учитель», а я уже не надеялась… «Вот так, Лидочка, и бывает, вот так и бывает», – двухголосое – звенело у меня в ушах.

…После Фридиной смерти девочки отдали мне папку с бумагами по делу Бродского. Она была в беспорядке – Фрида до последнего дня требовала, чтобы мы давали ей копии всех заявлений и писем, но сил раскладывать их по порядку у нее уже не было. Я занялась этим. Фрида всегда показывала мне письма Бродского к ней, поэтому я снова прочитала их. В одном Иосиф расспрашивал Фриду о том, как она себя чувствует, и между прочим поминал известное изречение индусской мудрости, гласящее, что причину всякой физической хвори надо искать в нарушении равновесия духа.

Я заново задумалась над этими словами. Что же, в самом деле, случилось с Фридой? Что случилось? – в духовном смысле, а не в медицинском? Чем был нарушен – и разрушен – ее трудный, но счастливый, гармонический мир? Ведь характер ее действительно поражал своею гармоничностью, каким-то постоянным, в горе и в радости, устойчивым равновесием духа.

Чем же было поколеблено и нарушено это волшебное равновесие?

Дело Бродского?

Да, оно не только потрясло, но и утомило Фриду, как утомляет, высасывает силы, постоянная, безотрывная и при том упорно не идущая на лад работа.

Немногие знают, что Фрида и несколько человек ее друзей те полтора года, пока длилось это гнусное дело, жили, словно поступив на какую-то нудную службу, и ежедневно, с утра, словно «вешали номерок» на некоем невидимом табеле. Это не было занятием между прочим, нет, это стало содержанием нашей ежедневности. Сознание, что уже столько месяцев, а вот уже и второй год! там, в Коноше, мучается человек, ставший для нас всех дорогим, не давало покоя. Ни праздников, ни воскресений, ни отпусков. Если и случалось кому-нибудь вырваться из Москвы, то не на отдых: междугородний телефон, авиапочта, нарочные, оказии. А вернешься в Москву – каждый день нужно звонить или идти туда, куда бумаги уже посланы; каждый день решать, куда писать снова, от чьего имени, как. По телефону об этом не скажешь – надо увидеться. Составить черновик. Ехать – за город, в больницу или на дачу, или в Ленинград за чьей-нибудь подписью. Кто поедет?.. Завоевывая нового «защитника Бродского», надо показать ему Фридину запись и стихи Иосифа. Значит, перепечатка на машинке. Вычитка… Кто отвезет?.. Добиваясь приема у могущественного лица, надо искать путей к его секретарю или к кому-то, кто знаком со знакомыми секретаря – то есть опять-таки с кем-то встречаться, кому-то дозваниваться… Мобилизовав десятки людей, Фрида тем самым опрокинула на себя сотни телефонных звонков и десятки встреч. Мы двигались в темноте, на ощупь; наши официальные корреспонденты и собеседники постоянно давали нам ложные сведения, которые необходимо было проверять. А проверка – это снова знакомые знакомых, снова звонки, снова встречи – у себя дома, в чужом доме или на улице. Одна старушка-пенсионерка, в прошлом – сотрудник прокуратуры, пронзенная Фридиной записью, из симпатии к нам и Бродскому, взяла на себя обязанность сигнализировать нам обо всех кочевьях «дела», со стола на стол, в Верховном Суде[13]. С ней кто-нибудь из нас виделся чуть не ежедневно… Вместе с нами действовали ленинградцы – требовались оказии в Ленинград, чтобы согласовывать усилия, сообщать друг другу новости. Опять звонки. Опять встречи… Писать или нет Микояну? Текст? Подписи? Да, кроме служения, тут была нуднейшая служба, «согласовывать и увязывать». Кроме патетической публицистики – писанина, канцелярская канитель, утомительная, бесконечная, как дурной сон…

Мешало ли Фриде жить депутатство?

О да, конечно! Это была кладь потяжелее, чем дело Бродского. Много тяжелее. Это были десятки и сотни судеб, в которые Фрида обречена была вникать, – настоящее «зрелище бедствий народных» – что ни голос, что ни посетитель, то беда, драма, трагедия, несчастье; а средств помочь никаких или почти никаких. В деле Бродского рядом с Фридой, вместе с Фридой действовали, работали, сочувствовали, огорчались и радовались друзья; в деле Бродского она ни минуты не была одна; в своем депутатстве, лицом к лицу с бедами, Фрида была, наоборот, одинока; хоть и не «одна среди людоедов», но «одна среди бюрократов».

Помните запись во Фридином депутатском блокноте, ту, из которой так ясны ее беспомощность и ее одиночество? К ней пришла женщина:

«Хрупкая, худенькая, плачет. Отец погиб на фронте. Мать (участница гражданской войны) у Ганушкина. Брат – туберкулезный. Она – тоже туберкулезная.

– Я не могу жить. Лучше мне умереть. Все равно соседи сживут меня со света. Мы живем на квартирной кухне. Конечно, кухня нужна всем. Но что же мы можем поделать? Куда угодно, куда угодно, только бы из этой квартиры. У меня нет больше сил…

Несколько дней спустя состоялось заседание райжилуправления. Я просила включить эту семью в список 64-го года:

Я: – Они стоят на очереди с 58-го года и заслуживают, чтобы…

Куропеев: – Кто спорит? Конечно, заслуживают. Но мы не можем ничего сделать.

Я: – Но мать в психиатрической больнице…

Куропеев: – Мало ли что… У нас психобольных в районе знаете сколько?

Я: – Но у дочери туберкулез…

Куропеев: – Мало ли что… Ведь не бациллярная же форма?

Я: – Но они живут на кухне…

Куропеев: – Мало ли что! У нас семь тысяч комнат признано нежилыми.

Я: – Но матери 74 года…

Куропеев: – Если всем старушкам давать площадь, план никогда и не выполнишь.

Я: – Я прошу вас, я считаю, что…

Куропеев: – Вы просите в частном порядке, а мы в общем порядке. Мы – более правы. Рассмотрите вопрос в таком разрезе, ясно? А эмоции надо оставить!»

Но Фрида, несмотря на окрики начальства, не могла «оставить эмоции», и потому депутатство легло на ее сердце безмерною тяжестью. «С тех пор, как я депутат, – говорила она мне, – и каждый день хожу по чердакам и подвалам, я возненавидела свою квартиру, свою комнату…» Да, эта кладь была для нее потяжелее любого другого отдельного дела. Дело Бродского она сама себе выбрала, а тут дела падали на нее со всех сторон, без разбора, выбора, спроса, и каждым она обязана была заниматься. Беды человеческие лились на нее потоком, словно ее посадили в бассейн и открыли все краны. После депутатских приемов она часто шла прямо ко мне – полежать, пообедать, отдохнуть – и приходила измятая бедами, нередко – плачущая. «Нынче мне пришлось опять ехать в Москву по депутатскому делу, – сообщала она мне из Тарусы летом 1964 года, – и добро бы оно кончилось хорошо – так ведь нет: провалили. И мне так горько и худо: шла с заседания райсовета и ревела белугой прямо на улице». Страницы ее депутатского блокнота – при всем юморе, с каким сделаны некоторые записи – ведь это ужас на ужасе, вопль на вопле. «И вы не захотите помочь, я знаю, и вы не захотите», – кричит, стоя возле Фридиного стола женщина, которую изо дня в день избивают взрослые дети. На каждом приеме выслушивать крики, мольбы о помощи – и понимать, что при всех усилиях почти никогда ты не в состоянии помочь, – вот чем было для Фриды ее депутатство. И хотя кое-что ей все-таки удавалось, память о неудачах жгла ее.

В последние годы она уже не спала без снотворного. Дела депутатские утомляли, жестоко ранили ее – и дома ей доводилось отдохнуть далеко не всегда: Наташеньку, нежно любимую ею, пришлось как раз в эту пору взять из яслей, и большая доля забот о ней легла на Фридины плечи.

И все-таки, по глубокому моему убеждению, не это привело к дисгармонии. Не перегрузка, не бессонница. Ведь перегрузка – это перегрузка, а не противоречие внутри души.

Со всеми делами она постепенно справилась бы, у нее хватило бы, я уверена, душевной закалки и сил.

С Фридой в последние годы случилось другое – счастье или несчастье, не знаю.

Она встретилась со своей писательской зрелостью. А встреча эта для каждого писателя неизмеримо трудна.

Внезапно все написанное прежде теряет цену. Все кажется – иногда совсем несправедливо – никуда не годным, никому не нужным. Уверения друзей, читательские письма – не утешают более. Работать надо по-другому. Писать не о том, о чем раньше. Точнее. Кажется, я наконец-то знаю, о чем и как. И вот беда:

столько лет я работала, столько лет училась писать, а писать мне стало не легче, а трудней.

Все это на моих глазах происходило с Фридой. Умение ее выросло в десятки раз, требовательность к себе – в сотни. Писать надо короче. Полнее. Без сантиментов. Строже. Точней. Что это значит – точней? Как добиться этой вечно ускользающей точности? Весь накопленный ею жизненный опыт, всё, что было записано у нее в блокнотах и в памяти, всё, что было продумано, понято ею, требовало от нее новой степени глубины, то есть, в конечном счете, нового градуса правды. Это и была та новая точность – и новая форма, – которую безудержно, отчаянно, страстно искала рука.

Душа требовала неотрывности труда, тишины. Той тишины, в которой душа – и рука – словно слушают чью-то диктовку. Той, о которой у Ахматовой сказано:

…Встает один, всё победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь[14].

Уж на что Цветаева во всем противоположна Ахматовой, а и она – в той самой статье, вызвавшей размышления и несогласия Фриды, тоже пишет о тишине, в которую вслушивается поэт, о диктовке, которой повинуется его рука. «Дать уху слышать, руке бежать», – говорит Цветаева. Это, в сущности, тот же ахматовский «один, всё победивший звук», те же «просто продиктованные строчки».

Фрида никогда не была поэтом, и не для сравнения ее с Ахматовой, или Цветаевой, или с кем бы то ни было я пишу то, что пишу. Однако Фрида обладала большим художественным даром, и дар ее созрел. Это было видно, прежде всего, по ее блистательным записям. Для нее настала пора, когда, нахлебавшись жизни, художнику пора в тишину, в сосредоточенность, слушать уже не самую жизнь, а рожденный ею «один, всё победивший звук». Фрида дивилась себе – новой себе, по-новому ранимой, по-новому беспомощной. Давно ли умела она создавать статьи свои и книги в тесноте ермолаевской кипящей склоками коммунальной квартиры или на подоконнике в

редакции под треск телефонов? Быстро, отчетливо, к сроку…

– Теперь, – говорила она мне с удивлением, – чтобы написать строчку, мне нужна тишина. И сознание, что никто не войдет. Не позовет. Не тронет. Ничего не потребует.

Да, зрелость писателя – труднейшая пора его жизни. Он чувствует себя перед Страшным Судом Слова, перед тем самым, ранее отрицаемым Фридой, цветаевским Страшным Судом.

И она оказалась лицом к лицу с ним. И в прекрасной, просторной, уставленной зеленью и книгами комнате, за прекрасно оборудованным письменным столом ей стало не под силу писать. Потому что здесь ее все время отрывали, а она больше не могла отрываться. Все чаще уезжала она из дому, в Киев, в Ереван, в Таллин, чтобы вдали от Москвы, в тишине гостиницы или чужой квартиры запереться, ничего не видеть, не слышать – писать.

– Подумайте! – говорила она мне после одной из таких поездок, – там, когда и позвонит телефон, я могу не пугаться: это не меня…

А дома, в Москве, ей мешал даже выключенный. Она понимала, сколько голосов и с какими бедами рвутся к ней по проводам.

Она не могла разрешить себе толком отдохнуть или, что то же, без всяких помех погрузиться в работу, в сон, как называла это состояние Цветаева. Для того, чтобы вовремя приходить на помощь людям, – надо, чтобы не только домашний, но и душевный телефон всегда был включен. Для того, чтобы писать – в самом деле писать, не на шутку, – необходимо, напротив, чтобы все провода, соединяющие человека с людьми, были временно отрезаны напрочь. Человек должен отплыть на необитаемый остров и там погрузиться на самую глубину тишины: «дать уху слышать, руке бежать».

Ведь пишется книга не только тогда, когда сидишь за столом и пишешь. Но и когда бредешь по дороге. И лежишь на диване, закинув руки за голову. И мешаешь на плите кашу, не видя, как она ползет через край…

Фрида хотела погрузиться в книгу, но не могла. И не только по внешним причинам – по внутренним. Оторваться от людей – это противоречило мысли ее мыслей, сердцу ее сердца, ее религии.

Книга в ней набухала, росла, разрывая ей душу. Новая книга, та, в которую она должна была вложить всю постигнутую ею правду.

Отдаться книге она не могла. Отплывешь на необитаемый остров, начнешь вслушиваться в «один, всё победивший звук»,

заслушаешься голоса, который диктует тебе слова, а жизнь – сумасшедший с бритвою в руке – возьмет да и прирежет кого-нибудь из самых тебе дорогих.

…Разрушил гармонию Фридин созревший художнический дар, потребовавший погружения в работу на другой – неприкосновенной – глубине. Она-то еще пыталась, могла, но ОН уже не мог, как прежде, примиряться с постоянной, бесперебойной деятельностью спасательной станции.

11. Завещание

Я знала, что Фрида страстно занята своей новой книгой, что она пишет ее, не оглядываясь на цензуру, что она вводит в нее материал, запечатленный в блокнотах. Знала я из ее рассказов, а потом и из прочитанной части, что главный герой книги – это учитель, переживший тюрьму и лагерь, и его бывший ученик, которого, вернувшись, он повсюду разыскивает, чтобы сказать ему какое-то свое заветное слово. Я знала, что по этой своей работе Фрида постоянно тоскует – «работать хочется до слез», написала она мне однажды, – но *как* тоскует, *чем* стала для нее эта работа, мне открылось только в день операции, 14 января 1965 года.

В этот день на операционном столе должно было выясниться: какая причина вызвала желтуху, каково имя болезни? Камень в желчном протоке? Рентген не показывал камня. Киста аппендикса? Да, быть может, и киста, но профессор Виноградов предполагал рак поджелудочной.

Мы сидели в вестибюле больницы: Раиса Ефимовна Облонская, Нора Яковлевна Галь и я.

Перед нами ходили, вставали, присаживались и вставали снова – Саша, Галя, Исаак Абрамович.

Спустилась к нам знакомая докторша, объявила, что Фрида уже в операционной. Ушла. Спустилась снова: сделали еще раз, в последний раз, рентген. Камня нет.

Осталась одна слабая слабейшая надежда: опухоль железы, но не злокачественная. Один случай из миллиона. Бывает.

Я смотрела на Изю и девочек, стоявших перед нашей скамьей. Фридины дочери и Фридин брат. Три варианта ее лица: бровей, глаз, ресниц, скул, волос. Держались они все спокойно. Галя была румяна, как всегда. Саша, как всегда, смугла и глазаста. Ни истерик, ни стиснутых губ и рук. Ни рисовки, ни позы. Спокойные, обыкновенные речи. Фридины дочери, воспитанные ее мужеством и ее чувством достоинства. Перед лицом самого горького горя, которое им когда-нибудь доводилось или доведется испытывать, они вели себя свободно, непринужденно, с

большим непритворным мужеством.

Докторша вернулась в третий раз. Брюшина вскрыта, Виноградов прав: рак поджелудочной.

Я видела, как схлынул румянец с Галинах щек и, побелев, Галя стала более обычного похожа на Сашу и Фриду.

Все окружили докторшу: та что-то чертила на бумаге, объясняя, как расположена опухоль и почему к ней нельзя прикоснуться. А я осталась сидеть: все равно не увижу. А если и увижу, то – что?

Через минуту рядом со мной села Саша. Мы молчали.

Она опустила кудри и заплакала.

– Значит, мама не кончит книгу, – проговорила она сквозь слезы.

Сказала она это не помня себя, оглушенная бесповоротностью горя, а для моих ушей эти слова прозвучали Фридиным тайным признанием, будто это не Саша, а Фрида сама, под тяжестью объявленного диагноза, проговорила о заветнейшей из своих тревог.

– Значит, моя книга не будет написана! значит, я не кончу книгу!

Поправляясь, она на больничной койке продолжала работать над книгой. Работала над нею и в Переделкине, в тот счастливый месяц, когда она, и Александр Борисович, и Копелевы жили там вместе. Работала, снова оказавшись в больнице. Потом дома, у себя на тахте. Работала, пока болезнь не скрутила ее. И не кончила книгу.

В одну из трудных ночей, когда ее особенно терзали тошнота и жар, она вдруг попросила Галю взять бумагу и перо и записать под ее диктовку: зачем учитель, вернувшись из лагеря, ищет своего ученика и что он хочет ему сказать.

Желая успокоить, ободрить ее, Галя ответила:

– Не стоит сейчас диктовать! Тебе станет лучше, и тогда ты напишешь сама.

Фрида послушалась. Лучше не стало. Под разными предлогами Раиса Ефимовна и Нора Яковлевна – друзья, которым всю жизнь Фрида привыкла показывать первым каждую свою строку, предлагали свои услуги для диктовки. Я тоже пробовала ее уговаривать. Я говорила ей: помните, Фридочка, в больнице вы мне один раз пожаловались, что из-за всяких лекарств позабыли целую, насквозь продуманную главу?.. Продиктуйте мне суть этой встречи, тогда уж не забудется, а потом напишите сами…

Но она не пожелала. Видно, надеялась: не забуду, выздоровею, напишу сама.

…Она не выздоровела, она умерла, а мы так и не узнали, в

чем была главная мысль ее заветной книги – ее жизни! – та главная мысль, которую хотел передать своему ученику вернувшийся из ада учитель.

Сначала, даже рядом с Фридиной смертью, то, что мы не успели записать основу будущей главы, казалось мне большим несчастьем. Словно мы, по неловкости и нерадивости, утратили Фридино завещание.

Но потом я поняла, что ничего не утеряно, что Фридино завещание дано нам всей ее жизнью, и оно понятно и без тех страниц, которые мы не успели записать.

– Да, Сашенька, мама не кончит книгу. Мама умерла, и ее главная книга навсегда осталась неоконченной. Но каждый из нас должен заглянуть себе в душу и вспомнить и помнить всегда, что он почувствовал и понял, когда уносили гроб. Уносят Фриду! Герцен, посетив могилу жены, написал: «она не тут, она в груди». Фрида очень любила эти слова. Из нашей памяти никогда и никто не властен ее унести. Теперь она переселилась в нас и живет в нас, в родных и неродных, в каждом, кто понял, любит, помнит.

Вглядись в себя внимательней, напряженней, глубже – каждый, кто прочтет эти строки, гляди зорче! – разве она не там?

Москва – Переделкино
12.1 – 10. VII. 66 г.
Москва, февраль 67 г.

От составителя

Двадцать два года спустя Лидия Чуковская сделала такую запись:

««Памяти Фриды» имеет большой недостаток: тут всё правда, но не вся правда. Я писала эту книгу, обязавшись перед Галей и Сашей не писать ничего, что могло бы послужить помехой для переиздания Фридиных книг. И обещав не распространять написанное. Поэтому в этой книге отсутствует происходившая на моих глазах – и не без моей помощи – линия Фридиного освобождения от казенных лжей.

Фридины повести – сантиментальная беллетристика. Она уходила от нее к мужественной документальной прозе – т. е. от разжиженной правдивости к страстной и строгой правде. К прозе ее вели ее записи, чуждые беллетристической полуправды. Два художественных произведения – запись о суде над генеральским сыном и над Бродским – порукой тому, что Фрида пришла бы и к правде и к прозе. На смену жалостливости безразборных дружб шла суровость, которая вела ее к уединению и к искусству. К тяжелому бремени от радостной легкости. Я уверена, что в конце 60-х – начале 70-х она была бы исключена из СП: ее публицистика

была бы уже такой крепости, что со страниц «Комсомольской правды» сбежала бы в Самиздат. Да и без всякого «бы»: первая запись, положившая начало Самиздату, была речь Паустовского на обсуждении романа Дудинцева, вторая – процесс Бродского. Обе сделаны Фридой. Если буду жива, окончив 3-й том Ахматовой – возьмусь за Фридину книгу. *15/II*89».

Но вернуться к «Фридиной книге» Лидия Корнеевна не успела. Книга осталась такою, какою была написана «по свежему следу», в 1966–1967 году.

«Мощь одинокой тишины»
Об А. Д. Сахарове

О законных правах человека[1]

Л. Д. С.

Голубоглазое молчание,
Мощь одинокой тишины.
И расстоянье, расстоянье,
Которым мы разделены.

Как от Земли и до Луны.

Заговорил – и прозвучали
Слова отваги и печали.

И не хватало, не хватало
Лишь мученического венца.
И время, вот оно, настало
Для мученического конца.

Сегодня-завтра он наступит.
Очей угаснет синева.
И вот когда бессмертье вступит
В свои законные права.
1976

Из книги «Процесс исключения»[2]

Я считаю академика А. Д. Сахарова человеком, одаренным нравственной гениальностью. Физик, достигший огромного профессионального успеха, один из главных участников в создании водородной бомбы, он ужаснулся возможным результатам своей удачи и кинулся спасать от них мир. Испытание новой бомбы людям во вред! Дело не в отказе от колоссальных денег и карьеры; нравственная гениальность Сахарова, даже если впоследствии он не создал бы Комитет прав человека, проявилась прежде всего вот в этом: одержав профессиональную победу, он понял не только пользу ее, но и вред. Между тем людям искусства и людям науки обычно ничто так плотно не застилает глаза, как профессиональная удача.

В газетах осени 1973 года подвиг Сахарова был искажен и оболган. Человечнейшего из людей, безусловно, достойного Премии мира, выставили на позор перед многомиллионным читателем как поборника войны.

Да здравствует разум![3]

С 1958 года в нашей стране обнаружено трое Иуд: Борис Пастернак, Александр Солженицын (1970) и академик А. Д. Сахаров (1975).

Все трое продали родину капиталистам за изрядную мзду– за Нобелевскую премию. Их своевременно уличила в этой предательской махинации советская пресса.

Я не знаю, почем за поклеп берут сотрудники советских газет и как им платят: построчно или постатеечно? Только ли рублями с ними расплачиваются или также и повышением по службе, квартирами и орденами? Не вдаваясь в подробности, хочу отметить и подчеркнуть один радостный факт: разум берет верх, читатели перестают верить казенной словесности. Не только интеллигентная интеллигенция давно уже не верит ни единому слову наемных разоблачителей и отдает себе ясный отчет в истинном величии своих национальных героев («Иуд»), но и так называемые «простые люди», на чью беззащитность (то есть неосведомленность) рассчитывают газеты – и они чуют ложь и отвергают ее. На днях один человек, рабочий, прислал мне копию своего письма в газету (имя, отчество, профессия, адрес). Привожу – с полною точностью – два отрывка: «…Лжете, Сахаров не ненавидит русских людей, а любит…» «Ругань и оскорбления еще никого не убеждали, и вся грязь, которую вы льете на академика, его не загрязняет, а вас уважать перестают. Много хочется вам сказать, да ведь бесполезно, дальше КГБ мое письмо не пойдет, а они лучше всех знают, что у нас творится».

Я имею основания полагать, что подобных документов сегодня десятки в редакциях советских газет. Я счастлива этим не менее, чем Нобелевской премией мира, которой удостоен Андрей Дмитриевич Сахаров. Торжество справедливости – праздник редкий. И хотя дальнейшая судьба Сахарова внушает тревогу, праздник справедливости не отымаем ничем. Будем же достойны его.

3. 10. 75 г.

Телеграмма[4]

[21 мая 1981]

Дорогой Андрей Дмитриевич! День Вашего шестидесятилетия омрачен тяжкими судьбами друзей, беззаконностью Вашей ссылки, бессменностью стражи у Вашей двери. Вас лишили правительственных наград, лишили научного и человеческого общения, у Вас отняли то, что составляет жизнь Вашей жизни: дневники, память о прошлом и будущем, научные замыслы. Никто, однако, не властен лишить Вас несравненной Вашей правоты и нашей неправительственной любви к Вам. День 21 мая входит в душу как праздник – праздник разума, добра, духовного величия. Вашим повседневным подвигом Россия снова явила миру свою подспудную силу. По словам Льва Толстого, сила духовная бывает подавлена только до тех пор, пока она «не достигла высшей ступени, на которой она могущественней всего». Излучаемая Вами духовная мощь растет и не может быть отнята вместе с бумагами. Словом своим Вы побуждаете людей к деятельному добру. Мысль ваша бередит и тревожит сердца, овладевает тысячами на свободе и за решеткой, учит думать и ведет с одной ступени сознания на последующую. В праздничный день Вашего шестидесятилетия хочу пожелать Вам, чтобы нравственная мощь взяла верх над грубым насилием, чтобы отнятые у Вас сокровища были возвращены Вам, чтобы Вы и все неправо гонимые скорее вернулись домой. *Лидия Чуковская*

Каким он запомнился[5]

Андрея Дмитриевича Сахарова я впервые увидела летом 1971 года в гостях у друзей. Я была уже наслышана о нем, но еще никогда не видала. Случилась наша первая встреча в Переделкине, где друзья мои снимали две комнаты на небольшом участке. Я была у них, когда к ним зашли ненадолго Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна Боннэр. Знакомство оказалось беглым, мы пробыли вместе не более 10–15 минут. Уже тогда, в эту недолгую встречу, меня привлекло красивое лицо Андрея Дмитриевича, малоподвижное, изнутри освещенное. Он прислушивался к нашей беседе, но сам говорил мало. Участвуя в беседе, он как бы и не участвовал в ней.

Вторая встреча тоже была короткая, но для меня оказалась значительной. Напоминаю, что в ноябре 1970 года Сахаров вместе с друзьями основал Комитет прав человека. А мне к тому времени уже случилось выступать с открытым письмом в защиту Даниэля и Синявского; с письмом в защиту Солженицына; с письмом к 15-летию смерти Сталина (в ту пору наметился уже поворот от разоблачений сталинских зверств к оправданию и забвению). Мои открытые письма уже распространялись в Самиздате и

передавались по западным радиостанциям[6].

Андрей Дмитриевич пришел с лестным для меня предложением: стать членом этого Комитета.

Вполне понимая оказанную мне высокую честь, я тем не менее от нее отказалась. Я занята была тогда многолетним литературным трудом – это раз, и, кроме того, не чувствовала в себе никаких способностей к организационной работе.

Однако, не становясь членом Комитета, я обещала содействовать, чем могу, этой спасательной экспедиции. Не помню, тогда же или чуть позднее я подписала требование освободить всех политических заключенных.

С тех пор и начались мои нередкие посещения квартиры на улице Чкалова. Бывало, что и Андрей Дмитриевич с Еленой Георгиевной заходили к нам на улицу Горького или приезжали в Переделкино.

По вторникам я часто бывала у Сахаровых в так называемый «День открытых дверей», когда там в тесноте да не в обиде собирались друзья Андрея Дмитриевича или сподвижники его общественной деятельности, или попросту поклонники. Впрочем, каждый день недели можно было назвать «Днем открытых дверей». Дом всегда был открыт для тех, кто просил у Сахарова защиты и помощи, для родственников и друзей заключенных. Случалось и мне, не состоя членом Комитета, подписывать правозащитные документы.

И тут мне хочется рассказать об Андрее Дмитриевиче – каким он запомнился мне во время наших встреч среди семьи, у нас дома или на сборище друзей.

Говорил он с некоторой суховатостью, сродни академической, и в то же время в речи его слышалось нечто старинное, народное, старомосковское. Произносил «удивилися», «испугалися», «раздевайтеся»… Говорил чуть замедленно, как бы подыскивая более точное слово. Перебивать его было легко, каждый поспевал высказаться быстрее, чем он, каждый говорил быстрее, чем он, да и сам Андрей Дмитриевич легко уступал нить разговора другим, но перебивший, безусловно, оставался в проигрыше.

Другое мое впечатление: Андрей Дмитриевич всегда пребывал в одиночестве, внутри себя. Да, да – жена, любимая семья, друзья, ученики, последователи, совместный правозащитный труд, треск машинки, встречи с корреспондентами, телефонные звонки из разных городов – звонки, которые поднимали его с шести часов утра. В каком же это смысле я упоминаю об его одиночестве? А вот в каком. Ахматова говорила, что иногда, продолжая вести беседу, продолжает писать стихи. Иногда я и сама слышала в общем

разговоре ее невнятное гудение. Расслышать мысли Андрея Дмитриевича сквозь его одинокость я, разумеется, не могла. Но я уверена, глядя на него среди шумного общего разговора, что в нем совершается даже и в общем хоре глубокая и одинокая духовная работа. Окруженный людьми, он наедине с самим собой, решает некую математическую, философскую, нравственную или общемировую задачу и, размышляя, задумывается глубже всего о судьбе каждого конкретного, отдельного человека. И тут мне представляется уместным вспомнить один из рассказов Зощенко. На поминках грубо обошлись с человеком. Автор говорит, раздумывая о случившемся, что при перевозке стекла или машины владельцы чертят на них «Не бросать» или «Осторожнее». Далее Зощенко рассуждает так: «Не худо бы и на человечке что-нибудь мелом выводить, какое-нибудь там петушиное слово – «Фарфор» или «Легче», поскольку человек – это человек».

Мне кажется, Андрей Дмитриевич в разные периоды своей жизни и очень по-разному, но всегда искал «петушиное слово» для всего человечества и для каждого человека: «Осторожнее! Бьется!»

Подумать только, в стране, где любой человек ценился не дороже мухи! Да еще хорошо, если как муху – хлоп и нету! А то еще попадется в руки мальчишке, которому доставляет удовольствие, прежде чем хлопнуть, оборвать ей крылышки и лапки – в этой стране и во всех странах мира потребовать отмены смертной казни и напомнить о каждом человеке: осторожнее! бьется! Сомневаюсь, чтобы Андрей Дмитриевич читал рассказ Зощенко, но при всяком неправедном насилии над человеком взывал к властям и миру: осторожнее! бьется!

Из этих поисков и выросла его, уже много раз описанная – им самим и другими – незабываемая громогласная правозащитная деятельность. Деятельность эта притягивала людей. У него за столом я встречалась с его последователями и сподвижниками: Софьей Васильевной Калистратовой, Татьяной Михайловной Великановой, Марией Гавриловной Подъяпольской, Татьяной и Сергеем Ходоровичами, Юрием Шихановичем, Ларисой Богораз, Саррой Бабенышевой, с матерью Щаранского – пожилой женщиной, чье лицо могло бы служить изваянием неколебимого достоинства и несокрушимого материнского горя, с Борисом Альтшуллером и, всего один раз, на ходу, мельком – с физиком Юрием Федоровичем Орловым, основавшим в 1976 году первую Хельсинкскую группу. (В следующем году, даже после ареста Орлова, группа продолжала работать.) Встречалась я там часто с давно мне знакомыми писателями Владимиром Корниловым,

Владимиром Войновичем, Львом Копелевым. Всех не упомнишь и не назовешь.

Судьбы этих людей были круто и разнообразно неблагополучны. От тюрьмы, психиатрической лечебницы, лагеря, вынужденной эмиграции до таких сравнительно легких, но вовсе нелегких наказаний, как утрата работы – превратить ученого в дворника или исключить профессионального писателя из Союза писателей с запрещением печататься.

Вокруг Сахарова было – стараниями КГБ – образовано некое минное поле: ступишь на него – и так или иначе подорвешься. Постоянная, наглая, демонстративная перлюстрация писем – к нему, от него и ко всем окружающим; вечное подслушивание телефонных разговоров; регистрация встреч с иностранцами, да и вообще – с кем угодно; анонимные угрожающие письма. Проникая в квартиру в отсутствие хозяев, ничего не унести, но испортить холодильник или пишущую машинку или растоптать сапогами выдернутое из шкафа платье. Знай, мол, помни каждую минуту, что мы здесь хозяева!

Неотступная, постоянная слежка. Приведу такой случай. Я написала тогда – в 1973 году – статью «Гнев народа» о фиктивном, подстроенном властями, будто бы всенародном бурном негодовании против Пастернака, Солженицына и Сахарова. Прежде чем распространить статью в Самиздате и переправить на Запад, я хотела прочитать ее Андрею Дмитриевичу и Елене Георгиевне. Оба приехали к нам в Переделкино. Я читала, а моя дочь пекла на кухне пирог и готовила салат. И вдруг в кухне потемнело. Тьма в ясный день. Против окна на улице остановился большой фургон с надписью «Доставка мебели населению». Он стоял против нашего дома все то время, пока супруги Сахаровы были у нас. Мы потом, и не сразу, догадались, что это был фургон с подслушивающим устройством… такие устройства, только крохотные, работали, разумеется, и в квартире на улице Чкалова.

Однако упорная правозащитная деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова бесстрашно продолжалась.

«…Я вижу и слышу Андрея Дмитриевича Сахарова, – писала я в одном из своих открытых писем, – упорно стоящего перед закрытыми дверьми открытого суда, где подбирают уголовные статьи наказания за мысль, и с кроткой настойчивостью повторяющего в лицо охраннику одни и те же слова:

– Я академик Сахаров… Член Комитета прав человека… Я прошу допустить меня в зал.

Его не пускают. Ведь он не только физик; он и его друзья – знатоки советских законов; он может, выйдя из зала суда,

рассказать людям, как законы эти нарушаются. Он может нарушить главный закон нашей жизни; не тот, который записан в Конституции, а главный – «закон сохранения немоты»».

В зал суда пускали только родных, да и то не всегда. И почти всегда вокруг судебного помещения сталкивались демонстрации. Это были, во-первых, сочувствующие подсудимым, во-вторых, искренние ненавистники их и, главное, подосланные провокаторы. Начиналась свалка, милиция тащила сочувствующих в милицейские автобусы, волочила грубо, иногда по земле, заталкивала их в машины, избивала – случалось это и с Еленой Георгиевной, и с ним самим.

Сильнейшим орудием Сахарова в осуществляемых им протестах были голодовки. Он голодал за освобождение Буковского, пытаясь привлечь внимание мира ко всем политическим заключенным в Советском Союзе, без различия убеждений, – всех, кто позволял себе самостоятельно мыслить и не скрывать своих мыслей, всех творцов Самиздата или Тамиздата, всех хранителей запретного. Он хотел привлечь внимание мировой общественности к ужасам, творящимся в наших тюрьмах, лагерях, психиатрических лечебницах. Между тем у Андрея Дмитриевича смолоду было тяжко больное сердце. Каждая голодовка вредила и без того подорванному здоровью. Но он сознательно отдавал разрушению собственное сердце, спасая сердца других. Спрашиваешь его бывало: «Андрей Дмитриевич, как вы себя чувствуете?» – «Отлично, – неизменно отвечал он. – Я здоров, а у такого-то в лагере сотрясение мозга, а у Люси болят глаза».

О нем вполне можно сказать, чуть переиначив строки из поэмы Пастернака:

> Жребий завиден. Он жил и отдал
> Душу свою за други своя[7].

Александр Исаевич Солженицын и Андрей Дмитриевич Сахаров расходились в своих философских, исторических и политических воззрениях. Но оба глубоко уважали друг друга. И, разумеется, Александр Исаевич не раз публично выступал в защиту Сахарова. И, разумеется, Сахаров сразу вступился за своего инакомыслящего современника, чуть только под вечер 12 февраля 1974 года в городе разнесся невнятный слух об аресте Александра Исаевича. О том, что случилась беда, я узнала очень быстро из одного полуконспиративного телефонного звонка и сразу отправилась в Козицкий переулок на квартиру жены Солженицына, Натальи Дмитриевны. Приблизительно около часу

назад в квартиру вошли 8 человек милиционеров и увели Александра Исаевича. Куда? И что с ним будет дальше? Тюрьма? Лагерь? Ссылка? Квартира постепенно наполнялась друзьями, тревога росла. Вскоре приехали Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич. Все мы собрались на большой просторной кухне, и я, сидя неподалеку от Сахарова, была свидетельницей или, точнее, невольной слушательницей телефонных звонков. (Андрей Дмитриевич, уходя из дому, имел обыкновение оставлять телефон того, к кому шел. На этот раз это был телефон Солженицыных.) Андрей Дмитриевич брал трубку. Спрашивали его. Я слышала вполуха.

– Доктор Сахаров, – говорили ему на ломаном русском или английском языке, – мы приглашаем вас прочесть доклад на…

Андрей Дмитриевич не дослушивал.

– У нас несчастье… Арестован Солженицын… Передайте миру, – громко говорил он и клал трубку.

А через несколько минут опять звонок. И снова – предложение Сахарову куда-то приехать и где-то выступить с научным докладом. И снова недослушивающий ответ:

– У нас беда… Арестован Солженицын… Известите мир.

Потом он присел к столу и написал краткий и гневный протест. Многие подписывались вослед ему, в том числе и я.

2

Солженицына не отправили в лагерь, а изгнали из страны. Сахарова из Москвы отправили в город Горький.

От тюрьмы и лагеря их обоих спасло нобелевское лауреатство.

Расправа с Сахаровым началась, когда в конце 1979 года советские войска безо всяких на то оснований и поводов вторглись в Афганистан. Тогда Сахаров поднялся во весь свой высокий рост и громогласно, на весь мир, объявил вторжение преступным.

22 января 1980 года машина, в которой Андрей Дмитриевич ехал на свою постоянную работу в ФИАН, была остановлена, Сахаров задержан и отвезен в прокуратуру. Оттуда ему позволили позвонить жене. Он сказал ей: «Тебе разрешено остаться в Москве или по собственному желанию ехать со мной. На выбор». Елена Георгиевна наскоро собрала необходимые вещи и присоединилась к мужу.

Владимир Николаевич Корнилов, услыхав черную весть по радио, позвонил мне и предложил поехать на Чкаловскую, проведать Руфь Григорьевну, мать Елены Георгиевны. (В свое

время сама она отсидела 20 лет в сталинских лагерях.)

Минут через двадцать мы были уже там. Руфь Григорьевна и невеста Алеши Семенова, Лиза Алексеева, жившая у них, только что вернулись с аэродрома. Пусто. Кроме нас, из друзей пока никого. Обе женщины еще не опомнились от совершившегося. В квартире после срочного отъезда хозяев не прибрано. Мы не понимали, о чем спрашивать, что говорить и чем утешить. Шепотом советовалась с нами Руфь Григорьевна: что делать с бумагами Андрея Дмитриевича? Ждала обыска. Не унести ли их нам? Но проект этот был единогласно отвергнут: если бы мы взяли бумаги, у нас отняли бы их тут же на улице. Дом окружен шпиками. Скоро обеих женщин, еще не опомнившихся, начали осаждать иностранные корреспонденты… А мы ушли подавленные и потрясенные.

Через несколько дней (а может быть, уже в тот же?) девять человек – из них помню Владимова, Войновича, Корнилова и себя (остальные имена позабыла, но помню: всех нас было девять) – написали протест против беззаконной высылки Сахарова, написали для Самиздата и западной прессы. Разумеется, это не привело ни к чему.

В Горьком Андрею Дмитриевичу и Елене Георгиевне предоставлена была на первом этаже четырехкомнатная квартира со всеми удобствами, даже с балконом. Но при этом два неудобства: отсутствие телефона и постоянное присутствие дежурного милиционера у самой двери. В сущности, жили они не под надзором, а попросту под домашним арестом. Выходить, впрочем, из благоустроенной тюрьмы разрешалось, но под неотступною слежкой.

Думаю, основным бедствием в сосланной жизни Андрея Дмитриевича была охота за его рукописями. Рукописи изымали из квартиры, устраивали обыски, а когда Андрей Дмитриевич, уходя из дому, стал брать их с собой в сумке, чтобы с ними не разлучаться, – тогда разбойничьими средствами все равно уворовывали. Отнимали прожитую жизнь.

Официально было объявлено: «Академик Сахаров сослан в город Горький, закрытый для иностранцев». Не добавлялось: закрытый для друзей и знакомых. Изредка разрешалось навещать Сахарова его родным и еще реже – физикам из ФИАНа. Для остальных – запрет… Помню, как попыталась съездить в Горький Мария Гавриловна Подъяпольская. На вокзале в Москве, узнав ее, ей попросту отказались продать билет.

Тут начался новый этап моего общения с Андреем Дмитриевичем. Из личного он перешел в письменный. С его стороны это были поздравительные телеграммы – Новый год,

день рождения, «поздравляем с французской премией «Свободы»», «получил такую-то, посланную вами, книгу, благодарю». Это были открытки, написанные рукою Елены Георгиевны и подписанные «Андрей – Люся», или «Люся – Андрей», и, наконец, довольно длинные письма Андрея Дмитриевича. Разумеется, я писала как можно чаще. Мы сознавали, что письма идут через Лубянку, и это наносило большой ущерб содержанию нашей переписки.

Расскажу сначала об одной телеграмме. Она вызвана была попыткой Сарры Эммануиловны Бабенышевой повидаться с Сахаровым в Горьком. Приехала туда, захватив с собой подарок: любимый Андреем Дмитриевичем сухой шоколадный торт. Встретивший ее у дверей дежурный незамедлительно переправил ее в милицию (благо, напротив) на допрос: зачем, почему, с какой целью она приехала. «Повидаться с друзьями». Ей купили обратный билет в Москву. Она уехала, взяв с участкового начальника обещание, что торт будет от имени приезжей доставлен адресату. Через несколько часов я получила телеграмму от Сахаровых: «Грустно едим торт без Сарры». Торт был передан по назначению, московского же адреса Сарры Эммануиловны они не знали, но хотели с благодарностью известить нас, что о ее приезде осведомлены. Нам тоже было важно узнать, выполнил ли начальник свое обещание.

Приведу несколько примеров из драгоценных писем Андрея Дмитриевича.

«…Если я чувствую себя свободным, то в частности потому, что стараюсь в своих действиях исходить из своей конкретной нравственной оценки и не считаю себя связанным ничем, кроме этого», – писал он в одном письме.

А в другом, гораздо позднее:

«…Больная спина и межреберная невралгия давно в прошлом, вообще мне в этом году относительно повезло по сравнению с тем, что было три года назад. Но если так будет повторяться каждые три года моего пребывания в Горьком, я долго не выдержу (это моя любимая шутка, и если я Вам ее уже писал, простите)…»

Эту «шутку» он писал впервые и это была единственная полученная мною от него жалоба.

Приведу еще один отрывок – из письма, посланного в отсутствие Елены Георгиевны:

«Отвечаю с некоторым стеснением на Ваши «бытовые» вопросы.

Я не болею, т. е. в основном здоров. Картошку, свеклу, капусту, морковь, яблоки, гранатовый сок, хлеб, конечно, я ношу себе сам – кто же еще – но не пудами, так что это не предмет для беспокойства; также сам ношу в прачечную крупные вещи

(вызвать на дом мы не имеем возможности) и стираю мелкие, подметаю и мою пол и т. п. – все это меня совсем не затрудняет. Я давно умею готовить такие блюда, как щи из свежей капусты, картошку, мясной суп, гречневую кашу, и, конечно, – ежедневную вареную свеклу, и еще кое-что…»

А вот другой отрывок, пожалуй, самый существенный:

«…Я сказал – будем надеяться, и сразу вспомнил разговор с одним замечательным литовцем ночью в Вильнюсе после суда над Сережей[8]. Он сказал (приблизительно) – хорошо жить, когда есть надежда. Но надо научиться жить и когда никакой надежды нет. Все же я думаю, что он не совсем прав – просто сильные люди переносят в трагической ситуации предмет своих надежд в иную, более идеальную (или наоборот) плоскость…»

3

И вот началось пятое действие драмы.

Сначала осенью 1981 года, они оба, Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна, объявили голодовку с требованием визы в Америку Лизе Алексеевой к ее жениху. Длилась она 17 дней и совершенно изнурила обоих. Своего они, однако, добились: Лиза получила визу и уехала.

Следующая голодовка началась в мае 1984 года. Андрей Дмитриевич потребовал, чтобы Люсю отпустили в США для свидания с родными и лечения. Совершалась она при обстоятельствах трагических: Елена Георгиевна – под следствием, а он насильно отвезен в больницу и подвергнут мучительному физически и унизительному морально насильственному кормлению.

И то же весною 1985 года – относительно него вторично. Он еще раз объявил голодовку и снова был насильно отправлен в больницу, снова не сдался и снова подвергся принудительному кормлению.

В одну из этих смертельно опасных голодовок, о которых мы, москвичи, могли только смутно догадываться, не имея вестей из Горького, случилось вот что. За время ссылки Андрея Дмитриевича возник у нас обычай посылать в Горький ко дню его рождения подарки – очень скромные, кто что придумал, кто что мог. К ежегодному 21 мая. Так поступили мы и в мае 1985 года. Обычной ответной телеграммы не последовало. Но примерно через неделю Лена Копелева, соседка и друг Сахаровых, внезапно получила по своему адресу фанерный ящик, в котором оказались аккуратно уложены все наши подарки. Мы головы себе ломали, что это может означать. На ящике стоял обратный адрес

отправителя: «г. Горький, проспект Гагарина, 214, кв. 3, Елена Боннэр». И наконец кого-то осенило: адресата, чей день рождения мы празднуем, нет дома. Его увезли. Куда? В тюрьму? Или снова в больницу, где его увечили, а не лечили? Оказалось, в больницу. У Елены Георгиевны не было другого способа известить нас о приключившейся новой беде.

С жестоко подорванным сердцем вышел из трех голодовок Андрей Дмитриевич. Вышел «на волю», то есть снова на проспект Гагарина, 214.

4

В 1985 году во главе страны стал Михаил Сергеевич Горбачев. Сахаров сразу послал ему срочное письмо с требованием освободить невинно заключенных, в частности, как можно скорее – умирающего в Чистопольской тюремной больнице Анатолия Марченко.

16 декабря 1986 года в квартире дома по проспекту Гагарина в течение двух часов поставили телефон. А еще через несколько часов туда позвонил Михаил Сергеевич и объявил Андрею Дмитриевичу и Елене Георгиевне разрешение вернуться в Москву. «Благодарю вас», – ответил Сахаров со свойственной ему учтивостью и сразу осведомился, дошло ли письмо и приняты ли меры к освобождению политических заключенных. Михаил Сергеевич ответил неопределенно.

23 декабря 1986 года Сахаровы вернулись в Москву. Несколько сотен человек восторженно встречали их на вокзале.

5

И вот Сахаров – депутат Верховного Совета. Сахаров – член Межрегиональной группы. В Верховном Совете его не желают слушать, свистом и топотом мешают ему говорить. Но сквозь свист и топот он заставляет выслушивать себя до конца.

После его возвращения в Москву встречались мы гораздо реже, чем прежде. Когда я приходила на улицу Чкалова навестить их и повидаться с Руфью Григорьевной, к которой я была очень привязана, меня встречали там так же приветливо, как и раньше. Но я чувствовала, что хозяева на пределе сил, и приходила редко.

14 декабря 1989 года Андрей Дмитриевич Сахаров, вернувшись с очередного заседания Верховного Совета и готовясь к завтрашнему – скоропостижно скончался.

Однако мне не хочется кончать свой рассказ на этой печальной и всем памятной дате.

Хочется вспомнить другое, для него более благополучное время. У Сахарова дача в Жуковке. Однажды летом 1975 года я приехала туда навестить его. Андрей Дмитриевич повел меня осматривать городок, в самом деле вполне музейный. С нами шел его трехлетний внук Мотя. Мы шли по дороге. Сахаров мне показывал: вот это дача Шостаковича. А вот дача его великого учителя Игоря Евгеньевича Тамма. А вот тут жили Ростропович и Вишневская. А вот тут (мы втроем вошли на опустелый участок), тут, в этом флигеле одно время жил Солженицын. Видите? Это наискосок от меня…

Мы снова вышли на дорогу. Шли мы не быстро, а быстрый Мотя то и дело убегал вперед. Убежит и вернется. Прикоснется на минуту к коленям Андрея Дмитриевича, задерет высоко голову, чтобы увидеть его лицо, и снова побежит впереди нас по дороге. И снова вернется. И снова убежит вперед, словно получив от прикосновения к коленям, к голосу новый заряд сил. Сил для жизни.

Вспоминая об этом счастливом дне, я думаю о том, что каждый из нас получал от соприкосновения с Андреем Дмитриевичем новый душевный – духовный! – заряд.

Заряд – для каждого особенный, но сильный. Быть самим собой. Поступать так, как тебе диктует совесть.

Сентябрь 1994 г.

Комментарии

Лидия Чуковская вела подробные дневники на протяжении всей своей жизни. Сохранились ее записи за 1938–1996 годы. Дневники легли в основу ее «Записок об Анне Ахматовой» (Т. 1–3. М.: Время, 2007). Они же послужили опорой для написания повестей и воспоминаний – таких как «Спуск под воду», или «Предсмертие».

Отрывки из дневника о Борисе Пастернаке Лидия Корнеевна сама подготовила к печати, и они были опубликованы в сборнике «Воспоминания о Борисе Пастернаке» (М.: Слово, 1993, с. 408–442).

Дневниковые записи «Памяти Тамары Григорьевны Габбе» также подготовлены к печати автором. Однако напечатаны они с небольшими сокращениями лишь посмертно (Знамя. 2001. № 5).

«Полгода в «Новом мире» – дневник о непродолжительной работе Лидии Чуковской в редакции «Нового мира» в 1946–1947 годах.

К. Симонов вспоминал об этом времени: «Через неделю или полторы после того, как я вместе с другими приступил к работе в Союзе (после Постановления от 14 августа «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» по указанию Сталина в Союзе писателей был создан пост генерального секретаря и на этот пост назначен А. Фадеев. Симонова сделали его заместителем. – *Е. Ч.),* меня назначили редактором «Нового мира»… Так уж вышло, что девятый номер, где были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова, был последним аккордом в работе прежней редколлегии, им нечто завершилось, а мы начинали как бы с чистого листа» (КС, с. 116).

Формируя свою новую редколлегию, К. Симонов пригласил Лидию Чуковскую заведовать отделом поэзии. Она начала работать в редакции с конца ноября 1946 года, когда новая редколлегия уже подготовила свой первый сдвоенный десятый-одиннадцатый номер, куда вошел, в частности, рассказ А. Платонова «Семья Иванова». О дальнейшей работе новой симоновской редакции и рассказано в записях Лидии Чуковской.

Четвертый отрывок из дневника касается «дела Бродского» и относится к более позднему времени – к 1964–1972 годам, вплоть до высылки И. Бродского из СССР. В нескольких случаях оставлены упоминания Лидии Чуковской об исключении Ю. Г. Оксмана из СП СССР, о деле Синявского-Даниэля. Все эти обстоятельства существенны для понимания того, на каком идеологическом фоне развертывалось дело Бродского.

Последний отрывок из Дневника – об А. И. Солженицыне – напечатан впервые в «Новом мире» (2008, № 9) накануне 90-летия Солженицына.

В «Отрывках из дневника» упоминаются многочисленные участники происходивших событий. Подробные сведения об этих лицах можно найти в книге Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой», в отделе «За сценой». Там же, в т. 3 «Записок» помещены все записи Лидии Чуковской об участии Анны Ахматовой в заступничестве за Бродского.

Все отрывки из дневника печатаются по рукописям, хранящимся у Е. Ц. Чуковской.

В отделе «Воспоминания» читатель найдет очерк «Предсмертие» – страницы о последних днях Марины Цветаевой в Чистополе, а также «Памяти Фриды. (О Фриде Вигдоровой)» и «Мощь одинокой тишины. (Об А. Д. Сахарове»). «Предсмертие» печаталось при жизни автора. «Памяти Фриды» впервые – «Звезда»,

1997, № 1, с. 102–144. «Мощь одинокой тишины» – альманах «Апрель». Вып. 10. М.: Рекламно-издательское агенство «Юго-Запад», 1998, с. 10–22.

Знаки купюр в дневнике опущены, а собственные имена, которые у автора часто сокращены или обозначены буквами, здесь развернуты полностью без квадратных скобок. Сохранена авторская манера написания названий журналов, книг, учреждений – с прописной буквы.

Условные сокращения

БТД – А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие, 1996.

ДС – ЛК – Давид Самойлов – Лидия Чуковская. Переписка. 1971–1990. М.: Новое литературное обозрение, 2004.

З-1, З-2, З–3 – Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. Т. 1 (1938–1941); Т. 2 (1952–1962); Т. 3 (1963–1966). М.: Время, 2007.

КС—Конст. Симонов. Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине. М.: Изд-во АПН, 1988.

ЛНМ-2 – подборка «Лирика» в «Новом мире» (1947, № 2). *Прочерк* – Лидия Чуковская. Прочерк. М.: Время, 2009. *Публицистика* – Александр Солженицын. Публицистика. В 3 т. Т. 1. Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1995. *Слово* – сб.: Слово пробивает себе дорогу. М.: Русский путь,

Соч. – 2 – Лидия Чуковская. Соч.: В 2 т. Т. 2. М: Гудьял-Пресс, 2000.

1 Речь идет об «Отрывках из поэмы» (см.: *Соч. – 2,* с. 315).

2 *Людмила Викторовна Дубровина* (ум. 1977), директор Детгиза (1941—48).

3 *Дмитрий Иванович Чевычелов* (1904–1970), цензор; его портрет сохранился на страницах «Прочерка»: «…Дмитрий Иванович Чевычелов – существо без возраста и национальности, уродец в тюбетейке, не лишенный, однако, профессиональных навыков: он был нашим политредактором, или, попросту говоря, прикрепленным к Ленинградскому Детгизу цензором. О Чевычелове и его профессии Маршак сочинил однажды веселую «Песенку утренних птиц»:

Чевычевы-Чевычелов! Чего в «Чиже» ты вычитал? Чего в «Еже» ты вычеркнул? Чевычевы-Чевычелов!

Чевычелов вычитывал, и вычеркивал, и проверял политическую грамотность редакторов с большим усердием.

Так, побудил он однажды Желдина объявить мне выговор в приказе с занесением в личное дело. В послесловии к одной из редактируемых мною книг говорилось: советские люди строят социализм. Книга – о Палате мер и весов – вообще была толково, дельно написана, а в казенное послесловие я не вникала. Между тем, в 1936 году, лично товарищ Сталин объявил, что социализм нами уже построен, и мы теперь строим уже не социализм, а коммунизм» *(Прочерк,* с. 117–118).

В книге А. В. Блюма «Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929–1953» (СПб., 2000) сказано о Чевычелове: «.сделал любопытную, хотя и не такую уж редкую в советских условиях карьеру, когда цензор, приставленный к какому-либо издательству или журналу, становится затем директором или главным редактором им же разгромленного издания: из цензора-доносчика он превратился спустя три года после учиненного разгрома в руководителя ленинградского Детгиза. Пост директора он занимал бессменно в течение почти двадцати лет – с 1941-го вплоть до 1960 года» (с. 219–220). Опубликован донос Чевычелова на Т. Габбе и Л. Чуковскую (там же, с. 217–218).

4 *Григорий Иосифович Мишкевич* – в середине 30-х годов главный редактор ленинградского отделения Детиздата. Подробнее о нем и его неприглядной роли в разгроме издательства см. коммент. 16 к следующему отрывку «Полгода в «Новом мире»», а также *3-1*, с. 321–323.

5 *Прейсы* – Лия Яковлевна *Прейс* (псевд.: Елена Ильина, 1901–1964), писательница, сестра С. Я. Маршака и ее муж Илья

Исаакович *Прейс* (ум. 1958), философ.

6*Евгений Самойлович Рысс* (1908–1973), соученик Т. Г. Габбе и Л. К. Чуковской по Институту истории искусств.

7 *М. Булатов* – детский писатель, в его обработке печатались сказки разных народов.

8 *Иосиф* – муж Тамары Григорьевны. Л. К. пишет о нем: «Иосиф Израилевич *Гинзбург* (1901–1945), инженер, арестован за то, что в присутствии сослуживцев возмущался пактом СССР с фашистской Германией. Это было до нападения Гитлера на Советский Союз. Но в судьбе человека, арестованного за антифашизм, нападение фашистов на СССР не изменило ничего. Он остался в лагере и погиб под Карагандой, работая во время наводнения на плотине» *(3-1,* с. 370).

9 Подробнее об этом собрании в ленинградском Детиздате в 1937 году, где И. Гинзбург пытался защитить уже арестованных Т. Г. Габбе и А. И. Любарскую, см.: *Прочерк,* с. 250–252.

10 Т. Г. Габбе, Л. К. Чуковская, З. М. Задунайская и А. И. Любарская под руководством К. И. Чуковского и С. Я. Маршака заключили договор с Учпедгизом в лице его директора – Н. А. Сундукова – на составление «Хрестоматии» по литературе. Но книга не была сдана в издательство в срок. С договором тоже были сложности. Не все, кто работал, были указаны в договоре, с З. Задунайской издательство пыталось взыскать аванс. В конце концов книга не состоялась.

11 *Георгий Петрович Блок* (1888–1962), литературовед, переводчик; *Ильин* (наст. имя и фам. Илья Яковлевич Маршак, 1895–1953), детский писатель, младший брат С. Я. Маршака. Оба они участвовали в работе над «Хрестоматией» для Учпедгиза.

12 *Петр Иванович Чагин* (1898–1967), директор Гослитиздата (1939—46); *Александр Николаевич Тихонов (Серебров)* (1880–1956), издательский деятель.

13 *…ни минуты нельзя отрывать от Миклухи…* – Л. К. работала над очерком о Миклухе-Маклае и редактировала его дневник для «Молодой гвардии». Брошюра «Лидия Чуковская. Н. Н. Миклухо-Маклай» вышла в серии «Русские путешественники» в Государственном издательстве географической литературы (М., 1948, 1950, 1952, 1954). О книге в «Молодой гвардии» см. коммент. 19.

14 *Александр Сергеевич Мясников* (1913–1982), в 1941—47 редактор и главный редактор Гослитиздата; в 1949—53 – член редколлегии и заведующий отделом литературы и искусства журнала «Коммунист». Автор статей и брошюр, посвященных вопросам соцреализма, партийности и народности.

15 *Ильины* – М. Ильин (о нем см. коммент. 11) и его жена Е.

Сегал (наст. имя и фамилия: Елена Александровна Маршак, 1905–1980), детская писательница.

16 *Вольф Мессинг* (1899–1974) – знаменитый гипнотизер.

17 *Григорий Карпович Котошихин* (ок. 1630–1667), подьячий Посольского приказа. В 1664 году бежал в Речь Посполиту, в 1666-м – в Швецию. По заказу шведского правительства составил сочинение о России. Казнен за убийство хозяина дома, в котором жил.

18 Проза Лидии *Гинзбург* – «Записки блокадного человека», «Человек за письменным столом» – тогда еще не была известна и стала появляться в печати лишь начиная с 80-х годов.

19 *Иван Владимирович Сергеев* (ум. 1964), издательский редактор «Молодой гвардии», для которой Л. К. подготовила книгу: *Н. Н. Миклухо-Маклай.* Путешествия / Статьи, редакция текста и примеч. Лидии Чуковской. М., 1947.

20 *Борис Александрович Шатилов* (1896–1955), писатель.

21 *Сусанна* – Сусанна Михайловна *Георгиевская* (1916–1974), писательница. Одну из ее книг редактировала Т. Г. Габбе.

22 *Ваня* – Иван Игнатьевич *Халтурин* (1902–1969), редактор детских журналов и составитель книг для детей. Давний друг Л. К. и Т. Г. еще с ленинградских времен. *Вера Васильевна Смирнова* (1898–1977), критик, жена И. И. Халтурина. Они жили на даче по соседству с Тамарой Григорьевной.

23 *Исай Аркадьевич Рахтанов* (1907–1979), писатель.

24 *Фридина Саша* – маленькая дочь Фриды Вигдоровой.

25 *София Михайловна* – жена С. Я. Маршака.

26 *Любовь Эммануиловна* – Любарская, врач, тетя Александры Иосифовны Любарской.

27 *Иосиф Абрамович Кассирский* (1898–1971), терапевт, академик АМН.

28 *Юрий Николаевич* – Петров, художник, сотрудник ленинградского Детиздата.

29 Речь идет о переделкинской детской библиотеке, построенной К. Чуковским рядом со своей дачей.

30 *Николай Леонидович Степанов* (1902–1972), литературовед.

31 *Константин Федотович Пискунов* (1905–1981), директор московского издательства «Детская литература» (1948—74).

32 *Александр Терентьевич Кононов* (1895–1957), писатель, автор «Рассказов о Ленине».

33 Речь идет о книге Лидии Чуковской «В лаборатории редактора» (М., 1960). Книгу открывает посвящение: «Замечательному редактору, редактору-художнику Тамаре Григорьевне Габбе».

Полгода в «Новом мире»

1 *Ян Сашин* – один из сотрудников журнала, автор многочисленных пародий, постоянно печатавшихся в «Новом мире», в «Литературной газете», в «Крокодиле».

2 *Туся* – Тамара Григорьевна Габбе. О ней см. «Памяти Тамары Григорьевны Габбе» в настоящем томе.

3 *Петр Андреевич Семынин* – поэт и переводчик.

4 *Валентина Раковская* – сотрудница журнала, в те годы – постоянный автор критико-библиографического отдела.

5 *…спутала Николаеву с Некрасовой… Жарова с Уткиньм.* – Речь идет о прозаике Галине Николаевой и поэте Ксении Некрасовой, о поэтах Александре Жарове и Иосифе Уткине.

6 *Павел Николаевич Шубин* – один из тех поэтов, чьи стихи вошли в подборку «Лирика».

7 *Сергей Александрович Борзенко* – автор повестей и рассказов об Отечественной войне. В «Новом мире» в 1947 году Борзенко не напечатан.

8 *С. Я.* – Самуил Яковлевич Маршак. *«Веселые нищие»* — поэма-кантата Роберта Бёрнса.

9 *Нивинская… стала читать поэму Ковынева.* – Имеются в виду Ольга Всеволодовна Ивинская, сотрудница отдела поэзии «Нового мира», и поэт Борис Константинович Ковынев. Ему принадлежат (совместно с Д. Алтаузеном и А. Ясным) несколько повестей в стихах. О какой поэме говорится здесь и далее, установить не удалось.

10 *Глеб Валентинович Пагирев* – поэт; стихи его в «Новом мире» напечатаны не были.

11 Переведенная Н. Заболоцким поэма венгерского поэта Антала Гидаша «Стонет Дунай» напечатана в № 3 «Нового мира» за 1947 год. Открывает поэму прозаическое предисловие. За предисловием следует стихотворный эпиграф, обращенный Анталом Гидашем к Заболоцкому, где есть строки: «На виолончели твоей подхватил ты напев мой печальный / И в русские звуки облек и, рыдая, над миром пронес».

12 *Я поняла: это Лелька.* – Речь идет о кинорежиссере Льве Оскаровиче Арнштаме. Л. Чуковская училась с ним в Тенишевском училище и поэтому со школьных лет называла его Лелька. Именно Лев Оскарович, который дружил с К. Симоновым, устроил Лидию Корнеевну в редакцию «Нового мира».

13 Переводы Я. Сашина из болгарских поэтов см.: Новый мир. 1947. № 4, с. 120.

14 *Валентина Васильевна* – Серова, жена К. М. Симонова,

актриса.

15 Речь идет о поэме Заболоцкого «Творцы дорог». «Я работала в отделе поэзии журнала «Новый мир», – вспоминала Лидия Чуковская спустя много лет, – когда Заболоцкий, недавно вернувшийся из лагеря, предложил редакции поэму «Творцы дорог». Благодаря поддержке К. Симонова (главный редактор) и противодействию Кривицкого (комиссар при Симонове) поэму удалось напечатать (Новый мир, 1947, № 1). Это великолепные стихи о Севере, о героях, прокладывающих дорогу в Арктике, всё очень величественно – а о том, что герои – заключенные, что изображен рабский труд, – ни слова… Замученным русским крестьянам, умирающим на Севере лагерникам, «двум несчастным русским старикам» Заболоцкий посвятил другое стихотворение: «Где-то в поле возле Магадана.», но уже значительно позднее» *(З-2,* с. 729).

16 *Кривицкий, до ужаса похожий на Мишкевича.* – Спустя много лет, в своей книге об Ахматовой, Чуковская дает им обоим развернутые характеристики:

«Александр Юльевич Кривицкий – журналист; основная профессия – руководящий член редколлегий газет и журналов. Во время войны А. Кривицкий – специальный корреспондент и член секретариата газеты «Красная звезда»; после войны – два раза (с 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 год) – заместитель главного редактора (К. Симонова) в журнале «Новый мир»…

Известность как журналисту принесли Кривицкому, главным образом, две статьи: «Завещание двадцати восьми павших героев» и «О двадцати восьми павших героях» – статьи, напечатанные в газете «Красная звезда» 28 ноября 41 года и 22 января 42-го. В них рассказано о бое под Москвой, происходившем 16 ноября 41 года у разъезда Дубосеково, где двадцать восемь советских воинов, жертвуя жизнью, задержали атаку на Москву пятидесяти немецких танков. Автор статей назвал героев поименно и привел вдохновившие их на подвиг слова политрука: «…отступать некуда, позади Москва» («Ребята! не Москва ль за нами?»). Пресса подхватила сенсацию, и двадцать восемь панфиловцев были канонизированы: в Дубосекове воздвигли им памятник, история их подвига вошла в тогдашние школьные учебники. А журналисту Кривицкому, первому о них написавшему, принесла почетную возможность заседать в редакциях журналов и газет в качестве одного из руководителей.

В 1966 году В. Кардин – критик, публицист, автор статей и книг о советских писателях; историк Великой Отечественной войны (и сам участник ее); в шестидесятые годы – специалист по военной мемуаристике (а впоследствии, в 70—80-е – и сам автор

документальных повестей о войне) – подверг критике некоторые исторические факты, считавшиеся дотоле незыблемыми. Это был залп с крейсера «Аврора», произведенный накануне штурма Зимнего, победоносный бой красноармейцев с немцами под

Псковом 23 февраля 1918 года и, наконец, обстоятельства боя под Москвой в Дубосекове, когда немцы одним рывком намеревались захватить Москву в 41-м. Ни в малой степени не отрицая героизм наших бойцов в битве под Дубосековым, Кардин однако уличал Кривицкого в сочинительстве. Он утверждал, что погибли там не двадцать восемь человек, а гораздо более; что некоторые из двадцати восьми, которых Кривицкий объявил погибшими, – в действительности живы, а если все двадцать восемь пали, то от кого же, например, могли бы стать известны Кривицкому вдохновляющие слова политрука?.. Указал он и на другие несообразности. На статью Кардина «Легенды и факты» Кривицкий ответил статьей «Факты и легенды», в которой, вместо доводов, прибег к привычному жанру политического доносительства: Кардин «бросает тень на одну из военных патриотических святынь нашего народа»; «рукою Кардина брошен ком грязи в сторону подвига двадцати восьми героев» и т. д. Последовали отклики военных, возмутившихся антипатриотической позицией Кардина, а затем и оргвыводы: в марте 1967 года секретариат правления Союза писателей осудил Кардина, появились грозные заметки в газетах, после чего он на долгие годы был лишен возможности печататься» (3–2, с. 797).

Григорий Иосифович Мишкевич – в 30-е годы главный редактор ленинградского Детиздата, где с 1928 по 1937 год работала Лидия Чуковская. Ленинградская редакция, руководимая С. Я. Маршаком, была разгромлена в 1937 году, многие авторы и редакторы были арестованы. Несколько человек расстреляны. Л. Чуковская так пишет об участии Мишкевича в этом разгроме: «По заданию ли НКВД, обкома партии или по собственной инициативе Г. И. Мишкевич, доказывая «вредительство группы Маршака», измышлял политические обвинения против М. П. Бронштейна, С. К. Безбородова, А. И. Любарской, Т. Г. Габбе, фальсифицировал, по свидетельству Самуила Яковлевича, сданные ими корректуры и т. д.» *(3–1,* с. 321).

17 Стихотворение А. Яшина «Что-то есть в тебе очень хорошее.» было включено в следующий номер «Нового мира», в подборку «Лирика».

18 *Вождь и господин* – это сочетание слов могло вызвать политические обвинения. Вождем называли тогда только Сталина. Строфа была переделана так:

Нет, не напрасно трудится народ,
Вооруженный лампой Аладина!
Настанет час – веществ круговорот
Признает в нем творца и властелина.

Впоследствии, публикуя «Творцы дорог» в сборнике 1957 года, Заболоцкий в числе многих строф снял и эту.

19 *Заболоцкий – ленинградский, и из-за его плеча: Леня Савельев, юность.* – Писатель Л. Савельев, так же как и Заболоцкий, один из авторов ленинградского Госиздата. Они были связаны работой и дружбой с редакцией Маршака, в которой с конца двадцатых и по середину тридцатых работала Лидия Корнеевна. Л. Савельев погиб в 1941 году на фронте.

20 «Виолы» были изъяты: вместо них появились «сонные гитары»: «Колокола и сонные гитары». Все эти требования были вызваны объявленной партией борьбой с архаизмами.

21 *Но разве вы забыли, что было с «Торжеством Земледелия»?* – «Поэма… вызвала столь резкую критику со стороны партии, – сообщает В. Казак, – что номер журнала «Звезда» (1933. № 2–3), в котором она появилась в полной редакции, был изъят из обращения и после изменения стихов набран заново» (Лексикон русской литературы XX века. М., 1996, с. 145).

Политические обвинения, выдвинутые против Н. А. Заболоцкого в статьях Е. Усиевич, В. Ермилова и др.: «злобная карикатура на социализм», «пасквиль на коллективизацию сельского хозяйства» и т. п., – через несколько лет были четко сформулированы Лесючевским в написанной им по заказу НКВД рецензии-доносе: «Только заклятый враг социализма, бешено ненавидящий советскую действительность, советский народ, мог написать этот клеветнический, контрреволюционный, гнусный пасквиль». Эти обвинения и были предъявлены Заболоцкому на следствии и послужили основанием для приговора. Подробнее см.: *Никита Заболоцкий.* Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., 1998, с. 211–217, 552–558.

22 Поэма Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом», напечатанная в «Новом мире» (1947. № 1), действительно была отмечена Сталинской премией (1948).

23 Цитируется стихотворение Ф. Тютчева.

24 В 1947 году в «Новом мире» № 9 напечатаны переводы из М. Турсунзаде поэтессы и переводчицы Аделины Адалис.

25 *Борис Лейтин* – поэт и переводчик. *Эзра Фининберг* — еврейский поэт, прозаик, драматург. В «Новом мире» переводы

его стихов не появились.

26 Речь идет о поэте Якове Львовиче Белинском и литературоведе Соломоне Абрамовиче Рейсере, давнем знакомом Лидии Корнеевны еще с ленинградских времен. Стихотворение Я. Белинского «Баден» вошло в подборку «Лирика» *(ЛНМ-2,* с. 4).

27 Имеется в виду Зинаида Константиновна *Шишова,* поэт и прозаик.

28 *Кажется, интересен был Светлов – про ангелов.* – Речь идет о стихотворении Михаила Светлова «Возвращение». Там есть такая строфа:

Мы, признаться, хитрые немного —
Умудряемся в последний час,
Абсолютно отрицая Бога,
Ангелов оставить про запас…

Вскоре эти стихи были напечатаны в «Новом мире» *(ЛНМ-2,* с. 23).

29 *Ему понравился приложенный к письму Зыбковец.* – Речь идет о стихах уральского поэта Владимира Зыбковца. В архиве Л. К. Чуковской сохранилось его письмо, присланное из села Ныроб Молотовской (т. е. Пермской) области. В «Новом мире» стихи напечатаны не были.

30 *…всюду поспею, и к Герцену моему.* – Начиная с 1944 года Л. Чуковская по договору с Детгизом готовила издание «Былого и дум» Герцена. Сперва она должна была написать предисловие, потом ей поручили также подготовить сокращенный текст и сделать подстрочные примечания и комментарии. Л. К. работала с увлечением. В 1945 году, в разгар этой работы, в ее дневниках находим такие записи: «Читаю Герцена. Это как купаться в океане». «Работа над Герценом… чрезвычайно нужная. Я думаю, для живой части молодого поколения нету более насущно необходимой книги, чем «Былое и думы». Это – лучший учебник по истории русской культуры и наиболее педагогическая книга изо всех существующих». «Поэтическое понимание политики роднит Герцена с Блоком. Для него это тоже – не логика, не умозаключение, а сердцезаключение. Вот почему он сильнее и прозорливее всех политиков».

Однако издание это осуществлено не было, так как издательство выдвинуло требования к комментариям, которые не были приняты автором.

31 *В двенадцатом номере плохие стихи Долматовского…* – Речь идет о стихотворении «Встреча», напечатанном с подзаголовком: «Отрывок из книги «Одна судьба»» (Новый мир. 1946. № 12, с.

93).

32 *…ужасно дрянные стихи Щипачева и Жарова.* – Речь идет о стихотворениях «Застольное слово» Степана Щипачева и «Ну хотя б намеком осторожным…» Александра Жарова *(ЛНМ-2,* с. 33 и 9).

33 *И вот, оказывается, он написал ответ Трегубу.* – Упомянута статья Семена Трегуба в «Литературной газете» 26 октября 1946 года: ««Новые стихи» Маргариты Алигер» – о цикле стихов, напечатанных в «Знамени» (1946. № 8–9). Со ссылками на доклад Жданова и недавнее постановление «О журналах…» Алигер была уличена в «порочности», в искажении «великого пути коммунизма», в «идейном убожестве» и в «упадочничестве». Ответ Симонова – «Открытое письмо Семену Трегубу» – помещен в первом номере «Нового мира» за 1947 год.

34 *…устраивать дела Бориса Леонидовича у Храпченко, Александрова и пр.* – Речь идет о партийных деятелях – М. Б. Храпченко, в то время председателе Комитета по делам искусств, и Г. Ф. Александрове, начальнике Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

35 *Борис Николаевич Агапов* – очеркист. К. Симонов пишет о нем: «…умница и кладезь знаний Борис Николаевич Агапов, в которого я влюбился во время нашей поездки в Японию и с которым мы впоследствии, после того, как он пришел в «Новый мир», двенадцать лет бок о бок работали и в «Новом мире», и в «Литературной газете», и вновь в «Новом мире»» (КС, с. 116).

36 Упомянуты поэт Лев Николаевич *Кондырев* и поэтесса и переводчица Раиса Моисеевна *Гинцбург.*

37 *Анисим Максимович Кронгауз* – поэт и переводчик. Его стихотворение «У Днепра» напечатано в подборке *(ЛНМ-2,* с. 13).

38 *Стихи хорошие есть – Смеляков, Недогонов…* – В подборку «Лирика» вошли «Песня» Ярослава Смелякова и «Осень» Алексея Недогонова (там же, с. 25 и 18).

39 *«У меня еще один денек…»* – строка из стихотворения М. Алигер «Синие, опасные глаза…», обращенного к дочери Маше. Эти стихи и были опубликованы в подборке *(ЛНМ-2,* с. 3).

40 *Сегодня в «Лит. Газете» Ермилов ругает Платонова…* – Речь идет о рассказе А. Платонова «Семья Иванова» (впоследствии – «Возвращение»), опубликованном в «Новом мире» (1946. № 10–11). Статья Ермилова называется «Клеветнический рассказ». «А. Платонов давно известен читателю… как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности, – утверждает Ермилов. – Мы не забыли его памфлета против колхозного строя под названием «Впрок»… Советский народ дышит чистым воздухом героического упорного труда во имя великой цели – коммунизма… Особенно печально,

что чуждый и враждебный советскому народу рассказ А. Платонова появился в том номере журнала «Новый мир», который впервые подписан новым составом редколлегии во главе с таким талантливым советским литератором, как К. Симонов» (Литературная газета, 4 января 1947).

41 *Александр Ойслендер* – поэт и переводчик, его стихотворение «Лавина» напечатано в подборке «Лирика» *(ЛНМ-2,* с. 20).

Рощин – по-видимому, Николай Рощин, автор очерка «Черный лагерь, письмо из Франции» (Новый мир. 1947. № 4).

42 *…очень хорошие, пьяные Любляны – и похуже.* – В подборке напечатано одно стихотворение Николая Тихонова: то, которое обращено к столице Словении, городу Любляна *(ЛНМ-2,* с. 27).

43 Речь идет о поэтах Михаиле *Львове* и Владимире *Замятине.*

44 *Ольга Алексеевна Мочалова* – автор многих стихотворных сборников, поэм, стихотворных переводов, статей о литературе, очерков и рецензий. Об ее стихах высоко отзывались Вячеслав Иванов и Марина Цветаева. Однако печаталась она очень мало. Подробный обзор ее архива помещен в журнале «Отечественные архивы» (1998. № 5; см. также: Вопросы литературы. 1999. № 7–8, с. 380–381). В «Новом мире» (1947. № 1, с. 153) были опубликованы лишь переводы О. Мочаловой с латышского.

45 *Александр Михайлович Борщаговский* – критик, театровед, в ту пору член редколлегии «Нового мира». «Самый молодой член редколлегии, ровесник тридцатилетнего редактора… переехавший для этого [из Киева] в Москву… на плечи которого пала обязанность организовать в журнале постоянный отдел братских литератур» (КС, с. 116).

46 *Неразлучные пираты – Сашин и Раскин. Пираты-паяцы.* – И Ян Сашин, и Александр Раскин, писатели-сатирики, активно сотрудничали в ту пору в отделе журнала «Пародии и шаржи».

47 *Щипачев… С ним Златова.* – С Еленой Викторовной Златовой, автором критических статей о советской литературе, Лидия Корнеевна была знакома издавна, еще по Ленинграду. Е. В. Златова – жена Щипачева.

48 *Зинаида Николаевна Пиддубная* – секретарь «Нового мира».

49 *…добавитьКумача…* – то есть добавить стихи поэта-песенника Василия Ивановича Лебедева-Кумача.

50 Вероятно, Долматовский говорит о стихотворении поэта Федора Фоломина «Не грусти о конце реки.», напечатанном в подборке *(ЛНМ-2,* с. 32).

51 «Лилеи» удалось отстоять (см.: Новый мир. № 1, с. 101).

52 *«Скворец»* – стихотворение Заболоцкого «Уступи мне,

скворец, уголок.».

53 *Александр Михайлович Дроздов* – автор многочисленных повестей и рассказов, в ту пору заведующий отделом прозы в «Новом мире».

54 Среди перечисленных поэтов Виктор Аркадьевич *Урин* и Александр Александрович *Коваленков.* – Их стихи также вошли в подборку «Лирика» *(ЛНМ-2,* с. 30 и с. 12).

55 *«Гостеприимство»* – стихотворение Ксении Некрасовой, начинающееся строками:

> Да присохнет язык к гортани
> У отрицающих восточное гостеприимство.

Ни «Гостеприимство», ни «Кольцо» в «Новом мире» напечатаны не были.

В подборке «Лирика» опубликовано другое стихотворение – «Мальчик». Подробнее о нем см. коммент. 71. Все три стихотворения см. в кн.: *Ксения Некрасова.* Самые мои стихи. М., 1997, с. 30, 33 и 48.

56 *…работала с Капусто.* – Речь идет о писательнице Юдифи Борисовне Капусто, чья первая повесть «Наташа» была опубликована в 1947 году в седьмой книжке «Нового мира». Лидия Чуковская редактировала повесть по договору с редакцией журнала.

57 *…все это уже написано у Пушкина.* – Можно предположить, что Пастернак имеет в виду взгляды Пушкина, выраженные в стихах «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной…») и «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права…»).

58 *…препоганая статья Фадеева, где опять он скучно лягает Пастернака (и Платонова).* – 2 февраля 1947 года «Правда» поместила статью А. Фадеева «О литературно-художественных журналах». Фадеев упрекает журнал «Знамя», на страницах которого «печатались, как известно, стихи Ахматовой» и «расточались реверансы аполитичной и индивидуалистической позиции Б. Пастернака». «Журналы «Знамя» и «Новый мир» не свободны от серьезных идейных срывов… серьезным провалом явилось напечатание в № 10–11 журнала «Новый мир» лживого и грязноватого рассказца А. Платонова «Семья Иванова»».

59 *Шуня* – пасынок Фадеева.

60 Речь идет о стихотворении Пастернака «Рождественская звезда».

61 Это письмо сохранилось в архиве Л. К. Чуковской: «Прошу Вас, – пишет Симонов 5 февраля 1947 года, – позвонить Музе

Николаевне, чтобы она прислала Вам книгу доктора Бару[т]че-ва – о Майданеке. Пусть Муза Николаевна также расскажет Вам обстоятельства, связанные с этой рукописью. Не торопясь прочтите ее.». Далее Симонов сообщает адрес и называет автора. Это – Барутчев Сурен Константинович. Упоминаемая в письме Муза Николаевна – М. Н. Гордон, секретарь Симонова.

62 *Ховкин* – печатался под псевдонимом Юрий Яковлев, детский писатель; о нем см. также в очерке литературных нравов «Процесс исключения» *(Соч. – 2,* с. 54 и 63).

63 *«И очень много конских морд».* – В своей книге «Высокое искусство» в главе «Неточная точность» Чуковский приводит строки из пушкинской «Полтавы» в обратном переводе с немецкого:

> Был Кочубей богат и горд.
> Его поля обширны были,
> И очень много конских морд,
> Мехов, сатина первый сорт —
> Его потребностям служили…

64 …*Ермилов… Это ведь только псевдоним. Ведь и «Правда» повторила его версию, и «Культура и Жизнь».* – Имеется в виду статья Фадеева в «Правде» (см. коммент. 58), статьи в газете «Культура и жизнь» от 11 февраля 1947 года: передовая, где снова поминается «клеветнический рассказ А. Платонова», и статья И. Сергиевского, который повторяет вслед за Фадеевым, что «некоторые журналы допустили серьезнейшие ошибки и срывы». Среди них – «порочный и пошлый рассказ А. Платонова в «Новом мире»».

В своих воспоминаниях Симонов подробно пишет об истории публикации в «Новом мире» этого рассказа А. Платонова (КС, с. 117–120).

65 Статья Лидии Чуковской о Л. Пантелееве «Воспитание мужества», написанная в 1947 году, не была напечатана.

66 Речь идет о стихах Сергея Васильева и Анатолия Софронова. По распоряжению Симонова Сергей Васильев был напечатан *(ЛНМ-2,* с. 5). Стихи Софронова в подборке «Лирика» не появились.

67 *Федор Александрович Петровский* – филолог-античник и поэт-переводчик. В подборке опубликовано его стихотворение «Нет, – правда не та, что плетется вослед.» *(ЛНМ-2,* с. 21).

68 О М. Н. Гордон см. коммент. 61.

69 Упомянуты поэтесса-переводчица Наталия *Вержейская* и Василий *Захарченко,* поэт и журналист.

70 *Григорий Иванович Владыкин* – директор Гослитиздата. *Петр Иванович Чагин* – издательский деятель. Издательства находились в ведении Управления пропаганды и агитации, которое возглавлял в те годы Георгий Федорович Александров.

71 *О, как это непереносимо.* – Эта же самая встреча с Ксенией Некрасовой в «Новом мире» описана в воспоминаниях Маргариты Алигер. Начинаются воспоминания издалека – с того, что кто-то из знакомых Алигер называет Некрасову юродивой. Потом рассказано, как они вместе ехали в загородной электричке. Далее мы читаем:

«Журнал «Новый мир» – его тогда редактировал Константин Симонов – надумал открыть следующий, 1947 год, большой подборкой лирических стихов московских поэтов. Редакционное помещение… представляло собой одну огромную комнату, где на разных столах обитали разные отделы журнала… Меня вызвали посмотреть верстку моих стихов, и… я читала верстку, примостившись у края стола тогдашней заведующей отделом поэзии, еще не старой, но уже седой женщины, знающей и любящей свое дело и его предмет – русскую поэзию. Может быть, и женщина эта не забыла то, о чем я хочу рассказать сейчас всем.

Верстку я вычитала быстро, и мы с ней болтали о том о сем, о будущей подборке, о том, что в ней появится интересного.

– Вот, взгляните-ка это, – сказала моя собеседница, протягивая мне еще одну корректуру. И я прочитала набранное свежей краской стихотворение Ксении Некрасовой «Мальчик».

– Чудесно! – воскликнула я, дочитав. – Что за стихи! Что за чудо-стихи! – громко и безоглядно радовалась я. – Даже непонятно, что это, откуда? Чудо, да и только!

– Хотите сказать об этом авторе? – спросила довольная моей реакцией заведующая отделом поэзии.

– Ну, скажу непременно как-нибудь при случае, – почти отмахнулась я. – Но вообще-то ведь это совсем разное, стихи и их автор. Я с ней общаться не умею. Не получается как-то… Все-таки она… – И, не задумавшись, с размаху, я произнесла то самое слово, которое в просторечье звучит достаточно грубо и вульгарно, ибо люди охотно пользуются им всуе и давно уже затерли и затрепали ту возвышенность, то изумление души, тот священный трепет, который вложил в него однажды и навеки великий русский писатель. И вот оно слетело с моих губ, это жестокое слово, еще и упрощенное женским окончанием, прозвучав в переполненной комнате достаточно громко и слышно, и что-то вдруг дрогнуло и изменилось в лице моей собеседницы, и тотчас же я словно всем своим существом ощутила, что в комнате что-то случилось, что-то ужасное, что-то

непоправимое. Испуганно оглянувшись, я увидела, как много вокруг народу, и поняла, что все эти люди слышали ужасное слово и что этого уже не поправишь, и в тот же миг я увидела, что через всю комнату, сквозь расступившуюся толпу, прямо на меня идет Ксения. И, встретившись с моим взглядом, она тотчас улыбнулась той самой большой, доброй улыбкой, которой всегда улыбалась мне в подмосковной электричке.

Сказать, что я растерялась, это значит ничего не сказать. Сказать, что я пришла в ужас, это тоже очень мало и бледно. Я не помню в жизни своей какой-либо хоть отдаленно похожей минуты. У меня словно железом перехватило горло и из глаз брызнули слезы, затуманившие весь окружающий мир. Я была в глубоком, в неизмеримом горе, в истинном отчаянии. Если бы я упала на колени, может быть, мне бы стало чуточку легче, но это сразу не пришло в голову.

– Ксения… Ксения… Ксения… Простите, простите меня! – лепетала я, задыхаясь от стыда, от муки, от страдания. Мне казалось, что кругом настала тишина, может быть, это только мне так казалось, и что все взгляды устремлены на нас, может быть, и этого не было на самом деле, – но не было меры моему мучению, и широко, ясно, открыто улыбалась Ксения.

Я схватила ее за руку, я готова была прижать к губам эту плотную, широкую, чистую ладонь, и она не отнимала ее, продолжая улыбаться. И вдруг сказала громко, просто и отчетливо: – Спасибо вам. Спасибо, что вы так хорошо говорили о моих стихах.

И была в этих словах такая чистота и отрешенность, такое покойное и непобедимое человеческое достоинство, такая высокая сила духа, которые я никогда с тех пор не могу ни забыть, ни утратить. Слава богу, что мне довелось в судьбе моей, пусть даже столь постыдной ценой, услышать звучание этих нескольких, слов, соприкоснуться с их глубиной и светом. На этом уровне для меня на всю жизнь осталась Ксения Некрасова» *(Маргарита Алигер.* Жгучее воспоминание // Ясная поляна, 1997, № 1, с. 39–40).

72 …*последние стихи: На день рождения.* – Речь идет о стихотворении «День рождения», напечатанном с посвящением «В. В.» (то есть Валентине Васильевне Серовой) в подборке «Лирика» *(ЛНМ-2,* с. 24).

73 *Николай Александрович Михайлов* – партийный и государственный деятель, член Оргбюро ЦК ВКП(б), первый секретарь ЦК ВЛКСМ.

74 …*бергсонианство, ничего, кроме «Девятьсот пятого года» и Шмидта.* – Доклад Фадеева на Всесоюзном совещании молодых

писателей, организованном ЦК ВЛКСМ и Союзом писателей, в отрывках и в пересказе опубликован тогда же в центральной прессе. «Лучшие произведения Бориса Пастернака, – говорил докладчик, – «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», в которых ему, как художнику, удалось выйти из личного мирка к общественной жизни… Но к сожалению, Пастернак не пошел по этому пути. Он целиком и полностью остался в плену идей аполитичности искусства, замкнулся в индивидуализме, в кругу формальных исканий» (Литературная газета, 8 марта 1947).

Бергсонианство – философское учение Анри Бергсона, французского философа и писателя, лауреата Нобелевской премии (1927). Слово это употреблялось в советской критике только в осуждение, как бранный термин.

75 Речь идет о стихотворении Пастернака «Урал впервые».

76 «Окраина» Семынина была напечатана в «Новом мире» (1947. № 3, с. 112).

77 *Ивинская приносит газету, где ругают Пастернака…* – По-видимому, имеется в виду доклад Фадеева на Всесоюзном совещании молодых писателей, напечатанный в отрывках сначала 4 марта в «Комсомольской правде», а затем 8 марта 1947 года в «Литературной газете» (см. коммент. 74).

78 *Я ставлю еще один роковой вопрос: о Бирман.* – Речь идет о воспоминаниях актрисы и педагога Серафимы Германовны Бирман, которые Лидия Корнеевна редактировала для журнала, но редколлегия, в лице Симонова и Кривицкого, передумала их публиковать.

79 Вопросы А. М. Борщаговского относятся к строкам из поэмы Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом».

80 *Татьяна Александровна Спендиарова* – поэтесса и переводчица.

81 *Эмма Григорьевна Герштейн* – литературовед, исследовательница творчества М. Ю. Лермонтова.

82 *Наталья Павловна* – Бианки.

83 *Дмитрий Миронович Стонов* – прозаик. Его повесть «Раннее утро» была опубликована в «Новом мире» (1947. № 1).

84 *«Не мог щадить он нашей славы»* – строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта».

85 О Г. И. Мишкевиче см. коммент. 16.

86 *Петр Авдиевич Кузько* – литератор, муж Музы Николаевны Гордон, секретаря К. М. Симонова.

87 *Много плохих стихов – Васильев, Рывина, Луконин.* – Перечислены Сергей Александрович Васильев, поэтесса Елена Израилевна Рывина, в годы войны входившая в группу писателей при Политуправлении Балтфлота, и поэт-фронтовик Михаил

Кузьмич Луконин.

88 *Николай Иванович Замошкин* – критик, автор работ о Горьком, Пришвине, Алексее Толстом, в ту пору редактор отдела прозы «Нового мира».

89 *Илья Самойлович Зильберштейн* – литературовед, один из основателей «Литературного наследства», искусствовед, коллекционер.

90 *Кроме Кушнерева…* – По-видимому, это Арон Давидович Кушниров, еврейский поэт. В 1947 году в № 4 «Нового мира» опубликованы три его стихотворения в переводе Р. Морана.

91 Имеется в виду статья Б. Рюрикова, озаглавленная, как и поэма Недогонова, – «Флаг над сельсоветом».

92 *Воображаю, как информирует его Кривицкий.* – Через четверть века после описываемых событий в 1980 году в журнале «Знамя» № 5 опубликованы воспоминания А. Кривицкого «Елка для взрослого». Они дают представление о том, как мог их автор информировать Симонова. Хотя в восьмидесятые годы имя Лидии Чуковской было в России под запретом, Кривицкий обходит эту трудность и пишет о своих идейных разногласиях с «заведующей отделом поэзии с холодными глазами»: «Война потребовала неслыханных жертв. А журналу предложены альбомные стихи…». Далее автор вспоминает, «как бесновалась Зинаида Гиппиус», затем упомянуты «внутренние эмигранты», потом вновь повествование возвращается к «Новому миру» в 1947 году: «… для меня Гиппиус была тогда призраком отшумевшего времени, и я, признаюсь, с огромным удивлением услышал лаконичный, но красноречивый отголосок ее воплей над ухом». Всё это обвинения, хоть и несколько расплывчатые, но по тем временам серьезные.

93 Речь идет о пьесе Симонова «Русский вопрос», опубликованной в № 12 «Звезды» за 1946 год. После этого пьеса была по распоряжению Сталина быстро поставлена в пяти московских театрах и в трех ленинградских (подробнее см.: *КС,* с. 121).

94 Перечислены названия и строки стихотворений Лидии Чуковской.

«Отрывки из поэмы» полностью и остальные стихи см.: *Соч. – 2,* с. 307, 312, 313, 315, 322, 329.

«Свернула в боковую тьму…» – набросок не входил в сборники Лидии Чуковской. Автограф сохранился в архиве Б. Л. Пастернака и любезно предоставлен нам Е. Б. и Е. В. Пастернаками (см.: там же, с. 370–371).

95 *Как он сам у Скрябина о музыке.* – Борис Пастернак рассказывает в «Охранной грамоте», как в юности он готовился

стать музыкантом, как он благоговел перед своим учителем – Скрябиным и как решил бросить занятия музыкой после того, как сыграл ему свои произведения и Скрябин его очень похвалил *(Борис Пастернак.* Сочинения: В 5 т. Т. 4. М., 1991, с. 154–156).

96 *…в № 4 дадим Карпенко.* – В № 4 «Нового мира» были опубликованы пять стихотворений Бориса Карпенко.

97 *Оказывается, Михаил…* – Речь идет о Михаиле Львове, его стихотворение «Как будто я за веком…» было опубликовано под ошибочным именем *(ЛНМ-2,* с. 15).

98 *Владимир Федорович Шишмарев* – академик, филолог, специалист по истории французской поэтики.

99 *…с неким Костериным.* – Речь идет о писателе Алексее Евграфовиче Костерине, который, так же как и Н. А. Заболоцкий, провел несколько лет в заключении.

100 *«Орга́н».* – Вероятно, имеется в виду стихотворение Н. А. Заболоцкого «Бетховен» (1946), где есть такая строка: «Свой львиный рык просунув сквозь орган».

101 *Алексей Иванович* – Л. Пантелеев. Его воспоминания о Горьком не были напечатаны в «Новом мире».

102 *Тамара* – Т. Г. Габбе.

103 Письмо печатается по черновику, сохранившемуся в архиве Л. К. Чуковской. Для удобства читателя оно помещено нами в текст дневника.

104 *А.* – Г. Ф. Александров. О нем см. коммент. 34.

105 *Говорят, Константин Михайлович 29-го был с Фадеевым у Сталина.* – На самом деле А. Фадеев, Б. Горбатов и К. Симонов были у Сталина 13 мая 1947 года. Встреча подробно описана у Симонова (КС, с. 124–142). По его воспоминаниям за некоторое время до этой встречи Фадеев подготовил вместе с другими секретарями Союза «соответствующие материалы, и послал письмо Сталину с просьбой принять руководителей Союза писателей.» (КС, с. 123). Очевидно, слухи об этой подготовке к встрече и дошли до Лидии Корнеевны.

106 Письмо печатается по оригиналу, сохранившемуся в архиве Л. К. Чуковской. Для удобства читателя оно помещено нами в текст дневника.

1 *Митя* – Матвей Петрович Бронштейн. Подробнее о нем см. *Прочерк.*

2 *Алпатовы* – Михаил Владимирович Алпатов, историк искусства, и его жена Софья Тимофеевна.

3 *Ивинская.*

4 *Николай Павлович Анциферов* – литературовед, краевед, в 20-е годы преподаватель Тенишевского училища. О нем см. также *Прочерк,* с. 408–409.

5 *Веснины* – Александр Александрович Веснин, архитектор, и его жена Наталья Александровна.

6 О П. А. Кузько, его жене Музе Николаевне и об Агапове см. комментарии 35, 61 и 86 к предыдущему отрывку «Полгода в «Новом мире»».

7 Об А. Ю. Кривицком см. там же, коммент. 16.

8 *Иванов с Комой.* – Речь идет о писателе Всеволоде Вячеславиче Иванове, друге и ближайшем соседе Пастернака в Лаврушинском переулке и в Переделкине. *Кома* – домашнее имя сына Всеволода Иванова – Вячеслава Всеволодовича, который тоже был дружен с Пастернаком.

9 *Виктор Викторович Гольцев* – критик, автор работ о литературе народов СССР. Многие работы В. Гольцева посвящены грузинской литературе.

10 В. Перцов писал о Пастернаке начиная с 1924 года (см., например, его статью «Вымышленная фигура» в журнале «На посту» № 1). Гольцев имеет в виду либо выступление Перцова 3 марта 1947 года, описанное Лидией Чуковской (см. с. 130 наст. тома), либо его обзорную статью «Русская поэзия в 1946 году». «Пастернак. ушел от большой общественной темы, – утверждает Перцов в этой статье, – и замкнулся в индивидуализме» (Новый мир. 1947. № 3, с. 187).

11 Речь идет о статье А. Суркова «О поэзии Пастернака», опубликованной 21 марта 1947 года в газете «Культура и жизнь». Там, в частности, утверждалось: «…советская литература не может мириться с его поэзией».

12 *Константин Александрович* – Федин.

13 *Самуил Миронович Алянский* – издатель, основатель частного издательства «Алконост» (1918–1923), в 50-е годы сотрудник московского Детгиза, друг К. А. Федина.

14 *Люся П.* – Ольга Ильинична Попова, художница.

15 О К. Н. Некрасовой см. с. 89–90, 99, 116–117, 126–127 настоящего тома.

16 *Наш Коля* – Николай Корнеевич Чуковский, писатель, переводчик, брат Л. К. Чуковской.

17 Статья Н. Маслина «Маяковский и наша современность» (Октябрь. 1948. № 4), в которой было сказано, что «творчество Пастернака нанесло серьезный ущерб нашей поэзии».

18 *Наталья Александровна Роскина* – литературовед, мемуаристка.

19 *Ваня*—Иван Игнатьевич Халтурин, о нем см. «Памяти Т. Г. Габбе», коммент. 22.

20 *Вова Смирнов* – сын И. И. Халтурина и В. В. Смирновой. Девятнадцати лет он утонул под Ригой в реке Лиелупе.

21 Строки из стихотворения Б. Пастернака «Осень».

22– Строка из стихотворения Б. Пастернака «Рождественская звезда».

23 *Талик* – Виталий Иванович Халтурин, старший сын И. Халтурина от первого брака, сейсмолог.

24 *Зинаида Ивановна Ризберг.* – Ее переписка с П. Шмидтом и воспоминания о нем были напечатаны в книге «Лейтенант П. П. Шмидт. Письма, воспоминания, документы» (М., 1922) и использованы Пастернаком в поэме «Лейтенант Шмидт».

25 Строка из поэмы Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт» (Ч. III, гл. 4).

26 *Елена Ефимовна Тагер* – искусствовед, знакомая Пастернака.

27 *Ираклий* – Ираклий Луарсабович *Андроников,* литературовед, актер.

28 Речь идет о статье Д. О. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Статья послужила началом кампании травли Пастернака из-за Нобелевской премии, которую ему только что присудили.

29 *Клара* – Клара Израилевна *Лозовская,* секретарь Корнея Ивановича с 1954 по 1969 год.

30 *Владимир Ефимович Семичастный* – комсомольский и партийный деятель. В 1958—59 гг. первый секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1961—67 гг председатель Комитета государственной безопасности при СМ СССР.

31 Начальные строки стихотворения Ахматовой.

32 *Наталия Иосифовна Ильина* – автор фельетонов, пародий, мемуаров. Ей принадлежат воспоминания «Анна Ахматова, какой я ее видела».

33 *Наша Марина* – Марина Николаевна Чуковская, жена Н. К. Чуковского.

34 *Вера Васильевна* – Смирнова, соседка Пастернака по Переделкину и по Лаврушинскому переулку. Подробнее о ней см.

ком-мент. 22 к «Памяти Т. Г. Габбе».

35 *Константин Васильевич Воронков,* в то время орг. секретарь Союза писателей, впоследствии зам. министра культуры СССР.

36 «Литература и жизнь» поместила это объявление 1 июня 1960 года, а «Литературная газета» 2 июня.

37 *Мария Сергеевна* – Петровых.

38 *Фридочка* – Фрида Абрамовна Вигдорова журналистка и писательница. Близкий друг Л. Чуковской. О ней см. «Памяти Фриды».

Иосиф Бродский

1 *Игорь Сергеевич Черноуцан* – заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС.

Письмо в защиту Бродского – см. *З–З,* с. 395–398.

2 *Статья.* – Имеется в виду статья А. Ионина, Я. Лернера и М. Медведева «Окололитературный трутень» (Вечерний Ленинград. 29 ноября 1963). Авторы статьи в грубой и бездоказательной форме обвинили И. Бродского в «паразитическом образе жизни» и назвали его «окололитературным бездельником». Статья послужила увертюрой к начавшейся травле Бродского, завершившейся судом.

3 *…Анна Андреевна, Найман…* – Анна Андреевна Ахматова и Анатолий Генрихович Найман, исполнявший обязанности ее секретаря.

4 *Ефим Григорьевич Эткинд* – специалист по французской и германской литературе, переводчик, профессор.

5 *АА* – так для краткости в дневнике записано имя Анны Андреевны.

6 *Алексей Александрович Сурков* – поэт, секретарь Союза писателей СССР.

7 *Виктор Ефимович Ардов* – писатель. Ахматова издавна была дружна с его женой Ниной Антоновной Ольшевской и, приезжая в Москву, чаще всего останавливалась у Ардовых на Ордынке.

8 *Василий Сергеевич Толстиков* – первый секретарь ленинградского обкома.

9 *Назначена комиссия: Олег Шестинский (?) и Эльяшевич (!).* – «Аркадий Павлович Эльяшевич – автор многих критических статей и книг, посвященных современной советской литературе. С 1960 года он – член редколлегии журнала «Звезда».

О нравственности Эльяшевич говорит, что «вообще» нравственности – не существует, а нравственность есть «категория социальная, классовая»; «подлинно человеческой в эпоху разделения мира на враждебные лагери выступает лишь нравственность людей, связанных со строительством коммунизма.» (см.:

Арк. Эльяшевич. Советская литература в борьбе за коммунизм. Л., 1963, с. 19–20).

Что же касается Олега Николаевича Шестинского, то для 1964 года характерна книга его стихов «Позиция» (М.; Л.: Сов. писатель). Сам он говорит о своей позиции так: «Моя позиция железная» и в том же стихотворении:

«И перед дулом *пулемета* / моей партийности суровой /

толкалась черная пехота / хулителей всего родного».

Обращаясь к партии в стихотворении «Коммунисты», он декларирует:

«Ты считай меня *штыком надежным,* / сильный я еще и молодой, / никогда я не был осторожным, / если выходил с врагом на бой, – / потому иду *победным шагом / по тебе, краса-земля моя…* / И такую жизнь под красным стягом / просто счастьем называю я!»

Прочитав подобные плоские вирши, понимаешь, почему т. Логунов, выступавший на суде над Бродским как свидетель обвинения, поставил Шестинского подсудимому в пример: «Я сравниваю Бродского с Шестинским.»; «Олег ездил с агитбригадой.»; «И еще Олег работал в шахте.» И еще: «.надо трудиться, отдавать все культурные навыки. И стихи, которые составляет Бродский, были бы тогда настоящими стихами» *(З-З,* с. 408).

10 Яков Михайлович Лернер – деятель «народной дружины» Дзержинского района, работавший в институте Гипрошахт на хозяйственной должности. Осенью 1963 года было решено расправиться с Бродским именно руками «народной дружины». За спиной Лернера стоял Комитет госбезопасности в лице следователя Идеологического отдела КГБ П. П. Волкова.

Вот какую характеристику Лернеру, «спровоцировавшему дело Бродского», дает Н. И. Грудинина: «…вылавливал фарцовщиков и от отдельных следователей КГБ получил оценку «полезного человека». Лернер задерживал не только фарцовщиков. Пользуясь правами дружинника, он останавливал «подозреваемых лиц», производил личные обыски, отбирал документы и записные книжки, запугивал и шантажировал задержанных. Затем он заносил фамилии этих людей в картотеку и спустя полгода или год рассылал по месту их работы компрометирующие письма. Кроме того, Лернер вербовал из числа задержанных им тунеядцев и фарцовщиков личную агентуру, которую заставлял следить за интересовавшими его лицами.

От знающих Лернера лиц мы слышали такую его характеристику: это, мол, человек, глубоко неудовлетворенный своей работой хозяйственника, рвущийся к власти и усмотревший в правах дружинника возможность добиться этой власти. Он завязывал знакомство с милицией, прокуратурой, партийными работниками и следователями КГБ, оказывая им подчас ценные услуги. По характеру склонен к дешевой детективщине, к провокации. Подозрителен и честолюбив». (Архив Л. К. Чуковской.)

Позже Лернер был дважды осужден за мошенничество (в 1973 и 1984 годах).

11 *Алена Чайковская* – Ольга Георгиевна Чайковская, журналистка.

12 *Николай Романович Миронов* – член Центральной ревизионной комиссии КПСС, заведующий отделом административных органов ЦК КПСС.

13 *…хуже Ионесяна…* – В декабре 1963 года в Москве появился убийца, который проникал в квартиры, выдавая себя за служащего «Мосгаза». Если ему открывали, он топором убивал свою жертву. 13 января 1964 года газеты сообщили о поимке этого убийцы. Им оказался Владимир Ионисян, актер Оренбургского театра музыкальной комедии. 1 февраля 1964 года он был расстрелян.

14 *Клара.* – О ней см. коммент. 29 к отрывку из дневника «Борис Пастернак».

15 *Юля, Толя, Ника, Надежда Марковна* – Юлия Марковна Живова, сотрудница Гослитиздата, специалистка по польской литературе; А. Г. Найман (см. коммент. 3), Ника Николаевна Глен, специалистка по болгарской литературе, сотрудница Гослитиздата; Надежда Марковна Гнедина, переводчица, жена Е. А. Гнедина.

16 *Евгений Александрович* – Гнедин, журналист.

17 *Александр Борисович Чаковский* – главный редактор «Литературной газеты».

18 *Сарра Эммануиловна* – Бабенышева, критик, преподавательница Литературного института.

19 *Роман Андреевич Руденко* – генеральный прокурор СССР.

20 *Копелевы* – Лев Зиновьевич Копелев, германист, и его жена Раиса Давыдовна Орлова, специалистка по англо-американской литературе.

21 Это письмо Л. К. к И. С. Черноуцану см. *3–3,* с. 442–445.

22 *Вадим Степанович Тикунов* – министр охраны общественного порядка РСФСР.

23 *Знаменитая встреча.* – 7 и 8 марта 1963 года состоялась «Встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства». Происходившее на этой встрече подробно описано у Солженицына в его очерках литературной жизни «Бодался теленок с дубом» *(БТД,* с. 71–74). «Этими встречами, – пишет Солженицын, – откатил нас Хрущев не только позади XXII съезда, но и позади XX. Он откатил биллиардный шар своей собственной головы к лузе сталинистов» (там же, с. 84).

24 *Пиво-Воды* – шутливое прозвище маленького домика, выстроенного Корнеем Ивановичем мне в подарок в самой

глубине лесного участка. Размером он чуть больше вагонного купе: там помещается только столик, кресло и койка. Прозвище свое этот ярко зеленый досчатый домик получил за сходство с пивными ларьками. Это скорее беседка, чем дом, у него нет фундамента и жить в нем можно только в жару летом. – *Примеч. Л. Чуковской (3–2,* с. 484).

25 *Юля и Раиса Давыдовна* – Ю. М. Живова и Р. Д. Орлова (о них см. коммент. 15 и 20).

26 *Наталия Иосифовна Грудинина* – поэтесса, переводчица, руководительница литературного объединения молодежи при заводе «Светлана».

27 О К. В. Воронкове см. коммент. 35 к предыдущему отрывку из дневника «Борис Пастернак».

28...*после третьей – вторая ахматовская осень*... – Имеется в виду стихотворение Анны Ахматовой «Три осени».

29 *Юлиан Григорьевич* – Оксман, историк литературы, специалист по XIX веку. Гонения на него в 1964 году начались из-за его переписки с американским славистом Г. П. Струве. Переписка касалась исключительно историко-литературных вопросов, однако одно из писем Оксмана к Струве, переданное через американку Кэтрин Фойер, было выкрадено у нее в гостинице. КГБ передал дело Оксмана в Союз писателей.

Виктор Николаевич Ильин – оргсекретарь Московской писательской организации.

30 *Николай Васильевич Лесючевский* – директор издательства «Советский писатель». В литературной среде было хорошо известно о причастности Н. В. Лесючевского к аресту Н. Заболоцкого и Б. Корнилова (об этом см. также коммент. 21 к отрывку «Полгода в «Новом мире»»). В конце 80-х годов сведения о деятельности Н. В. Лесючевского в 30-е годы в качестве «консультанта» НКВД попали в печать.

«Советский писатель» сперва заключил договор и одобрил повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна», но после снятия Хрущева договор был расторгнут. Л. К. подала на издательство в суд. Об этом деле подробно рассказано на страницах «Процесса исключения» *(Соч. – 2)*. «Софья Петровна» была напечатана в России лишь четверть века спустя – в 1988 году.

31 …*идти к Ивановой*… – Речь идет о Тамаре Владимровне Ивановой, переводчице, вдове писателя Всеволода Иванова.

32 *Дмитрий Алексеевич Поликарпов* – заведующий отделом культуры ЦК КПСС

33 *Иван Иванович Анисимов* – директор Института мировой литературы; *Антонина Петровна* – жена Ю. Г. Оксмана, от которой он поначалу скрывал свои неприятности.

34 *Шура* – Александра Иосифовна Любарская, писательница.

35 *Детские дневники* – рукопись дневника Ф. Вигдоровой о своих маленьких дочках «Девочки. Дневник матери». Рукопись не опубликована до сих пор.

36 *Е. А. Савельева* – судья.

37 *Ира Огородникова* – Ирина Федоровна Огородникова, переводчица с румынского, сотрудница Иностранной комиссии Союза писателей.

38 *П. Логунов,* заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части, до этого – инструктор РК Дзержинского района, свидетель по делу Бродского.

39 *Распоряжающийся Арий.* – Имеется в виду Арий Давыдович Ротницкий, сотрудник Литфонда, который занимался организацией похорон писателей.

40 *Валерий Алексеевич Косолапов* – директор Гослитиздата.

41 О *В. Е. Семичастном* см. коммент. 30 к предыдущему отрывку из дневника «Борис Пастернак».

42 Подразумевается подавление восстания 1863 г. в Польше и статьи Герцена, выступившего в «Колоколе» на стороне восставших.

43 *Петр Нилович Демичев* – секретарь ЦК КПСС.

44 *…моя речь 10-го.* – Л. К. имеет в виду свою речь в день похорон Ф. А. Вигдоровой. Эту речь она закончила словами: «без нее продолжать борьбу за ту судьбу, за которую она боролась» (*Лидия Чуковская.* Открытое слово. М.: МА-РгеББ, 1991, с. 7).

45 *Алексей Матвеевич Румянцев* – экономист, главный редактор газеты «Правда», академик.

46 *Саша* – дочь Ф. А. Вигдоровой.

47 *…голос нашей старушки.* – Вероятно, речь идет об Анне Моисеевне Глузман, бывшей сотруднице аппарата Верховного Суда. В другой записи (17/V.65) Л. К. называет ее «наш друг Анна Моисеевна».

48 *А Сартр, говорят, написал Микояну.* – Письмо Сартра Микояну датировано 17 августа 1965 года. Теперь оно опубликовано. См.: *ЕленаЯкович.* «Дело» Бродского на Старой площади // Литературная газета, 5 мая 1993.

49 *Юрий Серафимович Мелентьев* – сотрудник отдела культуры ЦК КПСС.

50 *Сергей Павлович Павлов* (1929–1993), первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1959–1968).

51 *Яша* – Яков Аркадьевич Гордин, писатель, приятель И. Бродского. В 1989 году он опубликовал «Дело Бродского: История одной расправы по материалам Ф. Вигдоровой, И. Меттера, архива родителей И. Бродского и по личным впечатлениям

автора» (Нева. 1989. № 2, с. 134–166).

52 *Наташа Долинина* – Наталья Григорьевна Долинина, прозаик, педагог.

53 *Руня* – Руфь Алксандровна Зернова, писательница.

54 *…дивные, о Малой Охте.* – Упомянуто стихотворение И. Бродского «От окраины к центру».

55 Речь идет о книге юриста Аркадия Иосифовича Полторака. В 1965 году вышел его «Нюрнбергский эпилог» (М.: Воениздат). А «Нюрнбергский процесс. Основные правовые проблемы» вышел годом позже (М.: Наука, 1966).

56 Упомянута статья Лидии Чуковской «Сколько станет сил», вскоре опубликованная в виде послесловия к сборнику повестей Ф. Вигдоровой. См.: *Ф. Вигдорова.* Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка. М., 1967, с. 712–735.

57 *Тата* – Наталья Леонидовна Рахманова, переводчица, жена Я. А. Гордина.

58 Речь идет о письме Владимира Корнилова и Лидии Чуковской от 23 января 1966 года в редакцию «Известий» – с протестом против статьи Дм. Еремина «Перевертыши». Дм. Еремин еще до суда назвал А. Синявского и Ю. Даниэля отщепенцами, подонками, хулиганами, «подручными тех, кто шурует в топке международной напряженности». Протест, разумеется, в газете напечатан не был. Теперь это письмо в «Известия» опубликовано в сборнике: «Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля» (М.: Книга, 1989, с. 36–37).

59 *Peter Norman* – Питер Норман (1921–2007), английский славист, переводчик «Реквиема» Анны Ахматовой.

60 *Аманда* – Аманда Хейт (1941–1989), английская славистка, биограф Анны Ахматовой.

61 *…эта книга – есть.* – Книга стихов И. Бродского «Остановка в пустыне» была издана за границей (New York: Изд-во им. Чехова, 1970).

62 Перефразирована строка из «Второй баллады» Б. Пастернака.

63 Оттиск с надписью сохранился в архиве Лидии Чуковской. Это – две поэмы Иосифа Бродского: «Разговор с небожителем» и «Post aetatem nostram» (После нашей эры. – *лат.)*. Вторая поэма посвящена Андрею Сергееву. Поэмы опубликованы на с. 437–451 сборника, изданного в США в издательстве Ardis. На последней странице – портрет Бродского в кепке.

– *Мика Голышев* – Виктор Петрович Голышев, переводчик.

Александр Солженицын

1 Знакомство Солженицына с К. И. Чуковским произошло в сентябре 1964 года. Тогда же с ним познакомилась и Лидия Корнеевна. В сентябре 1965 года после конфискации архива Александр Исаевич по приглашению Корнея Ивановича жил некоторое время на его переделкинской даче. А после этого, с середины шестидесятых годов, приезжая на несколько дней из Рязани в Москву, где у него не было своей квартиры, останавливался в квартире Чуковских в городе или на даче в Переделкине. Последнюю зиму перед высылкой из СССР в 1973/1974 г. Солженицын почти сплошь прожил на переделкинской даче. Записи Лидии Корнеевны и касаются непосредственных впечатлений от этих приездов.

После высылки Солженицына связь с ним не прерывалась, о чем свидетельствует и дневник Лидии Корнеевны, и сохранившаяся переписка. В эти годы Л. К. постоянно пишет о своих впечатлениях от читаемых статей, рассказов и книг Солженицына, о спорах, которые ведутся вокруг его произведений.

«Счастливая духовная встреча» – так характеризует свои впечатления от пережитого автор дневника.

После возвращения Александра Исаевича в Россию, как видно по записям, эта духовная встреча продолжалась. Они виделись. В дни последней болезни Лидии Корнеевны, в феврале 1996 года, Александр Исаевич прислал ей свою новую книгу «По минуте в день». Надпись на титуле «моему мужественному другу» датирована 6 февраля.

На следующий день, 7-го февраля, Лидии Корнеевны не стало.

2 *Л. З.* – Лев Зиновьевич Копелев, германист, сидел одновременно с Солженицыным в марфинской шарашке, прототип Рубина в романе «В круге первом».

3 Вероятно, Л. К. слушала запись И. Д. Рожанского. В те годы магнитофоны были большой редкостью. Иван Дмитриевич на свой «Грюндиг» записал чтение Солженицына, Бродского, пение Галича. Эти записи – в числе немногих, сохранившихся от тех лет.

4 В Дневнике часто встречаются: *Дед* – К. И. Чуковский, *Коля* – страший брат Л. К.; *Люша* – дочь Л. К.

5 Об *О. Г. Чайковской* см. примеч. 11 к отрывку из дневника «Иосиф Бродский».

6 *Валентина Михайловна Карпова* (1915—?), главный редактор издательства «Советский писатель.

7 О*С. П. Павлове* см. примеч. 50 к отрывку из дневника «Иосиф Бродский».

8 *Абрам Терц* – псевдоним А. Д. Синявского. Ю. Даниэль печатался под псевдонимом Николай Аржак.

9 Деревянный домик, без фундамента, в котором летом жила Лидия Корнеевна. Подробнее см. примеч. 24 к отрывку из дневника «Иосиф Бродский».

10 Речи этих лиц на обсуждении «Ракового корпуса» см. в сб.: Слово пробивает себе дорогу. М.: Русский путь, 1998, с. 244–255, 278–281 (далее – *Слово)*.

11 *Зоя Сергеевна Кедрина* (1904–1992), общественный обвинитель на процессе Синявского и Даниэля. Ее выступление см. там же, с. 267–270.

12 *Туся, Фрида* – О Т. Г. Габбе и Ф. А. Вигдоровой см. дневник и воспоминания в наст. томе.

13 Упомянута Евгения Семеновна *Гинзбург* (1904–1977), писательница, прошедшая сталинские лагеря, автор «Крутого маршрута».

14 «Письмо IV Съезду писателей» см. *Слово,* с. 211–215. В этом письме Солженицын потребовал «полной гласности» и отмены цензуры.

15 См. *Слово,* с. 216–217 и след.

16 Строка из «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.

17 *Макс Соломонович Бременер* (1926–1983), писатель.

18 Речь идет о полемике Лидии Чуковской с Маргаритой Алигер по поводу реставрации сталинизма. См. статью Л. К. Чуковской «Не казнь, но мысль. Но слово» *(Соч. – 2,* с. 154–160).

19 О *К. В. Воронкове* см. примеч. 35 к отрывку из дневника «Борис Пастернак». *Сергей Венедиктович Сартаков* (1908–2005), писатель, один из секретарей СП СССР.

20 О *В.М. Карповой* см. примеч. 6. О *Н. В. Лесючевском* – примеч. 30 к отрывку из дневника «Иосиф Бродский».

21 Вероника Валентиновна *Туркина,* родственница первой жены А. И. Солженицына Натальи Алексеевны Решетовской (1919–2003).

22 Имеется в виду «Times Literary Supplement», литературное приложение к «Таймсу» *(англ.)*.

23 *Виктор Петрович Тельпугов* (1917–1999), писатель, один из секретарей СП.

24 О *П. Н. Демичеве* см. примеч. 42 к отрывку из дневника «Иосиф Бродский».

25 *Константин Иванович Поздняев* (1911–2000), главный редактор «Литературной России».

26 *Издание Струве* – Собрание сочинений Анны Ахматовой

под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, выпущенное за границей. Об *Аманде Хейт* см. примеч. 60 к отрывку из дневника «Иосиф Бродский».

27 Повесть Л. Чуковской «Софья Петровна» без ее ведома и согласия была переименована французским издателем и издана под заглавием «Опустелый дом» (Париж: Пять континентов, 1965).

28 *Александр Борисович Чаковский* (1913–1994), писатель, главный редактор «Литературной газеты» (1962–1988).

29 У итальянского слависта В. Страды на таможне отобрали неопубликованное «Изложение заседания Секретариата СП СССР 22.9.67» по поводу Солженицына. Конспект выступлений на этом заседании был сделан самим Солженицыным. Подробнее об этом эпизоде см. *БТД,* с. 208–212 и 602–615.

30 Упомянуто выступление «Литературной газеты» против Солженицына: Идейная борьба. Ответственность писателя // Лит. газета, 1968, 26 июня. Л. К. выступила в Самиздате с возражениями: Ответственность писателя и безответственность «Литературной газеты» (см. *Слово,* с. 343–371).

31 Речь идет о новых главах романа «В круге первом».

32 Имеется в виду суд над участниками демонстрации на Красной площади против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 г. Подробнее см. сб. «Полдень» (М.: Новое издательство, 2007).

33 *Павел Литвинов, Лариса Богораз* – участники демонстрации против вторжения в Чехословакию.

34 11 декабря 1968 года А. И. Солженицыну исполнилось 50 лет.

34а Окончательный текст см. *Слово,* с. 390.

35 Там же, с. 299–314.

36 Речь идет о Л. З. Копелеве.

37 О *Питере Норманне* см. примеч. 59 к отрывку из дневника «Иосиф Бродский».

38 *Владимир Семенович Лебедев* (1915–1966), секретарь Н. С. Хрущева, содействовавший публикации «Одного дня Ивана Денисовича».

39 *Николай Матвеевич Грибачев* (1910–1992), писатель, секретарь правления СП СССР, депутат Верховного Совета РСФСР, кандидат в члены ЦК КПСС (с 1961 г.).

40 Речь идет о гонениях на «Новый мир» и снятии А. Т. Твардовского с поста главного редактора журнала.

41 Генетик Жорес Медведев был схвачен и помещен в психиатрическую лечебницу.

42 См. *БТД,* с. 630.

43 Слова Ф. Вигдоровой, сказанные перед смертью о деле И. Бродского.

44 См.: Недостойная игра. По поводу присуждения А. Солженицыну Нобелевской премии // Известия, 1970, 10 окт. *(Слово,* с. 415–416).

45 Где ищет писательский талант и славу Нобелевский комитет? // Комсомольская правда, 1970, 17 окт.

46 Речь идет о разводе с Н. А. Решетовской.

47 Л. К. писала в это время воспоминания об отце «Памяти детства».

48 Мстислав Ростропович выступил с открытым письмом в защиту А. Солженицына, которое передавали зарубежные радиостанции *(Слово,* с. 423–425).

49 Имеется в виду встреча Ахматовой и Зощенко с английскими студентами, которые спросили их об отношении к постановлению 1946 года. Зощенко, отвечая, сказал о своем несогласии, а Ахматова (опасаясь за своего арестованного сына) заявила, что считает постановление совершенно правильным.

50 Речь идет о Ермолае – старшем сыне А. И. Солженицына.

51 Как выяснилось в 1992 г. из рассказа сотрудника КГБ (см.: *Б. А. Иванов.* Москва – Ростов, или КГБ против Солженицына // Совершенно секретно, 1992, № 4), Солженицын был намеренно отравлен во время поездки в Георгиевск к родственнице за материалами для своей работы и несколько месяцев был тяжело болен.

52 В письме от 23 октября 1971 г. А. И. писал: «Я *крайне* рад, что лекция Вам понравилась. Я, собственно, считаю ее совместным с Вами произведением: Вы много своего положительного вложили туда, критикуя предыдущую редакцию. И я с удовольствием посвятил бы ее Вам, если бы вообще лекции «посвящались». Во всяком случае, между нами будем считать, что это так» (архив Е. Ц. Чуковской).

53 А. М. Горлов, сослуживец тещи Солженицына, инженер, поехал на подмосковную дачу Солженицына (село Рождество, Наро-Фоминский р-н) за какой-то деталью для ремонта машины. На даче в это время шел тайный обыск в отсутствие хозяев. Обыскивающие схватили Горлова, избили и потребовали, чтобы он скрыл увиденное от Солженицына. Горлов ему все рассказал, Солженицын заявил публичный протест министру госбезопасности СССР Андропову (см. *БТД,* с. 634–635), Горлов был выгнан с работы и вынужден уехать из России (подробнее см.: *А. Горлов.* Случай на даче. Париж: ИМКА-Пресс, 1977).

54 См. *БТД,* с. 636.

55 Речь идет о статье: Журнал «Штерн» о семье

Солженицыных // Лит. газета. 1972. 12 янв., с. 13.

56 Строка из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (Песнь третья).

57 слово *(франц.)*.

58 Из-за ремонта лифта в доме Л. К. (ее квартира была на 6-м этаже) она временно переехала в соседний дом к Светловым (фамилия Екатерины Фердинандовны – тещи А. И. Солженицына).

59 Дмитрий Андреевич *Тюрин,* старший сын Н. Д. Солженицыной от первого брака.

60 Т. е. Комитета госбезопасности.

61 Письмо в редакцию // Правда. 1973. 31 авг. *(Слово,* с. 433).

62 Статья Л. К. Чуковской «Гнев народа», за которую ее исключили из Союза писателей (см. *Соч. – 2,* с. 160–168).

63 Письмо Солженицына Сахарову от 16 сентября 1973 г. см. *БТД,* с. 659. В опубликованном тексте слово «заверяю» отсутствует.

64 В своих воспоминаниях А. Д. Сахаров описал вторжение в их квартиру двоих арабов, назвавшихся представителями организации «Черный сентябрь». Они потребовали, чтобы Сахаров «дезавуировал свое заявление от 11 октября» о проблемах Ближнего Востока. В противном случае угрожали ему и членам его семьи (см.: *Андрей Сахаров.* Воспоминания. М.: Время, 2007. Т. [2], гл. 32, с. 130–135.

65 О К. И. Лозовской см. примеч. 29 к отрывку из дневника «Борис Пастернак».

66 Елена Георгиевна *Боннэр* (р. 1923), правозащитница, жена академика А. Д. Сахарова.

67 Юрий Федорович *Стрехнин,* писатель, секретарь Правления московской организации СП РСФСР.

67а «Но если гибель предстоит» – строка из стихотворения А. Блока «Я коротаю жизнь свою.»

68 Слова Шмидта из поэмы Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт».

69 Письмо Солженицына об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей см. *БТД,* с. 660.

70 Строка из стихотворения А. Галича «Памяти Пастернака».

71 Боря Пастернак, младший внук Б. Л. Пастернака.

72 Евгений Борисович Пастернак, сын Б. Л. Пастернака, и его жена Елена Владимировна.

73 См. *Слово,* с. 441–443.

74 *Ю. Бондарев.* Ненависть пожирает истину // Советская культура. 1974. 1 февр. *(Слово,* с. 450–451).

75 В своем письме для Самиздата «Прорыв немоты» Л. К. Чуковская писала: «В наших газетах Солженицына объявили

предателем. Он и в самом деле. *предал гласности* историю гибели миллионов, рассказал с конкретными фактами, свидетельствами и биографиями в руках историю, которую обязан знать наизусть каждый, но которую власть по непостижимым причинам изо всех сил пытается *предать забвению.* Солженицын – человек-*предание,* человек-легенда – снова прорвал блокаду немоты; вернул совершившемуся – реальность, множеству жертв и судеб – имя, и главное – событиям их истинный вес и поучительный смысл» *(Слово,* с. 454–455).

76 Л. З. Копелеву.

77 См. воспоминания Ю. Зверева «Как изгоняли Солженицына» (Неделя, 1991, 3–9 июля).

78 Ю. М. Даниэль, А. Гинзбург.

79 Т. М. Литвинова.

80 А. И. позвонил из Цюриха.

81 Так Солженицын называл свой летний домик под Москвой.

82 Упомянута книга Д*. «Стремя «Тихого Дона»: (Загадки романа)», вышедшая с предисловием А. И. Солженицына «Невырванная тайна» (Париж: ИМКА-Пресс, 1974).

83 Имеется в виду поэма Д. Самойлова «Струфиан».

84 На предыдущий день рождения Л. К. подарила деревянный ящик для рукописей, на котором была нарисована лошадка.

85 См. «Все тот же спор»: письмо Лидии Чуковской к Давиду Самойлову (Новый мир. 2006. № 6, с. 163–167, а также ответ Д. Самойлова в кн.: Давид Самойлов – Лидия Чуковская. Переписка. 1971–1990». М.: Новое литературное обозрение, 2004, с. 31. (Далее: *ДС – ЛК.)*

86 Правильное название «Раскаяние и самоограничение».

87 Намек на название книги А. Солженицына «Бодался теленок с дубом».

88 Упомянут сборник «Из-под глыб».

89 В эти годы Л. К. опасалась хранить свои записи дома и через свою многолетнюю помощницу Фину переправляла тетрадки на хранение к друзьям.

90 Строки из пушкинского «Евгения Онегина» (гл. X, строфа VIII).

91 См.: «Речь в Вашингтоне перед представителями профсоюзов АФТ – КПП. – *Александр Солженицын.* Публицистика. В 3 т. Т. 1. Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1995, с. 229–255 (Далее *Публицистика.)*

92 Правильно: «Нет, не пошла.». Строка из «Евгения Онегина» (гл. VII, строфа XXXVII).

93 См.: *ДС – ЛК,* с. 36–37.

94 В «Вестнике РХД» № 115 напечатана глава 6 из ч. 1

«Архипелага ГУЛАГ». В письме от 14 марта 1976 г. Л. К. писала Солженицыну: «Я прочла в 115 «Вестнике» одну Вашу страницу о полуголом человеке, к<отор>ого гнал перед собою особист и – впервые *узнала* (не умом, всей своей сутью), *кто* были власовцы… Узнала до трепета, т. е. будто *сама пережила.* Значит, можно передать свой опыт другому. Но на пути передачи опыта одного народа другому стоит *язык»* (архив Е. Ц. Чуковской).

95 См.: Выступление по английскому радио. – *Публицистика,* т. 1, с. 284–297.

96 Строки Анны Ахматовой о Шаляпине из «Поэмы без героя». Вторая строчка: «Будто эхо горнего грома».

97 *Публицистика,* т. 2, с. 343.

98 Строка из стихотворения Я. П. Полонского «В день пятидесятилетнего юбилея А. А. Фета» (1889).

99 14 июня 1976 г. Л. К. написала большое письмо о третьем томе «Архипелага». Вот начало этого письма: «Я прочла III том. Это превыше всего. Храм построен и достроен, великий и нерукотворный. Я читаю и учу наизусть. Преступно мало экземпляров. Это чудо, воскрешающее людей, меняющее состав крови, творящее новые души. И вот беда: Вы дожили до войны, тюрьмы, каторги, славы, любви, ненависти, изгнания – до всего. Есть только одно, до чего Вы не доживете: до художественного анализа. Восхищения и возмущения мешают людям оценить художественную гениальность и постичь природу ее. Я люблю все Ваши вещи – ну, *почти* все и *почти* всё в них, но «Арх<ипелаг>" и особенно III том – это *Ваш жанр,* это самый *самый Вы.* Мощь Вашего гения тут в концентрате, а когда же родится критик, который объяснит фразу С<олженицы>на, абзац С<олженицы>на, главу С<олженицы>на? Легче всего с особенностями словаря, а синтаксис? Скрытый ритм, при отсутствии явного? Емкость слова? Новизна движения, развития мысли? Кто поднимет такую работу или хоть бы начнет ее? Для того чтобы анализировать, *надо* привыкнуть, перестать обжигаться – а мы прикованы к смыслу, сведениям, обжигаемся болью – и способны только на такие ничтожные риторические восклицания, как мой «Прорыв немоты», которые, может быть, уместны в какую-то минуту – на минуту. А дальше? Требуется конгениальность, т. е. страстный покой и проникновение в это чудо величия. Да о каждой главе можно написать *том.* Нет, до этого, боюсь, мы не доживем: не только я, но и Вы… Иногда, при полном несовпадении наших с Вами жизненных путей и опыта (не говорю уж о даре), – вздрагиваю от совпадения мыслей, пронзительного. Счастливая духовная встреча» (архив Е. Ц. Чуковской).

100 Упомянуто «Ответное слово при получении «Премии дружбы» Американского Фонда Свободы», 1 июня 1976 г. (Вестник РХД. № 118; *Публицистика.* Т. 1, с. 305–308).

101 Речь идет о статье В. Лакшина «Солженицын, Твардовский и «Новый мир»» («Двадцатый век. Обществ. полит. и лит. альм.». Лондон. 1977. № 2, с. 151–218). Рой Александрович Медведев, живя в Москве, издавал в Лондоне альманах «Двадцатый век».

102 *Анна Самойловна Берзер* (1917–1994), редактор отдела прозы «Нового мира» при Твардовском.

103 Строка из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (Песнь третья).

104 Строки из стихотворения Д. Самойлова «Нам остается жить надеждой и любовью.» (1974), опубликованного в «Дне поэзии» (1977).

105 Строка из стихотворения А. Блока «На смерть Коммиссаржевской» («Пришла порою полуночной.») (1910).

106 *Александр Гинзбург,* распорядитель созданного А. Солженицыным Фонда помощи политзаключенным и их семьям.

107 Начинались хлопоты об организации на переделкинской даче Корнея Чуковского музея. В настоящее время там – один из филиалов Государственного Литературного музея.

108 Упомянут Павел Михайлович Литвинов.

109 Т. Г. Габбе, С. Э. Бабенышева.

110 Мария Степановна Климкина, домашняя работница.

111 Строка из стихотворения Б. Пастернака «Осень» («Я дал разъехаться домашним, / Все близкие давно в разброде.»).

112 Зашифровано название книги Л. Чуковской «Процесс исключения», где есть глава о Солженицыне и его образе жизни.

113 27 марта 1978 года произошел пожар в переделкинской детской библиотеке, построенной К. Чуковским.

114 Речь идет о книге Лидии Чуковской «Процесс исключения».

115 Имеется в виду книга А. Синявского «Прогулки с Пушкиным».

116 Л. К. очень сочувствовала Юрию Федоровичу Орлову, физику, правозащитнику, который в эти годы находился в заключении.

117 Строфа из стихотворения Ф. Тютчева «О, как убийственно мы любим.». Первая строчка цитируемого четверостишия у Тютчева иначе: «И что ж теперь? И где ж все это?»

118 О *Н. В. Лесючевском* см. примеч. 30 к отрывку из дневника «Иосиф Бродский». Карл и Эллендея Проффер, основатели (1969) и редакторы издательства «Ардис» (США) и журнала «Russian Literature Triquarterly».

119 *Юрий Александрович Жуков* (1908–1990), журналист-международник, политобозреватель газеты «Правда». С 1962 года – заместитель председателя, а в 1982–1987 годы председатель Советского комитета защиты мира. Его отношение к Солженицыну см.: «Кремлевский самосуд. Секретные документы политбюро о писателе А. Солженицыне». М., [1994], с. 363–369, 411, 413. Ю. Жуков в разгар травли Солженицына перед высылкой в январе 1974 года выступил с нападками на него по Центральному телевидению. Он заявил, что получает сотни писем от лиц, возмущенных изданием «Архипелага», хотя через две недели после выхода первого тома в Париже никто, включая самого Ю. Жукова, не мог успеть прочитать книгу.

120 Упомянут критик, переводчик, педагог, правозащитник Анатолий Александрович Якобсон (1935–1978), уехавший в Израиль. В сентябре 1978 года в состоянии тяжелой депрессии он покончил с собой.

121 Первая строка неопубликованного стихотворения Л. К. Чуковской (архив Е. Ц. Чуковской).

122 Из своей книги «Процесс исключения», тогда еще ненапечатанной.

123 Строка из стихотворения А. Блока «В огне и холоде тревог.».

124 Из Узла II «Октябрь Шестнадцатого» // Вестник русского христианского движения. Париж – М. – Нью-Йорк, 1978, № 126, с. 53–77.

125 Упомянут поэт Владимир Николаевич *Корнилов* (1928–2002).

126 Речь идет о радиоинтервью компании Би-би-си (февраль 1979) (см.: *Публицистика.* Т. 2, с. 483–505).

127 «Речь в Гарварде на ассамблее выпускников университета. 8 июня 1978». *Публицистика.* Т. 1, с. 309–328.

128 См. примеч. 126.

129 Наталья Евгеньевна Кузнецова, критик.

130 А. Д. Сахаров без суда был схвачен и сослан в Горький за свой протест против вторжения наших войск в Афганистан.

131 *Игорь Вячеславович Огурцов* (р. 1937), руководитель Всероссийского Христианского Союза Освобождения Народа (ВСХОН), политзаключенный.

132 Коммунизм: у всех на виду – и не понят // Русская мысль: Париж, 1980. 21 февр., с. 1, 3.

133 Рукопись второго тома «Записок об Анне Ахматовой» была утеряна в издательстве «ИМКА-Пресс».

134 См.: Академику Сахарову [Телеграмма, 14 мая 1981] // *Публицистика.* Т. 2, с. 553.

135 Е. Г. Боннэр.

136 *Лев Давидович Ландау* (1908–1968), физик-теоретик, академик, лауреат Нобелевской премии.

137 «Нобелевскому Комитету мира». – *Публицистика.* Т. 3, с. 45.

138 *Публицистика.* Т. 3, с. 17–18; *К. Любарский.* По поводу завтрака у президента // Франкфурт-на-Майне: Посев, 1982. № 8, с. 63.

139 Солженицыну была присуждена Темплтоновская премия, которая дается «За прогресс в развитии религии».

140 Имеется в виду выступление заключенного Валерия Репина 1 марта 1983 года по ленинградскому телевидению в передаче: «Когда наступает прозрение: О некоторых методах подрывной деятельности западных спецслужб против СССР с использованием так называемог «Фонда помощи»» (Munchen: Форум, 1985. № 11, с. 44–45, 47–73, 115, 116).

141 *Публицистика.* Т. 1, с. 406–444.

142 В это время Литфонд судился с Л. К. Чуковской, намереваясь выселить ее из переделкинской дачи, где уже давно работал Музей К. И. Чуковского.

143 *К. Чуковский.* Литературное чудо // Собр. соч.: В 15 т. Т. 10. М., 2005, с. 661–662; *С. Маршак.* Правдивая повесть // Правда, 1964, 30 янв.

144 Строки Анны Ахматовой из стихотворения «Тот город, мной любимый с детства.».

145 Из книги В. Войновича «2042».

146 *Аятола Хомейни* – лидер исламской революции. Е. Г. Эткинд в одной из своих статей сравнил Солженицына с Хомейни.

147 Книжное обозрение. 1988. 5 авг.

148 Речь идет о публикации: *И. Сиротинская.* Победить в себе растоптанного человека: Беседы о Шаламове // Кн. обозрение, 1988. 26 авг., с. 3. Напечатаны отрывки из переписки Шаламова с Солженицыным.

149 *Вадим Михайлович Борисов* (1945–1997), историк, представитель А. И. Солженицына, член редколлегии журнала «Новый мир».

150 *Александр Викторович Недоступ* (р. 1939), врач-кардиолог.

151 *Юрий Петрович Изюмов* (р. 1932), журналист, заместитель главного редактора «Литературной газеты».

152 См.: Огонек, 1989. № 23, с. 20–23.

153 *Е. Ц. Чуковская.* «Огня под полой не унесешь» // Кн. обозрение, 1989. 23 июня.

154 *Вадим Андреевич Медведев* (р. 1929), в 1986–1990 гг.

секретарь ЦК КПСС, в 1988–1990 – член Политбюро ЦК КПСС.

155 Перефразированы слова А. Блока из его последнего письма к К. Чуковскому: «слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка – своего поросенка» (Чукоккала. М.: Русский путь, 2007, с. 262).

156 См.: Председателю Совета министров РСФСР И. С. Силаеву. 23 авг. 1990 // Новое время, 1990, № 36. [Ответ на приглашение И. Силаева приехать в Россию.]

157 Имеется в виду статья: Как нам обустроить Россию? Посильные соображения // Комс. правда, 1990. 18 сент; Лит. газета, 1990. 18 сент.

158 *А. И. Солженицын.* Раковый корпус. М.: Центр «Новый мир», 1991. (Б-ка журн. «Новый мир»)

159 Э. С. Красовская, ныне директор Дома-музея М. И. Цветаевой, безвозмездно предоставила комнату, в которой литературное представительство А. И. Солженицына работало несколько лет.

160 И. П. Бабенышева, литератор, дочь С. Э. Бабенышевой, с которой дружила Л. К.

161 См.: Прощальное слово в Кавендише (28 февраля 1994). – *Публицистика.* Т. 3, с. 472–473.

162 Евгений Борисович Ефимов, редактор книг Л. К. Чуковской, вышедших в годы перестройки в издательстве «Московский рабочий».

163 См.: Дело о писателе Солженицыне: Из рабочей записи заседаний Политбюро ЦК КПСС // Источник, 1993. № 3.

164 ««Август четырнадцатого» читают на родине»: Сб. статей и отзывов. Париж, 1973.

165 Место под Ленинградом, где расстреливали в конце 30-х годов. Сейчас там мемориальное кладбище, где похоронен и М. П. Бронштейн, физик, муж Л. К. Чуковской, расстрелянный в 1938 году.

166 Из-за плохого зрения Л. К. никогда не смотрела телевизор.

167 Строка Анны Ахматовой из стихотворения, посвященного Б. Пастернаку, «И снова осень валит Тамерланом.».

168 Упомянута статья критика С. А. Лурье «Одиссей в Архипелаге: На родину возвращается из изгнания А. И. Солженицын» (Невское время, 1994. 27 мая).

169 Книга сохранилась в библиотеке Л. К. Чуковской. Надпись: «Дорогой Лидии Корнеевне Чуковской, другу моему, одной из первых и самых отзывчивых читателей «Архипелага», когда он был еще тайно хранимой рукописью. *Солженицын.* 12 сентября 1994».

170 В журнале «Нева» печатались «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской.

171 Строки из поэмы Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт»: «И жажда что-то выудить / Из прорвы прожитой».

Предсмертие

Впервые: журнал Время и мы. Нью-Йорк; Иерусалим; Париж. 1982. № 66, с. 201–231.

Автограф Цветаевой тайно хранил Иван Игнатьевич Халтурин (о нем и о его жене Вере Васильевне Смирновой см. примеч. 22 к «Памяти Т. Г. Габбе»). Вера Васильевна была на том собрании в Чистополе, где рассматривалось заявление Цветаевой, и помогла сохранить этот документ.

В 1978 г., уже после смерти И. Халтурина и В. Смирновой, сын Ивана Игнатьевича – Виталий Иванович Халтурин, перебирая документы отца, решил вытащить военный билет из твердой обложки. Оттуда выпал листок с подписью Цветаевой.

Виталий Иванович подарил драгоценный автограф давнему другу семьи – Лидии Корнеевне. Она опубликовала его за границей, написав в качестве комментария свой очерк о последних днях Цветаевой.

В настоящее время автограф М. И. Цветаевой и рассказ В. И. Халтурина об этой находке хранятся в московском Доме-музее Марины Цветаевой.

Памяти Фриды

Первая публикация этих воспоминанй состоялась в специальном номере «Звезды» (1997. № 1), посвященном Иосифу Бродскому. В предисловии к публикации говорилось:

Эта книга была окончена Лидией Чуковской в начале 1967 года. И тридцать лет, заключенная в зеленую папку для школьных тетрадей, простояла на полке в плотном ряду таких же папок с такими же ненапечатанными рукописями.

Если бы, в порядке чуда, эта книга появилась в печати своевременно – никакого предисловия к ней не потребовалось бы. Кому тогда, в 60-х, надо было объяснять, кто такая Фрида?

В библиотеках за книгами Фриды Вигдоровой (1915–1965) выстраивались очереди. Их любили: «Мой класс» (1949); трилогию – «Дорога в жизнь» (1954), «Это мой дом» (1957), «Черниговка» (1959); повесть «Семейное счастье» (1961). Книги Вигдоровой привлекали читателя своим главным качеством – искренностью. За каждым ее сюжетом, персонажем, за каждым диалогом проглядывали реальные жизненные обстоятельства, конкретные люди, виденное, слышанное, пережитое самим автором…

В свое время статьи и очерки Ф. Вигдоровой, напечатанные в «Правде», в «Комсомолке» или «Литературке», превращали заурядный номер газеты в общественное событие. И от читателей она ждала не восхищенья и похвал, а – участия: быстрого, искреннего, конкретного…

Несколько лет была Вигдорова и депутатом Моссовета. Никчемное, чисто бутафорское званье. Вроде всего-то и дела – носить значок да время от времени ходить на сессии голосовать «за» все равно что. А Вигдорова пошла в трущобы. К значку требовалось лишь прибавить собственные усилия – бессонные ночи, слезы, отчаяние, бесконечные хождения из кабинета в кабинет, изнуряющие хлопоты; ненаписанные книги; подорвать здоровье и на несколько лет укоротить свою жизнь – тогда и безнадежное дело обернется успехом… Вигдоровой удалось переселить из подвалов сто человек!..

Никому осенью 63-го – ни друзьям Фриды Вигдоровой, ни бесчисленным знакомым, ни властям – не показалось случайным или странным ее участие в «деле Бродского». Странно было бы иное: если бы она осталась в стороне. Теперь, когда о «деле Бродского» много написано, и напечатана наконец запись двух судов (18 февраля и 14 марта 1964 года), сделанная Фридой Вигдоровой (см.: Огонек. 1988. № 49; публикация А. А. Раскиной),

читатели могут по достоинству оценить талантливость этого документа и его роль в защите поэта от неправедного приговора. В предисловии к публикации «Судилища» Лидия Чуковская говорит:

«Жизнь – великий художник, но и ей редко удается создать явление такой выразительности, такой безупречной законченности. Судят не кого-нибудь, а поэта, и не за что-нибудь, а за безделье, за тунеядство. На суде столкнулись две силы, извечно противостоящие друг другу: интеллигенция и бюрократия. Сила одухотворенного слова и сила циркуляра, казенщины.

В центре столкновения – наверное, для наглядности! – жизнь поставила поэта. А запечатлеть глумление над ним поручила женщине столь же талантливой, сколь и правдивой, энергической, не щадящей себя, смелой»…

Можно только гадать, как развивались бы события, и чем завершилось «дело», если бы, допустим, Фрида Вигдорова не попала на суд и не сделала свои записи. Чем были бы вооружены защитники Бродского? Общественное мнение не значило ничего – в стране, пережившей тридцать седьмой год и «дело врачей», оно, по существу, находилось в подполье; и в «деле Бродского» впервые заявило о себе во всеуслышание. «За него хлопочут так, как не хлопотали ни за одного человека изо всех восемнадцати миллионов репрессированных!» – восклицала Анна Ахматова. Может, потому дракон и разжал зубы, – что опешил от такой упорной, отчаянной настойчивости?

Будем только иметь в виду, – без этого не оценить в полной мере величину подвига Фриды Вигдоровой и ее самое, – что спасала она не Нобелевского лауреата и всеобщего любимца, а двадцатитрехлетнего юношу с весьма сложным характером. И к оценке своей записи, признанной всеми, кто ее читал, литературным шедевром, относилась равнодушно: «Мне надо одно: чтобы мальчик был дома».

Фрида Вигдорова умерла в августе 1965 года; Бродский вернулся из ссылки в сентябре…. «Высочайшим примером доброты, благородства, человечности для всех нас» считала Фриду Вигдорову Анна Ахматова. О драгоценной дружбе с нею рассказал Владимир Адмони; ей посвящены страницы «Записок незаговорщика» Е. Эткинда. Это о Фриде Вигдоровой написала Раиса Орлова: «…именно она стала для меня человеком, по которому мерилось многое – поступки, отношение к людям, написанное, задуманное, прошлое и настоящее». Даже во «Второй книге» Н. Я. Мандельштам, полной ядовитых оценок всех и вся, пожалуй, лишь Фрида, «одна девочка с большими серьезными

глазами», поминается добрым словом. Это на смерть Ф. Вигдоровой откликнулся Александр Галич скорбным «Уходят друзья»: «И когда потеря громом крушенья / Оглушила, полоснула по сердцу, / Не спешите сообщить в утешенье, / Что немало есть потерь по соседству».

Все эти воспоминания и оценки, напечатанные за границей или хранившиеся в отечественных письменных столах, дошли до нас через годы, некоторые – совсем недавно.

1 На этих страницах часто встречаются домашние имена родных и близких Ф. Вигдоровой. *Галя и Саша* – ее дочери; *Александр Борисович* – Раскин, писатель-сатирик, ее муж; *Наталья* – внучка, дочь Гали; *Изя* – ее брат, офицер; *Елена Сергеевна* – ее свойственница, писательница И. Грекова; *Руня* (или Р. З.) – Руфь Зернова, писательница; *Евгений Александрович* – Гнедин, журналист; *Раиса Давыдовна* – Орлова, писательница.

2 Слова из стихотворения, процитированного Мариной Цветаевой в ее статье «Искусство при свете совести (глава «Искусство без искуса).

3 Эта запись теперь опубликована. См. «Огонек». 1988. № 49, с. 26–30.

4 *Научил нас, что сила становится доброй…* – строки из стихотворения А. Гитовича «Пикассо».

5 *Фрида… исполняет ту миссию, какую взял на себя когда-то… защитникмультанскихязычников…* – подразумевается В. Г. Короленко и его участие в мултановском деле. В 1892 г. возникло дело группы крестьян-удмуртов («вотяков») из села Старый Мултан. Их обвинили в убийстве нищего Матюнина для принесения жертвы языческим богам. Короленко ездил в Елабугу при вторичном разборе дела и под впечатлением увиденного писал: «…приносилось настоящее жертвоприношение невинных людей – шайкой полицейских разбойников под предводительством тов. прокурора». При третьем слушании дела Короленко выступил на суде с защитительной речью, после которой, как писала «Самарская газета» (1896, № 131) «все присутствующие плакали» и подсудимые были оправданы. Уезжая в качестве защитника в Мамадыш, Короленко оставил дома тяжело больную дочь. Позднее он записал в дневнике: «4 июня решился мултанский вопрос. Я уже боялся, почти знал, что моей девочки уже нет на свете, но радость оправдания была так сильна, хлынула в мою душу такой волной, что для другого ощущения на это время не было места». Всего о «Мултановском деле» Короленко написал десять статей (см.: *Владимир Короленко.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М., 1955, с. 337–391) и победил в напряженной борьбе за спасение невинных людей и за снятие

навета с целой народности.

6 *…«гибель была у дверей»…* – из стихотворения Анны Ахматовой «В разбитом зеркале».

7 *Помню в ее записи речь Паустовского – …страшный счет, впервые громко, вслух, предъявленный интеллигенцией сталинскому режиму. Речь эта… ошеломила меня.* – Паустовский сказал: «Дело в том, что в нашей стране безнаказанно существует, даже, в некоторой степени, процветает новая каста обывателей. Это новое племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с нашей страной, ни с социализмом» (Краткая запись речи К. Паустовского на обсуждении романа «Не хлебом единым» // Антология Самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950—1980-е. Т. 1. Кн. 1: До 1966 года. М.: Международный институт гуманитарно политических исследований, 2005, с. 421–422). В своих воспоминаниях «Между двумя романами» (СПб.: журнал «Нева», 2000) Владимир Дудинцев рассказал о последствиях этого выступления Паустовского для судьбы его романа.

8 *Марков Алексей Яковлевич* (1920–1992), поэт. Скандальную известность приобрел после того, как в 1961 году протестовал против поэмы Евтушенко «Бабий Яр» такими стихами: «Какой ты настоящий русский / Когда забыл про свой народ.».

9 *Будущий автор «Перевертышей»…* – Статья Дмитрия Еремина «Перевертыши» появилась в «Известиях» 13 января 1966 года менее, чем за месяц до суда над Синявским и Даниэлем. Тон и лексикон этой статьи таков: «Это не просто нравственные уроды, но и активные подручные тех, кто шурует в топке международной напряженности, кто хочет холодную войну превратить в горячую, кто не расстался еще с бредовой мечтой поднять руку на Советский Союз. А к таким подручным не может быть снисхождения». Статья ясно давала понять многочисленным защитникам обвиняемых, среди которых была и Лидия Чуковская, что пощады им не будет. Об этой статье см. также примеч. 58 к отрывку из дневника об «Иосифе Бродском».

10 *…ее мультанским процессом было безусловно дело Бродского.* – См. примеч. 5.

11 *Аджубей* Алексей Иванович (1924–1993), главный редактор газет «Комсомольская правда» (1957–1959) и «Известия» (1959–1964), зять Н. С. Хрущева.

12 *И нужно ни единой долькой…* – строфа из стихотворения Б. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво».

13 *Одна старушка-пенсионерка. взяла на себя обязанность сигнализировать нам обо всех кочевьях «дела». в Верховном Суде.* – Речь идет об Анне Моисеевне Глузман, подробнее см. примеч. 47

к отрывку из дневника «Иосиф Бродский».

14 .*Встает один, всё победивший звук.* – Анна Ахматова. «Тайны ремесла». 1. Творчество.

«Мощь одинокой тишины»

Впервые: «Мощь одинокой тишины» [Стихи и проза, посвященные академику Андрею Сахарову] / Публ. Ж. О. Хавкиной // Апрель: Лит. альманах. М.: Рекламно-издат. агентство «Юго-Запад». 1998. Вып. 10, с. 10–29.

1 Лидия Чуковская. Стихотворения. М., 1992, с. 98.

2 Короткая публицистическая заметка «Да здравствует разум!», написана автором для Сам-и Тамиздата в 1975 году в связи с присуждением А.Д. Сахарову Нобелевской премии мира.

3 *Лидия Чуковская.* Процесс исключения. М., 1990, с. 226.

4 Телеграмма, посланная Сахарову в Горький, не была ему доставлена.

5 *«Каким он запомнился»* – заглавие дано публикатором. Воспоминания о Сахарове написаны в 1994 году – через пять лет после его смерти.

6 Открытые письма см. *Соч. – 2.*

7*Жребий завиден…* – строки из поэмы Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт» (часть 3).

8 *Сережа* – Сергей Адамович Ковалев, приговоренный в 1975 году за свою правозащитную деятельность к 7 годам лагеря строгого режима и к 3 годам ссылки.

Комментарии Е. Б. Ефимова («Памяти Фриды»),
Е. Ц. Чуковской («Александр Солженицын»),
Ж. О. Хавкиной и Е. Ц. Чуковской
к остальным произведениям

notes

Примечания

1

В записях часто упоминаются родные Тамары Григорьевны: ее мать – *Евгения Самойловна*; отчим – *Соломон Маркович;* брат – *Миша;* муж – *Иосиф;* сестра отчима – *Ревекка Марковна.* Постоянно присутствуют на этих страницах и члены ленинградской «маршаковской» редакции – *Шура* (Александра Иосифовна Любарская) и *Зоя* (Зоя Моисеевна Задунайская). Обе они учились в том же институте, что Л. К. и Т. Г., и все четверо дружили еще со студенческих времен.

Остальные упоминаемые лица кратко пояснены в комментариях.

2

К моему большому счастью, в последние годы к Пастернаку Тусино отношение снова изменилось. Я принесла ей «Рождественскую звезду» и весь цикл стихов из романа, потом «Август», «В больнице». Она переписывала эти стихи, восхищалась ими, многое запомнила наизусть. Особенно ей нравилось «В больнице». «Тут первые две строки каждого четверостишия какие-то магические», – говорила Туся. – *Примеч. 1961 года.*

3

Расшифрованную стенографическую запись того, что говорил Пастернак, см. на с. 169–170 настоящего тома. – *Примеч. сост.*

4

Запись сделана в 1962 году по памяти.

5

У Марии Вениаминовны Юдиной.

6

Н. П. Анциферов всегда звал меня по имени; он был моим учителем в Тенишевском училище.

7

Неточная строка из стихотворения Ахматовой «Муза».

8

Речь идет о моей поэме «Отрывки», напечатанной в 1978 году в сборнике: *Лидия Чуковская.* По эту сторону смерти (Paris: YMCA-Press), а в 1992-м в сборнике «Стихотворения», вышедшем в Москве в издательстве «Горизонт».

9

На вечер Петефи в Союзе писателей.

10

Строки из стихотворения А. Блока «В огне и холоде тревог».

11

Неточная цитата из поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

12

Начиная с этой даты «Отрывки из дневника» о Борисе Пастернаке вошли во второй том «Записок об Анне Ахматовой».

13

Первая строка из стихотворения А. Фета.

14

Строка из поэмы Д. Самойлова «Ближние страны».

15

Как я узнала впоследствии от Вячеслава Всеволодовича Иванова, прямо напротив дачи Пастернака в этот день и еще два-три дня спустя дежурил «виллис», оснащенный подслушивающими приборами. Стоял он по другую сторону поля, мимо которого я шла (то есть довольно далеко), потому я его и не видела. Через несколько дней я написала стихотворение «28 октября 1958 года». Привожу его:

Я шла как по воздуху мимо злых заборов.
Под свинцовыми взглядами – нет, не дул, а глаз.
Не оборачиваясь на шаги, на шорох.
Пусть не спасет меня Бог, если его не спас.
Войти – и жадно дышать высоким его недугом.
(Десять шагов до калитки и нет еще окрика «стой!»)
С лесом вместе дышать, с оцепенелым лугом,
Как у него сказано? – «Первенством и правотой».

16

Мне припомнились строчки из статьи Блока «Солнце над Россией», опубликованной в 1908 году к восьмидесятилетию Льва Толстого. «Старым упырем» Блок называл Победоносцева. Вот несколько строчек из этого отрывка: «…Чья мертвая рука управляла пистолетами Дантеса и Мартынова?.. Кто увел Достоевского на Семеновский плац и в мертвый дом?.. Нет, не они смотрят за Толстым, их глазами глядит мертвое и зоркое око, подземный, могильный глаз упыря».

17

В тот день, когда сделалось известно, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, Корней Иванович, взяв с собой Люшу, отправился поздравить его. Иностранные фоторепортеры запечатлели минуты поздравления, и фотографии появились на страницах многих иностранных журналов.

18

Ахматова приехала из Ленинграда в Москву.

19

Цитирую письмо ко мне Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. (В 1972 году я ознакомила ее с моими «Записками».) *«…сменялись Юдина и Рихтер,* – так нельзя. Юдина непрерывно играла с утра, а Рихтер приехал незадолго до выноса и сыграл, если не ошибаюсь, две вещи Баха. Он заранее выбрал, задумал, что будет играть. Рихтер очень любил Пастернака, и скажу мимоходом, что факт его участия в похоронах был очень замечен и не одобрен властями, и даже пытались на него воздействовать. (О том, что Рихтер только единожды сменил Юдину, а затем смешался с толпой и долго оставался на могиле – я знаю точно, так как приехала вместе с ним, на его машине.) Думаю, что и о Марии Вениаминовне Юдиной надо как-то сказать иначе. А то получается: два знаменитых тапера играли (как может подумать читатель) – по приглашению. Это ведь был живой акт любви, восхищения поэзией и в то же время – акт общественный, очень серьезный, значительный. Даже власти об этом догадывались». М. В. Юдина исполнила вместе с друзьями трио Чайковского «Памяти великого артиста», а по преимуществу исполняла произведения Шуберта.

20

Как я узнала через несколько лет, это были Даниэль и Синявский.

21

Борис Леонидович находился в то время в Москве, а в Чистополь прибыл лишь во второй половине октября 1941 года.

22

Слова Р. Д. Орловой.

23

Я в это время лежала больная: у меня было кровоизлияние в сетчатку.

24

Тетя Фаня приходила помогать Фриде по хозяйству.

25

Верочкин муж.

26

Очередное наше заявление в защиту Бродского: на этот раз «поручительство».

27

Это было в ту пору, когда начальство уже сильно злобствовало на Фриду за ее запись суда над Бродским.

28

В 1956-м. Напоминаю, что в девятнадцатом веке в России «шестидесятые» начались в 1858-м году, а в двадцатом – в 1956-м.